



УРАЛЬСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

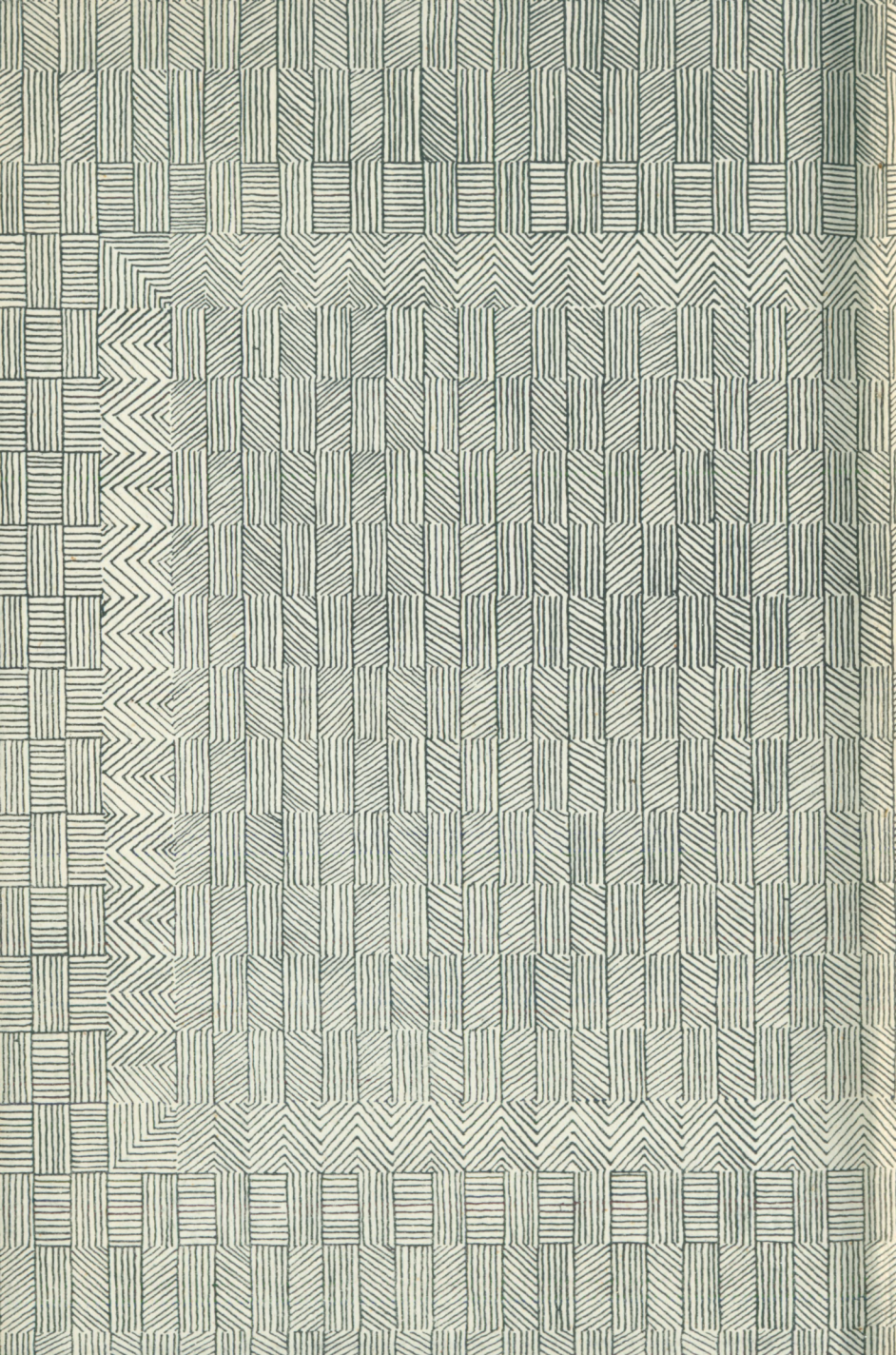
Ф. РЕШЕТНИКОВ

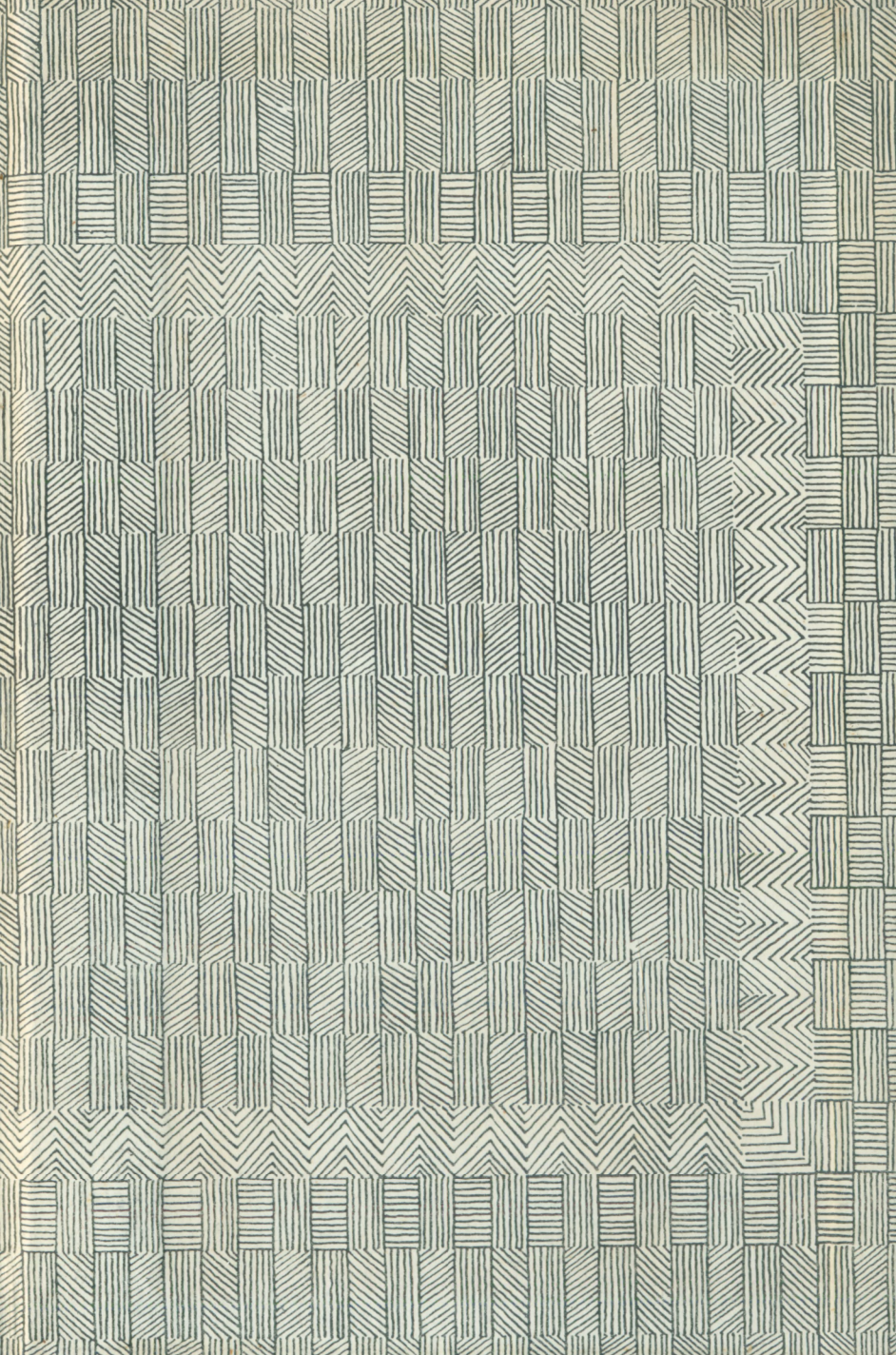


УРАЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Ф. РЕШЕТНИКОВ

•
ГДЕ
ЛУЧШЕ?







У Р А Л Ь С К А Я Б И Б Л И О Т Е К А

Редакционная коллегия: Татьяничева Л. К. — главный редактор, Васильев С. А., Давыдычев Л. К., Дергачев И. А., Каримов М. С., Крупаткин Б. Л., (зам. главного редактора), Маркова О. И., Пермьяк Е. А., Ручьев Б. А.

«УРАЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА» ИЗДАЕТСЯ С 1967 ГОДА. ЕЕ ЗАДАЧА — СОБРАТЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО СОЗДАНО РУССКОЙ, СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ОБ УРАЛЕ. КНИГИ «УРАЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ» ВЫХОДЯТ В ДВУХ СЕРИЯХ — ДЛЯ ВЗРОСЛОГО И ДЕТСКОГО ЧИТАТЕЛЯ.

ВЫШЛИ В СВЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Д. МАМИНА-СИБИРЯКА, А. БОНДИНА, П. БАЖОВА, Ю. ЛИБЕДИНСКОГО, А. ГАЙДАРА, А. САВЧУКА, И. ЛИКСТАНОВА, Б. РУЧЬЕВА, О. МАРКОВОЙ, В. ПРАВДУХИНА, В. СТАРИКОВА, П. МАКШАНИХИНА, Н. КУШТУМА, О. КОРЯКОВА, Ю. ХАЗАНОВИЧА, В. ГРАВИШКИСА, В. КРАПИВИНА.

В 1971—1975 ГГ. ИЗДАЮТСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. РЕШЕТНИКОВА, А. БИКЧЕНТАЕВА, Е. ПЕРМЯКА, Н. ПОПОВОЙ, К. БОГОЛЮБОВА, В. ПАНОВОЙ, А. КОПТЯЕВОЙ, Б. БУРЛАКА, И. ПАНОВА, А. СПЕШИЛОВА, А. АВДЕЕНКО, С. ЗЛОБИНА, И. АКУЛОВА, Н. ВОРОНОВА, И. КОРОБЕЙНИКОВА, А. ШМАКОВА, Л. ПРАВДИНА, К. ЛАГУНОВА, Ю. ШЕСТАЛОВА, А. ЯКОВЛЕВА, С. МЕЛЕШИНА.

В ДЕТСКОЙ СЕРИИ ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ КНИГИ А. БОНДИНА, Л. ДАВЫДЫЧЕВА, М. ГРОССМАНА, А. ГЛЕБОВА, Н. НИКОНОВА, Б. РЯБИНИНА, Б. ДИЖУР, Я. ФЕРСМАНА, А. МАЛАХОВА.

В «УРАЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ» ГОТОВИТСЯ ТАКЖЕ К ИЗДАНИЮ БОЛЬШАЯ ТРЕХТОМНАЯ АНТОЛОГИЯ УРАЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ.

Ф. РЕШЕТНИКОВ

ГДЕ

ЛУЧШЕ?

РОМАН В ДВУХ ЧАСТЯХ

СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО • СВЕРДЛОВСК
1971



Ф. М. РЕШЕТНИКОВ И ЕГО РОМАН «ГДЕ ЛУЧШЕ?»

Творчество Ф. М. Решетникова высоко ценили такие корифеи литературы, как Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. С. Тургенев и Ф. М. Достоевский. Революционно-демократический лагерь видел в нем первооткрывателя нового народно-реалистического направления. Тургенев, почувствовав оригинальность писательского голоса Решетникова, говорил о «трезвой правде», которую этот человек принес в литературу. Достоевский признавал появление Решетникова свидетельством того, что литература стоит перед необходимостью говорить о жизни как-то иначе, не так, как она говорила раньше.

В то же время многих он изумлял и озадачивал новизной самой точки зрения, способом рассмотрения действительности. Споры о его творчестве велись долго и страстно, а оценки колебались от приведенных выше до ожесточенно отрицающих в писателе малейшую «искру божью».

Решетников прожил тяжелую жизнь и рано скончался, не успев полностью раскрыть все богатства своего таланта. Но то, что сделано этим «бедным человеком низкого звания», входит в фонд ценностей, которые мы бережно храним, почтительно перед ними останавливаемся и, остановившись, задумываемся.

Родился Ф. М. Решетников 5 сентября 1841 года в городе Екатеринбурге, центре большого заводского края.

Отцом его был Михаил Васильевич Решетников, девятнадцатилетний почтальон Екатеринбургской уездной конторы, сын такого же почтальона в Нижнем Тагиле. Мать же, Екатерина Тимофеевна, происходила из семьи мелкого чиновника Панкратова, небогатого и многодетного. Семьи Решетниковых и Панкратовых не чувствовали расстояния между собой и рабочими. На свадьбе молодых свидетелями со стороны невесты были мастеровые Монетного двора и Гранильной фабрики, а в крестные матери к новорожденному Федору пригласили мастеровую вдову Марию Гусельникову. На первых порах новую семью опекал бездетный старший брат Василий Васильевич Решетников и его жена Мария Алексеевна. Но вскоре он был переведен станционным смотрителем в село Полуденное, между Пермью и Оханском, на почтовом тракте к Москве.

Михаил Решетников продолжал ездить с почтами по трактовым дорогам. На казенных лошадях можно было подвезти попутного человека, который в благодарность выставлял полуштоф водки. После этого жизнь казалась приятнее, дорога короче, а зимний мороз полегче. Но создавалась привычка, и нелегкой становилась семейная жизнь для Екатерины Тимофеевны.

Родители ее к этому времени перебрались в Осу на Каме. Молодая мать, захватив маленького сына, отправилась летом в дальний путь. Проезжала она через Пермь, когда там был сильнейший в истории города пожар. Он потряс Екатерину Тимофеевну. Доехав до Полуденной, она задержалась у Василия Васильевича Решетникова и, немного похворав, умерла, оставив еще не достигшего года Федора на руках бездетных родственников. Остался мальчик при живом, но беспутном отце, хоть и не сирота, а вроде того.

Люди, заменившие ему родителей, по-своему любили мальчика. Тем не менее ребенку часто напоминали, что он сирота и обуза. Считалось, что именно так разовьется в нем благодарность к «благодетелям», чувство зависимости от вышестоящих в дальнейшем, что обеспечит успех по службе. Тычки и колотушки также должны были пойти на пользу, приучая делать то, что хотят «старшие», а не «своевольничать». Одним словом, маленький Решетников в полной мере испытал на себе влияние несложной педагогики той среды, которая жила «между нищими и средними», как определял позднее писатель уровень материальной обеспеченности семьи.

Ценили воспитатели образование, но только в той мере, в какой дает оно право на «чин» и «должность» поденежное, позволяет опередить в конкурентной борьбе других.

Борьба за существование, за то, чтобы не скатиться в «податное состояние», не сделаться окончательно бесправным, формировала людей, пытливо следивших за всеми обстоятельствами жизни, умевших их взвесить, оценить, но не способных, однако, идти против судьбы.

Может быть, и усвоил Федор Решетников рабью философию, чтобы повторить путь отца или дяди, но формирование его шло иначе. Чем круче были испытания, тем тверже становился характер, и возникало желание идти другими дорогами. Чуть позднее, в юношеском дневнике он признается: «Мне гнусна становится ложь, гадость и рабство в жизни».

Острая впечатлительность, унаследованная от матери цепкая память, удивлявшее родственников упрямое нежелание подчиняться чужой воле и обстоятельствам — все перерабатывалось в сложную писательскую личность.

Пока же Ф. М. Решетников получал образование в Пермском уездном училище, не отличавшемся от большинства других таких же школ Российской империи. Тут впервые испытал он страх за свою судьбу. Ожиданием грозной кары обернулась детская шалость — желание иметь в руках красивые конверты, надписанные твердым округлым почерком с завитками. На беду мальчика в похищенной им почте был указ о восшествии на престол Александра II и порядке

присяги, адресованный из канцелярии Главного горного начальника в Екатеринбург на соляные промыслы, расположенные на Каме.

Дело о хищении почты пошло по инстанциям. Благодаря стараниям Василия Васильевича оно как будто заглохло, а потом снова возвратились к нему, и ученик Решетников был определен на покаяние в Соликамский монастырь.

Время после возвращения из монастыря промелькнуло быстро. Решетников учится прилежно, круг его интересов расширяется, он пробует писать стихи, которые получались неуклюжими, неровными, «прозаическими».

В 1859 году он закончил курс обучения в уездном училище. Тем временем в жизни его дяди произошли громадные перемены. Он сдал экзамен на первый классный чин, получил его и был назначен помощником почтмейстера в Екатеринбургскую контору, где когда-то служил простым почтальоном. Семья переехала в Екатеринбург.

Летом Федор Решетников, видимо, побывал в Тагиле, где продолжали жить его близкие родственники со стороны отца, а с осени начал работать письмоводителем в уездном суде с жалованием в три рубля. То ли собственное усердие, то ли знакомства дяди, а может то и другое вместе привели вскоре к повышению. Он стал ведать «горным столом». Дела, решавшиеся в этом «столе», помогали вникнуть в имущественные отношения мастеровых и заводчиков. Здесь рассматривались все тяжбы заводских «крестьян» с заводоуправлениями о земле, домах, угодьях, авансах, договорах и прочие.

Знание быта рабочих, полученное из рассказов дяди, двадцать лет прожившего в Тагиле, из встреч с мастеровыми, подкреплялось размышлениями над судебными делами. Вскоре молодой Решетников познакомился со старшим по возрасту, опытным рабочим Иваном Михайловичем Фотеевым и подружился с ним. Он уважал жизненные позиции этого человека, черпал в его рассказах материал для своих произведений. Будучи известным литератором, он вспоминал о Фотееве в трудные минуты и даже намеревался представить на суд этого мастерового и его товарищей отвергнутый Н. А. Некрасовым очерк «Горнорабочие».

В Екатеринбурге Решетников продолжает попытки писать. Ему кажется, что единственной подлинно художественной формой литературы является форма стихотворная. В ней лучше выражается состояние души. Он сочиняет поэму «Приговор», которая известна нам только в пересказе Г. И. Успенского, известнейшего русского писателя и первого биографа Решетникова. Тогда же написана им драма в шести действиях «Панич», тоже в стихах. В этой драме, судя по сведениям Г. Успенского, в качестве основы сюжета использованы показания устных рассказов уральских рабочих о разбойниках.

Насмотревшись на чиновников, с которыми ему приходилось сталкиваться и в уездном суде, и на почте, будущий писатель понял, что у них «не научишься доброму, кроме взяток, которые марают нашу честь и совесть». Позднее в его дневнике встретится признание: «Часто я плакал — зачем я втолкнут в эту среду хаоса, дразг и жестокости».

Литературную деятельность он начинает осмысливать как служение людям. В его литературных опытах, которые по-прежнему не доходят до печати, появляются обличительные мотивы. Таковы пьесы «Черное озеро» и «Деловые люди». Последняя дошла до нас под названием «Заседатель». В ней много натяжек, очень несовершенно построено действие, но образы чиновников в каких-то чертах убедительны и жизненны.

Воспользовавшись предоставившимся случаем, в 1861 году Решетников переехал в Пермь и поступил на службу в Казенную палату. Ему пришлось преодолеть сопротивление родных, которые считали, что от добра добра не ищут. Юноша же рассчитывал получить в Перми поддержку в его литературных делах, так как в губернском городе больше культурных, образованных чиновников, чаще среди них можно найти людей демократических взглядов. Надежды отчасти оправдались. В Перми Решетников впервые напечатал две статьи: «Библиотека чиновников Пермской Казенной палаты» и «Святки в Перми».

Литературная работа становится для Решетникова потребностью, в ней он находит удовлетворение. «Если я пишу, то чувствую отраду... Я тогда спокоен и весел... Я пишу, не надеясь на барыши», — записывает юноша в дневнике.

Написанные в Перми драму «Раскольник» и повесть из заводской жизни «Скрипач» он послал Ф. М. Достоевскому в издававшийся им журнал «Время». Надо полагать, что он выбрал этот журнал не случайно. В 1861—1862 годах в нем печатались «Записки из Мертвого дома». Решетникова, видимо, привлек интерес Достоевского к простому человеку, человеку «низкого звания», о котором теперь пытался рассказать и он. В «Раскольнике» и «Скрипаче» намечались те главные типы горнорабочих, которые впоследствии займут столь большое место в его творчестве. Он, по его словам, развивается, «разучивая жизнь с натуры».

Все яснее становилось, что путь в литературу лежит через Петербург, умственный центр страны, средоточие журналов и издателей. С большим трудом Решетникову удалось получить перевод в столицу, да и то с него потребовали отказаться от литературного труда. Впрочем, давая обещание быть только чиновником, Решетников знал, что его нарушит.

Он хотел писать «для пользы нашего русского народа».

В столице Решетников не сразу проложил себе дорогу в большую литературу. Некоторое время он, чиновник, живущий на нищенское жалование, печатает очерки в газете «Северная пчела», получая, да и то с трудом, рублевые заработки.

Даже став известным писателем, он не избавился от нужды, от всех обид и огорчений, которые приходилось испытывать «простому человеку». На него обратили внимание Н. А. Некрасов, редактор «Современника», издатель «Дела» Г. Е. Благодетель, его печатали на страницах этих лучших журналов, но в отношениях с редакциями Решетников продолжал ощущать себя плебеем, и гордость его постоянно бунтовала.

В то же время он ценил свою принадлежность к «нижайшим низам» тогдашнего сословного общества и не старался отделить себя от них. При столкновении со столичной полицией он не стал доказывать, что перед ними литератор. На вопрос, кто он такой, Решетников ответил: «Мастеровой», — был избит и посажен в участок.

Имя Решетникова стало известно после публикации в «Современнике» в 1864 году повести «Подлиповцы» (сам Ф. М. Решетников называл «Подлиповцев» этнографическим очерком). Семь лет, с 1864 по 1870, были годами большого труда и непрерывного развития его литературного таланта.

Наиболее точное определение особенностей творчества Ф. М. Решетникова было дано в статье Н. В. Шелгунова «Народный реализм в литературе», напечатанной в 1870 году. Н. В. Шелгунов писал: «В Решетникове нет ничего, что бы напоминало литературу предшествующего периода. В сочинениях Решетникова все иное, все не так: не тот мир, не те люди, не тот язык, не та жизнь, не те радости, даже не то горе и не те интересы». С его приходом в литературу появился новый реализм, который Шелгунов называет реализмом народным. Народным не только в смысле защиты интересов трудящегося и угнетенного народа. Такой реализм был задолго до Решетникова. Народность его произведений в том, что в них непосредственно выразилось реалистическое мироощущение самих народных масс, понимание ими действительности, объясняемое положением, характер их оценок и т. д.

Но можно возразить и напомнить, что с мировоззрением русских крестьян — Хорей, Калинычей, Касьянов, Лукерий — еще до Решетникова познакомил читателей И. С. Тургенев. «Глазами мужика» с конца пятидесятых годов начал вглядываться в русскую жизнь Л. Н. Толстой. Гнев, «что туча черная», которым полнился крестьянский мир, разрастаясь, звучал в поэзии Н. А. Некрасова. Все это верно. И тем не менее новизна решетниковского голоса несомненна.

Те шли сверху вниз к изучению народной среды, к сочувствию к ней, к переходу на «ее голос». Решетников же шел снизу вверх вместе с теми героями, которых он рисовал, отражая рост их сознания.

Самое же главное — Решетников ввел в литературу рабочий класс, стал выразителем его сознания на раннем, допролетарском этапе становления. Народный реализм, значение которого для развития литературы подчеркивал Шелгунов, оказывался связанным, следовательно, не с обобщенным понятием народного мировоззрения, а с самосознанием той части общества, которая, оставаясь «народом», формировалась как рабочий класс — решающая сила общественного развития. Разумеется, Шелгунов в 1870 году не мог еще выделить его из общей массы трудящихся. Но мы видим, что один из жизненно сильных вариантов реалистического искусства середины XIX века был определен появлением рабочего класса: со своей судьбой, своими путями, тесно сплетенными с путями крестьянства, и все же — всегда особенными. Понятно, что именно Урал выдвинул писателя, которому легче, чем другим, можно было ощутить особенности быта, жизни, мыслей рабочих.

Разумеется, нельзя думать, что обособление рабочего класса от других групп трудового населения в шестидесятые годы прошлого века было столь же велико, как тридцать-сорок лет спустя. У Решетникова мы встречаем совершенно реальное состояние рабочих Урала, находящихся в самом начале самостоятельного движения.

Как-то уж повелось, что во всех работах о Решетникове «Подлиповцы» отделяются от его романов о рабочих и числятся по рубрике «картины пореформенного разорения деревни». На самом же деле эта повесть самым непосредственным образом связана с романами, где развивается рабочая тема. В «Подлиповцах» — повествовании о трагически несложной жизни обитателей деревни Подлиповой на Прикамском Севере — нашел выражение тот процесс, который спустя десятилетие делается массовым и будет стремительно расширяться: расколовшаяся на богатеев и бедноту деревня, разоряемая соединичными усилиями старых крепостников и нового кулачества, двинет по России сотни тысяч людей, которым нет места в деревне, голодной и замордованной. Будут эти люди пополнять артели бурлаков, строителей дорог и больших городов, шахтеров и ткачей, рабочих боен и кожевенных предприятий. Вот этот-то момент перехода крестьян Подлиповой из одного социального состояния в другое и был запечатлен в «Подлиповцах». Образы Пилы и Сысойки, их трагические судьбы знаменовали не только нерешенность основных вопросов крестьянской жизни в России, но и возникновение новой проблемы — проблемы пролетариата.

Решетников не исследует этот социальный процесс. Сама манера повествования, детализирующая, не различающая главного от второстепенного, исключает исследование. Голос писателя был голосом самой жизни, не способной подняться до самоанализа, понять себя. Но ведь трезвая правда и заключалась в признании того, что человек, имеющий право на человеческое существование, лишен его и даже не понимает, силой каких причин лишен.

Вслед за «Подлиповцами» Решетников в 1866—1868 годах работал над романами из жизни рабочих, публиковавшимися в «Современнике», «Деле», «Отечественных записках». Все они создавались в очень неблагоприятных условиях. Два из них по цензурным обстоятельствам не были закончены, «Горнорабочие» прекратились печатанием в связи с закрытием «Современника». Третья часть романа «Глумовы» не увидела света. Только роман «Где лучше?» оказался завершенным.

Отделенные друг от друга небольшими промежутками времени, эти романы были документами не только писательского роста Решетникова. Они отражали быстрый рост рабочего класса, являясь своеобразной моделью едва обозначившегося социального процесса.

В самом названии романа «Горнорабочие» была отмечена социологическая задача: понять жизнь среды, имеющей особый характер. Действие развивается на горном заводе Демидовского округа, о владельцах которого Решетников писал так: «Строгановы, Демидовы и другие дармоеды». Характеристика в духе самих рабочих — лаконично, верно, выразительно. Решетников рисует крепостнический быт, труд горных работников, антагонизм мастеровых и той части рабочей аристократии, которая помогает администрации прижимать рабочих, да и сама не прочь нажиться на их счет. Он показывает бесправие рабочего человека и безвыходность его положения, повествуя о его буднях, одинаково подробно рассказывает о мелочах и о серьезных житейских коллизиях, связанных лишь хронологически.

В «Глумовых» события связаны в сюжетный узел «волей», которую получили рабочие уральских горных заводов вместе со всем народом в 1861 году. Здесь отразилось восприятие «свободы» уральскими рабочими, их обманутые ожидания, волнения, обусловленные крепостническими способами осуществления самой реформы 1861 года. В «Глумовых» уже намечена тема разрыва «привязанного к заводам населения» с родными местами, попытки рабочих найти лучшую жизнь.

Роман «Где лучше?» был последним из трех больших эпических повествовательных полотен на тему о судьбах рабочего класса России в движущейся современности. Еще продолжая работу над «Гор-

норабочими» и «Глумовыми», Решетников уже замыслил новую вещь, на этот раз из быта петербургских рабочих и даже начал собирать для нее материалы. Роман «Глумовы» был прекращен печатанием в журнале «Дело» отчасти по цензурным, а отчасти по издательским условиям, и часть произведения, где рассказывалось о пореформенной судьбе бывших крепостных мастеровых, света не увидела.

Писатель, используя материал неопубликованных глав «Глумовых» и заготовок к задуманному роману «Петербургские рабочие», создает новое произведение, посвященное целиком жизни того заводского населения, которое получило «свободу» в 1861 году. Роман о поисках сколь-нибудь человеческой жизни получил выразительное название «Где лучше?»

Работа над ним шла в 1867—1868 годах. В свой дневник 31 августа 1867 года Решетников занес: «Я начал «Где лучше?» — продолжение «Глумовых». Новое произведение писателя было напечатано в июньском — октябрьском номерах «Отечественных записок» 1868 года. Журнал в это время только что перешел в руки Н. А. Некрасова. Редактировал роман, сокращая его, выбрасывая длинноты, М. Е. Салтыков-Щедрин, в целом положительно оценивший труд Решетникова. Сам Некрасов в письме Решетникову объяснял быстрое завершение публикации всего романа тем, что он не желал «дроблением этих поистине отличных глав портить впечатление читателя».

В 1869 году роман был издан отдельной книгой.

На выход в свет этого издания «Отечественные записки» откликнулись рецензией М. Е. Салтыкова-Щедрина. Журнал, возвращаясь к напечатанному на его страницах роману, тем самым дал понять, что считает его появление в литературе принципиально важным. Автор отзыва, рассматривая «Где лучше?» в связи с предшествующим литературным развитием, особенно настойчиво подчеркнул новизну произведения. Роман Решетникова дал возможность убедиться, что «русская простонародная жизнь дает достаточно материала для романа». В таком романе «главным действующим лицом и главным типом» будет «целая народная среда», так как лица, соединенные «гнетущим интересом», естественно, не могут выделять ярких индивидуальностей. Тем не менее, в рецензии указывалось читателям на «тип простой русской женщины», какой является героиня романа Пелагея Прохорова.

Заметим, что и в других произведениях Решетникова большое место отведено судьбе женщины. Внимание и уважение к ней легко объясняется самостоятельностью женщины в семьях мастеровых уральских горных заводов. Женщина целиком вела дом, отвечала

за него. Мужу, работающему на заводе 12—14 часов в сутки, не оставалось времени вмешиваться в распорядок быта. Возможность найти применение женскому труду вне семьи также уменьшало ощущение зависимости от мужа, от отца.

В романе «Где лучше?» шире и полнее, чем в любом другом произведении о народной жизни, каких немало создавалось в шестидесятые годы, отразилась целая историческая полоса в жизни трудящихся России. После реформы 1861 года «освобожденный» народ оказался в горькой и, казалось, неизживно постоянной кабале новых «деятелей» отечественного прогресса: равнодушных к страданиям других сытого кулака, подрядчика, скупщика, заводчика, фабриканта. «На место цепей крепостных люди придумали много иных»,— предупреждал Н. А. Некрасов.

После реформы 1861 года на многих заводах Урала большая часть населения осталась «не у дел». Но, боясь оказаться без резервных рабочих рук на случай расширения производства, сулящего увеличение барышей, заводууправления разрабатывают в ходе реформы такую систему, которая «привязывает» к заводам бывших крепостных. У них сохраняется усадьба, дом, покос, иногда пахотный участок, что позволяет и засеять несколько десятин земли. Все это зависит не столько от твердых положений об обеспечении рабочих, вышедших из крепостной зависимости, сколько рассматривается как «милость» заводчика. А милость она милость и есть. Хочет управитель — лишит земли, не даст права вывезти дров из заводского леса. Иллюзия самостоятельности: свой угол, никому кланяться не надо, свой огород, своя корова и покос, чтобы заготовить сено,— дорого обходилась уральским рабочим в пореформенную пору. Стремление получить работу на месте, не уходя от родных краев, порождало конкуренцию, а она позволяла держать зарплату мастеровых на самом низком уровне. Как писал В. И. Ленин, даже в девяностые годы заработок уральских горных рабочих был почти в три раза ниже, чем на юге.

Но некоторая часть бывших мастеровых все же рвала с насильственными родными местами и уходила, разыскивая, где же лучше? Они шли на горные промыслы, на золотые прииски, на сплав караванов, на строительство железных дорог.

Решетников нарисовал этот процесс, характерный для страны в целом. Не только бывшие крепостные рабочие, но и масса крестьянства, разоряемого и остатками крепостничества, и новым кулацким хозяйствованием в деревне, двинулась по дорогам России в поисках работы и хлеба. Двинувшись, перемешалась, стремительно обогащаясь знаниями, поднимаясь к пониманию неслучайности судьбы, к осознанию общности путей и целей. В. И. Ленин не один

раз говорил о громадном значении подвижности населения в социальном воспитании трудящихся.

Сюжет романа «Где лучше?» прост, как сама жизнь. Двое мастеровых, Горюнов и Короваев, вдова Пелагея Прохоровна, которая не оставляет в заводском поселке ни кола, ни двора, и двое ее малолетних братьев отправляются в путь. Не ищут они золотых палат. Найти бы такое место, где можно было бы работать, жить не впроголодь, да чтобы было хотя бы минимальное уважение к человеческому достоинству. Кто-то сказывал, что можно найти работу и заработок на соляных промыслах, и они пошли туда. Но и здесь конкуренция, ожесточение, нищета, скудность. А тут манящим призраком встало золото, которое добывают на прииске. Горюнов уходит туда. Короваев — мастеровой, который ценит свою профессию, мастерство, устраивается на завод, неподалеку от промыслов. Временно распалось товарищество. Пелагея Прохоровна, все так же движимая тоской по простой и здоровой жизни, сначала живет в городе то в прислугах, то на «самостоятельной» работе в прачках, затем на строительстве железной дороги, а отсюда приезжает в Петербург.

Обо всем этом рассказывается так, как может говорить о событиях, значительных для действующих лиц, человек им близкий, входящий во все мелочи их существования, значительные для них, понимающий все их «резоны» в пользу того или иного поступка. Уважительное отношение к людям выражается в том, что автор называет своих героев не иначе как по имени и отчеству: Пелагея Прохоровна, Игнатий Прокофьевич, Влас Васильевич. Сами они в общении между собой тоже не употребляют унижительных кличек, которые так возмущали Белинского.

Пелагея Прохоровна, молодая вдова, ищет не только обеспеченной жизни: при ее миловидности она могла сделать «приличную партию» и жить безбедно. Но во всех ее исканиях большое место занимает забота о самостоятельности, о независимости и, главное, об обороне своего достоинства. Ведь в ней все видят зависимого и нуждающегося человека, и каждый хочет эту зависимость использовать в своих интересах и целях. При расчете с соленокскими смотрителями не добавят им денег, он знает, что они все равно никуда не уйдут, снова будут работать у него. Одинокая молодая женщина становится предметом наглых притязаний мужчин, ощущающих ее зависимость, невозможность прожить одной, без «кормильца», без «покровителя». Даже обывательницы городка не могут допустить мысли, что женщина живет трудом, честно получая за него деньги, а не торгует собой или хотя бы не распутничает так просто. Вокруг честной, душевной, доброй, трудолюбивой молодой женщины — холодный и враждебный мир.

Заслуга Решетникова в том, что он увидел способность трудового человека не склоняться, не сламываться, не подчиняться подлости. Основа этого — в трудовой народной нравственности, складывающейся на протяжении многих столетий. Кроме того, в среде простых рабочих уже появляются подлинно человеческие отношения, понимание общности судьбы, общности задач, необходимости действовать вместе.

Громадную роль играет в сюжете романа, в жизни и судьбе Пелагеи Прохоровны рабочий Игнатий Прокофьевич Петров, новый характер, совершенно не известный в литературе ранее. Петров любит и умеет трудиться. Стойкость, твердость, простота и глубокое понимание жизни делают его человеком нужным для всех рабочих завода. Решетников намекнул, что Петров пострадал, защищая интересы товарищей по работе. Этот человек по-новому строит и свои отношения с женщиной. Он глубоко уважает Пелагею Прохоровну, полюбив ее, видит в ней товарища. Семейную жизнь мыслит он как жизнь полную широких интересов, дающую новые силы.

О романе, как произведении, в котором впервые так широко освещены судьбы рабочего класса России, говорилось в советском литературоведении много. И правомерно. Но вместе с тем всякий разговор о специфике романа из жизни рабочих как-то незаметно способствовал выведению его из ряда литературных произведений, которыми отмечены точки развития русского общества, его художественного сознания. Правда, не забывали упомянуть, что роман как бы продолжал традицию романов-вопросов: «Кто виноват?» и «Что делать?» Это верно. Но в каком отношении к ним он находился, этот роман «Где лучше?», речи не шло.

Названные выше романы Герцена и Чернышевского фиксировали развитие революционного интеллигентного сознания, занятого вопросами о судьбе личности, страны, крестьянина. Решетников же передает самые обычные требования труженика, истомленного и жаждущего жить по-человечески. Поэтому-то он и начинает с вопроса — где лучше? Только позднее Решетников и его герои обнаружат, что надо сначала понять, кто виноват? А получив ответ на этот кардинальный вопрос, надо найти, что делать? Тогда снимается и начальный вопрос рабочей, труженической жизни, где лучше? Потому что вопрос-то, оказывается, надо ставить так: как лучше? Как лучше жить людям, чтобы не было насилия, нищеты, гибели, уродств, насмешки над человеком.

Вопрос о «виновности» социального строя, поднятый Герценом, поставлен в романе Решетникова. Только вместо крепостничества трудящиеся люди, которые стали чувствовать в себе человека, столкнулись с иным «живодерством», с постоянной зависимостью от дру-

гих обстоятельств. Они выкинуты на громадный рынок труда, дающего все выгоды покупателю, а продавца оставляющего в нищете, а то и на краю гибели.

В отличие от ряда других писателей, говоривших о народе, Решетников обращает внимание не на самую эксплуатацию трудящихся, не на общий характер их нравственных представлений, а на то, как все это переживается человеком, который медленно, но верно, все более становится личностью.

Такая акцентировка проблем в романе из народной жизни позволяет сблизить «Где лучше?» с романом Герцена, завершавшим известный этап исканий личности, требующей свободы, нравственного раскрепощения, возможности полного общественного самоутверждения. Конечно, обнаружить такую близость в шестидесятые годы прошлого века было трудно. Но позднее становится ясно, что утверждение независимости, свободы, человеческого достоинства займет в жизни рабочего человека не менее важное место, чем некогда у герценовской интеллигентной личности.

Создавались «новые люди» в борьбе за новые отношения на почве ликвидации крепостничества. Их видел Чернышевский. Новых людей из среды рабочих обнаружил Решетников и вместе с ними нащупывал, что же делать? Герой романа «Где лучше?» Петров понимает, что искать, где лучше живет человек, бесполезно. Нужно так устроить, чтобы труд человека был свободным, и его не обижали бы те, «кто хочет жить в свое удовольствие». Это еще не программа борьбы, но уже та почва, на которой возникнет интерес рабочих к научному коммунизму, как философии, отвечающей на вопросы их жизни.

Роман сыграл значительную роль в решении проблемы, которая стояла перед реалистическим искусством в России. Литература открывала зависимость формирования характера от социальной действительности. Но почему же одна и та же среда создает различные, иной раз противоположные характеры? Если есть обусловленность всех сторон деятельности человека, то существует ли свобода воли и ответственность личности перед обществом? Если же одна сторона личности определена средой, а другая нет, то есть свободна, то где основа таких двойственных связей человека и жизни?

Решетников заметил и показал, что жизнь трудящегося человека имеет два социальных аспекта. Один — это условия равенства в трудовом коллективе, вызывающие отношения уважения к другому такому же труженику, это жизнь в таком социальном коллективе, в котором есть основания для братства и равенства. Другой же — это те конкретные социальные столкновения, которые уродуют трудовые отношения, вносят вражду из-за борьбы за право на труд,

за большую оплату, из-за конкуренции, из-за произвола, гарантированного капиталом. Если этот второй аспект создает те формы, в которых приходится реально жить героям романа, то первый — основа положительных качеств, основа начинающейся смелой борьбы за право быть человеком, борьбы Петрова, Пелагеи Прохоровны и других.

Герои романа пришли в тупик, желая найти место, где бы в трудовую их жизнь не вмешивались враждебные социальные силы. Поэтому-то они и переходят к мысли о создании иных обстоятельств, требующих укреплять трудовое товарищество в борьбе за то, чтобы жить лучше.

Заслуга Решетникова не только в том, что он первый показал путь формирования общественного сознания рабочих: от грубоватых, неумелых протестов против «начальства», сменяющихся мрачным смирением, до готовности к рабочей солидарности, вырастающей из дружеского уважительного отношения к товарищу по работе, из крепкой убежденности в существовании права жить по-человечески. Он открыл новый способ понимания и изображения жизни. Разумеется, его открытия лежали в области реалистического искусства, но в самом реализме он находил неиспользованные возможности. Особенности изображаемой среды несли с собой и особенности ее обрисовки.

Многим его современникам, даже благожелательно настроенным, казалось, что Решетников как художник просто не выработался. Тяжелые обстоятельства жизни самого писателя, необходимость срочно сказать слово о трудящихся, не дожидаясь поры, когда оружие для этого будет подготовлено, — все это, как полагали, просто мешало становлению решетниковского мастерства.

На первый взгляд, такое представление может показаться справедливым. В самом деле, читается роман нелегко, в него приходится входить постепенно, привыкать к языку писателя. Сначала мы замечаем массу деталей, на которые раскладывается жизнь. Перед нами выстраиваются цепочки фактов, едва связанных друг с другом причинно-следственными связями. Мы встречаемся с рядом героев, и из этого ряда не можем выделить главного. И все же чувствуем, что такое выравнивание персонажей романа по степени внимания к ним не говорит о равнодушии или неумении автора. Он как бы воспроизводит живую модель подлинных жизненных отношений в той среде, которая далека от индивидуалистического самоутверждения, хотя и горячо защищает личность.

Не сразу мы привыкаем и к внешне безоценочному повествованию, когда одним тоном говорится о маленьких неприятностях и больших драмах, и только потом поймем эту манеру рассказа.

Каким-то примитивным и угловатым покажется сперва и авторский язык, потом станет ясно, что иным воспользоваться было бы неуместно.

Читая «Где лучше?», надо овладеть ключом к повествовательной манере Решетникова, тогда вскроется обаяние непривычной художественной формы.

Последние годы жизни Федора Михайловича, уже признанного писателя, были далеко не безоблачными. Часто приходилось ему с семьей жить на выдаваемые Некрасовым в счет будущих гонораров небольшие суммы, не обеспечивающие сносных условий существования. Между тем по самому характеру творчества писатель нуждался в постоянном пополнении впечатлений от жизни той среды, которую он изображает. В 1865 году Решетникову удалось, хотя и с большим трудом, собрать самую незначительную сумму, позволившую отправиться в поездку на Урал. В результате путешествия были написаны «Очерки обозной жизни», имеющие силу самого правдивого документа, заготовлены материалы для романов.

Реакция, наступившая после каракозовского выстрела в 1866 году, коснулась и Решетникова, роман которого «Горнорабочие» в закрытом правительством «Современнике» остался не законченным. Но писатель не пошел ни на какие компромиссы, не попытался избрать темы «нейтральные». Стремление говорить правду о рабочих, их нуждах, надеждах было сильнее всех других соображений и побуждений. Сильнее попреков жены, укоров ляди, сильнее соблазна жить «как другие». Неудачи следовали за неудачами, мешая жить и писать. А жить было трудно, и еще труднее оттого, что сказывалась привычка к вину, приобретенная в дни голодного существования на жалованьи канцелярского служителя. Застарелый легочный процесс тоже давал о себе знать. Соединенные усилия алкоголя и болезни рано свели в могилу этого хмурого на вид человека, с сердцем, любящим простых людей, с постоянной думой о их будущем. Девятого марта 1871 года он скончался.

Мы опираемся на все достижения культуры и наследуем все истинно прекрасное и умное, созданное в веках. Мы не можем пройти мимо тех страниц истории, на которых записано наше собственное прошлое, запечатлены первые, пусть еще робкие голоса в защиту права рабочего класса на человеческую жизнь, отражены начальные способы его социального мышления. Мы не можем с особой благодарностью не вспомнить о Ф. М. Решетникове, который был первооткрывателем рабочей темы в литературе России.

И. Дергачев

Ф. РЕШЕТНИКОВ • ГДЕ ЛУЧШЕ?
РОМАН В ДВУХ ЧАСТЯХ

В ПРОВИНЦИИ

I

Путники

Зима. Небо заволокло тучами. Дует резкий ветер. На большой дороге, близ села Моргунова, никто не идет и не едет; только полесовщик, сидя у своего шалаша, имеющего вид пирамиды, занесенного и убитого для тепла с трех сторон снегом, покуривает из трубки махорку и, поплеывая направо и налево, сосредоточенно смотрит на толстое, сосновое дерево, одиноко стоящее от опушки леса, сквозь который в некоторых местах теперь, в зимнее время, видятся пустые пространства, покрытые толстыми слоями снега. Вот проехала тройка почтовых лошадей, запряженная в повозку с заледенелою поверх ее накладкою, с почтовым ящиком и каким-то чиновником в шинели и фуражке с кокардою; но если бы не колокольцы, то полесовщик, казалось, и не обратил бы внимания на этих проезжающих. Когда повозка уже скрылась с изгибом дороги из вида, полесовщик встал, засунул трубку в карман полушубка и сказал, глядя на дерево:

— Кабы не начальство, срубил бы я тебя! Ей-богу... Два бревна бы из тебя сделал, и полтинник был бы у меня в кошельке... И знатный бы я купил платок хозяйке!.. А срубить нельзя, потому все деревья на перече-те.

И полесовщик, почесавши спину, ушел в шалаш.

Немного погодя на дороге, с западной стороны, показалась небольшая группа людей, шедших врассыпную.

Когда из шалаша вышел полесовщик с чугунным ломом, эта группа, состоящая из пяти человек, уже приблизилась к нему.

Полесовщик, положивши лом на левое плечо, стал разглядывать приближавшихся путников. Впереди шел мужчина лет сорока восьми, с корявым широким лицом, на правой щеке которого был большой шрам, с кудреватými пепельного цвета волосами и маленькой бородкой тоже пепельного цвета, с большими глазами, густыми сросшимися бровями, с толстым носом и бородавкой на левой ноздре. На нем надет был тулуп, сшитый из овчин и покрытый синим, уже облинявшим сукном. На ногах сапоги, на голове фуражка, на шее ситцевый платок, свернутый наподобие галстука. За ним шел человек лет двадцати восьми, с бледным, привлекательным лицом, голубыми умными глазами, с небольшими усами и пепельного цвета волосами на голове, остриженными в скобку. На нем тоже был тулуп, крытый черным сукном, с закинутыми полами за красную тканую опояску; на голове фуражка, на ногах сапоги. Шагах в двух от него шла женщина лет двадцати, с румяным правильным лицом, карими глазами. Голова ее была покрыта желтым шерстяным платком с радужным кружком, в виде колеса, на затылке; на ней надет шугайчик, подбитый куделею и покрытый зеленым тиком. Этот шугайчик покрывает только грудь и спину, а ситцевый серый с цветочками сарафан служит дополнением одеяния; но и сарафан этот не совсем прикрывает ноги, обутые в шерстяные чулки и ботинки. Все трое несли на спинах по мешочку или узелку разных величин, а у второго мужчины, кроме этого, к мешку была привязана пила. За женщиною шли рядом два мальчика, из коих одному было лет осьмнадцать, другому пятнадцать. Лицо старшего было очень бледно и худощаво, на нем выражалась боль; лицо же младшего было полно, румяно и красиво; в глазах старшего замечалась злость, презрение, в глазах младшего — хитрость и плутоватость. Костюмами оба мальчика не щеголяли: на обоих надеты были тиковые халаты одинакового зеленого, полинявшего цвета, продранные под пазухами и на локтях, отчего у старшего виднелась загрубелая сине-красная кожа локтя, а у меньшего — рукав красной изгребной рубахи; на обоих были надеты фуражки с разорванными бумажными козырьками; на ногах старшего были худые сапоги, на ногах младшего — ботинки.

Первый мужчина поравнялся с полесовщиком.

— Здорово, живая душа! — проговорил он, сняв фуражку, и пошел к полесовщику.

Остальные сгруппировались в одном месте, но второй мужчина пошел за первым.

— Куда бог несет? — спросил, улыбаясь, полесовщик, глядя на лицо подошедшего мужчины.

— Туда, где лучше.

— Ха-ха!

— Да! Вот ты и раскуси!.. Небось, много лет по лесу шатаешься, а не выдумал другого места?

— Што и говорить! — и полесовщик задумался.

Мужчина стал накладывать в трубку табак; полесовщик тоже вытащил свою трубку и подставил левую ладонь к мужчине; тот, не говоря ни слова, насыпал на ладонь полесовщика немного табаку.

— Скоро ли вы там? — сказала женщина по-заводски, растягивая последнее слово.

На нее никто не обратил внимания. Мальчики пошли к шалашу, за ними пошла и женщина.

— Издалека идете? — спросил мужчин полесовщик.

— Да верст двести будет...

— Сперва ехали по-цыгански — все вместе, то на дровнях, то на дровах, как придется. Да больно тихо и холодно. Пехтурой-то лучше! — говорил молодой мужчина.

— Так вы туда, где лучше! Гм!! Где же это такое место? — говорил в раздумье полесовщик.

— Искать будем.

— Это все вместе — все пятеро?! Это хозяйка, молодуха-то? — спросил полесовщик молодого мужчину.

— Хозяйка.

— То-то: лицом-то схожи.

— Врет! Какая я ему хозяйка: он Короваев, а я Мокроносова.

Молодой мужчина поглядел сердито на женщину.

— Чево лицо-то корчишь? Ты наперед женись на мне, да потом и хвастайся! — проговорила женщина.

— Однако баба-то у вас вострая. А должно быть, неаккуратная, што у нее башмак развязался и завязка — эвон де болтается! — проговорил полесовщик и захохотал.

Щеки женщины покраснели более обыкновенного, и она, отошедши немного, стала завязывать ботинок.

— Што ж, али у вас своего хозяйства нету, што вы пошли? — спрашивал полесовщик путников.

— Было, да разъехалось, — сказал пожилой мужчина.

— А ты, видно, столяр?

— А што? Есть здесь где работа?

— Да оно, пожалуй: столяр не полесовщик... Вам об этом говорить нечего — люди заводские, как и я, грешный человек. Только у меня в селе Демьяновом есть шурин; так, братец ты мой, он этим ремеслом так разжился, что мое почтение! Сызмальства к этой работе приучился.

— А ты-то што же торчишь тут?

— Э! То-то ты заводский человек, а ума-то у те мало. Што и говорить, коли, раз, я не обучен к такому ремеслу... топором я мастер, а стругать — нет; а другой: здесь все ж вольготнее.

— Так он как — один или с рабочими работает?

— Один, один, без рабочих, как перст... Да и окромя его, есть мастера, да уж те супротив него далеко не в ходу. А ты не к нам ли искать-то счастья идешь?

— Нет... я посмотрю.

— То-то. Если к нам, так ты ожжешься. Народ у нас вот какой: все бы взять... А што до отдачи, так на этом покорно благодарим... Вот што!

— Што ж мы здесь на житье, што ли, пришли? — крикнула женщина.

— Так ты говоришь, место дрянь? Эдак нажить капитал нельзя? — спросил полесовщика пожилой мужчина.

— Ха-ха! Да откуда нажить-то? Ежели торговлей; так торгашей — как червей!

— Ну, это еще надо узнать. Прощай, друг, спасибо за огонь!

И путники пошли не торопясь, разговаривая друг с другом.

Полесовщик долго стоял в одном положении, глядя на удаляющихся путников.

— Ишь ты! Пошли искать, где житье лучше! Оказия! — сказал он и, как только скрылись путники, пошел в лес, говоря сам с собою: — где лучше?.. Посмотреть на вас, так плевка не стоит. А тоже чево-то ищут... Ах, горе, горе!..

История путников

Пожилой мужчина, Терентий Иванович Горюнов,— отставной мастеровой Терентьевского горного завода; женщина, Пелагея Прохоровна Мокроносова,— мастеровская вдова, племянница Терентия Ивановича Горюнова; мальчики — ее братья: старший — Григорий Прохорович Горюнов, младший — Панфил Прохорович Горюнов. Другой мужчина — мастеровой Теренгьевского горного завода, Влас Васильевич Короваев.

Все эти лица назад тому год жили в Терентьевском частном горном заводе и имели различные занятия. Терентий Иваныч с самого детства слыл в заводе за чудака, потому что забавлял всех своею непонятливостью и своею смешною физиономиею, которая, говорят, с детства была очень уродлива. Поэтому, может быть, он, вместо рудничных работ, попал на посылки к разным должностным лицам завода — и в таком положении проболтался до двадцатипятилетнего возраста, когда у него явилось непреодолимое желание жить своим умом, своим хозяйством и иметь самостоятельный род занятий. На первых порах он мог выдумать только музыкальное занятие, то есть игру на гармонике, на которой лучше его во всем заводе никто не играл. Стал он разыгрывать в кабаках разные заводские песни; а так как кабаки в то время существовали от откупа, водка была дорогая и скверная, почему в будни покупателей ее было мало, то целовальники придумали такое средство: за каждое посещение Терентия Горюнова с музыкой и за игру для посетителей, не менее десяти человек, платить ему гривну меди. И Терентий Горюнов ежедневно по вечерам, как раз к тому времени, как рабочие возвращались с работ из фабрик домой, садился на крылечко кабачка и, завидя какого-нибудь рабочего, начинал играть какую-нибудь заунывную заводскую песню, зная наперед, что у рабочего и без музыки невесело на душе. Поравнявшись с Горюновым, рабочий останавливался.

— Што, Тешка, горе великое, плачешь? — спрашивает рабочий.

— Горе мое великое, выпить хочется, да денег нема! — говорит Горюнов и продолжает наигрывать.

— Будь ты проклятая, пакля!

Рабочий плюнет и пойдет.

— А ты заходи: в долг поверит, а я развеселю.

Рабочий подумает-подумает: руки и ноги болят от работы, кости ломит, на душе невесело — и зайдет в кабак, и если нет денег, целовальник отпустит водки на мелок.

Мало-помалу музыка Горюнова производила свое действие: за одним рабочим шли в кабак другие и, выпивая водки, заставляли его играть на гармонике. И редкий день проходил без того, чтобы Горюнов не получал от целовальников по гривне. Но зато эти деньги не легко ему доставались. Не говоря уже о мозолях на пальцах, ему постоянно приходилось сносить насмешки и ругательства рабочих, заключавшиеся в том, что он, Горюнов, нарочно прикинулся дурачком для того, чтобы ему не работать, что он вовсе не дурак, а первый плут во всем заводе. Хотя Горюнов и старался доказать, что он тоже работник, потому что играть целый вечер для одного или нескольких рабочих не шутка, что, забавляя рабочих, он этим самым, так сказать, выкупает фабричную работу, — но его не хотели слушать ни пьяные, ни трезвые. Доходило до того, что пьяные его били за малейшее слушание или просто за то, что он не умел угодить им игрой, так как музыка доводила некоторых до остервенения. Однако, как ни ругали его рабочие в пьяном виде, он все-таки слыл в заводе за отличного игрока, и только не пьющие водки называли его пропащим человеком.

Своею гармониею, а главное игрой, Горюнов произвел мало-помалу такое действие, что не было в заводе мужчины, который бы хоть раз не посетил кабак и не выпил там чего-нибудь. Если кто до тех пор имел о кабаке дурное понятие, тот с этого времени находил много в нем утешения; не пьющий водки человек заходил туда потешиться над пьяными товарищами и выпить за компанию кружку пива, которая стоила грош; дома убийственное однообразие, писк детей, ворчание старухи матери; в кабаке — пляски, дружественные разговоры, игра Горюнова на гармонике, песни... И Горюнов прославился. Но сильно зато его невзлюбили женщины и девицы. По их понятиям, Горюнов был самый развратный негодяй, которого непременно нужно каким-нибудь образом вытурить из завода, потому что он развращает мужей, отцов, братьев, сыновей и женихов. Прежде, бывало, мужчины в свободное время что-нибудь делали дома, а теперь все время

проводят в кабаке, и если не пьянствуют, то играют в карты или в шашки. Кабак не только для взрослых, но и для подростков стал лучше дома. Прежде, бывало, подросток играет с девками на улице в мячик, а теперь сидит в кабаке и сосет трубку или папироску... И чего-чего не делали бабы и девки заводские с Горюновым! Мало того, что они ругали его в глаза, но частенько из-за угла выливали на него ушат с водой, хлестали по нем из окон мокрыми вениками, жаловались на него полицейскому начальству — ничто не помогло... Но в жизни всегда бывает так, что то, против чего мы протестуем во время нашей скуки, в другое время нам нравится. Так и без Горюнова не проходила ни одна богатая вечеринка или свадьба в заводе, ни одно народное гулянье; тогда Горюнов нравился всем своею игрой, нравился женщинам своею остротой, девушкам — шуточками и уморительными рассказами, иногда даже очень некрасивого свойства, да притом он не протестовал, когда над его лицом и манерами издевались хуже, чем над куклой.

Горюнов был добрейшее существо: никто не слышал от него никогда не только бранного слова, но и неудовольствия; он всегда казался весел, доволен своею судьбою; но никто не знал того, что такое занятие не нравится Горюнову. Никто не знал, что Горюнов замышляет другой род занятий, копит гривны, собирает всякие бросовые вещи (что относили к его дураковатости)... И каково же было удивление терентьевцев, когда Горюнов к масленице соорудил для заводчан катушку с горы!.. До тех пор катушка существовала на пруду, то есть ее делали на столбах; теперь же Горюнов разыскал в горе такое место, которое как раз было для этого удобно. Все заводчане бросили старую катушку, кинулись к Горюнову... Горюнов торжествовал целую масленицу и собрал немало денег. Деньги эти он употребил на покупку дома своей любовнице, вдове Тюневой, которая торговала на Широкой улице калачами и секретно — пивом и брагой. Все в заводе знали про эту связь, но не обращали внимания, потому что Горюнова считали за дурачка, а Тюневу за самую последнюю женщину, от которой уже нечего ожидать хорошего. Горюнов днем терся в ее доме, изредка зазывая гостей, угощая их пивом и брагой и наигрывая на гармонике, а по вечерам, как ни в чем не бывало, являлся к брату. Семейство брата не только не было

недовольно тем, что Терентий Иванович ничего не помогает в хозяйстве, но ему даже приятно было то, что он приносит ему то свечку сальную, то булку и утешает маленьких ребят своими прибаутками. В семействе все любили его, особенно дети.

Горюнов никогда ничем не хвастался и ничем не гордился, да и нечем было; однако рабочие заключили, что он не такой дурак, как об нем думают бабы. Они думали, что Горюнов неспроста перестал играть в кабаках на гармонике. Другие на его месте непременно стали бы пьянствовать, попрошайничать, а он нет. Он своей любовнице дом купил, а это что-нибудь да значит! И хоть бы любовница была молодая да красивая, а то корявая, длинноносая, низенькая ростом — такая, что ее возьмет замуж разве такой рабочий, которому не на ком больше жениться; мало этого, любовница даже бьет Горюнова. «Нет,— говорили рабочие: — Тешка выкинет какую-нибудь штуку и удивит нас всех чем-нибудь, на то он и при полиции и при разных начальниках на посылках состоял и от них, вероятно, что-нибудь да перенял...» Пробовали было рабочие советоваться с ним — никакого не вышло толку: Горюнов несет такой вздор, что смешно становится, а как засмеются рабочие, и он захохочет. Тем советы и кончатся.

Брат Горюнова был совсем другой человек. Он сызмалетства работал в рудниках, прошел все тягости горнозаводской обязательной на помещика службы, был человек горячий, справедливый, никому не льстил и от этого много терял,— и, наконец, за одну жалобу, сочиненную писарем Мокроносовым и подписанную им, его назначили в самые тяжелые работы, где он и умер, а жена его, ходившая с жалобой по этому случаю к главному горному начальству, не только ничего не выходила, а ее привезли из горного города связанною, избитою и сумасшедшею.

В это время Горюнов женился на любовнице, а племянница его вышла замуж за писаря Мокроносова. Пелагея Прохорова была девушка смирная, работающая. Ей нравился писарь не потому, что он умел играть на гитаре, говорил складно, умел рассказывать непонятные для нее вещи так, что она понимала их, но за то, что его любил ее отец. Сам Мокроносов ничего хорошего не мог обещать своей невесте, а только уверял, что он ее будет любить, будет стараться для ее счастья всеми силами, а

главное — не станет пить водку, которую он незадолго до свадьбы стал употреблять в большом количестве. И действительно, месяца три супруги жили хорошо, но потом Пелагея Прохоровна стала замечать, что муж ее тоскует, попивает понемногу водку, не говорит с ней ласково, а если и скажет, так с сердцем. Узнала она, что мужа ее притесняют за то, что он восстает против разных несправедливостей, делаемых рабочим заводоуправлением. Всячески старалась молодая женщина утешить своего мужа, — муж запил, нагрубил кому-то, и его назначили куренным рабочим; а тут еще стали бабы говорить, что он связался с какою-то женщиною. В это время умерла ее мать; за долги отца ее с братьями выгнали из дома, и она на первых порах поселилась у дяди, который тогда уже занимался торговлею.

Наконец муж Пелагеи Прохоровны захворал и умер; она осталась беременна и без средств, но, к счастью, попала на квартиру к доброй старушке ворожее, у которой и родила мертвого ребенка. Но этого ребенка не удалось ей увидеть, потому что старуха-раскольница бросила его в пруд, — на что она имела свои причины. У этой-то старухи Пелагея Прохоровна познакомилась с внуком ее, Власом Васильевичем Короваевым, которого она и прежде несколько раз видала с отцом.

Короваев — столярный мастер. Он работал чисто, хорошо и честно. Человек он был добрый, и малейшая несправедливость волновала его чересчур, но он никогда не задирает и не вооружал начальства, зная хорошо, что из этого ровно никакой не будет пользы ни ему, ни рабочим, а произойдет один вред. Работу он имел всегда; был вхож и к заводскому приказчику, — двигателю всего заводского дела. Он был холост и не хотел жениться до тех пор, пока не будет иметь средств откупиться на волю. Пелагея Прохоровна прожила в его доме две недели; как он, так и она друг другу нравились, но между ними даже и речи не заходило ни о любви, ни о женитьбе. Короваев видел в Пелагее Прохоровне женщину молодую, слабую, неопытную, завлечь которую стоило небольшого труда; но ему совестно было говорить ей о том, чтобы она искала себе какой-нибудь труд, что у него жить она долго не может; сказать же ей, что она ему нравится и что он думает жениться на ней, он не решался до тех пор, пока не выкупится на волю. Пелагея же Прохоровна думала:

«Он хороший мастер, но человек гордый. Вот бы такой мне муж... Только он не ласковый». А тут вышло такое обстоятельство, что ей нужно было идти к приказчику хлопотать о провианте братьям. Приказчик предложил ей быть его любовницей и хотел даже послать за ней лошадь вечером, но вечером же по заводу разнеслась весть, что в завод *привезли волю*. Переполох по этому случаю в заводе был страшный и продолжался недели три, и в это время Пелагею Прохоровну дядя Горюнов и Влас Васильевич увезли в город Заводск, где и нашли ей место кухарки, но сами попали в острог по подозрению в краже вещей у одного богатого купца. В остроге они просидели больше месяца, их нашли невиновными, но зато они не получили назад денег, взятых у них при арестовании; у Терентия Ивановича пропала в городе лошадь с телегой; когда же их привезли в завод как беглых, то Короваев узнал, что его сестра Василиса сожгла его дом, уехала на рудник и живет там с нарядчиком, что Григорий Прохорыч работает на руднике в шахте, а Панфил — в фабрике; Горюнов застал свою жену больною, жена сказала ему, что его дом отбирает начальство за его прогулы.

Дом от Горюнова действительно отняли, за то, что он прежде не работал на завод и не поставлял вместо себя работников, и выдали ему чистую волю. Горюнов поехал жаловаться, но ничего не выходил, а прожил все деньги. Без денег в заводе ему нечего было делать, а заниматься на фабрике или в лесу он не хотел; Короваев тоже не мог никак поправиться, потому что ему месяца три нужно было зарабатывать деньги на инструменты. Обоим друзьям жизнь опротивела в заводе; везде они видели несправедливости; народ стал беднеть, воровать, пьянствовать; многие пошли искать счастья в другие места.

Поэтому Горюнов, после смерти жены, решился идти в другое место искать счастья; с ним согласился идти и Короваев. Племянники Горюнова тоже обрадовались этому и стали проситься с ним. Горюнов и Короваев решили поосмотреться в городе. Но в городе рабочих рук оказалось так много, что не только нашим терентьевцам, но и многим другим трудно было достать какую-нибудь работу. Нельзя сказать, чтобы работы не было, но при наплыве рабочих со всех сторон плата за работу дается неболь-

шая, прежние рабочие стараются держаться прежних мест, а более ловкие оттирают от работы простаков. Горюнов и не искал для себя работы,— ему хотелось торговать, потому что и прежде он торговал гвоздями, медною посудой, фальшивыми серебряными вещами,— но так как теперь у него ничего не было для продажи, то нечего было и думать о торговле. Походил он по городу с неделю; навестил знакомых мастеров, которым прежде продавал камни — аметист, топаз и проч., хотел купить у них выделанные вещи, но мастера страшно дорожились. Поступить же куда-нибудь в лавку приказчиком Горюнов не мог, потому что в приказчики принимают людей знакомых, по рекомендациям. Так Горюнов и прожил без дела с месяц. Короваев тоже не мог найти выгодную работу, потому что в городе очень много цеховых мастеров и работать на продажу бесполезно. Счастливее их были Григорий и Панфил: они попали в извозчики, с платою в месяц по три рубля.

Положение Горюнова и Короваева было довольно неказистое: деньги выходили, а достать неоткуда...

— Здесь сколько хошь живи, ничего не наживешь. Этот город просто помойная яма! — говорил Горюнов.

— Да, Терентий Иванович! Были мы с тобой люди опытные когда-то.

— Не мы этому виноваты... Однако надо идти в другое место. Вот что я придумал: ведь у тебя много знакомых с золотых приисков. Не махнуть ли нам туда?

— Знакомые есть, только разве они помогут?.. Разве в ихней воле давать нам плату?

— Ты не то судишь! Мы будем иметь золото...

— Я на это не согласен. Лучше идти в другое место, где меньше городского народа.

— Постой! Я мальчиком был в селе Моргунове, — там соль добывают. Работы страх как много.

— Не лучше ли нам идти на пушечный завод? Он, говорят, только что начинается.

— Нет, уж я туда не пойду: там рабочих теперь много. Уж если здесь их много, то там и еще больше, а в Моргунове должны быть свои люди.

Через два дня после этого разговора, порасспросивши у разных рабочих, где лучше жить, Короваев и Горюнов решили идти на соляные промыслы. Но оставалось еще одно затруднение:

— Мы как пойдем: одни или нет? — спросил Коровьев Горюнова.

— Это ты насчет наших-то спрашиваешь... Оно, конечно, лучше, если все вместе будем жить. Только, сам рассуди... баба!

— Ну, с Палагеей Прохоровной мы, может быть, и поладим.

— То-то, чтобы не вышло чего-нибудь...

Горюнов пошел на квартиру Пелагеи Прохоровны. Она еще очень недавно поступила в кухарки к жене столоначальника и говорила, что хуже этого места она нигде в городе не имела. Но как ни тяжела была жизнь в кухарках, ей все-таки не хотелось уходить из города, к которому она начинала привыкать. Поэтому, когда Горюнов сделал ей предложение, чтобы идти вместе с ним, братьями и Коровьевым в другое место, она долго не соглашалась, и Горюнов убедил ее только тем, что она будет сама хозяйка, не намекая, впрочем, на Коровьева.

В это время у Пелагеи Прохоровны был уже короткий знакомый, дворник соседнего с ее хозяйкою дома, Егор Максимыч. Ему было годов под сорок, но он был еще красивый мужчина. Часто, как только Пелагея Прохоровна пойдет куда-нибудь, Егор Максимыч выходил из калитки, кланялся ей и говорил любезности. Случалось, по вечерам, когда не было дома хозяина и хозяйки, Пелагея Прохоровна сидела на лавке рядом с Егором Максимычем и разговаривала о заводской жизни, о своей барыне и т. п.; но Егор Максимыч вел себя прилично и никогда не позволял себе сказать какое-нибудь неприличное слово. Егор Максимыч был вдов и имел уже взрослую дочь. Поэтому ей никак не приходило в голову, чтобы он мог предложить ей выйти за него замуж; ей просто нравилось говорить с хорошим человеком, посоветоваться с ним.

Собралась Пелагея Прохоровна совсем, распростилась с хозяйкой и пошла к Егору Максимычу.

— Куда это? — спросил тот, точно в испуге.

— Искать доброе место — где лучше!

— Здесь, в городе?

— Нет. Дядя с собой зовет.

— Напрасно, Пелагея Прохоровна... А я на тебя надеялся...

— Хуже этой барыни уж едва ли я еще кого найду...
Уж теперь я в кухарках не буду жить.

— Ну, это еще вилами писано!.. А я на тебя крепко полагался...

— Что так?

— Да так... Думаю, баба молодая, красивая... работающая... А я вдов.

— Ну?!

— Неужели ты не догадываешься?

Пелагея Прохоровна захохотала и сказала:

— Полно-ко, Егор Максимыч! Ровня ли я тебе: мне двадцатый год, а тебе сорок четвертый...

— Только тридцать восемь... Подумай, Пелагея...

— Покорно благодарю.

— Напрасно ты идешь! Обманет тебя дядя,— помани меня!

Пелагея Прохоровна ушла. Дорогой сперва предложение дворника сместило ее, но потом ей сделалось стыдно: «И как это я не замечала, что он лебезит около меня для того, чтобы опутать меня. Поди, там все про меня говорят-нехорошо... А я, дура, говорила ему обо всем, думала, что он хороший человек. А он— нá, поди! Женишок!.. Уж если идти замуж, так за молодого, а то... И выдумал же ведь, что я пойду за него: ты-де бедная, а у меня деньги есть...»

Через день после этого они отправились с Григорьем и Панфилом в дорогу.

Дорогой они больше молчали, потому что о прошедшем говорить не стоило, а в будущем неизвестно что будет. Все, каждый порознь, надеялись, что где-нибудь да найдут они хорошее место. Теперь у каждого из них более прежнего было привязанности друг к другу и ко всем вообще, потому что прежде они жили порознь, каждый приобретал средства сам собой, а теперь идут они все вместе, и бог знает, кому из них будет лучше? Но никто так не нравился Пелагее Прохоровне, как Короваев. Ей нравился его высокий рост, его широкие мерные шаги, его лицо и глаза, с любовью смотрящие на нее в то время, когда он оборачивается, но не нравилось ей то, что он ничего не говорит с ней, а если и говорит, то при дяде... И хочется ей самой сказать ему, что за нее сватался дворник, ждет она удобную минуту, но когда дядя и братья отойдут далеко, ей сделается неловко: «Ну, хо-

рошо ли говорить ему об этом? Стыд! Еще подумает бог знает что». А если и взглянет на нее Короваев, встретятся их взгляды,—сердце Пелагеи Прохоровны точно ожжет что.

III

Короваев отделяется от Горюновых

— А скверно, что мы не спросили, где лучше остановиться,—сказал Короваев, когда он и его сотоварищи свернули с большой дороги на проселочную, идущую между мелким кустарником березника.

— Э! Мы не богачи какие!.. Обглядимся, тогда и устроимся,—сказал Горюнов.

Мало-помалу стали редеть и кустарники. Наконец путников охватил резкий сильный ветер с левой стороны, и перед ними открылась широкая равнина. Это ровное место походило не на поле, а скорее на озеро, потому что справа и слева виднелись небольшие возвышенности, частью покрытые кустарником, а в середине равнины виднелась вода; в одном месте даже рос тощий мелкий кустарник, и от него до какого-то места стояли столбы. Но не это заняло путников. Налево от дороги строилось много барок; там и сям пилили доски, обтесывали бревна; народ копошился, и воздух оглашался стуком топоров, шарканьем пил, дружными возгласами нескольких голосов враз: «Дернем, подернем...» Наши путники не сводили глаз с рабочих и, наконец, подошли к одной кучке.

— Бог на помощь! — сказал Горюнов.

Рабочие посмотрели на пришедших, не переставая работать, и ничего не сказали.

— Почему робите?

— По шести рублей в месяц...

— Маловато.

— И это слава богу. А вы не здешние, што ли?

— Как не здешние? Любопытно стало — вот и спросили.

— Есть тут чего любопытного!

И путники пошли.

— А эта работа нам не с руки... У нас тоже строят барки, да только от них много не поживишься! — проговорил Короваев,

— Я помекаю: нельзя ли мне тут какую выгоду приобрести,— сказал в раздумье Горюнов.

Мало-помалу перед ними вырастало село, расположенное частью на низком, частью на холмистом месте; но виднелись только крыши и колокольни двух церквей, остальное же закрывалось рядом множества высоких столбов с перекладинами, насосов, варниц и высоких, в три яруса, амбаров.

Наши путники подошли как раз к промыслам, находящимся на берегу реки Дуги. По самому берегу, на невысоких, убитых деревом со сваями набережных стоят огромные соляные амбары; на воде стоят затянутые льдом два парохода, несколько судов и готовых уже барок или барок строящихся; между амбарами и набережными везде едут или с дровами, или с порожними дровнями. Далее, внутрь от амбаров, идут длинные лестницы к варницам; между ними стоят насосы, а расстояния между лестницами и насосами заняты дровами, бревнами, досками, кирпичом. Здесь рабочих почти не видеть; но зато здесь пахнет серой, и, несмотря на холод, кое-где с насосов и крыш сочится рассол и сосульками отваливается на сырой снег.

Походили путники по варницам, высмотрели все, что им дозволили посмотреть, и, между прочим, узнали, что и здесь рабочие перебиваются кое-как, и здесь плата за труд небольшая, и поэтому редкий рабочий не находится в долгу у тех, которые нанимают его работать.

— Везде, верно, одно,— сказал Короваев.

— Посмотрим. Земля-то не клином сошлась,— заметил Горюнов.

— Коли у тебя денег много — можно весь свет, пожалуй, обойти.

— И не ходи! — сказал Горюнов, обернувшись к Короваеву.

Прошли они церковь; недалеко от церкви увидели постоялый дом. На постоялом никого теперь не было, и хозяйка очень обрадовалась, что к ней пришло много гостей.

— Ну, что ты с нас возьмешь за постой? — начал Горюнов.

— А долго вы проживете?

— Не всё же мы у тебя будем жить... Мы надолго пришли сюда, своим домком надо будет заводитьсь.

— Что ж, дело хорошее. Прежде у нас все свои робили на промыслах, а после воли столько наехало заводских, что беда! Есть даже и такие, кои и дома себе настроили.

— Ишь ты!

— Ей-богу! Только народ — собака, нашим промысловым не уступит: наш-то еще думает, как бы ему мешок с солью утащить, а тот уж этот мешок утащил. Право!

— И всем дело есть?

— Теперь помене стало, потому с волей господ крепко прижались: где бы нужно все варницы пустить, а они только четверть. Оттого и соли помене, и рабочим мало дают. Теперь-то мало работы; а то весной и бабам много работы.

После обеда молодежь, в том числе и Пелагея Прохорова, улеглась спать, а Короваев с Горюновым пошли в село.

— На постоялом-то дворе невыгодно жить, Терентий Иванович, — сказал Короваев Горюнову.

— Надо будет поискать квартиру.

— Только я с вами жить не буду.

— Это дело твое, а я тебя не неволю. Только мы с тобой еще походим, поглядим, что за народ здесь.

Отправились они в харчевню. Там четверо мастеровых пили чай.

Короваев и Горюнов сели к столу, недалеко от мастеровых.

— Ежели мне теперь Усольцев не заплатит, я его камнем.

— Ну, не горячись. Уж ты эту песню давно поешь!

— Не веришь?

— А помнишь, как он с Агашки-то платок содрал, как ты расходился? И ничего!

— Агашка сама с ним разделалась.

— Полно!! Агашка, известно, поругалась-поругалась, да и только. А што наша ругань? Нет, ты бы его смазал хорошенько.

— Я его с лестницы!

— Дурак! С лестницы спустишь — в острог попадешь! Не так ли? — спросил мастеровой, обращаясь к Короваеву.

— Чево и говорить.

— А вы не здешние? Видно, на работы пришли?

— Да.

— То-го!

— Ну, и обожглись, значит. Заводские?

— Заводские. Только жить-то там нельзя: покосы и дома отняли; совсем разорили.

— Скверно. А все ж на одном месте лучше, я те скажу, потому всё свои, свои и выдадут, и выручат. Так ли?

— Это так. Только больно неприятно, когда есть нечего.

— Полно-ко! Коли бы жрать нечего было, не пил бы чай...

— Это можно себе позволить. Иной последние деньги на водке пропивает.

— Дело, братец, говоришь. Каким же ты ремеслом думаешь заняться?

— Да надо приглядеться. Я столяр.

— Барин!

— Почему барин?

— Потому что тяжелой работы не знаешь, с господами знаешься. С такими людьми мы компанство не водим; а потому — дабы повелено было, не доводя до греха, убираться вашему брату, стругалу, подобию-поздорову! — И мастеровой подошел к Короваеву.

— Однако ты, видно, по гражданской печати обучен? — проговорил, смеясь, Короваев.

— А это видишь? — сказал мастеровой, показывая черный кулак.

— И свои имеем.

— Тебе говорят -- уходи, потому эта харчевня наша: здесь все промысловые, с Поносовского промысла.

— Чем же мы вам мешаем?

— Мешаете, да и все тут.

— Послушайте! Уходите добром... Наши скоро придут; их много: их не заговоришь и не переборешь. Короваев и Горюнов не шли.

Мастеровые стали шептаться. Немного погодя один из них вышел.

— Понимаешь? — сказал шепотом Короваев Горюнову.

— Гармонийку-то я забыл, вот што скверно! — отвечал Горюнов.

Вдруг в харчевню вошло человек пять рабочих.

У двоих за кушаками были засунуты сырые серые мешки, остальные ничего не имели при себе.

— Где? Эти?! — крикнул дюжий рабочий и подошел к Короваеву и Горюнову, которые держали в руках блюдечки с чаем.

— Кто вы такие? — крикнул рабочий, уперши руки в бока и разодвинув ноги.

Остальные окружили стол, за которым сидели Горюнов и Короваев.

— А ты из каких, из полицейских? — спросил Короваев, поставив блюдечко.

— Из полицейских.

— Ну, так иди туда, откуда пришел!

— Ты зубы-то не заговаривай, а коли тебя турят (гонят), так пошел! — проговорил другой рабочий.

— Никто меня не волен гнать, потому я такие же деньги плачу, как и все.

— То-то, не такие. Афанасьич не возьмет с вас того, што он с нас берет.

— Известно. С не-наших всегда вдвое, — сказал хозяин харчевни и захохотал.

— То-то и есть. Вы должны быть благодарны, что мы вашему хозяину барыш доставили. Не приходи бы таких дураков, как мы, — пришлось бы закрывать заведение.

— Ох ты, осел!.. Много ты передашь!.. Хороший человек водку берет, а то пришли, взяли чаю на гривенник, да и сидят целый день! — проговорил хозяин и подошел к столу.

— Эй! кто из вас водку пьет — угощу! Знай терентьевского Горюнова! — сказал Горюнов вставши, — и сделал такую гримасу, что все смотревшие на него захохотали.

Скоро явился полуштоф; по выпитии из него по стаканчику рабочие уже не ругались с терентьевцами, а дружно разговаривали.

От них они узнали, что соляные промыслы находятся в трех селениях, отстоящих в недалеком расстоянии одно от другого, — Моргунове, Притыкине и Демьянове. Из них первые два принадлежали пяти разным владельцам, а Демьяново — казне. Сами господа никогда не жили в своих селах, а некоторые из них даже и не бывали в них. Они жили или за границей, или в столицах, и поэтому всеми делами заправляли управляющие с приказчиками, которые были или местные купцы, или отставные

чиновники, и обращались с рабочими, как настоящие господа. Но этих господ рабочим приводилось видеть на промыслах очень редко, раз или два в год; настоящими же хозяевами были смотрителя, нарядчики и тому подобная мелюзга, которая из каждого рубля, из каждой рогожи или куля старалась приобрести в свою пользу копейку. Они обсчитывали рабочих ежедневно; жалобы на них не принимались или оставались без уважения, и если, несмотря на это, рабочих всегда много было на промыслах, так потому только, что им нечего было есть; куда ни пойдешь, все работы находятся в руках этих пиявиц, например — постройка барок, судов, караулы, очистка льда и т. п.; даже торговлю всю они забрали в свои руки. Из всего этого Горюнов вывел то заключение, что ему здесь ничего не приобрести, и крепко призадумался.

Печальные вышли из харчевни Короваев и Горюнов: не того они ждали здесь. Им хвалили промысла.

— Надо попробовать, — сказал Горюнов.

— Нечего тут и пробовать, — проговорил сердито Коваев.

— Што ж делать-то?

— А я думаю идти в другое место. Пойду в М. завод. Если там не повезет на столярном ремесле, я буду пушки лить.

— Полно-ко, Влас Васильич!

— Это будет вернее... Говорят, там дают семьдесят пять копеек поденщины.

— Враки!

— Ну, а если не повезет там, и дальше пойду... Мне мастер Подкрытов сказывал, что, кроме Петербурга, нигде нет таких мест, где бы можно хорошо заработать деньги одинокому человеку. Только идти туда далеко.

— И все-таки твой мастер нажил на гранильной фабрике, не в Петербурге...

— Што ж ему было делать, когда он был сослан туда?

— Как знаешь, а я здесь останусь... Попробую.

Домой они пришли часу в девятом вечера. Григорий, Панфил и Пелагея играли с хозяйкой в карты у зажженной лучины.

— Ну уж и село... Дрянь, говорят, — сказал Горюнов.

— Кто это сказал? Небось мастерки! О, они никому добра не пожелают, — сказала хозяйка, сдавая карты.

— Да это и видно. Самые строения, что есть, нисколько от наших домов не отменились. Да вот мы давеча шли, почти на каждом углу нищий.

— Стоит на это обращать внимание; известно, нищий — лентяй!

— А если он на костылях?

— Мало ли их вон пьяных: зимой, как обрубки какие, на улицах валяются. Поневоле не только ноги, а и руки отморозишь.

— А я, Палагея Прохоровна, завтра в путь, — сказал Короваев, обращаясь к Пелагее Прохоровне.

— Куда? — крикнули Григорий и Панфил.

Лицо Пелагеи Прохоровны побледнело, и она не могла ничего выговорить.

— Пойду в М. завод.

— А как же ты все тараторил: в Моргунове хорошо, лучше Моргунова другого места нет... — сказал Григорий Прохорыч.

— Мало ли что говорили мне люди.

— Попросту скажи: с вами, мол, не хочу вместе робить, — сказала Пелагея Прохоровна изменившимся от внутреннего волнения голосом.

— Ну, это еще не доказано, — сказал Короваев и стал укладываться на лавке.

Хозяйка спросила, будут или нет они ужинать. Ужинать никто не хотел. Всем было не то скучно, не то неловко. Горюнов курил трубку за трубкой; Короваев лежал на лавке и что-то соображал, часто перебирая пальцы; Григорий и Панфил лежали на полатах на животе и, глядя на Пелагею Прохоровну, старались рассмешить ее. Пелагея же Прохоровна складывала желтый платок, который у ней в дороге был надет на голову. По этому складыванию заметно было, что у ней мысли не в порядке.

«Это он нарочно уговорил дядю идти сюда, чтобы потом самому легче уйти в другое место. Он знает, что дядя уж не пойдет в другое место. Он и прежде такой был: все бы ему лучше, все особенно от других робил... И деньги большие имел... И теперь у него должны быть деньги, потому он хотел раньше на волю откупиться, только, говорит, деньги сестра украла. Врет! Нет, он боится, чтобы мы у него не попросили денег. Должно быть, дядя просил у него денег».

И она вызвала дядю на крыльцо.

— Дядя! Ты не просил ли у Короваева денег? — спросила она Горюнова.

— С какой стати я у него буду просить денег, — сказал тот сердито.

— Я думаю, он боится, чтобы мы не попросили у него денег, потому и идет в другое место.

— То-то ты, баба, не в свое дело вмешиваешься. Иди лучше спать, а завтра пойдем в варницы, может быть, какую-нибудь работу достанем. — И Горюнов ушел в избу.

Пелагея Прохоровна успокоилась немного. Она знала, что дядя хотя и прикидывается дураком, но всегда говорит правду. И ей стало досадно, что она до сих пор так много думала о Короваеве, который, как надо полагать, о ней вовсе не думал, потому что если бы он думал о ней, то не сказал бы ей, что идет отсюда в другое место, не проживши здесь даже и суток. И сказал-то как, точно он куда-нибудь в лавку или на улицу уходит. А она считала его за своего человека; он ей нравился, человек молодой, высокий, степенный, непьющий, работающий...

И как ни старалась Пелагея Прохоровна успокоить себя, а заснуть не могла долго: Короваев разобидел ее.

«В самом деле, што я о нем думаю? Он мне чужой, и я ему чужая. И што я сержусь-то на него? Мало ли кто нравится, да я-то ему не нравлюсь».

Пелагея Прохоровна ворочалась с боку на бок, так что полати скрипели. Дядя и братья ее храпели.

— Оказия!.. Это оттого не спится все, что даве спала... — проговорила шепотом Пелагея Прохоровна.

— Не спишь? — произнес негромко Короваев.

Пелагея Прохоровна притаилась, то есть старалась не шевельнуться, не вздохнуть тяжело, чтобы Короваев думал, что она спит.

«Погоди!.. Коли ты гордец, и я буду такая», — подумала Пелагея Прохоровна.

— Не спишь, говорю? — произнес так же негромко Короваев.

«Ладно!» — подумала Пелагея Прохоровна, улыбаясь. Но через полчаса она уже сожалела о том, что не ото-звалась на голос Короваева, а потом, пораздумавши, пришла опять к тому заключению, что хорошо сделала.

«Если он хочет говорить со мной, отчего он не говорит

днем?.. Ишь, нашел время! Проснется дядя или который-нибудь из братьев, што они подумают? Ему ничего, а мне какво?.. Может, он при них не хочет говорить...»

Тут припомнились ей сцены с писарем, который старался как-нибудь поговорить с ней наедине; припомнилась ей сцена, как писарь полол с ней гряды в огороде. Сперва на другом конце гряды был, а потом мало-помалу все приближался к ней, полз, полз — да и обнял ее... Посмотрела она после на гряде, писарь только вид делал, что он выдергивает траву, потому что травы несколько не выдернуто.

«Ну, так зато тот был жених. Тот раньше говорил мне, что он жить без меня не может».

Так всю ночь и не спалось Пелагее Прохоровне. В четыре часа поднялся Короваев. Ночь была лунная, и луна хорошо освещала избу. Короваев одевался. Пелагее Прохоровне хотя и хотелось спать в это время, но она вышла во двор, чтобы ей не спать. Она сама не могла хорошенько понять: зачем ей нужно прощаться с Короваевым...

Вышла она во двор. Во дворе, крытом навесом, было темно, хоть глаза выколи. Наткнулась она на что-то, уперлась и заплакала.

Одно только она думала, что несчастнее ее нет женщины. С детства она не видала светлых дней, с мужем было еще больше горя, и только живя у Короваева она отдохнула немного, а потом опять пошла тяжелая жизнь... Не с кем ни поговорить хорошенько, не с кем посоветоваться как следует, никто не приласкает ее.

— Палагея Прохоровна! Ты где? — услышала она голос Короваева.

Слезы более прежнего пошли из глаз Пелагеи Прохоровны. Она рыдала.

— Ну, о чем ты плачешь, Палагея Прохоровна? — проговорил Короваев, ущупав в темноте Пелагею Прохоровну.

Пелагея Прохоровна очнулась. Ей и стыдно, и досадно сделалось, что ее поймали на месте, в слезах.

— Тебе што за дело? — проговорила она неровным голосом.

— Может быть, и есть дело... Ведь я слышал, што ты не спала всю ночь.

— Потому и не спала, что кусали.

— Полно-ко, Палагея Прохоровна... Однако вот что я тебе должен сказать один на один. Тебя я знаю давно, и ты меня знаешь... Палагея Прохоровна... Пошла ли бы ты за меня замуж?

— Вот уж!.. — сказала Пелагея Прохоровна, не зная, что сказать в эту критическую минуту.

— Скажу тебе одно, что теперь я не могу жениться, потому что у меня ничего нет, кроме пилы да долота. Теперь я пойду добывать себе капиталы, и если бог мне поможет да ты не выйдешь замуж, тогда... А до той поры — прощай... Дай мне руку... — Голос Короваева дрожал; он говорил, точно у него давно накопело в душе.

Когда Пелагея Прохоровна протянула ему руку, он крепко пожал ее и сказал:

— Твой дядя едва ли долго проживет здесь... Он думает идти на золотые, но я тебе идти туда не советую... Здесь будет лучше, потому что здесь и бабы работают... Подожди с месяц, а я поживу в М. и переishлю тебе в варницы с кем-нибудь весточку о своем житье. Прощай! — Короваев пожал крепко руку Пелагеи Прохоровны, выпустил ее и пошел к калитке.

— Ты уж разве совсем? — спросила с испугом Пелагея Прохоровна.

— Совсем. Кланяйся дяде и братьям... Там, на столе, я оставил хозяйке деньги за постой.

Последние слова Короваев говорил уже на дороге.

Пелагея Прохоровна остановилась в калитке и стала смотреть на Короваева, который, мерно и широко шагая, удалялся все дальше и дальше от нее и, наконец, скрылся в переулке.

Грустно сделалось Пелагее Прохоровне, голова ее отяжелела, слезы душили ее.

— Кто тут стоит? — крикнула грозно хозяйка с крыльца.

— Это я... — сказала, едва оправившись от испуга, Пелагея Прохоровна и заперла калитку.

— Чего ты тут торчишь?

— Товарища нашего проводила — Короваева.

— Как? Да он мне деньги не заплатил!

— Он на столе оставил... Будить тебя не хотел.

— Што меня будить, когда я всегда в это время встаю.

Хозяйка зажгла лучину и, удостоверившись, что на

столе действительно лежат медные деньги, подобрала их.

В это время Горюнов проснулся и через минуту сел, спустив ноги с печки.

— Ушел? — спросил он с удивлением и полуиспугом.

— Ушел совсем, — сказала Пелагея Прохоровна.

— И хорошо сделал.

И Терентий Иванович слез с печки.

Пелагея Прохоровна долго думала над словами дяди, но спросить его не решалась; однако он сам разрешил их, сказав хозяйке, что, разошедшись, они не будут мешать друг другу и сойдутся вместе там, где отыщут хорошее житье.

IV

**Горюновы поступают в рабочие на промысла
и опять встречаются с полесовщиком**

С рассветом Горюнов с племянниками вышли из постоянного дома. Горюнов сказал им, что надо искать квартиру, потому что в постоялом доме жить невыгодно, и нужно присмотреться к селу, которого они еще не знают. Пришли они на промысла; там работы были только в варницах, да и то половине рабочих нечего было делать, почему одни из рабочих отскабливали снег от дверей, другие починивали сапоги. От них они узнали, что работа бывает временно, и тогда народу требуется много; а в такое время, как теперь, работы едва хватает и на сельских жителей, потому что варницы не все пускают в ход в одно время.

— Вам лучше приделиться помесياً, потому тогда все же какая-нибудь работа будет. Только надо смотрителю взятку дать, — советовали рабочие Горюновым.

— А сколько он положит жалованья?

— Да глядя по человеку, как понравится. Попробуйте — может, он и примет... На него полоса приходит, ино время примет, в другое нет. Вон он у той варницы с саженью ходит.

Горюновы выждали, когда смотритель смерил поленницу, отпустил возчиков и пошел к насосу. Горюновы подошли к нему.

— Почтенный!.. — начал Горюнов.

Смотритель обернулся, оглядел Горюновых.

— Мы слышали, у тебя работа есть.
— Ну? — промычал сурово смотритель.
— Почему ты платишь в месяц?
— Это зависит от того, кто что делает и как делает. Только теперь на моих варницах полный комплект. Хотите даром?

— Кто же даром работает?!

— Ну, и убирайся... — И смотритель пошел.

Зол сделался Терентий Иванович. Злило его то, что ему хвалили Моргуново, и вдруг там нельзя найти работы, а если есть, то за нее нужно платить.

Однако Горюнов решился сходить в квартиру смотрителя.

Смотритель жил недалеко от варниц и занимал целый дом в несколько комнат. Горюнов вошел в прихожую, где мальчик годов двенадцати чистил сапоги. Ему пришлось простоять часа два, до тех пор, пока смотритель не вышел в прихожую, затем чтобы надеть тулуп и идти.

— Мне бы по секрету надо поговорить с твоей милостью... — сказал Горюнов и сделал гримасу, которая вызвала улыбку смотрителя.

— У нас нет секретов.

— Видишь ли: я все могу делать, могу и за рабочими смотреть.

— Э! какую ты несешь песню. Да ты знаешь ли порядки-то наши?

— Долго ли узнать: я сам заводский человек, и учить меня нечево... Я и подарить в состоянии вашу милость, если должность будет хороша.

— Однако ты метишь-то ловко! Ну да ладно, приходи послезавтра и приноси двадцать пять рублей. Если найдется место — назначу, нет — подожди.

— А позволь спросить: сколько жалованья?

— Да жалованье казенное: есть и семьдесят два рубля в год, и пятьдесят четыре рубля, меньше гридцати шести нет.

Смотритель вышел, за ним вышел и Горюнов, думая, как это можно жить на такое жалованье. «Значит, воровать нужно, — думал Горюнов. — Но что воровать? В чем состоит та должность, за которую нужно дать смотрителю деньги? Если эта должность приносит большой доход от расчетов с рабочими — бог с ней... Лучше я на золотые тогда пойду прямо».

Два дня потом Горюновы присматривались к селу. Хлеб, мясо и прочие продукты были здесь дороже терентьевского; народ отличался от терентьевского большею плутоватостью, и здесь труднее было сбыть вещь вроде железа и чугуна. Кварты Горюновы не находили, потому что сторонние дома были заняты семейными рабочими, а в порядочных домах, где жили небольшие семейства, просили дорого. Хозяйка же постоялого двора стала притеснять их за то, что они не стали брать у нее кушанье, и запросила вдруг за постой по пяти копеек с человека в сутки, без права пользования полатями и печкою, да и у нее в это время стояли возчики, которые, впрочем, только обогревались и скоро уезжали. Эти возчики были жители соседних селений, и дальше своего места они ничего не знали. Поэтому от них Горюнов ничего не мог узнать для себя полезного.

Горюнов явился к смотрителю в назначенный день.

— Ну, место я для тебя нашел, давай деньги.

— Назар Пантелеич, я человек пришлый, издержался дорогой.

— Запел! Эти песни мы знаем. Ну, да, впрочем, мы после сочтемся. Ты только дай мне расписку и свой билет.

Горюнов отдал свой билет смотрителю.

— Ты будешь наблюдать за вываркой соли и за тем, чтобы рабочие не таскали соль с варницы. Вот твоя варница: седьмой номер.

Смотритель ввел Горюнова в варницу, сказав рабочим, что он отказал Яковлеву и что они должны теперь слушаться Горюнова.

— Каждый день ты мне должен представлять отчет: сколько под варницу брошено дров, сколько в ходу было лошадей, ребятишек,— и чтобы соль была в исправности.

Итак, Горюнов был принят в варницу уставщиком с платою в год по усмотрению смотрителя варниц. Условия между Горюновым и смотрителем заключено не было.

Племянники и племянница пошли тоже в варницы. Им полагалась плата поденно, как и прочим рабочим, которые получали за двенадцать часов двадцать копеек. Но так как в варнице был полный комплект рабочих, то рабочие изъявили Горюнову свое неудовольствие.

— Ну, братцы, как-нибудь... Покажем, што нужно было больше рабочих,— говорил Горюнов.

— Нечего тут и показывать, когда Назарко и так обделивает рабочих.

— Ну, у меня не обделит. Много будете мной благодарны.

Рабочие в первый день долго смеялись над Горюновым, который в соляном деле решительно ничего не смыслил. Так, например, он чуть не задохся от дыма, который шел из-под ямы, над которой сделана четырехсаженная квадратная цирень, или, по-промысловому, сковорода. Дымоотводных труб от этой ямы сделано не было, и поэтому дым расстилался облаками по всей варнице и потом уходил в отверстия, сделанные в крыше варницы. И хорошо еще, что рабочие были хорошие, знали дело как следует, и Горюнову не нужно было понукать и указывать. По их понятию, Горюнов здесь был совсем ненужный человек, и если он терся около кого-нибудь, то ему советовали идти спать, а не мешать. Племянникам его и Пелагее Прохоровне ничего не давали делать; но так как они мешали им, то и заставили их кидать в печь под цирень дрова, что им на первый раз казалось очень тяжело,— во-первых, потому, что им приводилось бросать полуторааршинные поленья, а во-вторых, у печи было слишком жарко. Смотритель навестил по вечеру нового уставщика и распек как его, так и рабочих за то, что в цирень было пущено очень много рассола.

— Што ты делаешь, разбойник! Вы-то што, олухи эдакие, делаете? Ах, беда! — кричал и бегал смотритель около цирени, наполненной рассолом.

Горюнов ничего не понимал, но, однако, сказал:

— Ну, да што ж такое?

— Ты што, спалить, што ли, хошь варницу? Ты знаешь ли, што какпустишь на привод, она вспыхнет? Понял ли ты это?

Горюнов почесал затылок.

Ночью варницу пустили *на привод*, то есть прекратили топку, заперли варницу и печь закрыли, для того чтобы соль из густого и горячего рассола осадилась. В таком положении варницу оставляют на двенадцать и шестнадцать часов. Утром Горюнов стал проситься в село, так как у него не было хлеба.

— Оставь у варницы двоих для караула, а сам при-

ходи часа через три, потому надо будет рассол, который прокипит теперь, на полати скидывать.

Горюновы вышли из промыслов. Они хотели идти на рынок за покупкою хлеба на остальные деньги, но с ними встретился тот самый полесовщик, с которым они виделись недалеко от села. Он нес на спине три пары глухарей.

— А! знакомые! Што, уж робите? — спросил он.

— Меня в уставщики взяли,— сказал Горюнов.

— Сколько взял?

— Просиг двадцать пять, да я еще не дал ничего.

— Смотри, брат, не плошай! Он уставщиками как лошадьми меняет. Где вы живете?

Горюнов сказал, что еще не нашел квартиры.

— Э! Ты бы меня спросил, когда мы встретились на большой дороге. Хошь у меня жить? Я к своей избенке пристройку сделал для сына, да он помер, дай ему бог царство небесное!

Полесовщик начал рассказывать про умершего сына, который был и силен, и умен, и красавец. Против его сына не было во всем селе такого зубоскала и насмешника. И к работе он был прилежен, и случалось, что прокармливал все семейство, когда отец и мать хворали. И совсем было парень чуть не женился на первой заводской красавице, да бог его знает, отчего с ним такая притча случилась: осенью он плыл на лодке, в которой было два мешка с солью. Плыл, как и всегда, как ни в чем не бывало, ночью,— и вдруг наплыл на кол. Засела лодка на колу, ни вперед, ни назад; вертится во все стороны, хоть ты што хошь делай! Встал Никитка, лодка и перевернись. Очутился Никитка в воде, думал стать, да ногами дна не мог ощупать. А лодка перевернулась, набои зацепляются за кол, место быстрое, вода бурлит, дует резкий ветер, льдинки маленькие так и стучат об лодку... Кое-как справился, сел в лодку и поплыл мешки разыскивать. Про соль-то уж он и не думал, мешков жалко было. Плавал долго: ему кажется, будто мешок плывет, а то — льдинка. Все-таки один мешок отыскал. Ну, и захворал и дня через три помер...

— Ну, да чему быть, тому не миновать! Все под богом ходим,— заключил полесовщик, утерев правый глаз кулаком.

— А вот дома-то я уж полторы недели не бывал.

Мяса вовсе не едал, и глухари были, да жалко. Сожрать не долго, а пользы никакой не будет. Моя старуха привозила простокваши да хлеба,— питался славно... А тут и перестала. Ну, голод-то не тетка, плюнул на все и пошел.

Полесовщик повел Горюновых на рынок и проходил там около часу, потому что за глухарей не давали того, что он просил... Кое-как он продал их за тридцать копеек.

На рынке встретились с ним его приятели. Приятели эти были такого рода: они рубили воровски лес на дрова в соседней делянке и провозили дрова мимо полесовщика, которому и давали кое-когда что-нибудь. Приятели позвали его в харчевню напиться чаю, потому что они хорошо продали дрова. Полесовщик стал звать и Горюновых, те отговаривались тем, что им некогда.

— Толкуйте! Это смотритель для того велел приходить так рано, чтобы дать вам за ту же все цену другую работу.

И приятели полесовщика тоже стали приглашать Горюновых для компании. Они пошли.

В харчевне никого не было, кроме хозяйки, молодой женщины, которая, как пришли посетители, спала, сидя на лавке и положивши голову на руки, которые лежали на столе. При входе посетителей она проснулась.

— Вот она лень — продать ее на ремень! — проговорил один из приятелей полесовщика.

— Никого нету,— скука, я и заснула,— проговорила хозяйка, широко зевая.

— Али мужа-то нету?

— А чтоб ему поколеть! Вчера утром приехал из Демьянова пьяный-препьяный и давай драться... Кое-как скрутила его, привязала за голову да за ноги к кровати,— уснул. Пробудился,—я ему косушку поставила... Ну, думаю, поправился человек, пошла на рынок. Прихожу, а он, чтоб ему чирей в горло! — сидит пьяный у стола, а на полу перед ним разбитая бутылка валяется...

— А какой славный был мужик!..— дивились приятели полесовщика.

— Ну уж... Никакого удовольствия не может доставить! Што это за муж!

Приятели угостили полесовщика водкой и сами выпили. Горюновы не принимали никакого участия ни в

разговорах, ни в угощении. Мужчины закурили трубки: хозяйка подозвала Пелагею Прохоровну, расспросила все и стала ей изливать свое горе. Горе, по ее рассказам, заключалось в том, что харчевню она открыла на свои деньги, а так как ей одной трудно управиться со всем без мужчины, — как, например, купить водки, — а братьев или свободных родных у нее нет, то она и согласилась выйти замуж за товарища детства. Но он ее обманул, потому что и не любит ее, и ленив, и пьяница.

— Думаю-думаю, мать моя, как бы мне лучше сделать, — ничего не выходит! А если эдак все будет, пожалуй, в долги войдем. А у нас, я те скажу, стоит только раз попасть в долги, так запутаешься, что не приведи бог. Наше дело такое, что займовать приходится не копейками, а рублями... А если взял рубли, так говорят — отдай в срок, да все сполна, а не то и опечатают, а потом и потянут к посреднику на расправу: тот и приговорит работать на того, кто деньги дал... Так заведение и перейдет в чужие руки. А будь-ко бы помощник хороший, мужчина, — не то бы было.

— Ты бы наняла.

— Наняла? — хозяйка покачала головой и прибавила: — вот и видно, што ты еще мало мытарств прошла. Вон мужики знают меня.

— Как не знать, Степанида Игнатьевна! Давно знаем и дивимся твоему уму-разуму. А дай-ко нам еще по стаканчику.

Выпили еще по стаканчику.

— Ах, кабы да воля была! Срубил бы я дерево! — сказал полесовщик, отчаянно ударив кулаком об стол.

— А ты и сруби — кто тебе не велит.

— Нельзя, — дерево приметное.

— А ты сруби, да и скажи: ветром, мол, сломало.

— Не то вы толкуете... А это дерево у меня как бельмо на глазу. Много оно мне причинило горя. Вот хоть бы, к примеру, сыну помереть, так што бы вы думали? Как ночь — оно и выть. Ей-богу!

— Может, там клад какой есть?

— Копал. Хоть бы камень.

Начался разговор о кладах. Рассказывали, как один мастеровой, копая яму для погребушки, вырыл чугуна старинной формы с старою золотою монетою. Взял да и объявил начальству, потому что был дурак; начальство

куда-то представило монеты. Так ничего и не получил мастеровой, а только после этого помешался — весь огород изрыл, так что огород ни на что не стал годен.

— А вот так на золотых рабочие лучше поступают...

— Как?

— Промоет золото — золотников десять — и завяжет в тряпку, а как идти с приисков, и заткнет его... Да! Такие, братец ты мой, есть богатеи, — чудо! Дома какие настроили!

— Это где же? — спросил Терентий Иванович.

— В наших местах. Под одного мужика начальство долго подкапывалось, — ничего не могло сделать; и угрозы не подействовали. Вишь ли! Он дом большой в селе имел; внизу сам жил. Ну, и постоянный двор держал. А сперва куда как беден был. Ну, начальство думает: на какие капиталы наш мужик разжился? Соседи тоже удивляются и завидуют. И земли много приобрел и деньги вносит без принуждения. Только в город ездит и там подолгу живет. Раз даже становой обыскать его велел среди дороги. Так, братец ты мой, он губернатору жаловаться стал, станового и сменили. А тут, слушаем, вдруг говорят: он фальшивые деньги делает, потому что у него нашли фальшивый золотой в пять рублей. Ну, и посадили в острог, а потом в городе плетьюм драли... И человек ни за что погиб! А погиб он потому, что ему какой-то раскольник дал вместе с золотом и монету. Хотя он и говорил, што нашел монету, однако его и драли, и били, и есть не давали, чтобы он сознался, што сам делал деньги... Однако говорили, што он убежал еще до каторги, и где теперь — неизвестно.

— А надо бы попытаться на приисках.

— Я бы непременно пошел, кабы не ребятишки.

— И с ними можно.

— Ну, нет. Надо сперва самому попробовать: если хорошо, и семейство взять, а худо — наплевать.

Посетители вышли из харчевни, и приятели расстались с полесовщиком и Горюновыми.

Полесовщик пошел рядом с Терентием Ивановичем. Оба шли сперва молча, полесовщик первый проговорил:

— Охо-хо! Жизнь она — жизни!

— Што и говорить.

— Верно, нашему брату, мужику, нигде нет счастья?

— Ну, это еще надо изведать.

— Изведать! Хорошо тебе говорить, коли у тебя нету жены и ребят... Ты встал да и пошел!.. А я на твоём месте, ей-богу бы, на золотые пошел.

— Да я и думаю.

— Ах, кабы я один был! Уж давно я об этом предмете думаю! Эх, горе, горе! Вот теперь только и есть всего капиталу, што тридцать копеек... А срублю же я это дерево, будь оно проклято! — заключил с отчаянием полесовщик.

V

Семейство полесовщика

Дом полесовщика, Елизара Матвеича Ульянова, ничем не отличался от прочих домов своею наружностью: такой же высокий фундамент с высокими завалинами на случай потопа, то есть разлития рек Дуги и Ульи, идущей мимо дома Ульянова и впадающей в Дугу верстах в двух от его дома; так же высоко от завалин сделаны в доме два окна, находящиеся друг от друга на расстоянии одной сажени, из которых одно выше другого целым пол-аршином. Одним словом, наружный вид дома свидетельствовал, что хозяин его был человек практический, и если сам не испытал неприятности, причиняемой разливом рек, то видал по крайней мере это. Внутри дом имел избу с печкой и полатами и горницу с одним окном, выходящим на реку, с лежанкою без тепла, устроенною потому, что все промысловые так устраивают, и потому еще, что кирпич некуда было девать. Две стены в этой горнице оклеены бумагой, третью еще только начали оклеивать, да бумаги не хватило. В горнице стоит крашенный стол, два стула простой работы, тоже окрашенные; на окне стоят два горшка, из коих в одном растет лук, а в другом красный перец, а на шкафчике, стоящем в углу прогив лежанки, стоит самовар, покрытый большою тряпицею.

У Елизара Матвеича было, кроме жены Степаниды Власовны, четверо детей, из коих дочери Елизавете теперь шел восемнадцатый, а самой меньшей дочери, Марье, — четыре года.

Принадлежа помещику, Елизар Матвеич рано был взят на работы. Управляющий имением и людьми, думая угодить помещику и стараясь сам со временем сде-

латься солепромышленником, так сказать, выжимая весь сок из крепостного человека. Мало того, что заставлял мужчин работать без отдыха, он требовал, чтобы и бабы, девки и ребята не шалберничали дома, а были на промыслах, и если на промыслах его хозяина не было работы для всех, то работали бы по найму для других управляющих, преимущественно его тестя. Работая на варницах, Ульянов ничего не нажил. Правда, жена принесла ему в приданое самовар, но чай он пил только в самые большие праздники, и то для того, чтобы не отстать от товарищей, которые все-таки считали себя почему-то выше горнозаводских людей, хотя и разнились от них только родом занятий да свободным обращением с мелким начальством, которое сильно трусило рабочих, потому что бывали примеры такого рода, что одного смотрителя столкнули в амбар, где он и задохнулся в соли; другого начали качать для того, чтобы бросить в ад, или печь под циренью; третьего хотели сварить с рассолом... Ульянов, как и прочие, жил день за днем, не сыто и не голодно, и поэтому у него даже и праздников не бывало, то есть праздники или свободные дни хотя и были, но ему не было весело, и если он пил водку, пел песни, так потому, чтобы не отстать от товарищей и показать, что и он промысловый рабочий... А тут пошли дети, с детьми увеличилось еще более прежнего нужды, но все-таки хозяйка его умела управляться так, что дети не умирали с голоду. Провиант, то есть мука, получаемая за работу мужа и ее, шла для еды, а то, что давала корова, шло в продажу; а хотя Елизар Матвеевич и делал берестяные бураки, лубочные наберухи, лукошки, но за них давали очень мало, потому что мастеров этого рода было в селе много. Пашен промысловым рабочим не давали, покосы были небольшие, и сена с них едва-едва хватало для коровы.

Когда же Елизар Матвеевич поступил в полесовщички — по протекции его жены, которая носила лесничему молоко и, как толковали злые бабенки, имела с ним любовную связь,— тогда для Елизара Матвеевича настала другая жизнь. Дело в том, что назад тому десять лет лесу было так много в дистанции Елизара Матвеевича, что он называл его непроходимым; на этот лес все, начиная от лесничего и кончая сторожем, смотрели как на доходную статью, потому что никому и в голову не приходило,

что от порубок лес будет сперва редеть, а потом и совсем исчезнет. Лесничий заставлял лесных сторожей рубить для него лес на дрова и бревна, заставлял строить ему дом, помощник его тоже — и г. д.; сторожа знали, что начальство не стесняясь продает лес, а потому и сами распоряжались деревьями по своему усмотрению. Годов шесть Елизар Матвеевич блаженствовал: в будни носил ситцевые рубахи, к каждому воскресенью дома варилось пиво, но Елизар Матвеевич не хотел пить пиво: ему нравилось сидеть в харчевне или в кабаке за косушкой сивухи с веселой компанией, от которой он узнавал новости и происшествия, случившиеся в его отсутствие; у жены его было две коровы, много гусей, уток и кур; в большие праздники супруги не садились за стол без пирога с просоленным сигом и без жареного поросенка; дети ходили не оборванные. И деньги водились как у мужа, так и у жены, которая хорошо работала на промыслах, или, вернее сказать, от скуки и от нечего делать проводила там целые дни. Одно только не нравилось тогда Елизару Матвеевичу, что в кордоне находилось двое полесовщиков, которые чередовались по понедельно, отчего Елизар Матвеевич говорил, что его товарищ собирает его доходы в свою пользу. Но и тут, по просьбе его жены, прогнали другого полесовщика, и он остался один. Но в это время лесу уже стало меньше; начальство стало строже; чаще и чаще оно стало придирааться, а раз даже лесничий приказал дать ему двадцать пять розог за то, что он недосмотрел, кто стравил в просеке межевой знак со столба, хотя Ульянов и знал, что знак стравлен по приказанию того же лесничего. Доходишки все-таки были, потому что чем строже лесные сторожа, тем лесостроительство и кража идут успешнее и ловчее, а стало быть, и плата за пропуск мимо кордона дров и бревен увеличивается. Напоследок, однакоже, доходы стали уменьшаться, и хотя он был и один на кордоне, но ловить было некого, так как крестьяне и мастеровые предпочитали удобнее и выгоднее производить порубки в других местах. С приездом нового лесничего, из молодых и ученых, трудно было пожить чем-нибудь. Дистанция была размерена на площади, в каждой площади деревья сосчитаны, выправлены столбы. Теперь и для себя было опасно рубить лес, и если Ульянов крепко нуждался в деньгах, то со страхом и трепетом принимался за

рубку, часто останавливаясь и прислушиваясь то к эху, то к шелесту листьев. К счастью его, новый лесничий не заглядывал уже больше в лес. Только раз перепугался Ульянов: наехали землемеры, натянули цепи, наставили треножник, но и от них он отделался, угостив их селянкой из яиц и полштофом водки.

Трудно было отставать Ульяновым от хорошей жизни. Приходилось сперва закалывать уток и нести их на продажу, потом пришлось продать не только гусей, но и одну корову. Надеялся Ульянов на то, что его переведут в хорошее место за его честную службу, но не переводили. Износились ситцевые рубахи, пришлось покупать лен, чесать, прясть, белить нитки и ткать; дети выросли, в селе все подорожало, за труд детям давали мало; пришлось и лошадь продать, из боязни, чтобы ее не замучили в варницах, куда ее часто брали по требованию.

Но вот вышла воля. Объявили и Ульянову, что он теперь временнообязанный, и если хочет, то пусть остается полесовщиком за десять рублей в год. Подумал Ульянов с неделю, потолковал с приятелями — и остался, потому что ему нравилась уединенная жизнь, и он выдумал *огаливать* толстые деревья, растущие внутри дистанции, то есть обрубать толстые отростки на дрова и рубить тонкие деревья и кустарники. Времени у него было много свободного, и он эти отростки и кустарники рубил на дрова, которые и продавал. Кроме этого, он мог стрелять птицу, забираясь в чужие дистанции, доставать бересту, лыко, лубки на разные поделки. Но и это в последнее время до того оскудело, что он подумывал заняться каким-нибудь другим делом; однако выгодного и сподручного пока не находилось. Прежде на детей давали муку, и Елизар Матвееч радовался появлению на свете нового *бахаря* и горевал, когда этот бахарь проживал полгода или еще менее; но теперь он и четверым детям не рад, а что было бы, если бы у него все одиннадцать детей были живы! Хорошо еще, что Лизавета носит на промыслах соль и получает поденщину от пятнадцати до двадцати копеек, — но велики ли эти деньги, если работы на промыслах для баб и девок бывают раза четыре в месяц! А разве она на восемь гривен съест? Ей надо и одеться, и башмаки нужны, потому что она девушка-невеста, промысловая красавица, которой стыдно в люди показаться

босою с грязными лапищами. Хорошо еще, что Степан работает на промыслах и получает от пяти до десяти копеек в день,— все же хоть сам себя кормит и таскает матери кое-когда сальные огарки, и мать его имеет от них кое-какую выгоду. Но еще двое детей у Ульянова: Никиту отец давно бы пристроил куда-нибудь, да он какой-то хилый, точь-в-точь как чахоточный лесничий, а Машка еще недавно только бегать начала.

Когда Ульянов вошел в избу с Горюновыми, жена его, худощавая женщина с изнуренным лицом, но еще не совсем утратившим прежнюю красоту, сидя на печке, пряла шерсть; Никита и Марья, сидя на полу перед матерью, чесали куделю, отчего в избе было очень пыльно, а на полу по всей избе много сору. Лизавета Елизаровна ткала в комнате половики. Она была высокая, здоровая девушка, так что по загорелому, или красному от ветра и от огня, лицу ее, ей можно было дать года двадцать два. Руки ее были довольно развиты, крепки и жестки, что доказывало, что она уже давно знакома с тяжелою работой, а прямой надменный взгляд ее карих глаз как будто говорил, что она не боится никого.

— Здорово, старуха!.. Ах, вы, проклятые! Разве нету вам бани?.. Нашли, где куделю чесать,— проговорил хозин, обращаясь сперва к жене, потом к детям.

— Ну, гости дорогие, садитесь. Вот она, моя-то хата! Тесновата, да зато тепло, как в раю.

— Уж не говорил бы! Не то время...— проговорила хозяйка, слезая с печки.

Она оглядела вошедших подозрительно, слегка поклонившись им.

— Прежде жарили, знашь как, печь-ту, потому учету не было, а теперь берешь полено-то, да и ожигаешься.

— А ты бы взяла да и расколола его напятеро,— сказал Терентий Иваныч.

Хозяйка посмотрела на него с презрением, сложила руки на груди и сказала дочери:

— Лизавета, накорми-ко отца-то.

Лизавета сидела у окна против двери в избу и смотрела на вошедших гостей, особенно на Пелагею Прохоровну и Григорья Прохоровича, которые смотрели то на нее, то на прясло.

— Сама корми,— некогда... Еще бы он привел чуть не полную избу,— проговорила недовольно дочь.

Хозяйка ушла в сени, а Пелагея Прохоровна не утерпела и вошла в комнату, где между нею и хозяйскою дочерью скоро завязалось знакомство.

Немного погодя, хозяйка приготовила кушанье для мужа: натерла редьки в большую деревянную чашку, налила в чашку квасу и ложку конопляного масла. Хозяин стал приглашать есть и гостей, но они отказались, говоря, что еще с осени закормлены.

— Как ты думаешь, Власовна,— начал нерешительно муж после того, как жена узнала, кто такие гости: — Я хочу их пустить в ту половину.

— Уж ты вечно так. Уж если ты думаешь, так уж чего и говорить.

— А ты как думаешь?

— Чево мне думать!? Ты всегда хорошо делал: по твоей лени да пьянству вот мы до чего дошли! Мне што! Хочешь, чтобы сгноили — пускай.

— Слышал, дядя Терентий, какова у меня баба-то? Ежели я что захочу, не нравится, и нос кверху вздернет, а если она что захочет, так так тому и быть следует.

— Дурак...

— Съел меду бурак.

— По чьей милости ты в полесовщики-то попал? — сказал жена обидчиво.

— О! Все знают... Сказать ли?

— Уйди, бессовестный! — И жена ушла в комнату, где Пелагея Прохоровна уже свободно разговаривала с хозяйской дочерью.

Горюновы поселились в другой половине дома Ульяновых, но первую ночь ночевали на промыслах, потому что квартиру нужно было протопить, а дров Степанида Власовна не давала, говоря, что их очень мало и для себя. В квартиру они вернулись на другой день вечером, и каждый из них нес или по два длинных толстых полена, или по одному, смотря по силам каждого. Но только что они вошли во двор, как услышали крик в хозяйской половине, а Елизавета Елизаровна, стоя у рукомойника, плакала.

— О чем, девка, плачешь? О чем слезы льешь? — сказал шутя Терентий Иванович.

— Ох! тятенька пьяный пришел! Уймите вы его, он убьет мамоньку.

— Проводи-ко ты, голубушка, в квартиру-то, а я уже пойду погляжу, что хозяин творит.

Лизавета Елизаровна повела жильцов в новую половину, а Терентий Иванович пошел к хозяину.

Елизар Матвееч, сидя у стола и держа в одной руке маленький пузырек, ругался. Он был пьян.

— Э! Сосед!! Посмотри-ко, што моя-то благоверная творит!.. Отравить хочет! — кричал Ульянов.

— Полно-ко, Матвееч, дурить-то!

— Не веришь? Ты мне не веришь, што она с лесничим жила?..

— Мне какое дело!

— Тебе нет дела, а мне есть... Теперича ты не веришь, што она меня хочет отравить; а ты еще, верно, забыл, што я твой хозяин и могу теперича тебя взашей!

— Да с чево ей отравлять-то тебя?

— Нет, ты послушай...

В избу вошла Степанида Власовна с избитыми щеками, из носа сочилась кровь.

— Варвар ты! Разбойник...— кричала Степанида Власовна.

Муж поднялся с лавки, но Горюнов усадил его.

— Постой! ты знай, что я в рудниках робил и не эдаких еще скручивал... Ты поглядел бы на себя-то, на кого ты похож?..

— Я? Ты думаешь: кто я? Я лесной князь, потому я над лесом команду.

Ульянов вошел в свою сферу и стал говорить о своей лесной службе — и, наконец, вошел в такой пафос, что, размахивая руками, бросил склянку, не заметив того сам, а Горюнов подобрал и положил в карман своего тулупа.

Между тем Степанида Власовна вышла на двор. Там Григорий Прохорыч возился с толстым сучковатым поленом. Как он ни ухитрялся расколоть его, оно не раскалывалось, а только топор крепче прежнего заседал в нем. Пелагея Прохоровна и Лизавета Елизаровна стояли недалеко от него и хохотали.

— Да скоро ли, Гришка? Заморозить, што ли, нас хочешь?! — говорила сестра.

— Где ему, вахлаку, расколоть! — говорила, смеясь, Лизавета Елизаровна.

— А вот расколю! Уйдете ли вы? — горячился Григорий Прохорыч.

— Ох ты, заводская лопата! И полено-то расколоть не умеешь.

— Ты бойка! Ну, расколи! Расколи!..

— Затопили печь-ту? — спросила Степанида Власовна.

— Да вот дожидаемся, когда этот вахлак расколет, — сказала Пелагея Прохоровна.

Хозяйка пошла в квартиру Горюновых, за нею и Лизавета Елизаровна с Пелагеей Прохоровной.

Григорья Прохорыча пот пробирал крепко, и ему очень было стыдно, что его осрамила хозяйская дочь, красивая девка, которую так и хотелось ему, по заводскому обыкновению, ущипнуть. И выбрал же он такое полено проклятое... нужно же было ей войти во двор с сестрой; но не будь ее, он скорее бы расколол полено, а то никак он не может попасть куда следует.

Однако все-таки он расколол полено, и когда пошел в квартиру, хозяйка уже выходила из нее.

— Гляди, девка, наше полено взял, ей-богу! — сказала Лизавета Елизаровна.

— ЕСТЬ што брать! Погляди на щепки сперва, потом говори.

— Будь ты проклятая, хвастуша!

Девицы занялись разговорами, но недолго: кто-то застучал в стену, и Лизавета Елизаровна убежала, оставив своих сестру и брата у Горюновых.

Елизар Матвееч, объявив свой супруге, что завтра чем свет он отправляется в лес и поэтому ему нужно напечь хлеба, отправился с Горюновым в варницы. Это путешествие в варницы супруга объясняла тем, что он нашел по себе приятеля — пьяницу, а так как у нового приятеля нет денег, то он повел его разыскивать других приятелей, чтобы напиться пьяному.

— И откуда это он все таких приятелей приобретает? — спросила дочь.

— Небось ты рада!

— Есть чему мне радоваться.

— То-то будешь опять строишь лясы-балясы...

— Мамонька...

— Думаешь, не знаю, как ты с Ванькой Зубаревым... Смотри-кось, брюхо-то вздуло... Варначка!¹

Лизавета Елизаровна надула губы, села к окну, задумалась, утерла появившиеся на глазах слезы.

— Чево там прихилилась (притаилась)... Я думаю, надо квашню заводить,— крикнула мать.

На другой день утром Ульянов отправился в лес, взяв с собой три ковриги хлеба и бурак с протоквашей. Он было начал придирааться к дочери насчет склянки, но дочь успокоила его, что склянку ее матери приносил фельдшер и в этой банке был спирт, которым мать терла себе левую руку.

— То-то, смотрите вы... Доведете вы меня до того, што я брошу вас,— сказал Елизар Матвееч.

Но так как эти слова доводилось и жене, и дочери слушать не в первый раз, то и теперь им в семействе Ульянова не придали никакого значения.

VI

Рабочий день на промыслах

Через неделю после того, как Горюновы водворились в доме Ульяновых и после ухода на кордон Ульянова, Терентий Иванович сказал, что завтра будут носить из прокопьевских и алтуховских варниц в амбары соль. А так как эта весть распространилась по всему побережью от других рабочих, то все население побережья и других улиц, в домах которых живут преимущественно бедные семейства, еще с вечера стало готовиться на работу на завтрашний день. Еще с вечера в домах происходили ссоры братьев с сестрами из-за того, что братья хотели оставить работы в варницах и других местах и заняться соленошением. Сестры говорили, что это занятие бабье, а не мужское, потому что бабам нету такого положения, чтобы работать в варницах. Отцы и матери старались прекратить эти ссоры тем заключением, что на промыслах, с самого основания их, соль носили бабы, что это дело бабье и только в случае недостачи баб прихватываются мужчины. Но самая вражда женщин к мужчинам еще больше выразилась утром на промыслах.

Утром, в шестом часу, перед домом смотрителя, на

¹ Каторжная.

площадке, стояло сотни две женщин и с полсотни мужчин. Было темно, шел снег, и по тесноте происходила толкотня, тычки, шипки, взвизгиванья, руганье и хохот. Здесь ничего нельзя было разобрать: голосили женщины на разные лады, кричали и свистали мужчины, пищали ребятишки.

— Бабы! Гоните прочь мужиков! — кричит женщина.

— Отгоняйте их к поленнице! — кричит другая.

— Попробуй, коли бойка...

— И как это не стыдно: чем баловать, шли бы в другое место.

— Без баб и робить скучно, — крикнул молодой парень.

— Только никак не с тобой, косорылым... Отчего вы на варницы баб не пущаете?

— Што легче, за то и берутся! — кричали бабы.

— До обеда проносят, а потом и ноги протянут, — сострил мужчина.

Все захохотали.

Началась свалка: женщины стали толкать мужчин; мужчины начали сердиться не на шутку и стали употреблять в дело кулаки; женщины схватили кто полено, кто подпорку от поленницы, отчего некоторые поленницы рассыпались. Послышались взвизгиванья, стоны, оханья, ругательства: одного мальчугана придавило поленницей, трех женщин изувечило, одному мужчине переломило ногу.

— Варвары! Што вы наделали? В острог вас мало посадить! — кричали со всех сторон женщины.

— Кто поленья-то взял? — кричали мужчины.

У женщин уже теперь не было поленьев.

— Бабы! Кто из вас бойчее? Идите к смотрителю.

Несколько женщин отделились, составили кучку и стали держать совет.

— Олена, ты бойчее, ты первая говори.

— Нет, он меня терпеть не может. Лизку надо заставить.

— Пожалуй, я пойду, — сказала Лизавета Елизаровна.

— Сказать ему, мужчин нам не надо; пусть в алтуховские идут.

— Чего и говорить: первая со своим женишком кривобоким пойдет...

Начались попреки, и дело опять дошло чуть ли не до драки, но вышел смотритель. В это время уже светало.

Пять молодых женщин, и в том числе Лизавета Елизаровна, подошли к нему.

— Назар Пантелеич, што это за порядки: мужчины за бабами хвостом бегают.

Смотрителя окружили все — и мужчины, и женщины.

— Мужчин нам не надо.

— Заставь их поленницы складывать: они поленницы уронили, народу сколько изувечено.

— Ну-ну... пошли!

— Да ты выслушай.

— По гривне с бабы! — сказал смотритель и пошел.

Народ повалил за ним: мужчины хохотали, женщины злились.

— Ну, где это справедливость?

— Тащите его к дровам. Пусть он посмотрит, што мужчины делают!

Женщины стали напирать смотрителя к дровам, мужчины отталкивать.

— Стой! Што это такое? Али я не начальство? — кричал в бешенстве смотритель, размахивая кулаками, но женщины скрутили ему руки.

— Кто меня смеет трогать! — кричал смотритель.

— Бабы, до коих ты больно лаком! Пустите его!.. Покажите поленницы!.. — кричали женщины.

Поленницы были близко, смотрителя пустили. Он хотел как-нибудь уйти от них, но его удержали.

— Послушай, Назар Пантелеич! Если ты с нами так будешь вежлив, мы и к управляющему пойдем, — кричали бабы.

— Нет сегодня работы!!

— Если ты мужчин не заставишь складывать поленницы, мы к управляющему пойдем.

— Убирайтесь к черту! Кто поленницы рассыпал? Кто народ искалечил? — кричит смотритель, увидя охающих больных с перешибленными руками или ногами.

— Бабы!..

— Мужчины!!

— Пошли вон! Свины!.. Везите в лазарет больных, — управляющий неравно приедет...

Мужчины пошли прочь, к варницам.

— Куда пошли? Эй, вы?! — кричал смотритель мужчинам.

Мужчины разбежались.

— Што, не правду мы говорим, што вы трусы?..

— Ну-ну! Каждый раз с вами мука. Идите к варницам, да этих уберите.

Все женщины стали к двери в варницу, откуда предполагалось носить ссль по длинным, не очень крутым лестницам, тянувшимся до амбара сажен на сто. Дверь была заперта. На одном плече у каждой женщины болтался мешок; большинство из них ели черный хлеб. Немного женщин держали в руках небольшие бураки с квасом. Все голосили, кто о чем хотел, но особенно о недавнем геройском подвиге; сожалений об изувеченных слышалось немного, потому что все были в таком настроении, что каждой хотелось непременно попасть на работу.

Пелагея Прохоровна стояла сзади Лизаветы Елизаровны. Она не участвовала ни в ссорах, ни в разговорах; ее удивляла смелость промысловых женщин и то, что они здесь имеют-таки превосходство над мужчинами. Особенно ее удивляли резкие выражения, бойкость и вертлявость Лизаветы Елизаровны, которая здесь не походила на хозяйскую дочь, девушку смирную, какою она ее видела дома в течение недели. А так как она молчала и женщины видели ее на промыслах в первый раз, то ей часто приводилось быть далеко от Лизаветы Елизаровны, которую она теряла из вида, но которая, впрочем, ее сама звала и потом держала то за руку, то за шугайчик, то за сарафан.

— Я тебе говорю, не отставай! Ототрут — не попадешь! — говорила она каждый раз.

Но вот подошел смотритель. Женщины старались выдвинуться вперед и оттерли Пелагею Прохоровну.

— Мокроносиха! — крикнула Лизавета Елизаровна, оглядываясь, — и, увидав голову Пелагеи Прохоровны аршинах в двух от себя, рванулась к ней, столкнув с мостков женщин десяток, и крепко схватила шугайчик Пелагеи Прохоровны.

— Какая ты разиня! Держись! — крикнула она сердито, толкая ее вперед.

— Да толкаются...

Вмиг Мокроносова с Ульяновой очутились перед

смотрителем, который отбирал от женщин мешки. Сзади смотрителя стояли Терентий Иванович, Григорий и Панфил Горюновы и двое других рабочих. По лестнице поднимались припасный, или приемщик соли в амбар, с огромными ключами и один рабочий.

— Куда ты ее поставила? Куда?!

— По морде ее свисните,—голосили бабы, обращаясь к Лизавете Елизаровне.

— Ну-ко, попробуй...

— Ты, Лизка, опять буянить.. А это што за баба? — спросил смотритель, оглядывая Пелагею Прохоровну и отбирая от нее мешок.

— Тебе што за дело!

— А баба ничего... Ну, на эту будет. Пошли туда!..— проговорил он остальным женщинам с мешками.

— Назар Пантелеич! Родименькой!.. На эту...—голосили женщины.

— Ну-ну... Пошли! Считайте мешки! — И смотритель швырнул отобранные мешки к двери в варницу.

Терентий Иванович стал считать мешки.

— Смотри: которые с клеймами, те только бери. Нет ли сшивок внутри, дыр?

— Все в исправности,—сказал Горюнов. Непринятые женщины побежали к другой варнице.

— То-то... Они, толстопятые, всегда все лестницы обсыпают, как снегом... Ну, сегодня вам плата по гри-веннику за сто мешков.

Женщины заголосили.

— Ну, не хотите, так пошли прочь.

— Всегда четвертак платил...

— Ну-ну! Пятнадцать копеек — и делу начин. Начинайте благословясь.

И смотритель, не слушая криков женщин, стал отпирать варницу.

В варницу нахлынули чуть не разом все принятые сорок женщин, в числе коих оказалась принятой и Степанида Власовна, которую до сих пор ни дочь, ни Мокроносова не замечали в большой толпе.

На стене варницы, противоположной амбарам, были на большом пространстве начерчены мелом кресты и палочки. Некоторые женщины присели и стали есть, бесцеремонно захватывая соль с полатей; посыпав ее немного на куски, остальную заталкивали в большие

карманы, заметно оттопырившиеся на боках сарафанов.

— Не нажрались еще, чтоб вам греснуть! — говорил смотритель, отталкивая женщин от полатей.

— Начинай! Будет вам шалберничать-то, сороки!

Женщины похватали мешки, причем без криков не обошлось, потому что каждой хотелось свой мешок получить, но пришлось брать какой попало, так как смотритель торопил, бесцеремонно колодя по спинам баб.

Смотритель разделил баб на две смены, по двадцати в каждую. Начали насыпать мешки, потом весить соль в мешках. Смотритель требовал, чтобы каждый мешок тянул не менее двух пудов; излишек, как бы он ни был велик, то есть как бы сильно ни перетягивал двухпудовую гирию, не сбрасывался.

Теперь только и слышалось в варнице: поменьше сыпь! Скинь, Христа ради, — как перетянуло гирию... Ладно... упрешь! Толста больно... Поднимай!

Молодые Горюновы только и делали, что поднимали мешки на плечи женщин, и когда Лизавета Елизаровна поставила мешок на носок левого сапога Григорья Прохорыча, он ущипнул ее, да так больно, что она взвизгнула, а смотритель, захохотав, сказал:

— Што, Лизка, верно не на нашего наскочила.

Лизавета ударила всей пятерней по лицу Григорья Прохорыча, так что у него на щеке образовалось четыре полоски с солью. Положив мешок на плечо, Лизавета Елизаровна пошла как ни в чем не бывало, но Пелагея Прохоровна почувствовала, что у ней мешок как-то не так, как у людей, лежит на плече, и кажется ей тяжела эта ноша.

— Ну-ну... Чево вертишься с мешком-то, не отставай, — крикнул смотритель и начертил на стене крест...

Этот крест означал число разов, или число мешков, этой смены.

Потом насыпанье соли для второй смены началось таким же образом. Эти женщины пошли к амбару тогда, когда на верхней площадке лестницы, перед дверями амбара, показалась женщина с порожним мешком на плече.

Все двадцать солоносок шли по лестницам врассыпную, в расстоянии друг от друга на сажень и на пять сажен. По многим из них можно было заключить, что они уже давно привычны к этому занятию и им нисколько

не тяжела эта работа — подниматься постепенно с ношей кверху по скользким и шатким доскам. Ступеньки сделаны кое-как на крутых подъемах и поворотах. Все они идут скоро, держа одною рукою мешок, а другою размахивая или подперев бок. Одна только Пелагея Прохорова отстала сажень на тридцать от них. Из варницы на нее крикнули, она вздрогнула; солоноски оглянулись и подняли ее насмех... Теперь уж не так тяжело ей, а только скользко. Ей так и кажется, что ноги у нее подкашиваются, что ноги ее катятся, что она упадет, или вдруг переломится доска, и она провалится, а ухватиться не за что, — перил нет... И чем дальше она идет, тем резче ее пробирает ветер; чем выше она поднимается, тем больше увеличивается ее пугливость: она боится глядеть вниз, и только вид других женщин, уже возвращающихся с пустыми мешками, не позволяет ей вернуться назад или бросить мешки с лестницы и бежать с промыслов.

— Спаси, царица небесная... Дойду, может... — шепчет она.

Взошла она на верхнюю площадку; там перила сделаны, ухватилась за перила и остановилась.

— Обломай перила-те! Ишь, неженка какая! Мы почище тебя рожей-то, да не отдыхаем же.

«Будь оно проклято, житье!? — думает Пелагея Прохорова и идет в амбар.

— Што, Мокроносиха, устала? — спросила вдруг Лизавета Елизаровна.

— Ой! голова кружится.

— Привыкнешь и на крышу влезешь. Скорее, пойдем вместе назад-ту.

Амбар имел вышины сажень шесть. В нем потолка не было, а только около стен на перекладины были положены доски; несмотря на то, что против двери в крыше сделано слуховое окно, ставень которого теперь был отодвинут, в амбаре все-таки было не совсем светло. Здесь соль не перевешивали, а двое рабочих только снимали мешки с плеч женщин, брали мешки за дно и вытряхали соль внутрь амбара, а припасный, сидя напротив дверей за небольшим столиком, на котором, кроме счет и листа бумаги, стоял еще графин с водкой, клал на счетах каждый мешок и каждую смену, отмечая на бумаге карандашом как самую смену, так и число мешков в смене, заставляя во время своей выпивки с холода

водки погодить бабам ссыпать соль и часто путаясь поэтому в сменах, за что его, конечно, ругали, как кто умел.

Сперва все ходили скучные, оттого, что не совсем раз-
мьяли свои члены. Через час женщины стали живее, ско-
рез прежнего шли вперед к амбару и с подпрыгиваньями
бежали назад. Все острили то над какой-нибудь нелов-
кой женщиной, то над Пелагеей Прохоровной, ее дядей и
братьями, о которых теперь уже все узнали, кто они та-
кие, задирали на ссору, изошрялись в ловкости самим за-
кидывать мешки на плечи, хохотали и старались, во что
бы то ни стало, разозлить мужчин. Мало-помалу и Пе-
лагей Прохоровна попривыкла и к ходьбе, и к ноше, и
она сделалась сообщительнее; хотя ей и совестно было
шутить с мужчинами, все-таки она ввернула два-три
словца в отпор зрителю, который на нее, как заме-
чали солоноски, обратил милостивое внимание. И ей ка-
залось весело носить соль после того, как она раз два-
дцать поднялась кверху; прежний страх прошел, так
что она сама смеялась над своею трусостью. Одно ей не
нравилось в это время — это то, что солоноски чересчур
говорят нехорошие вещи... Чего-чего только они ни го-
ворят о мужчинах, да и себя-то не очень жалеют. Такого
свободного обращения, таких свободных выражений она
и отроду не слыхивала в Терентьевском заводе. Правда,
и там народ обращается свободно — в масленицу, на гу-
ляньях, как, например, в троицын день, когда молодежь
на горе березки хоронит, — так зато время такое, празд-
ничное, а не рабочее. Стали попрекать Пелагею Прохо-
ровну нехорошим житьем; Пелагея Прохоровна стара-
лась молчать, понимая, что никаким ее оправданиям не
поверят; наконец-таки, рассердили и ее, и она крик-
нула:

— Мало вы меня знаете, бессовестные вы эдакие!

Молодые женщины на смех подняли эти слова, а по-
жилые отстали.

Надоели женщинам остроты, насмешки, издевательства
друг над дружкой; все начали чувствовать усталость,
а отдыхать некогда: надо хоть сотню выверстать, а уж
зритель пошел обедать, значит, двенадцать часов, а
всего снесено только по тридцати восьми мешков...

Затянула одна голосистая женщина на лестнице
песню, песню подхватили еще три женщины — и запели

все, исключая Пелагеи Прохоровны, которая не понимала этой промысловой песни про тяжелое промысловое житье, из которого выход только одна быстрая реченька, уносящая волюшку к милому дружочку, уплывшему куда-то в море-окиан, на остров хлебородный, на который бедную, несчастную рабу злые люди-лиходеи не пускают и, кроме того, ей про волюшку и об милом и думать не велят.

После того как смотритель ушел, женщины стали приставать к Горюнову, чтобы он не весил соль, на том основании, что припасный ее не перевешивает, Горюнов сперва не соглашался, но к женщинам пристали и рабочие, насыпавшие соль. Горюнов уступил и даже пять лишних крестов прибавил на стене. За это он так понравился всем женщинам, что они его превозносили до небес; Пелагее Прохоровне говорили, что дядя у нее отличнейший человек, а из девиц некоторые охотно заигрывали с его племянниками, из коих Панфилу прибавляли лишних три года, так как он на вершок только был ниже ростом Григорья.

Первая смена стала обедать, то есть есть ржаной хлеб, запивая его водой. В это время стали приходить в варницу взрослые парни. Появлению парней девицы обрадовались, потому что они теперь могли замениться ими. Парни вели себя чинно, стараясь ввернуть какое-нибудь мудреное словцо женщинам, не показывая, впрочем, вид, что оно произнесено для того, чтобы его похвалила его зазноба. Но это была вежливость вообще к дамскому полу: парни здесь не осмеливались подойти прямо каждый к своей подруге, начать с ней разговор, потому что это было неприлично, так как тут находились даже и матери нескольких девиц, и такого парня подняли бы на смех все женщины.

Пелагея Прохоровна сидела рядом с Лизаветой Елизаровной. Обе они посматривали на парней, но первая смотрела на них с любопытством, а вторая — с презрением. Пелагея Прохоровна заметила, что парни не вызывают сами носить соль, а напротив, их сами дамы вызывают.

— Поняла ли? Это наши кавалеры. Гляди, вон пятеро уж понесли, а вот те двое, што стоят — облизываются, с носом остались...

— Што так?

— Один-то с Одувановской все хороводился, да она сегодня о поленницу ушиблась... И стыда нет у человека: ведь знает, што она нездорова, пришел.

— А другой?

— Ну, тот погодит... У него губа больно толста.

И Лизавета Елизаровна с негодованием встала и пошла с Мокроносовой.

— Ох, вы, вахлаки! А еще парни прозывается,— сказала она Григорью Прохорычу, с неудовольствием взглянув на него.

— Собака, так собака и есть!— ответил Григорий Прохорыч.

— Осел! Нет, штобы заменить,— сказала Лизавета Елизаровна.

Григорью Прохорычу сделалось стыдно, и он, когда сестра и Ульянова подошли к нему, сам вызвался нести за Лизавету Елизаровну соль.

— Давно бы так! А ты неси за сестру,— сказала Лизавета Елизаровна Панфилу.

Мокроносову и Ульянову заменили молодые Горюновы, но Панфил сходил только два раза: больше идти у него не хватило сил; поэтому обе женщины стали чередоваться. Два парня, про которых говорила Пелагее Прохоровне Лизавета Елизаровна, долго стояли около двери варницы, как оплеванные, и молча переносили насмешки.

Один из них было попросил Лизавету Елизаровну нести за нее соль, но она ему сказала:

— Не стойшь! У меня другой есть помощник.

— Ну, погоди!.. Каков ни на есть, дам твоему помощнику.

— Не беспокойтесь, пожалуйста.

— Ноги я ему обломаю.— С этими словами парень ушел.

В одну из смен Лизавете Елизаровне пришлось идти сзади Григорья Прохорыча.

— Што, небось устал?— спросила она его.

— Ничего.

— То-то и есть! Ваше дело только хвастаться... Только и слышно от мужчин: ох, как *чижало*! А вот мы и бабы, да не говорим, што нам тяжело.

Григорий Прохорыч только промычал. Тем и кончился разговор в эту смену.

В другую смену женщины запели песню, им подтягивали и парни, голоса которых резко отличались от женских голосов. Лизавета Елизаровна пела немного, она часто останавливалась, прислушиваясь, поет или нет Горюнов.

— Ты што ж не поешь? Али горлу твоему тоже чижало?

— Как бы умел, запел бы...

— Ну, и парень! Чему вас в заводе-то обучали?

— У нас другие песни, на другой голос.

— Ну-ко, спой!

Горюнов не стал петь.

К вечеру стали появляться на варницах и мужчины — братья, дяди и мужья, покончившие с работами на других варницах; в числе их было шесть человек возчиков и Елизар Матвейч, который обыкновенно приезжал с кордона прямо в варницы, так как дорога до дома шла мимо промыслов.

— Дайте-ко, бабы, мы поносим, разомнем косточки,— напрашивались мужчины, бесцеремонно хватаясь за мешки. Женщины хотя и изъявляли свое неудовольствие за то, что мужчины не в свое суются дело, однако с радостью отдавали мешки и садились, говоря:

— Ох, устала!

— Не ты бы говорила, да не мы бы слушали. С самого с обеда не носила.

— Ах, ты... Сосчитай, сколько теперь-то на баб мужчин,— перекорялись женщины.

Мужчин с парнями было и теперь наполовину меньше всех женщин.

Женщины, числом девятнадцать, стали чередоваться с теми, которым нечем было заменить, более прежнего остряли над мужчинами и парнями, которые к вечеру уже без церемонии обращались с *своими предметами*, щекотя и шипля их, перекидываясь с ними любезными словцами вроде: «Матрешка толстопятая», «Офимья безголосая»,— на что и им отвечали соответственными выражениями. Горюнов старший скоро заметил, что соленошение идет не так успешно, как раньше, и прибавил еще два креста по просьбе одной тридцатилетней здоровой женщины, которой он частенько отпускал каламбуры, что и сместило ее чуть не до слез. Он не обращал внимания на шалость молодежи, но когда уже невозможно

было определить, кто из какой смены, а молодежь стала дурачиться больше и бегать по варнице, тогда он крикнул:

— Таскай, пока светло!

— Ставь крест! — ответили ему.

— Да я и так десять крестов лишних поставил.

— Спасибо на этом, прибавь еще десяточек.

— Кроме шуток говорю — робь! Смотритель придет — кто будет в ответе, как не я?

— На празднике угостим! Считай за нами.

Так Горюнов ничего и не мог сделать и относил всю причину беспорядков к присутствию мужчин, до которых бабы работали усердно. «Впрочем, — думал он: — мне какое дело? Они будут получать деньги, а не я», — и он подозревал племянницу.

— Ты што же села?

— А што мне идти, когда никто нейдет. Што скажут?

— Да ведь еще сотни нету... Подумай, сколько тебе придется денег. Я и так уж много лишних крестов поставил.

— Бабы! сходите раз, да и баста! — крикнула Пелагея Прохоровна.

— Смотрите, как наша-то заводчанка разохотилась! Пойдемте нето, — проговорила одна женщина.

На этот раз пошли все сорок женщин враз, отстранив мужчин; в продолжение всего хода пели.

Это был последний раз.

Припасный, несмотря на то, что в графине уже не было водки, бодро держался на ногах, и, по мере того как его пробирал хмель, становился придирчивее и ругался, по привычке, — без меры, но не от сердца. Сколько его ни просили женщины сделать прибавку в своей бумаге, он твердил одно: нельзя!

Заперев дверь амбара, припасный с рабочими сошел вниз. Там, около варницы, собрались солоноски, около них терлись мужчины и парни. Дверь в варницу захлопнули за припасным. Там был в это время приказчик, приехавший с мешком медных денег, смотритель и Терентий Иванович.

— Противу прошлых разов сегодня больше отнесено соли. Не видите разе, что соли осталось чуть ли не на полсуток, — говорил приказчик, указывая на полати.

— Да и я сомневаюсь. Больше восьмидесяти мешков

по зимам не вынашивали, а сегодня выношено девяносто девять,— говорил смотритель.

Припасный стал считать на своей бумаге палочки. По его записке оказалось, что первая смена прошла шестьдесят девять раз, вторая — семьдесят.

— Черт вас разберет тут! Сколько же всего разов-то сжжено? — кричал приказчик.

— Я сам считал! Я не мог ошибиться,— проговорил смотритель, строго смотря на Горюнова.

— А я даром сидел? — горячился припасный.

— Взятюшники! Мошенники! Живодеры! — кричал приказчик.

— Помилуй, Иван Сидорыч! С чего тут взято!

— Вы думаете, надуете меня? Не-ет! — И подошедши к стене, он стер половину крестов.

— Вот, коли так! Не плутуйте потом... Подай мне свою бумагу да зовите баб,— проговорил приказчик, обращаясь к припасному и к остальным.

Когда женщины вошли в варницу, в ней уже был зажжен в фонаре сальный огарок.

— Плохо же вы, бабы, нынче работаете. Прежде по полутора ста мешков вынашивали, а теперь и плата больше, а вы и пятидесяти мешков в день не можете вынести... Вольные нынче стали!! Свободу вам дали!!.

Женщины плохо понимали слова приказчика.

— Што рты-то разинули? Сказано, всего по сорока пяти мешков вынесли.

— Не грех тебе, Иван Сидорыч, обижать! — завопили женщины.

— Ничего не знаю, так записано. Хотите получить по десяти копеек? И так уж целых три копейки делаю накладки.

Женщины было начали возражать, но приказчик прикрикнул на них и припугнул их тем, что они и этих денег не получают. Женщины согласились, ругая смотрителя и припасного.

Рассчитавшись с женщинами, приказчик приказал смотрителю непременно очистить завтра варницу от соли, сказав ему, что он завтра не будет, а он, смотритель, может сам прийти или приехать к нему за деньгами для расплаты с солоносками. Потом приказчик уехал.

— Эх, черт его принес! Я хотел сам рассчитать своими деньгами, а его сунуло... Однако ты, Горюнов, ловок

приписывать! А знаешь ли ты, што стоит эта приписка? Сколько ты слупил с баб?

— Провалиться на сем месте, штобы я приписал.

— Клятвам мы, братец, не верим. Эту вину я тебе прощаю на первый раз, потому единственно, что тебе на первых порах разжиться немного не мешает.

— Назар Пантелеич...

— Не заговаривай... За тобой еще есть долгишко?.. Вперед попадешься, не плачь. Спроси вон припасного, как эти дела нужно обделывать, штобы и волки были сыты, и овцы целы.

С этими словами смотритель вышел из варницы, заперев дверь.

Терентий Иванович долго стоял в раздумье у варницы. Ни одной веселой мысли не приходило ему в голову. Жизнь казалась ему такую противною, приказчик, смотритель и припасный такими гадкими, что он готов был в эту же ночь уйти в другое место.

А солоноски, в сопровождении мужчин, с песнями выходили с промыслов в село. И далеко раздавалась их протяжная, бестолковая, невеселая песня.

VII

Терентий Горюнов и Ульянов уходят на золотые прииски

Так же начался и второй день на промыслах; только к обеду смотрителя соль была вся выношена из варницы, в которой служил Терентий Иванович; но женщины не шли по домам, а дожидались расчета. Теперь они положительно знали, сколько каждую снесено мешков, потому что записывал сам смотритель, который, прежде чем идти домой, объявил, что каждой бабе приходится за сегодняшнюю носку по шести с половиною копеек. Женщины от нечего делать, в ожидании смотрителя, сперва хвастались тем, кто сколько из них принес вчера домой на рубахе и на загровке соли, насыпавшейся туда от мешков, кто сколько принес соли в мешковых складках; каждая старалась убедить другую, что она постоянно ворует соль, а одна девица укоряла тоже девицу, что та даже вся пропитана солью, как татарка козлятиной. Но тут не было и тени неудовольствия; говорили потому об этом, что говорить было не о чем, к тому же на промыс-

лах без воровства нельзя жить — это даже говорит и Терентий Иванович, который рассказал уже женщинам несколько раз про вчерашний урок, данный ему зрителем. Наконец надоело болтать, стали бороться, а более молодые и вертлявые даже начали кататься с лестницы, как будто у них и заботы никакой не было. Но зритель не приходил долго; женщины стали зябнуть; развлечений нет никаких. Пошли на берег; там по льду кое-где ребята катаются на коньках, на санках или просто бегают, кидаясь в то же время и снегом. Скучно и здесь, так бы и не глядел ни на что, не так, как летом. Тогда так и рвутся солоноски на берег. Усядутся они на набережных или на сходнях и начинают петь... И чем дольше сидит женщина, тем ей кажется легче, она сосредоточивается сама в себе. Нравится ей этот простор, эти бурые волны, лодки, слегка колеблемые ими; сердце у ней бьется, поет — и ей хочется куда-то... И долго-долго тогда сидят женщины, до тех пор, пока их не перевезут всех на другой берег или пока не покатает кто-нибудь в лодке.

Пришел зритель, рассчитал женщин, а Горюнову сказал, что с понедельника нужно пустить варницу в ход; до понедельника же он будет свободен.

Горюнов попросил у него денег.

— Какие такие тебе деньги? — спросил с неудовольствием зритель.

— Я уже восемь дней прослужил.

— Стыдился бы ты говорить-то! Ведь ты уж содрал с баб шесть целковых?

— Не стыдно тебе говорить-то это? Не знаешь ты меня...

— Еще говори спасибо, что я держу тебя... А што касается до жалованья, так ты должен помнить условие.

— Но чем же мне жить?.. Сам рассуди, я нанялся не для того, чтобы даром служить.

— Даром! Ха-ха!.. И он мне еще говорит!.. Ступай-ко, братец ты мой, домой, сходи в баню, а завтра помолись богу за наше здоровье: может, поумнее будешь.

Зритель ушел.

— И это у человека нет совести. Ну, хорошее же я житье нашел. Двадцать пять лет по крайней мере я жил своим умом, а теперь... Нет, правду сказал Коровяев, не житье здесь...

Задумался Горюнов крепко. Денег у него всего только рубль, идти в другое место нет тоже резона, потому что нужно наперед отыскать место... Идти на золотые прииски,— пожалуй, дело рискованное. Казенные прииски и прииски богатых людей ему известны; они обставлены так, что там трудно чем-нибудь поживиться, а хотя и платят за работу, то тоже и там, в глуши, начальство самоуправничает, как ему хочется, потому что, имея деньги, во всякое время может найти рабочих из беглых, ссыльных и других людей за бесценок. Остается идти на такие прииски, которые только что открываются, хозяева которых, люди неопытные в этом деле, вручают разработку мошенникам, которые только высасывают у хозяев деньги и, по нерадению своему и неумелости, доводят прииски до того, что их потом или бросают по негодности, или продают за бесценок.

— Надо разузнать об этом, во что бы то ни стало... И лишь бы попасть мне только на такой прииск, забрал бы я его в руки!..

Елизар Матвееч был дома, и когда семейство его ушло в баню, Горюнов сообщил ему свои мысли.

— И я, брат, думаю об этом уж давно. Недавно мимо меня проходил один беглый. Попросился погреться. Я впустил и стал спрашивать: не знает ли он, где жизнь лучше? Ну, конечно, он захохотал, как и я в те поры, как впервые вас встрел... Ну, он все-таки сказал: супротив, говорит, того места, где я жил, не бывать лучше! Стал я от него добиваться правды,— нельзя, говорит: сказывать не велено, потому, говорит, штука!.. Раскольники тем местом пользуются; золота, говорит, там больно много, только про то раскольники и знают. Ну, я думал, он врет, стал пытаться: коли, мол, правду говоришь, зачем не жил там? Скажи да и только мне место, и говорю ему: живи, мол, ты у меня хоть сколько. Ну, он уезд сказал, а место — нет. Там, говорит, верстах в пятидесяти уже моют золото, только непорядков много. А убежал он из острога и опять туда же пробирался.

— Не махнуть ли нам туда, Елизар Матвееч?

— Махнуть!.. Легко сказать. А пойди, и до половины не дойдешь.

— Оно, правда, верст четыреста будет... Только я на твоём месте не так бы думал.

— Как же?

— А взял бы да и срубил остальной лес.
— Ну, нет! Легко срубить, а отсчитываться-то как?
— О, Елизар Матвееч! Я думаю, нечего тебя учить отсчитываться.

Скоро приятели расстались, но оба они не спали целую ночь, думая, каким бы образом им разжиться деньгами, как лучше сделать относительно семейств: оставить ли их здесь или взять с собой? У обоих только и было мысли о золотых приисках... «Шутка — работать на приисках, своими руками доставать и промывать золото! Да тогда нужно дураком, олухом быть, чтобы пропускать этот металл в чужие руки даром. Вот теперь дозволено даже крестьянам самим искать золото, за это им деньги платят, только иметь его у себя или продавать его нельзя. Вот бы тогда я стал богат; сперва бы сделался доверенным, потом записался бы в купцы...» И много-много хорошего шло в головы обоих искателей счастья; много приходило несбыточного, и много такого, что могло осуществиться при особенном счастье и при ловкости человека.

Утром, в воскресенье, в домах происходила стряпня. За неимением больших денег Степанида Власовна пекла яшные ватрушки и пирог с грибами. Пелагее же Прохоровне нечего было печь: не на что было; хотя же Степанида Власовна и предлагала ей капусту, но у нее не было муки, и она еще рано утром купила на рынке две ковриги хлеба и фунт мяса. Терентий Иванов сидел у окна задумчиво, племянники рассуждали о бабах и часто ссорились. Все эти четыре лица, казалось, не обращали внимания друг на друга и, за исключением братьев, не относились друг к другу ни с каким вопросом и как будто тяготились друг другом. Братья еще плохо понимали жизнь; дядю считали за человека, равного себе относительно работы, и только потому, что он теперь уставшик на варнице, думали, что он должен иметь деньги и им придется работать на варницах шутя. Пелагея Прохоровна думала, что, пришедши сюда, она променяла кукушку на ястреба. Здесь она хотя и свободная женщина, зато у нее ничего нет, а приобретет ли она что-нибудь впоследствии, сказать трудно. Работа тяжелая, люди чужие, обращение у них нехорошее. И все это случилось по милости дяди и Короваева. Терентий Иванов думал, что ему не надо бы было брать

племянницу и племянников: пусть бы они жили как хотят, и пусть ищут себе счастья сами. А то завел он их в такое место, где они совсем собьются с толку, потому что люди молодые...

Зазвонили к обедне. Пелагея Прохоровна стала чесать голову. Пришла Лизавета Елизаровна.

— Ты пойдешь? — спросила она Пелагею Прохоровну.

— Чего я там забыла!

— Пойдем. У нас певчие очень хорошо поют.

— Ну уж! против городских вряд ли споют.

— У вас только и хорошо в городе, а сами... Пойдем!

— И я пойду! — сказал Терентий Иванович.

— И я! И я! — прокричали два брата.

Через полчаса Горюновы, Пелагея Прохоровна и Лизавета Елизаровна отправились в православную церковь.

Церковь была битком набита народом; но мастеровые стояли направо, а заводские женщины и девицы налево; исключение составляли аристократки, которые стояли впереди на правой стороне, и их как будто отгораживали от рабочего класса купцы, чиновники и вообще люди высшего сельского общества. Пожилые рабочие молились усердно, можно сказать, от всей души; но молодежь промысловая, надо сказать правду, пришла сюда ради развлечения: послушать певчих, дьякона, посмотреть на девиц, на их наряды и, при случае, подмигнуть и скорчить лицо.

После обедни холостые мужчины отправились или в гости к своим невестам, на капустный или грибной пирог, или в харчевню; семейства шли отдельно, кучками, молодежь говорила незамужним дамам любезности, но из приличия не выходила, потому что в селе все семейства были на перече́те и никто не хотел, чтобы про него или его дочь говорили дурно. Кто шел через рынок, тот покупал мелких кедровых орехов, но других не потчевал и сам не угощался, так как праздник состоял в том, чтобы сперва пообедать, потом поспать, потом поиграть до вечера в карты, развлекаясь, между прочим, и орехами.

Скуден был обед Горюновых. Пелагея Прохоровна и Терентий Иванович молчали, но не молчали братья.

— У людей дак пироги, а у нас все редька да редька! — говорил Григорий Прохорыч.

— И это хорошо, — заметил дядя.

— Робишь-робишь, а поесть нечего!

— Уж молчал бы лучше! сколько ты выробил денег-то! — проговорила Пелагея Прохоровна.

— Што ты меня упрекаешь? разве я не заплачу вам! Ты своего-то Короваева упрекай, што он бросил тебя...

— Гришка! — крикнул дядя.

— Я давно Гришка!.. нечего кричать-то!

— Кабы ты был умнее, не говорил бы! — И Терентий Иваныч вышел из-за стола.

— Ты, дядя, што же? — спросила с испугом Пелагея Прохоровна.

— Я сыт...

— Да шей-то похлебай.

— Не хочу.

И Терентий Иваныч, одевшись, ушел к хозяину, но Ульянов тотчас после обеда куда-то ушел.

Сестра и оба брата доели обед молча; потом братья ушли. Пелагея Прохоровна прилегла было немного, но ей сделалось страшно скучно. Она отправилась к хозяйке, которая в это время уже лежала на печи, а дети ее, кроме Марьи, играли в карты.

— А што же братья? — спросила Лизавета Елизаровна.

— Ушли.

Но она ничего не сказала о сцене за обедом.

— Я вот прошу мамоньку, штобы вечерку нам устроить... — начала Лизавета.

— Толкуй еще! — проговорила мать с печи.

— Ну, мамонька! Люди устраивают, а нам отчего не устроить.

— Не выдумывай.

Лизавета Елизаровна дала гостье горсть орехов, и они стали играть на орехи. Пришел Григорий Прохорыч.

— Непременно куплю себе коньки! Все катаются, — сказал он.

— Голову сломишь. А угошенье принес? — спросила Лизавета Елизаровна.

— Какое?

— Невежа. А еще в городе жил. Убирайся!

Григорья Прохорыча не принимали играть.

— Дайте, не то, взаймы денег! — стал просить Григорий Прохорыч.

— Хорош мужчина: у хозяев денег просит на угощение. Степан, гони его!

— Лизка, не дури! — проговорила с печи мать.

— Не твое дело, мамонька. Спи там.

— Дадите вы уснуть!

Мать слезла с печи и уселась тоже играть в карты; Григорий Прохорыч был принят.

Горюнов между тем вошел в одно питейное заведение, которое по случаю праздника было битком набито рабочими. Но пьяных в нем не было еще ни одного человека, потому что все пришли сюда только что после обеда покалякать или провести весело время. Хозяин заведения не был в претензии за то, что никто не брал водки, а только курил махорку. Он знал, что чем больше будет в его заведении посетителей, тем больше будет к вечеру выручки. Рабочие толковали о разных делах, обращаясь часто за подтверждением своих мнений к хозяину; двое насвистывали слегка; двое тоже слегка наигрывали на гармонике, один играл на балалайке, но никто никому не мешал, потому что если разговор касался держащего в руках гармонику, то он громко отвечал, не выпуская из рук гармоники.

— Што, говорят, Назарко тебя надул? — спросил один рабочий, обращаясь к Горюнову, когда тот вошел.

— А ты почему знаешь?

— Это не секрет. Тут, братец, шила в мешке не утаишь. Што ж ты теперь думаешь делать?

— Подожду еще неделю, тогда...

— Тогда они скажут: покорно благодарим. Задаром-де служили нашей милости...

— Хоть ты и заводской человек, а практики у тебя ни на грош нет!

— Чево ты толкуешь? Какую такую ты еще механику выдумал? — прокричал другой рабочий.

— Уговорить других: не хотим-де за эту цену робить!

— Дурак! Да он тебя прогонит. Разе мало нашего брата, што без работы шляются? Разе ныне мало развелось нищих?

— А отчего? Оттого, что мы сами плохи.

— Как?

— А так. Нету у нас согласия. Так-ту мы по отдель-

ности тараторим, а сberi нас всех, и сало во рту застыло.

Народ загалдил.

— Коснись дело до тебя, ты первый лыжи дашь!

— Что ж, мне одному в петлю лезти? Один в поле не воин. А вот мы даже насчет платы не можем сговориться! Што сказано в положенье-то: рабочие должны выбирать старост, а где они, старосты?

— Поди-ко, сунься!

— Нет, можно бы собраться хоть сотне-другой и выбрать припасного, смотрителя...

— Што ты толкуешь, братец, — выбрать!.. Тебя еще, верно, не дирали хорошенько-то. Помнишь ли ты прошлогоднее дело?

— А кто им велел барки рубить да муку топить?

— Так и следовало!

— Вовсе не так. Собраться всем селом к управляющему и требовать платы.

Эти рассуждения продолжались еще долго, и расписывать их нет никакой надобности, потому что они решительно не приводили рабочих ни к какой цели. Дело в том, что согласия между рабочими не существовало, потому что они работали на разных варницах, принадлежавших разным господам, и жили дружно только с теми, которые работают с ними вместе и которые горой стоят за товарища. А так как на одних промыслах было несколько лучше других промыслов и требования первых были больше последних, то последние, завидуя первым, были недовольны ими, говоря, что они заботятся больше о себе, чем о товарищах, только работающих от них отдельно. Кроме этого, одни из рабочих были слишком робки; они привыкли сносить все терпеливо, и если у них спрашивали мнения, то они, наученные опытом, ничего не могли посоветовать, находя все толки бесполезными; другие старались как-нибудь подделаться к какому-нибудь мелкому начальнику из-за личной выгоды, третьи, поправившись немного выгодною женитьбою, только в своей компании были бойки. Молодежь была, конечно, смелее, ей бояться было нечего, но так как она не могла обходиться без любви, увлекалась девушками и женщинами, то и от нее, то есть от всей сельской молодежи, нечего было добиваться единодушия, если одна половина ее ревновала другую к пред-

метам своей любви. При этом надо еще взять во внимание то, что рабочие живут в селе в нескольких улицах или порядках, носящих названия, соответственные или местности, или какой-нибудь личности, или данные какому-нибудь событию, и в них православные смешиваются с единоверцами и отчаянными раскольниками, которые только в частности заботятся о себе, о своих родных и партиях. Поэтому если бы и пришлось потребовать голоса от всех рабочих всего села, то разногласия вышла бы большая, и у начальства недостало бы терпения выслушать мнение каждой партии, каждого промысла еще и потому, что это начальство делилось на несколько лиц, из коих каждое оберегало свой пост, защищая интересы своего хозяина, враждебно относясь к другому лицу.

Споры, как водится, прекратились за выпивкой водки по стакану. Несколько человек хотели было возобновить их, но нашлись другие разговоры — о женщинах, о том, сколько бы можно было при постоянной работе выварить соли; что можно бы было устроить варницы каменные, а не деревянные, потому что деревянные легче сгорают, отчего уменьшаются работы. Говорили о том, что можно бы было по всему берегу сделать такие же набережные, как против собора, для того, чтобы село не затопляло, а то выстроили набережную для бар, а рабочих ходить туда по вечерам не пускают, будто они невесть какие воры. Много было говорено в заведении; много было сказано хорошего, практического, до чего иному барину пришлось бы долго додумываться. В этом заведении редкий человек не был практическим человеком, приобретшим практику долголетним опытом, работою на варницах, где он развивался с детства около добывания и обработки соли, но тем и закончивалось его умственное развитие, и он ничего уже больше не мог выдумать кроме того, что лошадей в насосах можно бы было заменить какою-нибудь машиною, как это устроено на пароходах, что если и существуют еще коноводки, большие барки, сплавляемые с солью, действующие посредством лошадей, так для того, чтобы хозяевам и их главным помощникам сберечь в свою пользу капитал. Но и эти разговоры были не больше не меньше как препровождение времени.

Терентий Иванович не удивлялся понятливости рабо-

чих, находя их даже развитее своих терентьевцев. Но чем больше разговаривали рабочие, тем больше Горюнову казалось, что он здесь человек лишний, так как всякому рабочему хотелось бы занять его место, и что те же рабочие издеваются над ним, потому что смотритель хочет пользоваться даровыми деньгами, назначив в уставщики человека, незнакомого с соляным делом, такого, который еще не умеет воровать.

Рабочие мало-помалу оживлялись более и более. Хотя теперь и играли уже на гармониках, как следует, но эту музыку заглушали крики рабочих, которые, начиная хмелеть, уже ругались, задирая на драку. Горюнов взял гармонику и начал играть. Он, как прежде, старался привлечь публику своей игрой, но так как он играл песни заводские, то на его игру никто и не обратил внимания. Пришлось возвратить гармонику.

— Што ж ты нас не потчуешь! — подошедши к Горюнову, сказал рослый черноволосый рабочий.

— Рад бы угостить, да не на что.

— А зачем даром служишь?

К Горюнову подошло человек шесть.

— Мы и в крепости состояли, даром-то не служили. А ты пришел, бог знает, откуда...

— Ты этим наш кредит подрываешь!

— И нам не станут платить из-за тебя, — кричали рабочие.

— Кто вам говорит, што я даром работаю? — спросил Горюнов.

— Сам ты говорил, што Назарко не дал тебе денег.

— Даст.

— Не даст, помяни меня: он не тебя одного надует.

— А вот што: коли храбер, подем с нами теперь к нему.

— Нет, братцы, я теперь не пойду. Идти придется рекой.

— Ты нас за кого считаешь?

Начался крик. Горюнова стали бить, но в это время в заведение вошел Ульянов с мужчиной в полушубке.

— Стой!! Команду слушай! Братцы! Поберегитесь — сила! — кричал Ульянов навеселе.

Рабочие затихли и подступили к Ульянову.

— Прощайте, братцы! Прощай, моя служба!

— С ума сошел, Ульянов! — кричали рабочие.

— Глядите, как нализался! Дай-ко, Фадей, ему ко-
суху!

— Я вас потчую... Фадей, полуштоф!.. Кон-чен-
но!! — И Ульянов крепко ударил рукой о стойку, так
что посуда на полках задрезбужала.

Рабочие хохотали, ругали Ульянова шутя, и сколько
ни допытывались от него сути, он ничего не сказал
никому, кроме Горюнова, которому сказал на ухо, что
завтра, чем свет, он идет на прииски, и если Горюнов
хочет, то он его приглашает с собой.

— Послушай, брат, тулуп-то у тебя хорош; только
если пойдем, он тебе будет мешать. Променяемся, —
проговорил вошедший с Ульяновым мужчина Горюнову.

Ульянов угощал своих приятелей, и поэтому на
Горюнова и вошедшего мужчину не обращали вни-
мания.

— Ты не беспокойся. Я, братец ты мой, подрядил
Ульянова на прииски и тебя подряжу. Хоть сейчас пять
рублей задатку, — говорил мужчина.

— Об этом мы потолкуем завтра.

— Завтра надо ехать... А вот тулуп-то я бы у те
взял.

— Как же без тулупа?

— Ох, ты, кайло! Ну, променяемся. Пять рублей при-
дачи!

— Десять!

— Шесть!

— Семь!

Горюнов променял свой тулуп на полушубок и по-
лучил придачи шесть с полтиной.

Немного погодя Ульянов, Горюнов и мужчина вы-
шли из заведения.

— Ну, други, решено? — спросил мужчина по вы-
ходе из заведения.

— Я плохо што-то понимаю, — сказал Горюнов.

— Узнаем всё — не покаешься, — сказал Ульянов.

— Уговор такой: никому не говорить, куда мы идем,
и никого больше не брать, — сказал мужчина.

— Ну, так завтра мы к тебе придем в заутреню.

— Ладно. Прощайте. Помните: никому не говорить!
И мужчина пошел налево; Горюнов с Ульяновым по-
шли направо.

Дорогой Ульянов вполголоса рассказал Горюнову, что этот человек кум его кумы, Кирпичников, которого он не видал годов пять и о котором не имел никакого известия. Теперь он встретил его у кумы и узнал, что он ездил с приисков к одному купцу, которому обязался разыскать какой-нибудь прииск, и находится на одном прииске доверенным. Ульянов стал соболезновать о своей жизни, и Кирпичников предложил ему работу на прииске с платою в месяц по пятнадцати рублей и согласился принять даже Горюнова за ту же плату, как человека грамотного, который может ему сводить счета. Эту плату он обещал дать только на первый раз. Ульянов заикнулся было о семействах, своем и Горюнова, но Кирпичников сказал, что семейство и здесь может жить, а что туда идти далеко, и хорошо еще, уживутся ли они там с беглыми.

Дома, ложась спать, они ничего не сказали своим семействам о предстоящей поездке. Но утром без сцены у Ульянова не обошлось.

Ульянов пробудился в четвертом часу, встал и зажег лучину, что удивило Степаниду Власовну.

— Ну, хозяйка, ставай благословясь. Далеко сегодня пойду.

— Буть ты проклятая, хвастуша, — отвечала хозяйка и отвернулась к стене.

— Кроме шуток... На золотые иду.

— Наплевала бы я тебе!.. Еще не всю водку-то вылакал в кабаках!

Елизар Матвеевич стал собираться не на шутку в дальний путь. Жена следила за ним сперва прищурившись, но потом ее стало брать раздумье: неужели он так рано идет?.. У меня и хлеба-то для него не напечено...

— Как же ты на кордон без хлеба идешь?

— Шабаш! Деревья еще вчера куме продал. Ба-ста!.. Ставай, говорю, кроме шуток.

Жена села и проговорила:

— Да ты чего?

— На золотые иду с Кирпичниковым.

— А он разве здесь?

— Вчера приехал к куме, а сегодня едем с ним.

— Да ты в своем ли уме-то?

— У тебя, што ли, стану займовать?

Жена все еще не верила.

— Да ты это взаболь али...

— Ну-ну! На вот тебе десять рублей, — сказал Ульянов, подавая жене деньги, и постучал в стену к Горюнову.

Оттуда послышался голос Терентия Ивановича: — Сейчас!

Дети Ульянова, кроме Марьи, тоже пробудились и глядели на родителей.

— Ты, тятенька! Как же это?.. Ничего не сказал... — проговорила Лизавета Елизаровна.

— Тятка, я с тобой! — сказал Степан.

— Давно я знала, што это твое знакомство с Машкой до добра не доведет... Подлый ты человек! — проговорила Степанида Власовна.

— Послушай...

— Нечего мне слушать!.. Дети на возрасте, сами должны иметь понятие... Што, небось, и Машку с собой берешь?

— Послушай, жена...

— Убирайся, подлая рожка!.. Господи! И зачем я за эдакого подлеца вышла замуж? — заплакала жена.

— Мамонька... — сказала дочь.

— Кроме горя, ничего не было... Ну, чем я кормиться-то буду? Че-е-м?

— Прокормишься... деги прокормят...

— Хорош отец, што семейство бросает... Кормитесь, говорит, сами...

— Дура ты, и больше ничего! Прощай, мила дочка!.. Хорошо будет, я приеду за вами.

— Да ты, тятенька, не шутишь?

— Я, знаешь, не люблю шутить... Береги мать...

— Нечего меня беречь. Меня хорошие люди накормят, а дочь мне не кормилица... Я знаю, што она...

— Мамонька! — крикнула дочь в испуге и упала на колени перед матерью.

— Это еще што такое? Што за комедьи? — спросил Елизар Матвееч в недоумении.

— Ты бы дочь-то наперед устроил, а то куда мне с ней, с...

— А-а! В матушку, значит, пошла!

— И батюшко-то хорош!..

Елизар Матвееч сел в большом волнении на лавку.

Его лицо выражало и горе, и злость, но он старался преодолеть себя. До сих пор он еще не знал, что его дочь беременна, что не редкость в селе, на промыслах, где девчонки часто, особенно летом, увлекаются молодыми парнями и даже смотрителями и припасными. Ему досадно было, что он об этом не узнал раньше... Но что бы он мог сделать тогда?... Ему, и противны казались в это время жена и дочь, но ему и жалко было их, жалко было покидать свой дом, потому что бог знает, что может случиться в его отсутствие. Жена и дочь плакали, сидя первая на кровати, вторая на печке, куда она спряталась из боязни, чтобы отец не сделал ей что-нибудь худое; Степан, сидя на полатах около лежащего Никиты, смотрел то на родителей, то на сестру, думая, что такое сделала сестра; Никита тупо глядел на всех, ковыряя пальцем в носу, и готов был заплакать каждую минуту.

Вдруг все вздрогнули. Кто-то шел на крыльцо, отчего ступеньки скрипели.

— Ну... Делать нечего. Слово дал, — нельзя. Собирайтесь.

В избу вошли: Горюнов, Пелагея Прохоровна и двое ее брата. Пелагея Прохоровна плакала. Дети Ульянова слезли с печи и полатей.

Теперь всем стало ясно, что Ульянов не шутит, но ни вошедшие, ни хозяева ничего не проговорили друг другу.

— Сядьте, — сказал Ульянов.

Все сели. Женщины заплакали, парни смотрели друг на друга, стараясь не плакать; но эта немая сцена пробрала даже и отцов: даже они утерли по разу ладонями свои глаза и, как бы устыдившись этого, встали. За ними встали и остальные.

— Ну, хозяйка, прощай! Не поминай меня лихом... А ты, мила дочка... Эх! не думал я, не думал! Ну, Степка! Взял бы я тебя с собой, да сам не знаю еще, хорошо ли там. А вы не баловать у меня, слушаться старших... Эх, горе, горе! — говорил хозяин, целуясь с женой и детьми, которые рыдали, да и сам Ульянов плакал.

— Прощай, Степанида Власовна. Покорно благодарю за ласки... Моих-то не обидь. Будьте вместе... — говорил Терентий Иваныч, прощаясь с хозяйкой.

Ульянов и Горюнов вышли; за ними вышли семейства и стояли за воротами до тех пор, пока тех не стало видно в темноте.

VIII

Разорение

Степанида Власовна была оскорблена. Ее бесило то, что мысль о золотых приисках подала мужу не она, а, как ей думалось, торговка Машка, или Марья Оглоблина, с которой она подозревала Елизара Матвеевича в связи.

Забрав себе это в голову, Степанида Власовна в Оглоблиной уже видела непримиримейшего врага своего и старалась всячески нанести ей какую-нибудь обиду и словом и делом.

На первых порах она отправилась на кордон — удостовериться в том, действительно ли ее муж продал лес Оглоблиной. Увидала она вот что.

Перед входом в шалаш был разведен огонь, но, как видно, он был разведен давно, потому что дрова уже догорали и легкий дымок едва заметно развеивался ветром в разные стороны. В шалаше она нашла чью-то котомку, худые рукавицы и кусок ржаного хлеба. Значит, здесь уже хозяйничали чужие люди, — здесь, в том самом шалаше, в котором ее муж жил десять лет, командуя над лесом и собирая гривны с порубщиков, где она не одну ночь провела в продолжение десяти лет... Обидно сделалось Степаниде Власовне... Она сразу почувствовала, что и воздух в шалаше иной и она точно невеста куда забралась. И слышится ей стук топоров и ширканья пил, чего она во все десятилетие не слыхала около шалаша.

Нарушилось спокойствие леса, настало варварское разорение, и все это по милости Машки Оглоблиной, которую она не дальше как прошлым летом, в именины мужа, первого августа, на полянке между шалашом и лесом угощала пивом и пирогом с малиною!..

Вышла она из шалаша и стала смотреть по сторонам. Направо стоят двои дровней, на каждые положено по два длинных бревна; недалеко от них крестьянин в рубахе обчищает бревно от сучков, другой, в полушубке, так и хлещет топором в дерево, которое только

как будто вздрагивает немного; третий уже наклац целый воз долготья и все еще накладывает, ругая мальчугана за то, что он еле-еле шевелится; налево стоят трое дровней, и около них тоже идет потеха... А на том самом месте, где в третьем годе Степанида Власовна нашла много рыжиков, двое — по-видимому, мастеровых — пилят за раз две березы...

— Мошенники! Варвары!! Кто вам дозволил хозяйничать здесь? — прокричала, не помня себя от злости и обиды, Степанида Власовна и подбежала к пильщикам.

Те поглядели на нее, захохотали и ничего не сказали, продолжая свою работу.

— Откуда это явилась? — проговорил крестьянин, увязывающий воз с долготьем.

— Да кто вам позволил, говорю, лес рубить? — кричала Ульянова.

Порубщики захохотали и начали отпускать на ее счет насмешки и сарказмы.

— Да ты-то кто такая? — спросил ее один из порубщиков.

— Не узнали?! Теперь и знать не хотите, а прежде боялись...

— Глядите, баба чья-то с цепи сорвалась!

— Связать ее надо — искушает.

Степанида Власовна разъярилась, но скоро заметила, что чем больше она ругается, тем больше смешит порубщиков, которые нарочно еще старались разозлить ее. Но двое порубщиков знали ее, их очень удивляло присутствие здесь жены Ульянова.

— Послушай! Тебе чего здесь надо? — спросил ее серьезно порубщик, подошедши к ней с угрожающим видом.

— А то и надо, што я не дозволю рубить лес, не дозволю!! — кричала Степанида Власовна.

— Хо-хо! Видно, ноне баб стали приделывать в поле-совщики? А есть ли у те форма? — начали острить над Ульяновой порубщики.

Степанида Власовна совсем растерялась. Она не знала, что ей еще сказать порубщикам; она даже забыла, зачем она пришла сюда!

— Хорошо! Я не я буду, што не пожалуюсь на вас! — сказала она и пошла домой.

— Свяжемте ее, ребята!
— Пожалуй; штобы худа не было, всамделе?
— Стоит с бабой связываться! Не видите, что ли, што она полоумная! И без нас околеет дорогой.
— Ну, нет. По-моему, надо допросить ее. Эй, тетка, иди-ко сюда!

Степанида Власовна, ускорившая шаги от первых слов порубщиков, теперь остановилась.

— Иди, говорят, сюда. Может, ись хошь?

Степанида Власовна, успокоившись, что порубщики ей ничем не угрожают, подошла к ним.

— Послушай, тетка, ты зачем пришла сюда?

— Я к мужу пришла на кордон...

— Ай, врешь! Твоего мужа, коли он Ульянов, уж нет теперь, и тебе это должно быть известно.

— Связать ее да зашибить!..

— А вот я зачем пришла... Правда ли, што Ульянов продал лес Машке Оглоблиной?

— Мы почем знаем... А тебе што из эвтого?

— А то и дело, што Оглоблиха похваляется этим передо мной.

— Ну, значит, ты дура, што веришь этому.

Порубщики поехали — кто направо, кто налево. Степанида Власовна пошла за возом с дровами и всячески старалась выпытать от порубщиков, действительно ли Ульянов продал лес Оглоблиной, но тот отмалчивался.

Пришла она в село, рассказала Пелагее Прохоровне о виденном и заплакала.

— Нет, — говорила она, — я не попущусь! Я пойду к лесничему.

— Чтобы худо не было, мамонька, — сказала дочь.

Однако Степанида Власовна пошла к лесничему и сказала, что ее муж неизвестно куда скрылся. Пришла она на кордон и видит, мужики рубят лес без разбора. Спросила она о муже, те сказали: спроси, говорят, у торговки Марьи Оглоблиной. Теперь, говорят, уже не Ульянов караульщик, а Машка Оглоблина; она нам и лес продала.

Лесничий плохо понял жалобу Ульяновой и через неделю поехал осматривать лес. Потребовал Ульянова; Ульянова не оказалось, а в дистанции его много оказалось порублено лесу. Притянули к суду жену. Степанида Власовна повторила свою жалобу. Протянули и

Оглоблину, но та отперлась не только от того, что давала деньги Ульянову за лес, но и от всякого знакомства с ним. Она говорила:

— Ходить, может быть, он ходил ко мне за калачами, потому ко мне много ходят. А што если его жена приплела меня в это дело, кумовства ради, — так по одной злобе и потому, что-де легче на куму свалить всю беду... А имела ли я право покупать и продавать лес, так это в ее безмозглую голову могла зайти такая дурь.

Завязалось дело: было спрошено множество разных крестьян и мастеровых, но остался по делу виноват один Ульянов, а так как его в селе не было, то у него и описали дом и все его имущество и стали гнать из дома его жену и жильцов. Скоро нашелся и покупатель. Купив дом, он пустил за деньги на квартиру Ульяновых с Мокроносовой и Горюновыми.

Все это обделалось в два месяца после отсутствия Елизара Матвенча, и все в селе говорили, что о продаже дома Ульяновых особенно хлопотала вдова Оглоблина за то, что Степанида Власовна не хотела покориться ей, не хотела извиниться перед нею за нанесенные ею Оглоблиной оскорбления.

Можно себе представить гнев госпожи Ульяновой, когда она, вскоре по въезде в ее дом нового хозяина, узнала, что Оглоблина исчезла из села. Ульянова нарочно сходила в ту улицу, где жила Оглоблина, и увидела, что в ее дом въезжает ее племянник из Демьяновского селения.

— Хоть бы узнать мне, куда мой муж спроважен! Уж я пошла бы туда.

Теперь Степанида Власовна казалась помешанною не на шутку: она целый день с утра и до вечера бродила то на промыслах, то на рынке и все выпрашивала. нейдет ли кто на золотые.

IX

Признание Лизаветы Елизаровны

Со времени отъезда Ульянова и Горюнова Пелагея Прохоровна с каждым днем все больше и больше сближалась с Лизаветой Елизаровной. Пока еще был здесь дядя, она могла гордиться им, человеком, попавшим в уставщики, — значит, имеющим кое-какое значение на

промыслах; но теперь, когда дядя исчез, она очутилась совершенно одна с братьями. Но что ей братья? Братья хотят жить сами для себя, и от них не жди помощи. Вон даже когда дядя подарил ей пять рублей, Григорий стал укорять ее в том, что ее больше любят, и деньги следовало бы дать не ей, а им. Чтобы отвязаться от братьев, она отдала эти деньги Григорью, который ей за это и спасибо не сказал. Отдала она деньги и стала горевать, ругая себя глупою. «Ведь мне с этими деньгами можно бы было дойти до города!» — думала она на первых порах. Но как она пойдет в город одна, не зная дороги? Еще нападут на нее, ограбят и бог знает что сделают с ней. Другое дело, если бы она была пожилая женщина. Но и не это еще удерживало ее в селе: она дожидалась известия Короваева. Уйди она из села — и не узнает ничего о Короваеве, о котором она думала теперь больше прежнего, зная, что он любит ее и не хочет жениться на ней зря.

Сознавая, что она здесь чужая, она рада была поговорить с кем-нибудь от души. Но говорить было не с кем, кроме Лизаветы Елизаровны. Лизавета Елизаровна тоже рада была своей соседке и старалась раскрыть перед ней свои тайны, надеясь на то, что она ее не выдаст, потому что Пелагея Прохоровна не ищет знакомства с другими женщинами и вообще женщина молчаливая. И они скоро сошлись, понравились друг другу и стали приятельницами. Хотя Пелагея Прохоровна и много странного находила в поведении своей подруги, но приходила к тому заключению, что здешняя жизнь не похожа на заводскую в том отношении, что там девушки до выхода замуж большею частью живут дома, и если знакомятся с парнями, то в церкви, на гуляньях и на вечорках, — здесь же они рано сталкиваются с мужчинами и парнями на промыслах. По промысловым понятиям ничего не было странного в том, если пары заходили слишком далеко и девушка делалась беременною, потому что скоро после беременности она выходила замуж. Но Лизавета Елизаровна не говорила о своей беременности. Однакоже Пелагея Прохоровна стала замечать, что Лизавета Елизаровна дуется на одного парня, который любезничает с черноволосой невысокой девицей и носит за нее соль, и при этом парне старается оказывать большие ласки Григорью Прохо-

рычу, который от парня получает насмешки и угрозы. Ясно казалось Пелагее Прохоровне, что или парень разобидел чем-нибудь Лизавету Елизаровну, или Лизавета Елизаровна разобидела парня. Пелагее Прохоровне, со свойственной женщинам любознательностью, хотелось расспросить свою подругу об этом, но было неловко начинать прямо, и она только намекала на парня; но та или сердилась, или отмалчивалась.

Дело в том, что Лизавета Елизаровна была гордая девушка. Она требовала, чтобы тот, который любит ее, исполнял малейшие ее капризы: например — уронит она с лестницы платок, Ванька Зубарев должен сходить за ним; нужны ей к празднику сережки — Ванька Зубарев должен купить их, хотя бы и в десять копеек. Ванька Зубарев хороводился с ней полтора года и целый год угождал ей беспрекословно. Сперва, конечно, пологается, погрызается, но все-таки исполнит приказ Лизаветы Елизаровны. Никто так не мог угодить Лизавете Елизаровне, как он, и зато как было хорошо и весело с ним, особенно летом! Хотя Зубаревы и жили в Демьянове, только Иван Демьяныч работал на Моргуновских промыслах, потому что на них было больше требования на рабочих и плату давали больше на целых десять копеек против Притыкинских промыслов. У него была своя лодка, в которой он каждый летний день переплывал два раза речку Улью и в которой после работы катал и Лизавету Елизаровну. Очень любил Зубарев Лизу Ульянову, и та любила его, как только может любить шестнадцатилетняя промысловая девушка, дочь бедных родителей. Бывало, сидят они ночью в лодке обнявшись, а лодка плывет как попало по течению, и далеко так уплывут они; случалось ворочаться им домой верст из-за пятнадцати, и тогда Зубарев или *пластался* на веслах, или шел бечевой, а Лизавета Елизаровна правила на корме веслом, подсмеиваясь над возлюбленным. Случалось возвращаться им и в грозу, и тогда Лизавета Елизаровна, сидя на берегу с Зубаревым под опрокинутой лодкой, от страха молила всех угодников, каялась в грехах и клялась, что она в последний раз плавает с Зубаревым. На промыслах, само собою разумеется, все знали про связь Лизаветы Елизаровны с Иваном Зубаревым и не обращали внимания на них, потому что у каждого или у каждой были любовницы или любовники;

мать тоже знала, что Зубарев ухаживает за ее дочерью, и, думая по себе, что он на ней женится, не очень бранила ее за поздние возвращения домой; отец же, живя на кордоне, конечно, ничего не знал, а если и замечал отсутствие дочери, то удовлетворялся каким-нибудь ответом своей жены. Все шло хорошо около года, а потом Лизавета Елизаровна стала замечать, что Иван Зубарев стал холоднее с нею, меньше исполнял ее прихоти и капризы. И случилось это с ним с тех пор, как они были в чаще леса, где провели всю ночь с полным удовольствием. Правда, после этого Лизавета Елизаровна сильно привязалась к Ивану Зубареву и в первое время из гордой девушки сделалась до того кроткой, что позволяла прикрикивать на нее Зубареву, исполняла его приказания; но потом заметила, что Зубарев не только взял над ней верх, но и обращение его с нею стало уже не то: точно она ему надоела. И вот стала она замечать, что Зубарев реже показывается на промыслах, а если и придет, так дожидается, чтобы она его из милости попросила поносить соль. Наконец он ее весьма оскорбил: снес два мешка соли и ушел, а немного погодя стал носить соль за другую девицу.

У Лизаветы Елизаровны, как она увидела это, чуть мешок с солью не свалился с плеч, и она сама не помнит, как она доносила до вечера соль, получила расчет и пришла домой раньше обыкновенного, так что мать ее, не носившая в этот день соли по нездоровью, удивилась и спросила:

— Али Зубарев не был?

Но Лизавета Елизаровна ничего не сказала. Она никак не могла понять поведения Ивана Зубарева. Этот человек так любил ее, так много обещал ей впереди хорошего, обещался после рождества жениться на ней, а как прошел Екатеринин день, вдруг выкидывает с нею такую штуку. Это что-нибудь да значит. Хотелось ей переговорить с Зубаревым, но он целую неделю не являлся на промыслы, а на другой неделе на всех промыслах не было работы для женщин. На третьей неделе об этом парне заметила Лизавете Елизаровне Пелагея Прохоровна. Тогда Лизавета Елизаровна думала, что Зубарев подойдет к ней, возьмет ее мешок, но он как будто сам хотел, чтобы Лизавета Елизаровна поклонилась ему. Когда Григорий Прохорыч понес за нее соль,

хотелось Лизавете Елизаровне поговорить с ним, высказать ему, что она беременна, — но не время было, а вызвать Зубарева в другое место во время рабочее неприлично, потому что таких примеров еще не бывало на промыслах.

Григорий Прохорыч видал девушек и покрасивее Лизаветы Елизаровны; он уже два раза был влюблен и в последний раз даже хотел жениться на любовнице приказчика, у которого он был лакеем; но вместо женитьбы угодил в острог по обвинению его в краже вещей, а его невеста задавилась — не от любви к нему, а не желая более переносить каторжную жизнь. Острог его не испортил, так как он из него скоро был выпущен по просьбе приказчика, имевшего обыкновение прощать всех своих врагов в свои именины, но научил смотреть на жизнь более практически, чем прежде. Еще бывши в остроге, он поклялся не увлекаться *девками*, не слушать ихних любезностей, но, встретившись с Лизаветой Елизаровной, он не мог устоять. Она с первого же дня огорошила его, задев его самолюбие пустяком — неумением расколоть сучковатое полено. Столкнувшись на промыслах с женщинами, он, как молодой человек, не мог не вглядываться в них и не вслушиваться в их слова. Как он ни крепился, как ни заключал по-своему, что все эти бабы и девки отчаянные, но кровь в нем волновалась, и ему нравилось употреблять в дело щипки. Не зная никаких отношений между девицею Ульяновою и парнем, погрозившимся обломать ему ноги, он думал, что Лизавета Елизаровна легко ему достанется. Но не так вышло на самом деле. Еще в воскресенье, перед отъездом дяди, он очень разыгрался с Лизаветой Елизаровной, и когда она вышла зачем-то в сени, то догнал ее, обнял, но получил за это такую пощечину, что ему долго было совестно показаться на глаза перед Лизаветой Елизаровной, да и она сама, завидя его во дворе, отворачивалась от него и уходила скорее домой.

Наступило рождество — и прошло весьма скучно в обоих семействах. Лизавета Елизаровна очень редко заходила к Горюновым, и то в такое время, когда Григорья Прохорыча не было дома, а Пелагея Прохорова, узнавая, что брат ее сделал глупость, и не настаивала на том, чтобы она ходила при брате. Прошли и святки скучно. Прежде, бывало, у Ульяновых перед

крещеньем всегда вечорка устроивается, а нынче нет. Прежде отбоя нет от девиц: приходи ради христа на вечорку,—нынче только разве на улице попадется Лизавете Елизаровне девушка и спросит: а што это ты не была на вечорке?—и тут же прибавляла: а Ваньку Зубаревского не видала? Братья, впрочем, ходили на вечорки, ходил и плясал на вечорках и Григорий Прохорыч, только к нему не благоволила ни одна девица, так как у каждой был свой кавалер, и каждый из этих кавалеров старался разругать девицу Ульянову для того, чтобы выжить из компании Гришку Горюнова, как пришлеца. Невесело было Григорью Прохорычу на этих вечорках, чужой он был на них, неприятно ему было слышать, как конфузят и обзывают девицу Ульянову, говоря даже про нее, что потому-де у них в доме, в *приделе* (в новой половине, где жил Григорий Прохорыч), нет вечорки, что Лизка брюхата и любовник ее бросил, так как она горда некстати и с пороком,—но обо всем слышанном там он ничего не говорил сестре.

В крещенский сочельник обе женщины гадали в новой половине. Пришел Григорий Прохорыч; гаданье прекратили.

— Погадайте на меня, — сказал он, подойдя к гадальщицам.

— Не стоишь, — сказала Лизавета Елизаровна.

— Тебя, што ли, просят! Палагеюшка, погадай!

— Какой ты сегодня ласковый сделался!... Гадай сам, — сказала Пелагея Прохоровна, отдавая поварешку брату, и обратилась к Лизавете Елизаровне: — Пойдем к тебе.

— И я с вами.

— Очень нужно! — сказала Лизавета Елизаровна.

— Важна уж что-то больно стала некстати!.. Послушала бы ты, што говорят-то про тебя!

— Ну, так што? Язык-то ведь без костей...

Подруги пошли к двери.

— Што мне, околевать, што ли, здесь!

Подруги захохотали и ушли.

Григорий Прохорыч бросил поварешку под лавку, потушил лучину и лег на печь. Брата дома не было: он со Степаном Ульяновым еще не приходил из села. Спать ему не хотелось, и он стал думать, может быть в тысяч-

ный раз, о том, как бы ему хорошо было найти где-нибудь клад и потом жениться... жениться на Лизке. Чем больше думал он о девице Ульяновой, тем больше она ему нравилась. Нравилась ему в ней ее гордость, ее речи, труд, и он ставил ее выше первых двух своих любовниц, из которых первая ничего не умела делать, а только хныкала; вторая, живя у приказчика, сделалась барышней и едва ли бы перенесла с ним тяжелую жизнь. А на Лизе жениться хорошо: она будет работать, и он тоже, да и дома строить не нужно. Тут мысли его приняли другой оборот: он находил себя ничтожным человеком в сравнении с Лизаветой Елизаровной; халатишко у него худой, починить его нечем да и не стоит: станет затягивать нитку — так рвется; полушубка нет, сапоги оборвались, подошвы на них отпадают, а новые купить не на что, потому что сестрины деньги он издержал по пустякам. «Вот сегодня у одного сапожника я украл шило и дратву выпросил, завтра надо будет починить как-нибудь. Опять кожи нет. Кабы было лето, можно где-нибудь найти в грязи или в назьму кусок кожи...»

Вдруг он услышал стук в стене от Ульяновых. Стал слушать. Еще стучали, и, кажется, сестра произнесла его имя.

— Не пойду! Сам хотел — обругали. А теперь не пойду. Не смейся горох, не лучше бобов! — проговорил по себе Григорий Прохорыч.

Его так и порывало идти к Ульяновым, но и не хотелось ему уступить. «Брюхо толще, так губа тоньше,» — сказал сам себе Григорий Прохорыч и решил не идти, хотя бы они там все кулаки об стену отбили. Однако он не утерпел, слез с печки и, подошедши к стене, наставил левое ухо, чтобы услышать оттуда что-нибудь, но стена была бревенчатая; он слышал, что кто-то говорил, — и вдруг захохотали, сперва Ульянова девица, потом его сестра.

«Это они надо мной смеются».

Опять смех.

«А черт с ними!.. Нечего мне там делать...»

И Григорий Прохорыч лег на печь, но лежать было скучно, хотелось идти; он злился и на себя, и на Лизавету Елизаровну, и на сестру.

Пришла сестра.

— Ты што же не пришел? — спросила она брата.
— Очень нужно.
— Ну, брюхо толще, так губа тоньше.
— Послушай, Палагея, што это она надо мной изде-
вается?

— Кто?

— Кто?! Лизка!

— Да и как не издеваться над дураком. Зачем ты
ее в сенях-то обхватил?

Григорий Прохорыч замолчал. Теперь ему стало по-
нятно, что сестра его стала приятельницей Лизаветы
Елизаровны.

— А што, Палагея, как ты думаешь, пойдет она за
меня? — спросил вдруг брат сестру, когда та уже стала
засыпать.

— Выдумывай.

— Нет, всамделе!

— Спи-ко лучше. Скоро утро.

Легли спать. Пелагея Прохоровна заснула скоро, но
Григорий Прохорыч не мог заснуть. Утром брат и се-
стра молчали: брат стыдился сестры, сестра что-то об-
думывала. Григорий Прохорыч уселся за сапог около
окна, повертел его: починить без кожи нельзя — как ни
верти, а нужна заплатка.

— Поговоришь? — сказал вдруг дрожащим голосом
брат сестре. Щеки его покраснели.

— И што ты это выдумал, брат! Какая она тебе
ровня?

— А тебе што за ровня?

— Я другое дело... Говори сам... это твое дело.

— Как я буду говорить, коли она такая фря...

После обеда Пелагея Прохоровна зазвала к себе
Лизавету Елизаровну. Лизавете Елизаровне, вероятно,
уже было известно о намерении Григорья Прохорыча,
потому что она поклонилась ему неловко, щеки покрас-
нели более обыкновенного и голос ее был неровный.

Стали играть в карты. Все молчали. Каждый хотел
что-то начать, но что-то удерживало.

Наконец первая начала Лизавета Елизаровна.

— Какие нынче женихи-то молчаливые... — прогово-
рила она, сдавая карты, как бы про себя.

Григорий Прохорыч покраснел, как рак, и не знал,
что ему делать: сидеть или бежать?

Минут пять никто не промолвил слова.

— Женишок! Што же ты молчишь? — сказала вдруг Лизавета Елизаровна.

— Я... — сказал Григорий Прохорыч, вздрогнув.

Обе женщины захохотали.

— Хорош же ты будешь муженек, нечего сказать... Однако, Григорий Прохорыч, позвольте вас спросить: какие вы имеете на меня виды? — сказала уже серьезно Лизавета Елизаровна.

— Лизавета Елизаровна...

— Убирайся!!

И Лизавета Елизаровна, бросив карты, ушла от Пелагеи Прохоровны.

— Поди к ней, пока матери нет дома, — сказала сестра брату.

Брат послушался сестры.

Когда он пришел к Ульяновым, Лизавета Елизаровна, сидя у палец, плакала и, казалось, не заметила вошедшего Горюнова, который остановился в дверях и не смел тронуться дальше.

— Лиза! — сказал он.

Лизавета Елизаровна вздрогнула.

— Зачем ты пришел? — крикнула она.

— Лизавета Елизаровна!.. Я люблю тебя.

Лизавета Елизаровна захохотала.

Григорий Прохорыч подошел к ней, обнял ее и поцеловал.

Она не сопротивлялась, но плакала.

— Голубчик Гриша! Ты мне нравишься... Но...

— Лизанька!.. — говорил Горюнов, прижимая Лизавету Елизаровну.

— Гриша!.. Я не хочу тебя обманывать... — говорила, рыдая, Лизавета Елизаровна.

— У! Дура! Ее целуют, а она плачет! Лиза, не смей плакать!.. — говорил шутя Григорий Прохорыч, утирая слезы с глаз и щек Лизаветы Елизаровны.

Лизавета Елизаровна боролась сама с собой, наконец встала и сказала:

— Подумал ли ты о том, што про меня говорят на промыслах и на вечорках?

— Што?

— Ты веришь тому, што говорят про меня?

— Нет.

— Так я тебе скажу: што про меня говорят — верно... Я говорю тебе потому, штобы ты знал и после не каялся, што я обманула тебя... Одна голова не бедна!.. Я себя с ребенком прокормлю как-нибудь, зато меня никто не укорит.

Григорий Прохорыч стоял, как оплеванный. Он не знал, шутит с ним Лизавета Елизаровна или говорит правду.

— Али ты не веришь моим словам? Поди спроси свою-то сестру, мне от нее нечего таить, да и тебя я не боюсь. Подумай-ко лучше о том, хорошо ли жениться на девушке с накладом?.. Хорошо ли получить в приданое ребенка?

Григорий Прохорыч стоял пораженный, не зная, что сказать.

Лизавета Елизаровна села за пяльцы, нагнулась и закрыла лицо руками. С четверть часа она сидела в таком положении, и когда открыла лицо, то увидала, что Григорий Прохорыч все еще стоял, разглядывал свою фуражку.

— Не веришь? — спросила Лизавета Елизаровна.

— Обманула ты меня... Тяжко ты меня обманула! — сказал он со вздохом.

— Я тебя не завлекала; ты добровольно носил за меня соль.

Григорий Прохорыч вышел. Пришедши домой, он швырнул в угол фуражку и сказал сестре:

— И тебе не стыдно!.. Будто я пятилетний ребенок, штобы меня так дурачить. Свины!

— Што, — верно, губа-то не дура!

— Молчи! Убью!!!

— Дурак!.. Только вы, мужчины, и хороши. Припомни-ко, не лебезил ли ты около Горбуновой.

— У-у!! Зме-я!.. — проговорил со злостью Григорий Прохорыч и, отыскав фуражку, вышел из избы.

Х

Промысловый суд

Григорья Прохорыча ужасно разобидело то обстоятельство, что он влюбился в такую девушку, которая уже беременна. «Двух девок я любил, а такой штуки со мной не случалось... Хорошо еще, что она сама ска-

зала», — думал он. Он теперь целые сутки терся на промыслах и терпеливо сносил насмешки молодых рабочих, которые смеялись над тем, что пришлец Гришка Горюнов хочет жениться на бывшей любовнице Ваньки Зубарева, и когда уж его выводили из терпения, он кричал, что они напрасно чешут языки, потому что он не дурак и даже не живет в ульяновском доме. Рабочие, видя, что Горюнов живет безвыходно на промыслах, даже на рынок не ходит, а покупает хлеб у торговков, приносящих хлеб на промысла, удивлялись его терпению и в то же время говорили, что Горюнова, вероятно, отщелкала Лизка Ульянова. Словом, Горюнову казалось, что рабочие всячески старались разбесить его. Все шло в таком порядке целую неделю, до тех пор, пока не открылось на варницах соленошение. К этому времени редкий холостой рабочий не знал о пороке Лизаветы Ульяновой, а знали все об этом от Марьи Оглоблиной.

Явились на промысла женщины, по обыкновению явились и мужчины, для того чтобы или пошалить, или самим попасть в работу с женщинами. Все голосили о семействе Ульяновых, и теперь было меньше спора о том, чтобы мужчины не работали с женщинами, потому что каждой хотелось узнать дело во всей подробности и выслушать мнение мужчин — и затем поругать мужчин за нанесенное женскому полу оскорбление.

Говоры шли разные по этому делу.

— Я давно замечала, што Лиза беременна, да молчала, — потому не мое дело.

— Потому, мол, сама беременна.

— Сука, дак и сука и есть!..

— Не правду, што ли, говорю! Скрывать-то, матушка, нечего. Ты знаешь пословицу: отец да мать не знают, а весь мир знает. Вот што! А вот это надо рассудить, што Лизка теперь?

— Не видать ее. Поди, не явится.

— Стыдно.

— Ну, она не такая!

— Слышала? Заводской Гришка за нее сватался!

— Слышала, да што-то он, говорят, все здесь живет. Должно быть, как узнал в чем дело, и на попятный.

— Смотрите, бабы и девки: заводского Гришку Горюнова в компанью не принимать.

— Тебе не надо, не принимай.

— Отсох бы у те язык-то. Говорят, Гришка этот зубаревскому примеру последовал!

— Сама первая, смотри, не бросься ему на шею.

— Слава богу, еще в рассудке.

— Вас слушать надо уши зажавши. Правду говорит пословица: две бабы — рынок, а три — так ярмонка.

— Известно: много голку, да мало толку!..

— Не суй перста в рот, — пожалуй, откусишь... А вы вот што скажите, умные головы: дело ли это — обмануть девку?

— Что ж такое! Мы пример с бар берем. Коли бара обманывают, нам и подавно можно.

— Не слушайте его, дурака. От него никогда не дождешься доброго слова.

— Зачем не дождаться. Кричать-то только не для чего: известно, немного попетю, да навек надето.

— Хорошо. Теперь ты скажи: не обидно ли девке, если ее обманывают?

— А как же мужья-то умирают?

— Што с дураком и говорить!.. Осел, так осел и есть. Ты бы то подумал: што бы ты сказал, если бы твоя дочь родила?

— Я бы ее взашей!

— То-то и есть, чужое страхом огорожено; в чужих руках ломоть велик... Ох, вы! Ну, не мужское ли это дело — пристать за баб? Ведь вы с начальством-то хороводитесь, а не бабы.

— Поди, сунься, так двадцать пять и запросит.

Пришла Лизавета Елизаровна с Пелагеей Прохоровной. Все, как увидели ее, смолкли.

— Што-то не видать тебя давно, Елизаровна? С новой подругой спозналась, нас и знать не хочешь? Али замуж скоро выходишь? — кричали ближние женщины.

— Это уж мое дело! Лучше дома сидеть, чем слушать выкомуры.

— То-то, женишка-то нового подсылала подслушивать...

— Какого женишка?

— А Гришку-то.

— С чего вы взяли, што он мне жених? И не стыдно вам говорить-то!.. По себе, видно, судите...

— Хотела, видно, обмануть молодца, да не на таковского напала.

— Хоть бы не ты говорила, Офимья!.. Не тебя ли стыдили в прошлом годе!.. Я молчу. И какое вам дело, бабы, до меня? Экая важность, што я беременна! Будто уж девке и родить нельзя! Будто и за вами нет грехов... Я знаю, што делаю.

— Бесстыдница, так бесстыдница и есть! Ты бы мужчин-то постыдилась.

— Нечего мне их бояться. Один из них хотел же на мне жениться, не дальше, как в крещение в ногах у меня валялся, а как я сказала ему, што я... ну, он и драло.

Женщины молчали.

— Это не заводской ли Гришка? — спросил мужчина.

— Ну, хоть бы и он, так вам-то што?

— Славно он нарезался.

Женщины вооружились против мужчин; мужчины доказывали, что никому неохота жениться на беременной, и стояли больше за свою братью. Но теперь все были вооружены против Ивана Зубарева. Все грозились, как только он покажется на промыслах, свернуть ему голову; но Лизавета Елизаровна упросила не делать ему никакого вреда, потому что не стоит из-за него быть в ответе, а лучше сказать ему, чтобы он не смел больше показываться на промыслах; приневоливать же его жениться на ней не надо, потому что он ей теперь противен.

Тем разговоры и кончились. Начали носить соль, и об утреннем разговоре никто не заводил речи, даже не говорили и о том, что Горюнов при входе женщин в варницу ушел, не поклонившись ни сестре, ни Лизавете Елизаровне. Хотя же сестра и спросила Панфила, куда ушел брат, но он ничего не мог сказать положительного. Григорий Прохорыч ушел в другие варницы. Он дал себе слово всячески стараться избегать встречи с Лизаветой Елизаровной, которую он любил, обнимал и которая так жестоко оскорбила его.

В полдень показался на промыслах Иван Зубарев. Он нерешительно шел к варнице, то и дело оглядываясь и озираясь по сторонам, как будто боялся, чтобы его не зашибли откуда-нибудь поленом. Он дошел благополучно до варницы, вошел в нее, постоял немного и подошел к одной девице, за которую в последнее время носил соль.

Та обругала его, упрекнула Ульяновой.

— Не хочешь ли ты и со мной такую же штуку сделать, как с ней? — сказала она и ушла.

— Гляди, бабы, — Зубарев! — начала Лизавета Елизаровна: — стоит, как оплеванный! На него никто и внимания не обращает, а он стоит... Спросите, чево ему надо еще?

Бабы заголосили, парни приняли угрожающий вид.

— Лучше уходи добром в свое село. Нам ты теперь, после твоих пакостей, не товарищ, — сказала одна девица.

Парни окружили Зубарева.

— Не троньте его!.. Я больше вас имею права бить его, да не хочу рук марать об этакую гадину... Посмотрим, удастся ли ему еще надуть такую дуру, как я, — проговорила Лизавета Елизаровна.

— Посмотрим: кто возьмет тебя замуж! — крикнул Зубарев.

Все заголосили, парни начали бить Зубарева, но Лизавета Елизаровна уняла их. Зубарев ушел, освищенный и обруганный.

— Теперь уж он и близко не подойдет к нашим промыслам, — говорили женщины, довольные своею храбростью.

— Ну, и нашим на Демьяновском не совсем ловко будет теперь, — проговорили парни.

О Зубареве можно сказать не много. Он был сын бедных родителей. Сперва он увлекся и полюбил девушку искренно. Но когда заметил, что она беременна, он ужаснулся своего поступка, думая, что его заставят жениться на Ульяновой, а отец выгонит его из дома. Он очень хорошо знал правила промысловых обычаев, что парень или мужчина, давший обещание девушке жениться на ней, должен был исполнить его, если она беременна от него. Отговорки не принимались. Лизавету Елизаровну он знал хорошо, но ему было неловко сказать ей, что ему не нравится ее беременность, и он стал думать, нельзя ли как-нибудь выпутаться из этого дела. Объяснил он это дело своей замужней сестре, сказав ей, что его невеста беременна, но, может быть, и не от него. Та посоветовала ему ходить пореже на Моргуновские промыслы, ревновать невесту к кому-нибудь. По ее совету и действовал Зубарев. После двухнедельного отсутствия он заме-

тил, что за Лизавету Елизаровну носит соль другой парень, и этого было достаточно ему, чтобы заподозрить ее в неверности. Он не взялся помогать Лизавете Елизаровне и даже не поговорил с ней. Но он любил ее, ему жалко было ее, ему хотелось поговорить с ней; но гордость и подозрение, что она действительно, может быть, променяла его на заводского парня, удерживали его, да он и радовался, что на место его подвернулся другой парень. В этот день он шел на Моргуновские промыслы за тем, чтобы сказать Лизавете Елизаровне, что он давно следил за ней и узнал, что она ветреная, почему он с нею и не хочет быть больше знаком.

XI

Материн сын

После этого события случилось то, что дом Ульяновых перешел во владение приписного Онуфриева, который до той поры не имел своего дома. Его нельзя было никак уговорить, чтобы он поощадал немного въезжать в дом. Он ничего не хотел слушать и очень скоро перетянулся со своим семейством, состоявшим из жены, сестры и пятерых детей, в старую половину, то есть в ту, где жили Ульяновы, потому что она была поместительнее новой, так как в ней была изба и комната. Новую половину он отдал в распоряжение Ульяновых с платою ему в месяц пятнадцати копеек и с тем, чтобы Ульяновы таскали на семейство Онуфриевых воду. Итак, Ульяновы поместились в новой половине с Пелагеей Прохоровной и ее братом Панфилом.

Теперь все хозяйство осталось на руках Лизаветы Елизаровны, которая никак не хотела, чтобы Пелагея Прохоровна считала себя хозяйкою. Степанида Власовна теперь совсем переменялась. Раньше она была строгою хозяйкою, требовала, чтобы у нее все было исправно, чисто, все лежало на своем месте; прежде рано иставливалась печь, рано выпекались хлебы, и остальное время было занято или пряжею, или вязаньем, или тканьем. Теперь же, считая себя более прежнего обиженною и оскорбленною, она и в дочери, и в сыновьях, и в маленькой девочке подозревала врагов. Вставала она рано, будила всех рано и начинала ворчать, что ее все

обидели, ни от кого ей нет почету, никто ее не хочет слушать.

— Да кто тебя, мамонька, не слушает? Все мы тебя любим, — скажет Лизавета Елизаровна.

— Это и видно. Я што говорила: не топи печь — дров нет...

— Это уж не твое дело. Не ты заботишься о дровах-то.

— Ну, вот! Я стала теперь не хозяйка в своем доме?.. То, бишь, выгнали... — И начинала она разводить историю о том, как она, по милости злых людей и неповиновения детей, дошла до такой бедности.

Выйдет Лизавета Елизаровна к корове. Корова тощая, есть хочет, а сена нет, купить не на что, украсть совестно, потому что и так уже сколько дней пробавлялись чужим сеном. Просто мука с одной этой коровой!.. Кабы она молока не давала — господь бы с ней... И ночь-то спокойно не заснешь; проснешься — корова на ум: «Как бы ее прокормить сегодня, как бы украсть где сена...» Думает-думает Лизавета Елизаровна — и полезет на поломанную телегу к соседнему сараю, засунет в щелку руку, пошарит-пошарит — труха одна. И хорошо еще, что никого сегодня нет там во дворе, а то ей не один раз уже приводилось слышать: «И какой это черт сено ворует? Сколько было сена — одна труха только теперь. Уж поймаю же я кого-нибудь из Ульяновых, чтоб у них отсохли руки!..»

— Мамонька! Уж продать бы, што ли, корову-то! Нечего ей есть-то.

— Ну, вот! Все я виновата во всем... Нет уж, поколею я, а корову не продам.

Делать нечего, пойдет Лизавета Елизаровна к соседям, кои подобнее, кои прежде побирались у Ульяновых. И чего, чего только она не выслушает от них? От одних слов убежал бы человек... Но не поколевать же корове из-за людских неприятностей? «Пусть говорят, что хотят, пусть конфузят и страмят нас, как хочут, — все снесу, только бы дали сена...» Зато как рада, с каким восторгом несет домой Лизавета Елизаровна охапку сена, точно она несет несметные сокровища... Зато во всем околотке про нее стали говорить: «Ни у кого нет такого бесстыдства, как у Лизки Ульяновой. Известно, отпечет... Ведь знает, что у нас не горы золота, а лезет.

И только уж по человечеству жалко и животинку: потому чем бедная коровенка виновата, что ее морят голодом...»

А Степанида Власовна не понимала всего этого. И много, много было таких недостатков, через которые почти на каждом шагу приводилось получать Лизавете Елизаровне неприятности. Мать же если и сидела иногда целый день дома за пряжей или тканьем, то от нее житья не было: все ворчит и говорит вздор, а уйти некуда; да и когда мать дома, нужно больше хлеба; мать требует шей, а если Лизавета Елизаровна говорит ей, что у них семья большая, дай бы бог, чтобы на всех до лета картофеля да свеклы хватило, так она начинает укорять ее женихом:

— Небось, брюхо нажила, а женишку поблажку дала!.. Нет, мы не так прежде дельвали.

— Хоть бы ты этого-то не говорила, мать! — взъестся Лизавета Елизаровна.

— Как я тебя начну щепать! Ты разве не моя дочь? Не я тебя вспоила, вскормила, на ноги поставила? Ну, дура же я была, што не швырнула с полатей тебя... Только бросить, мокренько бы стало.

— Мамонька! Да чем же я виновата!

— А! Теперь — дак чем виновата! Нет, матушка: коли кататься любишь, люби и саночки возить... Изволь теперь кормить меня.

«Мать права, — думает Лизавета Елизаровна. — Чем в самом деле она виновата, што я беременна? Какая мать в состоянии уберечь свою дочь на промыслах?.. Вот теперь я знаю, што от такого баловства можно нажить горе на всю жизнь, а тогда я и верить этому не хотела, потому что молода еще очень была... Если мать и ругала меня, я думала, она зла мне желает. А все же и она виновата: отчего бы матери лаской да с любовью не научить девчонку, как действовать, если парень умасливает девку? Отчего не сказать: бойся, мол, мила дочка, парней и до тех пор, как парень не женится на тебе, не спи с ним... Чем виновата мать, что у нас такая бедность? Ведь знает она, што ни я, ни Степан не сидим без дела, и все-таки наших денег не хватает на неделю. Чем и отец виноват был, если у него доходов не стало... И зачем она всю вину теперь на меня сваливает, зачем сама об своих детях не заботится?»

Семейство отдыхало, когда Степаниды Власовны не было дома. Но и в это время у Лизаветы Елизаровны щемило сердце. «Лучше бы она не ходила, меньше бы говорили про нас». И действительно, Степанида Власовна ходила не за делом, не для работы, а так, бог знает зачем. На нее нашла апатия; делать ей ничего не хотелось; при виде знакомых она горячилась, подозревая их в отравлении ее, мужа ее и ее семейства... На улице, в домах, куда ее принимали из жалости, она не могла найти себе покоя. Дома ей было душно; ее семейство давило ее. И вот она стала попивать водку, и так крепко, что на нее уже нечего было надеяться.

Панфил жил очень дружно с Степаном. Хотя же они и ссорились часто, потому что во многом не сходились друг с другом, и дрались частенько из-за того, что который-нибудь из них воровал у друга кусок хлеба, надевал ботинки или фуражку, но если не было дома одного, другой скучал. Степан работал на вороту, то есть погонял лошадей, и за это получал платы за день десять копеек. Случалось, что он от устатка сваливался и сладко засыпал, но за это его колотили без пощады, не считая еще его за человека. Такая работа, впрочем, не всегда бывала, да и она мальчику очень надоедала, и поэтому он с охотою шел в варницы, и если там за броску дров в печь, за складку дров в поленницу или очистку снега откуда-нибудь на промыслах — ничего не давали, то он все-таки днем не шел домой, потому что ему дома бывало скучно, он отвыкал уже мало-помалу от дома и считал себя большим человеком, почему и не любил, чтобы его дома ругали. Поэтому часто случалось, что или Степан прибежит к Панфилу покурить табачку, погреться, или Панфил к Степану убежит от рабочих, которые за что-нибудь хотят бить его, или просто покалякать от скуки. А у Панфила новостей или рассказов было больше, потому что он терся с людьми, а Степан только около лошадей.

Раз Панфил приходил к Степану, который от нечего делать изощрялся попасть хворостиной в глаза которой-нибудь из лошадей. Увидя Панфила, Степан бросил хворостинку и подошел к нему. Лошади стали.

— Слышь, Степка, што мужики говорят: мы напрасно деньги-то отдаем дома.

— А им што за дело?

— Вы, говорят, дураки, уж не маленькие теперь. Сколько, говорят, вы ни принесете, всё возьмут, а вам ничего не отдадут. Не надо, говорят, отдавать деньги. Лучше, говорят, на сапоги копить.

— Дурень! Как не отдать-то?

— А ты возьми и не отдай — не дали, мол... Я дак не отдам, потому сестра сама большая. Сама замужем была, и я ей больше не помощник. Вон Гриша тоже не живет с нами. А мы, Степка, на квартиру пойдем.

Степан ничего не сказал. Он задумался. Слова Панфила его точно ошпарили; он, вытараща глаза, смотрел на метелку — и долго простоял в таком положении, до тех пор, пока не вывела его из оцепенения одна лошадь, начавшая чихать. Панфила уже не было в насосе.

Степан был совсем сбит с толку своим приятелем. Находясь постоянно среди рабочих и считая себя тоже рабочим, только еще небольшим, он понимал все, что творилось вокруг него; но он был в таком возрасте, в котором легко подчиняются влиянию товарищей и взрослых. Свое ничтожество перед взрослыми он сознавал из того, что он не имел такой силы, как взрослые; взрослый легко мог стиснуть ему руку так, что он чувствовал сильнейшую боль; на многие слова он не мог ничего отвечать; не мог многого сделать так, как делают взрослые: взрослые ругали его мальчишкою, не позволяли ему дотрогиваться до таких вещей, до которых ему не следовало дотрогиваться, умеряли его любопытство, толкали его от туда, где ему, по его летам, быть не следовало, теребили за уши, если он забирался в кабаки и тянул из рюмки водку. Поэтому, отстраняемый всюду, даже в церкви, на задний план, он всячески старался добиться того, от чего его отстраняли, и старался во всем подражать взрослым, для того чтобы его не считали мальчишкою. Вообще ему, промысловому мальчику, приходилось переносить много, и надо удивляться живучести его натуры.

В отце Степан видел домохозяина, главу, но он его несколько не боялся, потому что его не боялась мать, которая, как он понимал, держала отца в ежовых рукавицах. От рабочих он слышал, что его отец *мокрая курица*, которую мать его может загнать куда угодно. Кроме этого, он слышал от брата, что он незаконный сын, что отец его другой, и поэтому он не имел особенной

любви к отцу, относясь к нему, как к хозяину. Мать была для него не то: он ее всегда видел дома, мать одевала его, давала есть, кричала на него и колотила его, когда он ее не слушался. Степан не боялся посторонних людей, которые его бранили и били; а мать скажет слово — он боится, чтобы она его не ударила, а станет огрызаться, ему же достанется. Из ее разговоров он понимал, что мать если работает на промыслах, прядет куделю, ходит куда-нибудь, то все это она делает для детей. Но, видя, как рабочие обращаются с пожилыми женщинами на промыслах, он все-таки сознавал, что женщина не муж-чина, ее власть над ним нейдет дальше ее дома и что поэтому мать его только в своем семействе имеет верх над детьми, но на промыслах существо довольно слабое, ничем не рознящееся от других женщин, с которыми кто хочет, тот и заигрывает, которых кто хочет, тот и обругает. Все-таки он свою мать уважал и, если кто при нем говорил про нее нехорошо или ругал ее, он заступался за нее, что очень сместило молодых рабочих. И соседи говорили, что у Ульяновых из детей только один Степка покорный, который со всех ног бежит туда, куда пошлет его мать, и относили это к тому, что он был любимец Степаниды Власовны. Знакомые Степаниды Власовны говорили, что Степан походил лицом и манерами на нее. И действительно, Степан, вымывшись в бане и принарядившись, казался очень красивым мальчиком. В характере его было много женственности, и он был мальчик, как говорили девушки, *завидуший*. Но однако, несмотря на то, что зависть свою он проявлял перед всеми родными и любил поесть сладкого, он каждую копейку отдавал матери, и если покупал пряник, то не знал, что ему сорвать матери, которая знала, сколько Степан получает заработка. Так было до отъезда отца. При прощании в его голову врезались непонятные слова родителей и сестры; он заметил, что в семействе что-то от него скрывают. Он долго думал об этой сцене и ничего не мог выдумать, а пришел только к тому заключению, что его отец человек нехороший, сестра тоже нехорошая, потому что она что-то сделала нехорошее, коли плакала. Но отчего, спрашивается, ушел отец? Отчего он его не взял с собой, если на золотых хорошо? Отчего отец плакал и все плакали, когда прощались с ним?.. Уж не обидел ли кто его отца? Думал Степан и старался подслушать, что

про него говорят рабочие. Из этих подслушиваний он узнал, что его мать ругают все мужчины за то, что она сама не умела беречь деньги, когда отец имел большие доходы; что не трать она деньги на угощения своих любовников, Елизар Матвееч не сидел бы понапрасну три года в лесу без дела, а мог бы заняться торговлей; что от такой сварливой жены поневоле побежишь куда-нибудь. И много-много Степан услышал от рабочих. Горько ему было, плакал он, что обижают его мать, и при первом же случае хотел пожаловаться ей, но в первые дни мать была очень сердита, к ней нельзя было и подступиться, ругала его, гнала вон, говоря, что теперь ей и самой нечего жрать, не только что кормить еще такую ораву.

— А, мамонька, мои деньги... — сказал Степан, думая, что он этим угодит матери.

— Ты што меня коришь своими-то деньгами? Ах, ты, мерзавец! Он только што в работу поступил, а уж начал укорять меня, што я на его деньги живу.

Долго ругалась мать и даже побила Степана в этот день. Степана это разобидело. Ему думалось, что матери не жалко его. Она не понимает того, как ему тяжело на работе.

Мать день ото дня становилась сердитее; если сын отдавал ей деньги, она ругала его, зачем он мало принес, что он, вероятно, сошелся с мошенниками, которые обирают его. Станет возражать Степан, мать так крикнет на него, что он вздрогнет и не найдет, что сказать.

Крепко стал Степан подумывать о том, как бы угодить матери. Прежде мать по голове его гладила, когда отдавал он ей недельный заработок, кормила его досыта; если что пекла сладкое, то сама не попробует, а даст ему; теперь бьет за то, что он мало носит денег, хотя он теперь целыми двумя копейками получает больше прежнего, сладкого ничего нет, да и хлеб даже покупают с рынка. Прежде мать заботилась: нет ли на халатишке дыры, целы ли у него ботинки; теперь все разваливается, мать не спрашивает, а поди-ко, сунься к ней, когда она все ворчит! Хорошо еще, что сестра кое-как заштопает. О Лизавете Елизаровне он тоже был дурного мнения, но она в последнее время стала ему больше нравиться, потому что она с ним разговаривала, играла с ним в карты,

расспрашивала его, кормила и заштопывала дыры на халатишке и на ботинках; когда сестры и Пелагеи Прохоровны не было дома, туда хоть не показывайся: ни корки оглоданной не найдешь нигде. Кроме этого, ему нравилось то, что она отказалась быть женою Григорья Прохорыча, которого он терпеть не мог за его хвастовство и надменность.

Степану мало приводилось работать с рабочими. Он больше находился в насосе около лошадей, один или с каким-нибудь рабочим, который больше молчал. В таком уединении у него много было времени думать, к тому же он не был охотником петь один песни. И он думал много. Но главною его думою ежедневно было о том, что будет из него, когда он сделается богачом, и каким образом ему достичь до того, чтобы сделаться богатым человеком? Все это он развивал на разные лады; каждый новый предмет давал ему тему для новых дум. Летом он думал, что найдет деньги под лодкой, в которой он или кто-нибудь перевозил состоятельного человека через реку; на эти деньги он завел бы несколько лодок, в которых его семейство стало бы перевозить весной людей через реку дешевле, чем берут на перевозе, и таким образом нажил бы много денег и из них половину брал бы себе, а половину отдавал матери — и т. д. Зимой он думал: хорошо бы заработать деньги на лошадь, которую бы можно было запрячь в ворот, а тогда он стал бы получать платы по четвертаку в день, по праздникам бы стал на этой лошади возить дрова на варницы и мало-помалу разжился бы — и т. д. И чем больше казалась ему невыносимою брань, тем больше он проводил время в думах о богатстве и даже мало спал по ночам. А тут еще новое горе: промысловая Варька, пятнадцатилетняя девушка, с которой он с трехлетнего возраста играл вместе, стала ему нравиться более прежнего. Варьку он стал почему-то бояться и при мысли о ней по всему телу чувствовал что-то приятное: так вот и хочется видеть ее, сидеть с ней и смотреть на нее. Уж он ее раз обнял в чулане, да она его так оттолкнула, что он сильно ушиб об косяк левый локоть. А как раз обнял да получил толчок, захотелось и в другой раз, только она сказала:

— Не стоишь! Подари мне платок с картинкой, так я тебе позволю обнимать меня часто. Тогда и я тебе варежки подарю.

Задумался Степан крепко над словами своего приятеля. «В самом деле,—думал он,—если я не стану отдавать денег матери или сестре, я накоплю денег. Куплю себе ботинки, Варьке платок; Варька мне подарит варежки и чулки». Но как это сделать? Что сказать матери, куда деньги спрятать?

По окончании работы он зашел за Горюновым в варницу, тот уже спал. Ульянов разбудил его.

— Не пойду. Гришка вон тоже не ходит, и я не пойду. Не ходи и ты, коли хочешь быть мне товарищем,—сказал Панфил Степану.

В первый раз пришлось Степану ночевать в варнице. Случалось ему спать и в шалаше у отца, и в лесу, и на берегу реки, зато он спал там в виду у матери или с разрешения ее; теперь же ему пришлось покидать мать и сестру по своему капризу. Но отстать от Панфила ему не хотелось; рабочие говорили: где Степке спать в варнице, он ни на шаг не может отойти от матери и спит на перине! Степан лег к Панфилу, но долго ворочался с боку на бок, и если бы не ночь, то давно убежал бы домой.

На другой день ему было очень скучно об матери, и он боялся теперь показаться ей. Чем больше он думал о своем поступке, тем больше находил себя неправым, потому что никто, кроме матери, так не любил его раньше. А если теперь она не любит, то, может быть, это недолго будет продолжаться. Вечером Степан направился домой, но Панфил попался ему навстречу. Он нес на веревочке двух налимов.

— Степка! Иди уху хлебать!.. Славная будет уха, с луком, с перцем... Славно будет! Гуляй, Степка!!

У Степки слюни текли от желания похлебать ухи; ему слышался запах рыбьего навара. Он уже с покрова не едал рыбы. Тогда мать пекла пирог с сигами, а об налимах он только слыхал, что они хороши. И он пошел за Панфилом.

Панфил Горюнов справлял сегодня свое вступление в товарищество рабочих. Хотя рабочие и не считали его за большого рабочего, но так как он работал наравне с ними, то же, что и они, то они не гнушались с ним водить компанию, обедать вместе — и в некоторых случаях даже *затыкались* им, то есть просили его, в случае отсутствия товарища, заменить того, за что он, кроме спасибо, пока ничего не получал. Товарищество состояло

в том, чтобы работать вместе, в случае утайки кем-либо какой-нибудь промысловой вещи всем молчать, хотя бы при этой утайке не было произведено между товарищами никакого дележа, не выдавать товарища, если он почему-нибудь ушел из варницы с полдня или с полночи, а требовать, чтобы ему была положена плата, как и всем, за полное число урочного времени. Товарищество составляли большею частью друзья, и поэтому в компанию к ним попасть было нелегко. Панфил же попал потому, что он был мальчик бойкий, *вострый* на словах, умел угодить всем, раза два уже обругал зрителя, и тот ничего не сделал за это мальчишке, потому что не нашел, что возразить на его резкие замечания. Особенно же рабочим нравилось в Горюнове то, что он отказался жить с сестрой и, стало быть, будет иметь деньги, которыми легко можно будет им позаимствоваться от него. Рыбу же Панфил достал довольно смело. Напротив амбара, недалеко от берега, он заметил утром какого-то мужчину, вытаскивающего из маленькой проруби палку, потом какую-то плетушку. Это его заняло. Он подошел к нему и узнал, что мужчина ставит морды и снасти, которыми ловят рыбу. Вот вечером Панфил и пошел ловить рыбу. Морду он не мог поднять, а бечевка с вершковыми крючками была так велика, что он ее едва на четверть вытащил из дыры. И тут с ним чуть не случилась беда: один крючок зацепил за халат, его стало тянуть к дыре; ладно, что он ножик взял с собой и обрезал бечевку,— и потом схватил бечевку с налимими, пустился бегом к варницам, потому что услышал недалеко от себя крик рыболова, который хотел его побить. На промыслах он был в безопасности, потому что туда рыболовы идти боялся бы.

Уху хвалили все, несмотря на то, что к ней недоставало водки. Степан ел с жадностью, и после ужина у него прошла охота идти домой.

Так прошло до субботы. В субботу утром ребята задумались: где им выпариться и где провести воскресенье? Утром Панфил высказал это затруднение товарищам. Те тоже призадумались.

— В бане выпариться беспреренно надо, и рубаху надо тоже попарить, да вымыть надо... У нас-то нету бань, сами паримся где попало, а вам, ребяташкам, и подавно негде... Мы, пожалуй, с собой возьмем,

только куды после бани вам деваться? Ведь не все же на промыслах быть? Ведь бывает же и свинье праздник...

Так рабочие вопрос о том, где провести ребятам праздник, ничем не решили.

В субботу была работа и женщинам на промыслах. Как водится, там были Лизавета Елизаровна с матерью и Пелагея Прохоровна. Степанида Власовна проработала немного и пошла разыскивать сына.

— Варвар! В добрую землю, видно, вошел! — кричала она на Степана.

Степан молчал.

— С таких лет от дому стал лытать (бегать)! Где ты был?

— Здесь!

— Врешь! Не поверю!

— Я, мамонька, не пойду больше домой. Мне и здесь хорошо.

Мать разразилась ругательством, но на нее прикрикнул рабочий:

— Што кричишь-то! Только парня от дела отнимаешь. И так уж чуть не все жилы из него вытянула,— проговорил он вслух и оттолкнул ее от насоса.

Степанида Власовна пошла жаловаться на рабочих смотрителю, что они совсем развратили Степку, и просила его заступиться за нее, то есть отодрать его хорошенько сейчас же при ней, как это было прежде.

— Не могу. На то есть полиция.

Степанида Власовна заплакала и поклонилась смотрителю в ноги, прося его выдать ей заработок за Степана.

— Ты, матушка, сама в состоянии робить! От тебя и теперь разит водкой.

И смотритель вытолкал от себя Степаниду Власовну.

Степанида Власовна не унялась, а пошла к полицейскому начальству, которое отказалось наказать розгами ее сына, но дало ей бумагу, чтобы заработную плату сына ее Степана выдавали ей.

Смотритель позвал к себе Степана и объявил ему о проделке его матери.

Степан стоял бледный, молчал.

— Не ты первый... Эти пьяные бабы меня совсем сбили с толку, и я не знаю, как помочь тебе... Если я

всем стану помогать, самому придется голодом сидеть! А супротив полиции я ничего не могу сделать, потому наши порядки с ее порядками не сходятся.

Вечером Степанида Власовна получила за Степана деньги за всю неделю, так как Степан работал всю неделю на одном месте. Рабочие ее стыдили; уговаривала ее и Лизавета Елизаровна не брать деньги, если Степан не хочет их отдавать им для хозяйства; плакал Степан,—ничто не помогло. Степанида Власовна ушла с деньгами.

— А ведь, ребята, с ней ничего не сделаешь. Она мать! — говорили рабочие.

— Да парню-то от этого не легче!.. Надо бы его пристроить куда-нибудь.

— Кто станет даром кормить?.. Слушай, Степка... Твоя мать берет за тебя деньги, значит, полиция думает, што она живет на твой счет и семью кормит... а всем теперь после Елизара известно, што кормитесь вы Лизкой. И дурак ты будешь, если не станешь требовать свое... Ступай домой хозяином. Знать, мол, не хочу; давай мне мое; одевай, обувай меня... — проговорил один рабочий.

— Хоть бы кормила, и то ладно, — заметил кто-то в толпе.

Настроенный таким образом рабочими, Степан пошел домой с сестрою, Панфилом и Пелагеею Прохоровною, которая говорила, что хорошо он делает, что не живет дома, потому что ее и так корит Степанида Власовна углом. И если бы она, Пелагея Прохоровна, имела больше заработка, то ушла бы на другую квартиру, да и теперь живет только потому, что ей веселее с Лизаветой Елизаровной.

Степаниды Власовны дома не было. Она пришла уже в то время, когда все выпарились в бане, — и пришла пьяная, но ворчала недолго и, свалившись на пол, скоро заснула. Лизавета Елизаровна пощупала карман в сарафане Степаниды Власовны — ничто не брякало.

— Как есть все уходила! — сказала она с горестью.

Вскоре легли спать все обитатели этой квартиры, и через полчаса, как погасили лучину, в избе настала тишина, прерываемая храпом Степаниды Власовны. Не спали только Пелагея Прохоровна и Степан, но оба они, занятые своими мыслями, думали, что спят все.

Вдруг Пелагея Прохоровна, спавшая на кровати рядом с Лизаветой Елизаровной, услышала, что кто-то слез с печки и подошел к Степаниде Власовне. Немного погодя что-то стукнуло под лавкой. Пелагея Прохоровна задрожала, встала и на цыпочках подошла к столу, на котором она ущупала спички. Она чиркнула спичкой, спичка зажглась — и в этот момент она увидела Степана, поднявшего руки кверху с топором. В тот момент, как осветило избу, топор выпал у Степана назад от него и попал на голую ногу Пелагеи Прохоровны, но, к счастью, не острием, а обухом.

Пелагея Прохоровна схватила за руки Степана.

— Што ты делаешь, разбойник? — крикнула она в испуге.

— Ничего... Пусти... — И Степан стал барахтаться.

— Лиза! Помоги мне.

— Што такое? — проговорила в испуге Лизавета Елизаровна.

— Братчик-то твой...

Лизавета Елизаровна вскочила, зажгла огня на лучину и увидала: Пелагея Прохоровна борется с Степаном, который старался вырвать свои руки из рук Мокроносой, а ртом старался достать или локоть, или плечо ее, чтобы укусить.

Увидя топор, Лизавета Елизаровна крикнула, и с ней сделалось дурно.

В это время проснулся Панфил, и открыла глаза Степанида Власовна.

Степан вырвался и убежал из избы.

Пелагея Прохоровна оттолкнула ногой под лавку топор.

Степанида Власовна присела, огляделась, потом вышла на двор и закричала:

— Караул!.. режут!..

На ее крик сбежались хозяева — и, узнав от нее в чем дело, хотели идти спать, потому что на нее не стоило обращать внимания, но вышла Пелагея Прохоровна и стала звать хозяйку на помощь Лизавете Елизаровне, которой с испугу сделалось дурно.

Хозяин, узнав о покушении на жизнь матери Степаном, никак не хотел прекратить это дело, и как его ни упрашивали Мокроносова, Горюнов и Лизавета Елизаровна не разглашать о нем, он, для своей безопасности,

созвал двух соседей в квартиру своих жильцов и утром заявил полиции.

Лизавета Елизаровна к утру выкинула мертвого ребенка. К утру же разыскали Степана и посадили в полицию, где он сказал, что хотел убить мать за то, что она отняла у него заработок.

XII

Голодные дни

Степанида Власовна два дня ходила по селу, как ошалелая. На первых порах ей так и казалось, что весь свет вооружился против нее. Уж если ее родной сын, ее любимец, поднял на нее руку, чего же можно ждать ей от чужих! Она не хотела себе верить, что она сама своими глазами видела сына. Но его держала за руки ее жиличка, Пелагея Прохоровна; дочь ее выкинула от испуга; сын в глаза сознался ей в преступлении. Много слез пролила Степанида Власовна наедине и при людях, жалуясь на то, что она самая несчастная в селе женщина. Поступок Оглоблиной в сравнении с поступком ее сына, по заключению Степаниды Власовны, был капля в море: Оглоблиной она могла сделать вред, могла ее срамить, как ей хотелось, но сын... сын, которого она любила, на которого возлагала большие надежды, ее родной сын поднял на нее руку... Слыханное ли дело в селе? Она никак не могла понять, что за причина, что сын поднял на нее руку? Что бы он выиграл, убив мать свою? Уж ему острога не миновать, как он ни скрывайся. Разве ему жизнь надоела в селе? «Я не держала; иди хоть на все четыре стороны; я бы держать не стала... Отчего бы ему не сказать мне: я, мол, не хочу отдавать тебе деньги, и я бы ничего... Стала бы собирать христа ради и прокормила бы как-нибудь ребятишек...» Так говорила Степанида Власовна всем спрашивавшим ее с удивлением об сыне, стараясь услышать от них сочувствие, жалость к ней, всеми обиженной. Но они говорили одно: сама, матушка, виновата; ты сама довела до того сынка, што он поднял на тебя руку. Отчего наши дети не поднимают на нас рук? А ведь и наше-то житье не барское!

Теперь Степанида Власовна уже не ругалась дома, где она проводила большую часть времени, потому что

ей тяжело было показываться в селе, где она как будто чувствовала себя оплеванной. Напротив, она старалась держать себя дома хорошою хозяйкою, доброю матерью. Она теперь уже не бранила и дочь за то, что та выкинула младенца, а заботилась о том, чтобы та выздоровела, сообщала ей результаты своих походов на счет продажи коровы, на счет слухов про Оглоблину, которая, как она узнала от приезжающих на рынок из деревень крестьян, торгует в городе калачами, пряниками и орехами; сделалась ласкова с Пелагеей Прохоровной, которая спасла ее от смерти. Все это удивляло молодых женщин, и они не знали, к чему отнести такую перемену в Степаниде Власовне.

Недостатки Ульяновых увеличились еще более. Это Степанида Власовна видела и особенно ощущала при наступлении пасхи. И она раскаивалась в том, что после отъезда мужа тратила понапрасну время на нанесение оскорблений Оглоблиной, пропивала почти половину заработка Степана. «Хотя бы польза была из этого», — думала она. Хотя Оглоблиной и нет теперь в селе, но ей-то от этого не легче. У нее нет своего дома, не на что купить даже льну, для того чтобы из него извлечь какую-нибудь выгоду, и, стало быть, не на что купить хлеба. А теперь еще Никита и Марья захворали, нужно звать лекарку, ей нужно платить... Сбирать Христа ради известно, потому что у нее есть взрослая дочь, которая одна в состоянии своими заработками прокормить целое семейство. Но и дочь расхворалась. Иные женщины так на третий день после родов в силах работать, а Лизавета Елизаровна вот уже целый месяц с кровати не встает, худеет, ничего не ест. Ходила Степанида Власовна даже к доктору посоветоваться насчет болезни дочери, да доктор ее не принял. Ходила Степанида Власовна и к начальству разному, прося его выпустить Степана, потому что она прощает его поступок и не желает, чтобы его судили; но над ней посмеялись и сказали ей, что теперь она над сыном не имеет уже никакой власти, потому что он находится в руках правосудия.

Походит-походит Степанида Власовна по селу, ищет во многих домах работы, нигде нечего ей делать. Куда ни придет — везде удивляются, что она ищет работы, тогда как иную женщину не скоро заманишь на работу в какой-нибудь дом, потому что женщины любят

только носить соль, отчего, вероятно, в богатых семействах и выработалась поговорка: «Тяжела на подъем, как солоноскока». Да и что ей работать на домах? Богатые семейства имеют прислугу, большею частию из девушек, которых держат из-за хлеба; бедные делают все сами. В одном месте ее, впрочем, заставили вымыть пол, но хозяйка после обеда шаль потеряла, и Степаниду Власовну свели в полицию. Шаль нашлась, а Степаниду Власовну выпустили. В другом месте заставили белье стирать, да увидала хозяйка, что Степанида Власовна не умеет стирать белье, прогнала ее, не заплатив за потраченное время ни копейки. Придет она домой усталая, задумается. Дети стонут, дочь лежит исхудалая.

— Господи помилуй! Господи помилуй! — шепчет с отчаянием Степанида Власовна и посмотрит на дочь.

«Неужели она помрет?» — спрашивала сама себя Ульянова.

Возьмет прялку, на прялке замоган кусочек кудели, — и положит назад прялку.

И только одна Пелагея Прохоровна спасала эту семью от голодной смерти.

Пелагее Прохоровне давно опротивела здешняя жизнь. Не раз приставали к ней мужчины с любезностями, не один уже делал ей предложения «скоротать с ним жизнь». От всех она отделивалась или молчанием, или резкими возражениями, за что ее и стали все звать гордичкой; а так как она ни с кем компании не вела, то преимущественно женщины стали считать ее женщиною злою, старающеюся только о своей пользе, и смеялись над тем, как она целый день носила соль одна; если же от устатка она прислонялась к стене или садилась, ей говорили, что она ленится, что если она своим усердием хочет выслужиться перед смотрителем и получить каки-нибудь больше денег, то не должна приседать и прислоняться к стене. Мало этого, про нее стали говорить, что она метит попасть в любовницы приказчика, который постоянно на нее заглядывается и один раз даже передал ей лишний гривенник, по тому поводу, как он сам сказал при возвращении этого гривенника Пелагеею Прохоровною ему, что ему угодно сделать ей *призент*. Наконец женщины стали отталкивать Пелагею Прохоровну от дверей варницы для того, чтобы она не попала в солоноски. Но Пелагея Прохоровна, к удивлению женщин,

все-таки попадала в солоноски; но зато ей приводилось много выслушивать от них и брани, и насмешек. Все это тяжело было переносить Пелагее Прохоровне; она проклинала тот день, в который согласилась идти с дядей из города, и давно ушла бы из села обратно в город, если бы не было холодно. Кроме холода, ее удерживало то, что Короваев хотел известить ее о своем житье в М. заводе, и она дожидалась чуть не каждый день вести об нем, да и Григорий Прохорыч, ушедший туда же через две недели после признания Лизаветы Елизаровны, хотел написать ей подробно о тамошнем житье, и если найдет Короваева, то и об нем. Но ни Короваев, ни брат ничего ей не писали; ни об них, ни об дяде не было никакого известия, точно они в воду канули.

«Все они обманщики, они только о себе заботятся. Ишь, куда завели меня! Это они нарочно завели меня сюда, чтобы я им не мешала, чтобы избавиться от лишнего человека. Так погодите же! Дождусь я лета, и сама пойду искать себе счастья. Уж не поклонюсь я вам! Мой дедушка тоже никому не кланялся, сам в люди вышел, с нашим господином в Петербурге жил, и если бы не набедокурил там, не то бы было с нами. Будете вы домогаться, чтобы я потом по вашей дудке песни пела, да уж поздно. А што Короваев злой человек, это из того видно, што он и дядю мово сюда заташил и разошелся с ним на другой же день. Уж если бы он захотел жениться на мне, мог бы с кем-нибудь грамотку послать: хорошо ли, худо ли ему».

Так думала Пелагея Прохоровна — и твердо решила летом непременно идти опять в тот же город, в котором она жила раньше. «Говорят, городов много на свете, только в разных местах разные порядки. А в этом городе порядки мне знакомы; у меня есть там знакомые, и я скоро попаду на место, и Лизавете можно там скорее найти место. Ну, а если не понравится там, накоплю денег и дальше пойду: не все же и там злые люди живут».

На заработанные деньги Пелагея Прохоровна сперва покупала муки, крупы и мяса; но трудно было сводить концы с концами, то есть рассчитывать так, чтобы денег достало до работы; и потому она стала отказывать себе в мясе и рубль тянула на полторы недели; Степанида Власовна, получив деньги, с своей стороны старалась

что-нибудь состряпать, сварить, но Пелагея Прохоровна удерживала ее, говоря:

— Мы, Степанида Власовна, не померли же и с редьки да с хлеба. А без горохова-то киселя проживем.

— Полно-ко толковать-то! Мне разве не обидно, што ты нас кормишь!

— А ты не трать деньги на кисели да на ватрушки,— глядишь, дня три и впереди.

Степанида Власовна так и не пекла и ничего не варила. Только тогда и варились щи, когда Панфил приносил сам мяса.

Панфил по целым дням жил на промыслах, зарабатывая от десяти до двадцати копеек. На хлеб у него выходила половина этой суммы, а если ему удавалось украсть рыбы, то его угощали и хлебом. В две недели он мог накопить очень немного денег, которые и ушли на покупку больших старых сапогов, хозяин которых уже не нуждался в них, так как, получивши порядочный заработок, купил себе другие; но и эту обновку нужно было починить, и Панфил опять копил целую неделю деньги на починку сапогов, а остаток употребил на угощение своей сестры в воскресенье. Рабочие удивлялись терпению молодого Горюнова, называя его железным человеком, старались выпросить у него денег, приглашали его пить по вечерам в трактирах чай, но Горюнов денег не давал никому с той поры, как его обманули двое рабочих: они обещали отдать ему долг при получении расчета, но тогда к ним явились другие кредиторы, которым они были должны давно,—и не пять и не десять копеек. Впрочем, Панфил не отказывался от посещения харчевен; ему, напротив, нравилось быть там, где происходили оживленные споры, ссоры, а иногда и драки. Там он садился в угол и из угла вслушивался в разговоры рабочих, которые ставили последнюю копейку ребром, хвастаясь тем, что у них, благодаря бога, руки здоровы и они вперед могут заработать и больше этого. Ему нравилось следить за хозяином харчевни или хозяйкой и подручным, как те наливали неполные рюмки водки и присчитывали на посетителей деньги. Его удивляло то, что эти семейные рабочие почти все свободное время проводят в питейных домах, посещая непременно один какой-нибудь кабак или одну харчевню, пропивают иногда свои халаты, сапоги, жалуясь в то же

время на обманы начальства и на судьбу, обременившую их большими семействами, от которых дома нет никакого покоя. В этих заведениях он, между прочим, заметил еще и то, что сельские уроженцы хвастались перед пришлыми своею удаляю, смышленостью и каким-то благородством; они ненавидели пришлых за то, что те отнимают у них заработок, и лишь только в каком-нибудь заведении сойдутся пришлые с коренными, — быть драке, которая, впрочем, закончивается тем, что одна какая-нибудь сторона угощает другую. Мало этого, Горюнов заметил, что и коренные не живут в ладах. Не говоря уже о том, что в кабаках происходят драки между рабочими разных варниц, принадлежащих разным хозяевам, — и в домах, на именинах или в праздники, когда рабочие идут в гости в ту часть села или в то село, где празднуется церковный престол, — и там дело без драки не оканчивается, хотя и начинается дружно. Поэтому немудрено, что Панфила, который не угощал никого ничем, курил табак на чужой счет и был не прочь выпить на чужой счет пива, браги или водки, крепко недолюбливали рабочие, и когда дело доходило до ссоры и драки, его постоянно выгоняли. Панфил ничего не мог поделаться с пьяными; защитников за него не было даже из среды тех, с которыми он работал вместе, потому что в компании всем хотелось разбесить заводского выродка, который стихи сочиняет, то есть думает; но на другой день, когда рабочие являлись на работу с больными головами, он все накипевшее в нем за ночь зло старался выместить на них.

— Што, пьяная рожа! Болит голова-то! Опохмеляться хошь? — И Панфил показывал рабочему пятак.

Рабочий впивался глазами в монету и чесал голову.

— Што, небось пропил все деньги! Ишь, женины башмаки надел...

— Молчи!.. Убью!! У! штоб те околеть! — ругался рабочий и кидался на Горюнова; но тот убежал.

Немного погодя Горюнов опять дразнил рабочего:

— Хочешь опохмелиться?

Рабочий молчит.

— Трещит голова-то? — И Горюнов приговаривался бежать, следя за движением членов своего врага.

— Послушай...

— А ты возьми да скушай! — И Горюнов отвертывался или бежал, смотря по тому, замахивался ли на него враг, или бросался к нему.

Случалось, Панфил покупал водки косушку, разбавляя ее водой и насыпая в посуду для крепости немного махорки. В этом случае он показывал склянку.

— Видишь?

Рабочий подходил к Горюнову и хотел вырвать склянку, но тот отвертывался.

— Вода! — говорил рабочий, не веря мальчишке.

— Понюхай!

— Да дай в руки...

— Нет, ты из моих рук понюхай.

Рабочий нюхал.

— Доволен ли?

— Панфил Прохорыч!.. А... Дай... чуточку! — И рабочий начинал плевать.

— А! Тут дак Панфил Прохорыч!.. А вчера кто меня вытолкал?

— Не буду. Пьян был... все тебе отдам, — дай испить.

Но Горюнову было невыгодно отдать склянку одному рабочему. Он начинал травить двух или трех рабочих и, отдав им склянку, получал за нее хлеба, которого и доставало ему дня на два, на три.

Деньги он хранил в известном только ему одному месте, потому что при себе их иметь было опасно, так как рабочие к вечеру всегда приставали к нему, а ночью нередко он просыпался от производившихся кем-нибудь обысков в его одежде.

В субботу он забирал остаток денег, брал одно или два толстых полена, которые обвязывал веревкой и нес на плече до квартиры Пелагеи Прохоровны. И если он шел рано, то заходил на рынок и покупал муки и мяса. Приходу его все были рады, не потому, что он был редкий гость, но с его приходом появлялись щи, и воскресенье проводилось весело. Если же и в воскресные дни случались работы в варницах, то Горюнов не пропускал и этих дней, и тогда отдавал деньги сестре на кушанье, и шел на работу, надеясь получить за нее вдвое больше, чем в будни.

Первые дни пасхи Пелагея Прохоровна и Панфил Прохорыч провели вместе. Как у всех православных, и у них был сыр и состряпан кулич на заработанные деньги

Степаниды Власовны, Горюнова и Мокроносовой. Лизавета Елизаровна начала поправляться, так что могла ходить по избе, и подумывала после пасхи выйти на промысла, но она все-таки была слаба.

На третий день пасхи нашим приятельницам опять-таки нечего было есть. Все, кроме Лизаветы Елизаровны, пошли искать работы, но на промыслах работы не было, потому что начальство только что раскучивалось. Решено было общим советом во что бы то ни стало продать корову, которая еле двигала ногами, но за нее давали мало, потому что время было такое, что ни у кого не было денег. Кое-как продали ее за пять рублей. Но когда появилось столько денег, Степанида Власовна первым делом отправилась в кабак ихватила водки, до которой она уже давно не дотрогивалась, а выпивши водки, пошла на рынок и купила две пары ботинок — себе и Лизавете Елизаровне — и опять sprysнула эту обнову, так что домой пришла пьяная и принесла всего только два рубля.

Пелагея Прохоровна высказала ей свое неудовольствие.

— Будто ты никогда не имела больших денег? Никитка помирает, а ты пьешь. Не сама ли ты жалела, што мы напрасно купили поросенка?.. А тут, как добралась до водки, и напилась!

— Виновата... Мои деньги, потому и выпила.

— Придется, верно, мне уйти от вас.

— И с богом, матушка! Хоть сейчас. Эдакое ведь со-кровище!

И Степанида Власовна долго ворчала, высказывая то, что она сама себе указчик и очень будет рада, если Пелагея Прохоровна уйдет от нее; что вся бедность происходит от нее, так как раньше с Ульяновыми еще не случалось такой напасти. Но утром Степанида Власовна стала извиняться перед Пелагеей Прохоровной, прося ее забыть все то, что она наговорила пьяная, и даже отдала все деньги на хранение Пелагее Прохоровне.

Трудно было Пелагее Прохоровне придержать деньги. Степаниде Власовне было скучно, и она к вечеру же стала просить у нее десять копеек на куделю. Кудели не купила, а пришла домой выпивши, а так как она не была пьяна, то ей было совестно перед Пелагеей Прохоровной, и она молча легла спать. На другой день она выпросила

тридцать копеек на лен, сказав, что она куделю забыла у какой-то женщины. Панфил вызвался сестре следить за Ульяновой — и, вернувшись домой часа через два, сказал, что Степанида Власовна действительно заходила в одну лавку, но оттуда вышла без льна и потом, купив два калача, отправилась в харчевню. Домой она пришла на другой день немного выпивши и, подавая Пелагее Прохоровне и Лизавете Елизаровне крендельки, сказала:

— А льну-то я опять не купила: попалась мне Безукладникова и говорит: ныне богата стала, нет, чтобы должок отдать. Ну, я взяла и отдала.

Обе женщины промолчали и молили бога, чтобы скорее прошли праздники.

Соседи тоже узнали, что у Ульяновой появились деньги, и от них отбою не было: одна просила гривну, другая крупы чашку, третья сена — и т. д. Те, которые пришли раньше других, получили немного денег, а от других стали запира́ть двери, потому что денег на шестой день пасхи осталось только две копейки.

На восьмой день умер Никита.

XIII

Письмо и вести с присков

Смерть Никиты опечалила все семейство. Все бегали по селу как угорелые: Степанида Власовна хлопотала о том, чтобы схоронить его даром. Но куда она ни приходила, все — от гробовщика до могильщика — отказывались оказать какую-нибудь помощь без денег, ссылаясь на свою бедность и на то, что теперь мрет мало народа. Другое дело, если бы мальчишка помер весной, когда больше мрет взрослых, тогда можно было бы от обрезков сколотить гроб для мальчишки и заодно уже отпеть даром и по пути вырыть для него яму. Пелагея Прохоровна ходила к начальству, прося его о пособии, но оно сказало, что мальчишка ничем не заявил себя таким, чтобы на похороны его можно было ассигновать от управлений какую-нибудь сумму; к тому же мальчишка не важная особа; другое дело, если бы он был сын какого-нибудь смотрителя или хоть писаря, тогда можно бы выдать родителям пособие. Успешнее были хлопоты Панфила Прохорыча. Хотя он был и не очень красноречив, но все-таки

сумел убедить рабочих в том, что Ульяновой нечем хоронить сына. Рабочие поворчали-поворчали и все-таки от помощи не отказались: один сколотил из старых досок гроб, другой вызвался ему выкопать могилу, причем без драки с кладбищенским сторожем дело не обошлось, а на похороны пожертвовали кто сколько мог: кто копейку, кто грош.

Схоронили Никиту. В квартире точно кого не доставало стало. Давно уж в ней никто не хохотал громко, а теперь и разговаривали не громко: всех словно что-то давило.

— Что это, как долго нет нынче работы? Ах, как бы я рада была, если бы только поскорее открылась для баб работа. Я бы и лед колоть пошла на реке, — говорила Лизавета Елизаровна.

— А я все думаю: куда бы мне пристроить Марью? Уж я давно хожу по селу, никому не надо. Уж я бы даром отдала, — говорила Степанида Власовна.

— Конечно, нужно отдать даром, только я бы не советовала тебе отдавать, потому я и Лизавета пойдем в город.

— Куда в город?

— Уж это мое дело. В городе гораздо будет лучше, потому что там по крайней мере будем сыты и квартира будет теплая.

— В самом деле!.. И отчего это ты мне раньше не сказала? А далеко?

Пелагея Прохоровна сказала и объяснила, почему она дожидается лета:

— Я бы давно ушла, только подумай: могу ли я, ободранная и босая, идти... А летом мы туда всегда найдем попутчиков... Одних богомольцев сколько ходит по большой дороге, только бы выйти на нее.

— Так и я с вами пойду. Только как с Марьей-то?

— Надо весны дожидаться. Вот, как будут грузить коломенки, тогда мы накопим денег. Только ты, мамонька, ради христа, не пей.

— Вот те Христос! Провалиться мне, чтобы я стала пить.

— А Машу мы там можем легко пристроить. Там она может мастерству обучиться.

— Дай бы ты, господи!

И все стали ждать тепла: даже Маша надоедала всем,

спрашивая: «А скоро ли мы пойдем далеко-далеко?..»

Панфил одобрял эти намерения и рассказал сестре, что он в город ни за что не пойдет и что он уже надумал идти в М. завод и только дожидается лета, когда он может даром доплыть туда с барками.

Пелагея Прохоровна задумалась.

Панфил Прохорыч не говорил ей раньше о своем намерении идти туда же, куда ушел Короваев и Григорий Прохорыч. Она думала, что М. завод ничем не отличается от других ей известных заводов, и хотя нередко ей приводилось слышать похвалы о М. заводе, куда будто бы со всех сторон стекаются рабочие, потому что там производятся какие-то спешные постройки, но Пелагея Прохоровна замечала, что те, которые говорили об этом, не трогались с места, а жили по-прежнему в селе, и ей казалось, что эти люди говорят об этом для того, чтобы соблазнить молодежь и простых людей. Пелагея Прохоровна любила Панфила за то, что он не грубил ей и всегда старался ей чем-нибудь угодить: в городе он навещал ее чаще Григорья и иногда приносил даже лакомства. Здесь, кроме его, у нее не было родни, и с ним ей было все-таки веселее, так как они друг друга понимали, друг другу сочувствовали. Вдруг ей пришла в голову мысль — не получил ли брат письма из М.?.. Стала она от него выпытывать об этом, но тот божился, что он идти туда уже давно задумал, напрашивался идти даже с Григорьем, но Григорий его не взял. Он говорил, что Короваев неспроста ушел туда, и если ничего не пишет ей, так, может быть, потому, что копит деньги.

— А мы, Палагея, пойдем туда вместе.

— Нет; уж я туда не пойду. Лучше уж здесь остаться, чем туда идти: здесь по крайней мере для баб работа есть, а в заводе, подумай, какая может быть бабам работа?

— А если Короваев женится на тебе?

— Што мне на шею ему вешаться? Уж, пожалуйста, не говори мне про него.

Так брат и сестра и не стали говорить больше ни о Короваеве, ни о походе в разные места, но оба все-таки думали о М. заводе.

Стала Пелагея Прохоровна ворожить в карты на трефового короля. Все выпадают дороги да печаль на сердце, а письма нет...

Наконец прошел лед; вода на обеих реках прибывала по часам и заливала прибрежные сельские улицы так, что в них плавали на лодках. Широко разлились реки, по целым дням дул холодный ветер, и бурлила вода. Погода стояла сырая; везде было грязно, мрачно; зато на набережных происходила деятельная работа. Там с утра до вечера грузили в коноводки соль, скрепляли бревна в плоты, на плоты складывали дрова, причаливали другие плоты с дровами или с камнем, преимущественно точильным. В это время только одни богатые люди, сидя на балконах своих домов, любовались широким разливом рек и деятельностью людей на пристанях, рабочий же класс старался как можно более заработать денег, редко останавливаясь, чтобы выправить свои члены из согнутого положения, часто бегая к воде, чтобы напиться, и на ходу закусывая. Зато вечером многие из рабочих, мужчин и женщин, садились на набережные и затягивали свои грустные песни.

В один из таких вечеров Пелагея Прохоровна сидела с Лизаветой Елизаровной и ее матерью отдельно от других рабочих. Все три женщины, уперши руками головы, смотрели на волны, высоко поднимающиеся и с шумом разбивающиеся об набережные. Они уже вдосталь наговорились о том, как им лучше сделать насчет житья. Ульяновы уговаривали теперь Пелагею Прохоровну остаться с ними до осени, потому что летом на промыслах больше работы, чем зимой, и Пелагея Прохоровна не знала, что ей делать, потому что она получала заработка по тридцати копеек в день. Но, несмотря на этот заработок, у всех было тяжело на душе, всем чего-то хотелось, но чего — они не могли себе объяснить. Им хорошо казалось сидеть здесь, хотя ветер и дул прямо в лицо. Недалеко от них рабочие, мужчины и женщины, голосов в двести поют-тянут промысловую песню, слов которой вдали почти невозможно понять. Сердце надывается от этой песни, хочется другой жизни; в этом плеске волн как будто слышится отзыв, что лучшая жизнь есть. Но где она?

«Нет уж, я пойду в город», — подумала Пелагея Прохоровна, и ей так сделалось горько, что из глаз закапали горячие слезы, но она постаралась поскорее вытереть их.

— Палагея! Гляди, што-то бабы и мужчины в кучу

собрались, — сказала ей Лизавета Елизаровна, тронув ее за плечо.

Никто не пел. Рабочие столпились в одну кучу и галдили. Приятельницы подошли туда.

— Ишь, ловок! Песни наши, говорит, нравятся... Спой ты ему веселую?! — галдили рабочие.

— Небось даром хочет? — кричали женщины.

Скоро мужчины и женщины разошлись, рассуждая о том, как управляющий Егорьевскими промыслами подошел к рабочим и стал просить их спеть веселую песню и тем нарушил ихний покой, потому что они пели от души. А петь на заказ никому не хотелось даром, да и что за пенье на заказ, когда на душе невесело!

Дома Ульяновы застали Панфила Прохорыча с каким-то пожилым человеком, сидевшим за столом в ситцевой рубаше и молча кутившим из трубки махорку.

Гость поклонился вошедшим и сказал:

— Елизар Матвеич приказал кланяться.

Начались расспрашиванья.

Оказалось, что мужчина пришел сюда нарочно из Удойкинских приисков, на которых работали Ульянов и Горюнов. Ульяновы очень обрадовались ему. Обрадовалась и Пелагея Прохоровна.

— А дядю нашего выдаешь? — спросила она.

— Как не видать? Вместе робили, только он ноне все больше особо от Ульянова.

— Хорошо ли там? — спрашивали гостя.

— Ничего жить можно. Только глушь! С одной стороны — кержаки, с другой — лес да горы, да звери... Всяк себе хозяин, потому хоть и есть начальство, только мы на него и внимания не обращаем.

— Так ты неужели нарочно пришел? — спросила Степанида Власовна, совсем растерявшись и утирая глаза. Она уже успела поблагодарить бога, что муж ее здоров и ему там можно жить.

— Дал слово, так надо исполнить. И так крюк, почитай, двести верст дал.

Хозяйка не знала, с чего и начать расспрашивать гостя, да и ее предупреждали остальные, которые то и дело спрашивали его то об Ульянове, то о Горюнове. Гость отвечал отрывочно. Из слов его хозяева узнали, что на приисках хорошо и Ульянову и Горюнову, потому что они служат казаками, но Горюнову лучше, так как

он кержак и дружен больше с кержаками (то есть — раскольниками).

— А што, хозяйка, угости-ко меня водочкой, да нет ли у те жаренова мочалка?

Степанида Власовна начала плакаться на свою жизнь и рассказывать о том, как, по милости Машки Оглоблиной, у нее отняли дом; но не спросила его: не видать ли Оглоблиной на приисках?

— Неужели у вас ни у кого нету денег? А я вам грамотку привез от Ульянова.

Степанида Власовна вскрикнула от радости.

Гость не торопясь вытащил из-за голенища что-то завернутое в тряпицу, не торопясь развязал тряпицу, развернул засаленную бумагу и подал хозяйке.

Дрожащими руками взяла Степанида Власовна письмо, перекрестилась и стала вертеть его в руках.

— Што, небось, рада! Небось, еще не так обрадуешься, как деньги получишь!

— Што ты... Деньги?

— Да. Ульянов велел дать тебе пять цалковых и росписку ему представить. Умеет ли кто грамоте-то?

— Да мы по-церковному,— сказали Пелагея Прохорова и Панфил Прохорыч.

— Ну, а я только цифры и умею писать. Подемте к грамотеям.

Немного погодя все вышли во двор, сели в лодку и подплыли к одной харчевне, в которой хозяин, по отсутствию гостей, уже ложился спать.

Через четверть часа хозяин, надевши огромные очки в медной оправе, прочитал следующее:

«Дражайшей моей супруге и сожительнице, Степаниде Власовне, свидетельствую мое нижайшее почтение с пожеланием доброго здоровья и в делах хорошего успеха. Наипаче же здоровья телесного и душевного. Дочери моей Лизавете Елизаровне посылаю мое родительское благословение, навеки нерушимое, каковое посылаю Степану, Никите, и Марии, и всем по поклону. С сей верной оказией посылаю вам денег пять рублей. Прошу их беречь и на меня не рассчитывать, потому мы все под богом ходим, а наипаче на приисках того и бойся, шобы черемис, али татарин, али какой беглый каторжник не укокошил тебя. Нижайшее мое почтение и поклон Пела-

гее Прохоровне и братцу ее родному Григорью Прохоровичу. При сей верной оказии Терентия Иваныча здесь нет, а хотел написать. Живите хорошенько. Больше всего уповайте на бога. О себе скажу, што мы с Терентием Иванычем ссоримся редко и доверенный нам благоволит. Хорошо бы Степку иметь при себе, да далеко. От сего письма остаюсь жив и здоров.

Ульянов».

Слушая это письмо, Степанида Власовна плакала, прочие смотрели на лицо читающего. Когда хозяин кончил чтение и свернул бумагу, Степанида Власовна попросила его повторить, но хозяин отказался от повторения, потому что его интересовала приисковая жизнь, и он, налив принесшему письмо стакан водки, стал его расспрашивать о приисках.

Степанида Власовна взяла у хозяина полштоф водки и кусок семги домой. Она хотела угостить дома, да и самой ей хотелось выпить, в харчевне же никто не хотел оставаться, потому что от нее до квартиры нужно было плыть в лодке, которую между тем могли украсть.

За водкой гость разговорился с хозяйкой и, между прочим, высказал, как ближе идти на прииск, потому что Степанида Власовна, узнавшая, что на приисках очень мало баб, изъявила желание идти на прииск, и это желание гость одобрил. Панфил Прохорыч сидел недалеко от них молча; его весьма занимали слова гостя, который рисовал приисковую жизнь с хорошей стороны, и ему захотелось, во что бы то ни стало, идти туда скорее.

Гость вынул из-за пазухи рубашки бумажник, завернутый в тряпку, и вынул из него пачку ассигнаций.

Степанида Власовна ахнула, увидя столько денег.

— Это, тетка, не мои деньги: тут хозяев много. Видишь ли, я сбывал крупку и получал деньги. Только вы смотрите — молчок! Потому тут и ваши главы имеют часть.

Панфила Прохорыча трясло при виде такой кучи денег.

Гость вынул пятирублевую бумажку и подал ее хозяйке.

— Дай мне бумажку! — сказал дико Панфил Прохорыч.

— Да стоишь ли ты еще бумажки-то? — проговорил, смеясь гость.

— Право, дай. Дядя заплатит.

— Да тебе на што?

— Я на прииски пойду.

— А медведей не боишься?

— Чего бояться? Видал.

Но гость не дал денег Панфилу, а завязал их крепко и спрятал опять на груди, под рубашкой.

Всю ночь Панфил не мог уснуть. Ему хотелось украсть у гостя бумажник, но гость хотя и крепко спал, а при каждом прикосновении руки Панфила переворачивался на другой бок и сжимал на груди которую-нибудь руку.

Рано утром гость распрощался с хозяевами.

— Дядя! Возьми меня, — упрашивал гостя Панфил.

— Воровать не умеешь. Ты думаешь, што я не чувствовал, как ты ночью около меня шарился. Ну, да што об этом говорить!

И гость ушел.

Хозяйка очень радовалась неожиданной получке денег, а когда она явилась на промысел, там уже все знали о получении ею денег и приставали с расспросами о муже.

Панфил не пошел на промысла. Он целый день ходил по рынку и в харчевни, надеясь найти приискового рабочего и уговорить того взять его с собой. К вечеру он увидел его выходящим из одного полукаменного дома.

— Дядя! Возьми...

— Куда я тебя возьму?

— Я тебя поблагодарю после.

— Што мне твоя благодарность! Взять я тебя не могу с собой, а коли хошь, дорогу могу указать. Согласен?

— Я и один пойду.

— Ну, ладно, коли у те есть такая охота. Пойдем.

Рабочий зашел в питейный, рассказал Панфилу, как идти до такого-то города, из этого города до такого-то села, а в селе всякий знает дорогу на Удойкинский прииск, потому что рабочие закупают в нем провизию.

— Есть ли у тебя деньги-то?

— Немного.

— Ну, я тебе дам, пожалуй, пять рублей под расписку.

Горюнов поблагодарил.

Содержатель кабака написал расписку за Горюнова и подписался за него.

Рабочий угостил водкой хозяина и Горюнова, разговаривая о чем-то шепотом с хозяином.

Выпивши водки и посидевши с четверть часа с рабочим, Горюнов болтал без умолку, ругал здешнюю жизнь, благодарил рабочего за то, что он указал ему дорогу на золотые, лез целоваться с ним и хотел угостить его, но тот поставил ему еще косушку, вышел ненадолго на улицу и потом уже не являлся.

Горюнов раскутился. К вечеру стали появляться рабочие, он хотел угостить их водкой, но хозяин давал пятирублевой его бумажке цену только рубль, доказывая, что эта бумажка фальшивая. Горюнова вытолкали из кабака — до того он сделался назойлив.

Утром он объявил сестре, что идет к дяде; сестра посмеялась над ним, думая, что он шутит. Горюнов обругал сестру и пошел покупать сапоги. Купивши сапоги, он пошел купить платок сестре; но в лавку вошел хозяин кожанного товара и крикнул на него:

— Ты где это научился фальшивые бумажки стряпать?

Горюнов побледнел, но не обернулся.

— Тебе говорят?

— В чем дело? — спросил хозяин лавки.

— Да вот я ему продал сапоги за два рубля. Он и дает пятирублевую. Я слепа-то не разглядел, передал племяннице, та и дала ему сдачи, а как ушел он, я и стал разглядывать, и сравнил с своей бумажкой. Смोगри! — И он показал бумажку лавочнику.

— Сс!.. фальшивая и есть! — проговорил лавочник.

— Сам накопил фальшивых, — начал было Панфил, но его ударил в спину хозяин лавки, так что он выскочил на улицу и пустился бежать.

— Держите! Ловите! — кричали оба лавочника.

Горюнова остановили; около него собралась куча народа. Продавший сапоги рассказал, в чем дело, с прикрасами.

— Не давал я ему фальшивой бумажки!..

— Ах ты, пес!.. А сапогов ты тоже не покупал?

— Я на другие...

— А откуда ты взял такую бумажку?

Толпа между тем росла.

— Э! Да это тот и есть, што вчера у Евстигнеева Бориса в кабаке был! Он и есть. Ведите его в полицию! За это я отвечаю! Я у него вчера видел фальшивую пятирублевку.

Горюнова стали бить и отправили в полицию.

XIV

Острожная жизнь

Горюнов решительно ничего не понимал, попавши в полицию. Ругательства, остроты сыпались на него со всех сторон, так что он никак не мог обдумать, что ему сказать, зная, что он ни в чем не виноват.

Стали его допрашивать; явилось много свидетелей, которые показывали на него различно. На первых порах Горюнов хотел отделаться одними словами: «ничего не знаю... сапогов не покупал». Словом, Горюнов одурел совсем, ему не давали одуматься, и только под розгами заставили его сказать, что бумажку он получил от рабочего с Удойкинских приисков при сидельце. Этим сознанием и закончили первые допросы и не тревожили его больше двух недель. Хотя он и был посажен в секретную, но в этой комнате вместе с ним заключалось несколько мужчин и женщин, которых некуда уж было посадить. Большинство его товарищей состояло из мелких воров, представленных сюда сельскими состоятельными людьми, из бродяг и лиц, не помнящих родства, — таких людей, которым или нечего было есть, или которые искали себе различными способами лучшей, свободной жизни. Он с первого же дня не мог ни в чем сойтись с ними, не мог отличить из них ни одного человека, с которым бы можно было поговорить; но насмешки их над ним, издевания над его простотою заставляли его огрызаться с ними, ругаться и даже драться. Короче сказать, ни Горюнов не понимал своих товарищей, ни они не понимали Горюнова.

Скука была невыносимая Панфилу среди этих товарищей. Он проклинал свою жизнь, а равно дядю за то, что тот уговорил его прийти сюда, плакал; но все-таки, не считая себя виноватым, думал, что недолго проживет в этом аде, и всячески старался избегать товарищества, лежа то под лавкой, то сидя в углу с закрытым ладонями лицом. Много ему привелось увидеть тут различных сцен,

много такого, чего он не видал до сих пор, но ему некуда было деваться, да и его часто сталкивали с места, и он очень обрадовался, когда его вывели на свежий воздух.

— Панфилушко! Што ты наделал? — спрашивала сестра, увидавшая его выходящим под стражей из полиции.

— Ничего не знаю, — отвечал брат.

— Правда ли, говорят, что ты убил того рабочего, который был у нас?

— Врут!

Тем и кончилось свидание и разговоры брата с сестрой, потому что Горюнова торопили к следователю. Через две недели ему, однако, удалось ночью убежать из полиции. Зашел он к сестре, но Пелагея Прохоровна, как сказала Лизавета Елизаровна, уже ушла в город. Панфил вышел из ворот бывшего ульяновского дома и задумался: куда ему идти теперь? Ни в селе, ни на промыслах ему нельзя показаться, — там его схватят. Оставалось одно: наняться на плоты — и он пошел туда; но плоты хотели пустить через день, а днем его увидал один промысловый рабочий, и его свели обратно в полицию. Началось новое следствие о побеге Панфила и продолжалось с месяц, в течение которого он уже стал привыкать к этой жизни. По окончании следствия его повели с другими арестантами в город, но дорогой он захворал и только через полтора месяца, пришедши в чувство, узнал, что находится в тюремном лазарете.

Жизнь в лазарете ему казалась лучше полицейской, потому что он лежал на отдельной койке, мог ходить по комнате, сидеть, не мешая другим, насмехаться над солдатами, караулившими у дверей больных арестантов. В известное время ему приносили пищу и лекарства. Сперва его пугали трудно больные, скоро умирающие арестанты, за которыми уже не было никакого надзора и которых ничем не лечили; пугали операции, доктор, производивший эти операции; но потом он привык и скоро отличил фельдшера от лекаря, находя, что в фельдшере больше силы, чем в лекаре, потому что фельдшер может выписать больного в тюрьму, куда идти никому не хотелось. В палате были всякие больные, судимые и

судящиеся за разные преступления, которые часто сменялись новыми, так что Горюнов ежедневно боялся, чтобы его не выписали. Но в палате были такие больные, которые лежали в ней по целым годам. Одни из них действительно были больны, другие выписывались в тюрьму только дня на три — и являлись в палату со свежими новостями. Эти люди находились с фельдшерами в дружественных отношениях. А так как они почти жили постоянно в палате, то считали себя чем-то вроде дядек, без умолку говорили, насмехаясь над различными болячками, которые им привелось испытать. Их любили больные за шутки и заискивали их расположения на том основании, что они иногда держали перед доктором чернильницу. Вот к этим-то людям и старался подделаться Горюнов. Несмотря на то, что они казались ему смешными и чересчур хвастливыми, он старался угодить которому-нибудь из *стариков* тем, что подавал кружку с водой. Он думал, что эти больные — большею частью состоятельные раскольники, обвиняемые в делании фальшивых серебряных вещей, жившие доселе в скитах и отправлявшие обряды по-своему, тайно от начальства, и что они могут много хорошего сделать для него. Однако, как он ни ухаживал за ними, сколько ни просил их о себе, они, как он замечал, заботились более всего о себе, вели себя заносчиво, а к нему относились, как к ничтожному псу. Это, наконец, стало злить Панфила. И какова же была его радость, когда начальник лазарета велел двух из них непременно выписать из лазарета и больше не принимать, так как он заметил их уже давно здоровыми! И как же злы были эти люди на все и на всех, надевая арестантские одежды и подставляя ноги для того, чтобы на них надели кандалы!.. Но после них вскоре все стали чувствовать какую-то пустоту, чего-то как будто не доставало. И все это произошло оттого, что как бы надменны ни были старики-лазаретники, при них было как-то весело: они умели рассказывать разные анекдоты, развлекали больных смешными сценами, остротами и т. п. Скучно сделалось и Панфилу: больных много; больные разговаривать не любят, выздоравливающие разговаривают или играют в карты, бог весть каким образом попавшие в лазарет; подойдет он к ним, они его называют щенком и гонят прочь. Хорошо еще, что сестра, жившая в это время уж в городе, навещала его по вос-

кресным дням. Она приносила ему сдобные кушанья, тайком унесенные от барыни, у которой она жила, рассказывала о своих господах или о том, что она уже теперь живет на другом месте, и хотя все эти рассказы и городские новости сообщались в течение четверти часа, а потом, в продолжение получаса, брат и сестра молчали, все-таки Панфил был в тысячу раз веселее при сестре, чем без нее. Но вот не пришла сестра в праздник, не пришла и в воскресенье. Справился он об этом, сказали: больно она уж смазливая; начальство не приказывает пущать. Как ни обидно было слышать это брату, но делать было нечего, — сестра уж больше не показывалась в лазарете.

На третий день после этого события к Панфилу подошел пожилой больной. С этим больным Горюнов никогда не вступал в разговоры, потому что он и сам почти ни с кем не разговаривал. Это был высокий, худощавый мужчина, с рыжими курчавыми волосами. Глаза его постоянно принимали серьезный вид, лицо с небритыми волосами постоянно, когда он сидел задумчиво, передергивалось множеством складок. К этому надо еще прибавить то, что он свои желтые щеки постоянно утирал грязным платком, что даже удивляло докторов, которые не находили не только на его лице, но и на всем теле пота. Он говорил басом, глухо.

— Ты за что сидишь? — спросил он Горюнова.

Горюнов молчал. От этого вопроса его покорило. В самом деле, за что он сидит? Горюнов сознавал, что он взят за фальшивую бумажку и за побег из полиции, но кому какое дело до этого?

Этот больной разозлил его, и он закрыл глаза.

— Што закрываешь глаза-то! Не съем, — проговорил задумчивый больной. В палате сделалось тихо.

— Фальшивые бумажки делает, — сказал кто-то.

— Эдакой мальчишка!.. Ха-ха!..

— Сызмалетства в механику пустился! — слышалось с разных коек попеременно с хохотом.

Серьезный больной присел на кровать Горюнова. Тот не противился этому.

— Нет, однако?.. Ты ведь Горюнов?.. Про Горюновых я слышал, — говорил неотвязчивый больной.

Панфил со страхом глядел на него: такой у него был суровый вид в это время.

— Ты кто? — спросил неловко Панфил неотвязчивого человека.

— Слышал про никитинского письмоводителя Гусева?

— Нет.

— Ну, так это я... А за што я сижу, про это я знаю. И им не удастся меня словить! Не запугают... Не-ет!.. Трех управляющих, первых плутов, провел... Нет!!.— И лицо Гусева сделалось очень страшно, на щеках выступили багровые пятна.

— Хочешь, я научу тебя писать? — спросил вдруг Гусев Панфила.

Но Панфил не отвечал. Гусев что-то пробурлил и ушел от него недовольный. Больные стали издеваться над ним.

С час после этого пролежал Горюнов, сердясь сначала на Гусева за то, что он, может быть, с худым намерением выпрашивал про его дело, но потом, как обыкновенно бывает с молодыми людьми, покинутыми и презируемыми даже теми, преступления коих, может быть, тяжелее его, он стал сожалеть, что так грубо оттолкнул человека, который его, неопытного в делах, может быть, хотел научить. Ему теперь самому хотелось поговорить с Гусевым, но как заговорить с ним после такого грубого обращения? Что скажут больные? «Снюхался!» — скажут и станут насильно выпроваживать его из лазарета.

Весь этот вечер Панфил провел мучительно, думая, как бы ему поговорить с Гусевым. Да и что это за человек такой? Кроме того, что говорили об нем больные, он ничего об нем не знал. Да и больные говорили об нем разное, потому что он уже давно находится в больнице. А коли давно, значит, он боится попасть в острог, откуда, как говорят больные, одна дорога: или в каторгу, или на поселение. Одни из арестантов говорили, что это бывший писец никитинской заводской конторы и что он находился в бегах из острога несколько лет, жил по фальшивому паспорту и сам делал фальшивые паспорта. Другие говорили, что он обокрал заводскую контору и составил фальшивую расписку под руку приказчика — и т. п. Одним словом, общее мнение больных состояло в том, что Гусев хороший мастер делать фальшивые билеты.

Между тем, дело Гусева было очень простое и, вместе с тем, нешуточное. Он считался при главной заводской конторе писцом. По знанию заводского дела во всех отно-

шениях он давно бы мог получить должность столоначальника, но никак не мог угодить начальству, которое на должности столоначальников определяло или за большие деньги, или свою родню. У Гусева было большое семейство; извлекать доходы он ни из чего не имел возможности, потому что сидел в таком столе, где никаким образом не мог получать их. Вот он и выдумал давать рабочим паспорта. Бланки и печать достать ему было плевое дело, оставалось только сделать подпись; и это не трудно — тем более что на подписи мало обращают внимания. Он занялся этим ремеслом и даже возбуждал со стороны товарищей удивление тем, что скоро обшил свой дом тесом, завел лошадь и приобрел еще одну десятину покоса. Это, конечно, дошло и до начальства, которое стало допытываться до настоящей причины. И вдруг получается в главной конторе бумага от заводского исправника; при бумаге приложен билет отыскиваемого уже полгода рабочего. Исправник просит донести ему: давала ли контора билет рабочему, и если давала, то почему она доносила ему раньше, что этот рабочий находится в бегах? В конторе забежали, стали справляться, сличать почерки рук — и решили, что это дело Гусева, но по случаю именин управляющего его так и замяли. Гусев с этих пор стал еще осторожнее, но товарищи то и дело корили его тем, что он постоянно выдает фальшивые билеты и этим самым наживает много денег. Гусеву не давали покоя. Гусева старались согнуть в бараний рог; он все сносил терпеливо, но, наконец, доконали-таки его. Гусев часто ходил на почту за получением писем и посылок на имя конторы и управляющего; денежные же письма всегда получал казначей. Раз как-то управляющий приходит в контору и спрашивает: а кто получал в такое-то время из почтовой конторы на имя мое посылку? Казначей справился и сказал, что посылку получал Гусев. Гусев струсил, сказав, что он не помнит, получал или нет такую посылку. Справились в почтовой конторе — посылку получил, по доверенности управляющего, Гусев. Но Гусев признал почерк руки и расписку в книге за казначейские. А так как в заводе все писцы и должностные люди, учившиеся писать по одному почерку от одного учителя, за небольшими исключениями писали почти одним почерком, то и заключили, что Гусев доверенность на повестке сделал фальшивую и посылку

украл. Его стали судить, не принимая никаких оправданий, тем более что как началось об нем дело, главная контора Никитинского завода представила заводскому исправнику два фальшивых билета, выданных Гусевым двум рабочим.

Во весь вечер Гусев не подходил к Горюнову, да и он все лежал, переворачиваясь часто с боку на бок. Горюнов часто смотрел на него. Он несколько раз намеревался подойти к нему, но самолюбие удерживало его и вечером, и ночью, в продолжение которой в арестантской палате горела лампа. Утром, однако, он не мог преодолеть себя и, под предлогом напиться воды, подошел к нему; Гусев лежал на спине, заложивши обе руки под голову. Панфил робко взял кружку, открыл — воды не было.

— Ты говоришь... Ты хочешь писать учить... — начал нерешительно Панфил.

Гусев молчит; смотрит сердито на Панфила.

— А можно?

— Што можно? Научиться? — пробурлил Гусев.

— Ну? Научи...

— То-то... Зазнались уж вы больно... Предлагают, так чванитесь.

— А для чего учиться-то?

— Дурак! Ты што показывал-то? Помнишь ли ты, что ты показывал на допросах? Подписывал?

Горюнов плохо понял его слова и стоял, вытаращивши на него глаза.

— Вот то-то и есть. Ведь ты не подписывал?

— Нет.

— Ну. А там, может, такие крюки вписаны, што тебя, может, в убийстве обвиняют. Дурак!

Панфил Прохорыч улыбнулся бессознательно.

— Чему смеешься? Дело говорю. Што ты показывал, помнишь ли?

Горюнов не знал, что сказать. Он действительно не помнил, что показывал. Ему только хорошо памятли были наказания. Он все-таки не понимал, к чему это Гусев хочет учить его писать и какая от этого может быть ему польза.

Весь этот день прошел в советах Гусева, о том, как он, Панфил, может много выиграть от обучения письму. Он на допросе может сказать, что его даже и не спрашивали

прежде, а только постоянно наказывали. А что он был наказываем, так доказательством этому служит то, что он вскоре по прибытии в город попал в лазарет. Показаний он никаких не подписывал. Несколько больных, слышавших советы Гусева, одобряли это.

Но как учиться писать? Не только у Гусева, но и во всей палате не было ни куска бумаги, ни карандаша. Так прошло мучительных два дня, в которые Гусев учил Панфила писать его фамилию и имя углем на столе. Панфил почти все угли издержал из печки, черкая на столах и стенах, и на третий день удивил докторов тем, что под его подушкой найдено было несколько углей, а стол его весь исчерчен. Когда Панфил объяснил, что он учится писать, то доктор улыбнулся и сказал, что он или хитрит, или сходит с ума. Панфил стал просить у другого доктора бумаги и карандаш: доктор сказал, чтобы он обратился за этими вещами к начальству, и обещался поговорить об этом кому следует. О Панфиле, и в особенности его занятиях, заговорили все в палате, и некоторые даже приставали к фельдшерам, чтобы те принесли бумаги; но они грубо отговаривались от этого тем, что доктор еще *не прописал* для мальчишки таких вещей, а если не прописал, то и думать об этом ему нечего, а нужно лежать спокойнее до тех пор, пока его не выпишут в тюремный замок. Однако к вечеру один из служителей достал где-то два листа серой бумаги и карандаш, что больным стоило недешево, так как они все гроши свои выложили для того, чтобы им выучиться писать. Когда была принесена бумага и карандаш, охотников учиться писать выискалось так много, что между ними чуть не произошла драка: подняли такой гвалт, что часовой, следивший за больными сквозь окошечко из коридора, принужден был позвать начальство, а оно послало солдат. К счастью, это событие кончилось ничем, потому что при входе в палату солдат больные затихли и успели припрятать бумагу и карандаш, а потом хотя некоторые из них и принялись учиться писать, но это занятие скоро надоело им, и они, послав его к чертям, скоро забыли о нем и с хладнокровием смотрели на Панфила, выводящего карандашом на бумаге разные *кривулины*. Панфил усердно занимался новым для него делом. Правда, он еще в заводе учился писать и читать, но занимался шутя, от нечего делать; потом, пробывши все лето на руднике,

а зиму — на промыслах, он забыл почти все. Поэтому неудивительно, что в одну неделю, исчертив два листа бумаги, он уже мог разбирать печатное. И какова же была его досада, когда на другую же неделю учения его выписали из лазарета!.. Он плакал, молил фельдшеров и служителей оставить его еще на недельку — ничто не помогло. Пришлось расстаться с Гусевым, который учил его говорить на допросе следующее: фальшивый билет дал ему рабочий с приисков при хозяине кабака Борисе Евстигнееве, который сам и подписался на расписке; об этом рабочем знают Ульяновы, которые получили от него тоже пять рублей; из полиции он не бежал, а ушел потому, что двери были не заперты, и на том основании, что его хотели выпустить из полиции на свободу в тот же день, но не выпустили потому, что у него не было денег, которые просил за это квартальный, и что он никогда не подписывал никаких показаний, хотя и умел писать. На прощанье Гусев дал ему бумагу, на которой было написано черновое прошение.

В огромной камере со сводами, находящейся во втором этаже, с двумя небольшими окнами, выходящими наружу к полям, с крепкими решетками, сделаны были нары как у двух стен, направо и налево, так и посередине камеры. В этой камере помещался тридцать один арестант, большинство которых состояло из воров, беглых и непомнящих родства; были тут и обвиняемые в убийствах, но только двое, и попали они сюда потому, что в других камерах для них уже не было места. Все они еще судились.

Утро. В камере темно, сыро, душно. Хотя и полагались для арестантских камер ночники, но они исправно уносились в шесть часов вечера, тотчас после переключки. В окнах форточек не имелось, вероятно потому, что начальство считало роскошью для арестантов чистый воздух. Впрочем, некоторые арестанты имели свои свечи, и хотя строго запрещалось курение табаку не только в камерах, но и на дворе, однако арестанты свободно курили, вероятно потому, что само начальство курило в камерах.

В камере тихо. Только изредка кто-нибудь пробурлит что-то; изредка кто-нибудь простонет или кашляет — раз, два, три, охрипло, за ним последует кашель фисту-

лой, потом кашель сухой, свистящий, и вдруг камора огласится смесью разных кашлей, ворчанием и плевками людей, бряцанием цепей, и, немного погодя, все это смолкнет — и опять или послышится кашель, или бряцание цепей, или храп кого-нибудь... Зато в коридоре, за дверью, не умолкают шаги часового и изредка слышатся какие-то возгласы.

Лунный свет глянул сквозь оконные стекла и тускло осветил камору: в ней образовались две широкие косые полосы с темными черточками. Эти полосы, ложась от окон до печи и двери, тускло освещали только один угол каморы: они освещали несколько голов и кандалы, на которых только блестели заклепки; остальное было все мрачно. Но и этот свет вдруг исчез за густыми громадными тучами. Он никого как будто не разбудил.

Но вот слышится, кто-то как будто скребет и скребет — то скоро, то сильно, то тихо — и вдруг перестанет. Вдруг что-то как будто треснуло, посыпалось, и опять настала гробовая тишина.

Опять кто-то скребет.

— Какой тут дьявол?! — слышится чей-то голос в углублении каморы, почти в самом углу.

В каморе тихо. Немного погодя слышится скрип нар, зевки, царапанье кожи.

Панфил лежит под нарами. Он только третьи сутки как прибыл сюда из лазарета и в это время не успел еще обзавестись своей *квартирой* в каморе. Положение его в тюрьме весьма беспокоило; во-первых, он не находил себя ни в чем виновным; во-вторых, ему было досадно, что он, убежавши из полиции, не сел в любую лодку и не уплыл по течению реки. Но куда бы он уплыл? У него не было ни денег, ни хлеба! Без паспорта его никто бы никуда не принял, потому что в тех местах жители не особенно жалуют беглых, боясь, чтобы они их не обокрали, и предпочитая получить за поимку беглого платы от казны три рубля. «И за что такая напасть мне? Ну, хоть бы я украл что!» — думал Панфил.

Общество тюремных товарищей по каморе пугало его, потому что он почти ни в одном человеке не встретил сожаления к себе; все они ругались по-острожному, называли друг друга ворами, корили друг друга всем; у них, казалось, не было уже ни стыда, ни совести; они говорили такие вещи, от которых мороз по коже Панфила

подирал. Ложь, обман, нахальство, грубость царили во всей камере; ни с кем нельзя было посоветоваться, поговорить от души, потому что никто никому не только не сочувствовал, а ждал с нетерпением, когда кого-нибудь из товарищей, сидящих рядом и хлебающих прокислые щи из одного ушата, поведут на эшафот и будут наказывать плетью. Это была любимая тема для заключенных, вероятно потому, что каждый, думая, что и ему не миновать тяжелого наказания, приготавливал себя к нему и тем самым утешал себя несколько. Панфил считал это общество за ад, ненавидел всех, и его язык не поворачивался говорить с кем-нибудь. Кроме этого, он видел, как грубо обращались с его товарищами даже солдаты, как эти заключенные всячески старались выслужиться перед солдатами для того, чтобы выйти во двор, получить лишний кусок хлеба... Панфилу, не привыкшему к такому обществу и неиспорченному еще, до того казалось оно противным, что он проклинал свою жизнь, грызя рукав своей грязной рубахи, пропитанной всякой гадостью. Ему хотелось даже разбить голову об стену, хотелось повеситься. Будь один, он придумал бы что-нибудь и лучше, но при теперешнем положении он лучше этого ничего не мог выдумать и только не приводил своих мыслей в исполнение потому, что повеситься не на что, бить свою голову об стену — больно; попробовал он руками давить шею — боли не вынес...

А кандалы на ногах бренчат; ноги словно разбухли, отяжелели... Даже в камере он не нашел себе порядочного места: на нарах и так тесно, да и ими владеют люди — иные уже год, а иные и больше. Может быть, они и уступят ему место, но за деньги, а денег у него нет ни гроша. У него уже третий день, как болит желудок, и он никак не может хлебать прокислых щей; сухие корки ржаного солдатского хлеба опротивели ему... Одно его немного утешало в это время — это то, что вчера ему писарь переписал прошение и сегодня он надеялся подать его стряпчему.

Вдруг слышит он, что кто-то над ним не то шепчет, не то сопит... И слышит он вдруг слова: «Богородица дево, радуйся, благодатная Мария, осподь с тобою... Милосердия двери... обрадованная дева, мать божия, раба своего защити и помилуй...»

Стало тихо... Вдруг кто-то зарыдал над ним... Рыдает

кто-то — и долго, долго, тяжело рыдает, точно вся внутренность его хочет перевернуться.

Слушал, слушал Панфил, грустно, тяжело ему сделалось, сердце сдавило, горло точно кто обхватил ему... Выполз он кое-как из-под нар, встал на колени, заплакал, зарыдал... Ничего он не чувствует, ничего не слышит; стоит он, понуривши голову, а слезы, жгучие слезы, так и льются из глаз.

— Господи! Господи Иисусе Христе!! — вопит Панфил и ничего больше не может произнести от неудержимых слез. Сердце давит, голова отяжелела, глаза не могут глядеть в темноту.

— Кто это сопит? — крикнул кто-то вблизи Панфила.

Панфил вздрогнул, и рыдания его еще больше усилились. Он положил голову на пол и плакал пуще прежнего.

— Никак мальчонко плачет.

— Не трожь! Молитву творит.

— Господи, спаси и помилуй!

— Мальчонко! А мальчонко! Што воешь-то? Али можешь горю?

— Вот ты, собака, николды крестом образины не перекрестишь.

— Сам хорош, сволочь! — говорили с разных сторон арестанты.

— И как вам, братцы, не стыдно! Али у вас совести ни на грош нету-ка? И из-за чего вы это крик-то подняли, бесстыжие люди, прости господи? — говорил кто-то далеко от Панфила.

— Молчи!

— Где у вас, у мерзавцев, бог-то? Еретики вы проклятые!

В каморе настала тишина. В это время Панфил уже не плакал, а усердно молился, прося бога и богородицу избавить его от великой напасти. Ему было теперь легче.

Раздался продолжительный звонок по коридору. Арестанты уже разговаривали. Разговоры вертелись около острожной жизни и воспоминаний прошлого, и все это приправлялось хохотом, остротами, руганью со всех сторон, так что говорили почти все разом. Теперь уже Панфилу молитва не шла на ум. Он стоял около нар. Ему хотелось заговорить с тем, который молился, но тот лежал неподвижно.

— Дядюшка! — сказал он, дернув что-то попавшееся ему в руку.

— Ах ты, собака! Што ты теребишь, аспид!

— Пусти посидеть.

— Есть вас всяких. Пошел!!

Панфил удивился: этот человек молился недавно — и вдруг теперь даже слова не хочет сказать как следует.

Осердился Панфил и крикнул:

— Съел я у те место-то! Черт!

— Што чертыхаешься-то, щенок! Давно ли молился-то?

— А ты-то? Кто даве быком-то ревел?

Арестант замолчал и подвинул ноги. Панфил сел. Разговоры арестантов нисколько не интересовали его; он понимал, что они все врут, бахвалятся. Ему хотелось бы приказать им, чтобы не кричали так... Ему потом завидно стало, что они так речисты, скоро находят остроты, и он думал: «Куды нашим мастеровым против них! Сто слов на одно слово скажут, закидают словами. И бабы наши в подметку им не годятся, нужды нет, что речисты и куды как горласты...» Наконец ему надоело слушать, голод мучит, хочется пить.

— Ах, убеги бы! — шепчет он и сжимает кулаки.

— Чево? — спрашивает его арестант, лежащий около него на наре.

— Убечь!

— Хо-хо! Молод, брат!

— А ты бегал?

— Известно... дело привычное. На шафоте пробовал, опять буду пробовать — и опять утеку в леса.

— Ты из лесу?

— Ну да.

На этом разговор и покончился.

Загремел замок. Отворили дверь. Пар хлынул в камору и скоро наполнил ее до того, что огонь на свечке мелькал тускло.

— На ноги! — крикнул унтер-офицер.

Арестанты заговорили. Послышались шлепки; унтер бил по щекам арестантов обеими ладонями.

— Руки отобьет! — кричат арестанты и хохочут.

— Равняйсь!! — кричит унтер.

Арестанты ругаются, половина из них равняется, то

есть подходит на середину каморы и становится перед унтером.

— А вы? а вы? я вас! Розог! — кричит унтер на остальных.

Два человека нейдут с мест. Унтер записывает их и начинает переключку. Все.

За унтером запирается дверь; опять гремит замок. Арестанты ругаются.

— Уступи ты мне местечко, — просит Панфил того арестанта, который утром молился.

— Што дашь?

— Да што дать-то?

— Ну, и убирайся.

Идет Панфил к другим, его гонят прочь. Некуда ему приютиться... Светает.

Опять гремит замок. Входят двое солдат с ружьями, унтер и еще двое солдат без ружей, палач в красной ситцевой рубашке и плисовых шароварах и смотритель. Арестанты встают на ноги.

— Которые?!. — кричит унтеру смотритель.

Унтер вызывает двух арестантов.

— Раздеть!

— Ваше благородие... Я... ноги отекли.

— Ра-а-з-деть!.. Я вам покажу! Эй, ты, мальчишко! мальчишко?!.. — крикнул вдруг смотритель на Панфила, который, сидя на нарах, смотрел с разинутым ртом на смотрителя, которого он видел еще в первый раз, так как он являлся в каморы только в экстренных случаях.

Все оглянулись на Панфила.

— Взять! — кричит смотритель.

Один из солдат подошел к Панфилу и потащил его к смотрителю; Панфил стал барахтаться.

— В секретную! — кричал смотритель. — Ты што? шельма! разбойник! — кричал смотритель.

— Розог! — крикнул вдруг неистово смотритель.

Явилось четыре солдата с охапками розог. Началась секция. Наказывали двоих арестантов и Панфила. Смотритель был недоволен тем, что их наказывали концами розог, он то и дело кричал:

— Комлем! Крепче! Я вам!

Кое-как Панфил встал с полу. Он не понимал, за что его наказали.

Арестанты хохочут.

— Молодец, мальчонко... стерпел! Вынесет и плети...

Панфил заплакал; над ним еще пуще стали смеяться. В камере делается светлее. Яснее и яснее обрисовываются лица арестантов, бледные, исхудалые, с различными выражениями, с бритыми затылками, с черными от от грязи холщовыми рубашками. Большинство арестантов копошилось на нарах, меньшинство или ходило, или сидело в различных позах.

— Опять отворили дверь. Вошли два часовых, унтер и писарь.

— Безукладников! Соловьев! Кузьмин! Возьми!.. — кричал писарь, обращаясь при последнем слове к солдатам.

— Одевайся! На работу! — кричал унтер и потом, обратясь к писарю, сказал: — трех мало с этой камеры. Вон этого мальчишку еще надо.

— Мальчишко? чей?

— Горюнов, — сказал негромко Панфил.

— Пошел на работу!

Панфил чувствовал сильную боль, но не протестовал против такого распоряжения, потому что ему очень хотелось выйти на свежий воздух, увидеть людей. И он скоро вышел на двор, в сером арестантском полушубке, покрывавшем его ноги ниже колен, с черным клеймом на спине, в круглой серой арестантской шапке, тоже с клеймом на верхушке, и в худеньких сапогах, тех самых, в которых он был привезен из завода в город. Тяжелые кандалы еще более усиливали его страдания; он шел кое-как, но солдат, шедший сзади его, толкал его кулаком в спину.

Скоро они вышли за острожную ограду.

Хотя в тюремном замке и было много таких арестантов, которые уже были присуждены к тюремному заключению и употреблялись на городские работы, но смотритель находил для себя выгодным назначать в работы еще не присужденных к тюремному заключению решением судебных мест и назначал преимущественно обвиняемых в кражах — во-первых, потому, что эти арестанты не бегали, а во-вторых, — он деньги, которые платили им за работы по закону, получал себе. Впрочем, арестанты рады были тому, что они целый день пробудут несколько на свободе, не в остроге, и увидят свободных людей, которые дадут им хоть копейку денег. Так и Пан-

фил, несмотря на то, что был измучен, дышал на улице свободнее. И так ему хотелось не ворочаться больше в тюрьму! Только, встречая людей, ему стыдно было смотреть им в глаза; когда товарищи его протягивали руки, прося христа ради подать несчастным, ему совестно было протянуть свою руку. Но когда он, проходя мимо рынка, увидел, что товарищи его купили себе по копеечному калачу, у него пропал стыд, и он сделался назойлив. Но благодетелей было мало.

Работа была не очень трудная: арестанты пилили дрова и могли свободно разговаривать с крестьянином, раскалывавшим поленья. Для них незаметно прошло время до обеда, они работали охотно и, казалось, совсем забыли про тюрьму, только солдаты с ружьями, кандалы и арестантские полушубки напоминали им, что они опять вернутся туда, а обращение с ними хозяйской прислуги, которая уделяла им из жалости заплесневшие корки хлеба и обглоданные кости, приводило к тому тяжелому сознанию, что они преступники. Здесь не было тех ругательств, какие происходили с утра до ночи в тюрьме, а все они больше молчали, вздыхали тяжело, обдумывая прошлое и настоящее и содрогаясь о будущем, которое им рисовалось в довольно неказистом виде. Даже солдаты были не так грубы с ними и от скуки помогали им пилить дрова.

День приближался заметно к концу, нужно было опять идти в тюрьму; арестанты сделались ожесточеннее и молчаливее. Один только Горюнов надоедал солдатам тем, что ему хочется достать бумаги и карандаш. В доме у хозяина, у которого работали арестанты, ни того, ни другого не оказалось. Однако Панфил, выходя из кухни, успел стащить с полки, находившейся в небольших сенях, булку — и сделал это так ловко, что солдат не заметил. А сделал это он бессознательно: увидел булку, сдернул ее и спрятал. И только дорогой на него напал такой страх, что он не знал, что ему сделать с кражей и куда ее девать. Что скажут арестанты, которым он говорил, что он сам не знает, за что сидит? Ему несколько раз хотелось бросить булку, но голод брал свое, и он крепче прижимал булку, так что на него обратил внимание солдат.

— Што ты ежишься, еобака? — крикнул солдат на Панфила.

— Ничего, — отвечал тот.

— Стой-кось?!

Солдаты остановились, все окружили Панфила — и вдруг все захохотали.

— Ах, вор! Ах, мошенник! — говорили они и во всю дорогу заставляли рассказывать Горюнова о краже. Но в тюремном коридоре солдаты отняли у него булку, говоря, что они берут ее за труды.

Нечего и говорить о том, что о Панфиле вся камора рассуждала как об молодце, который в таких делах далеко уйдет вперед. Теперь уж ему дано было название *булочный вор*, и этим именем его все называли вместо фамилии.

Ни на другой, ни на третий день Панфила не посылали на работу. Камора отворялась только в известное время, да разве какого-нибудь арестанта выведут из нее для отобрания в суде допросов или введут этого арестанта после допроса. Скука была страшная; арестанты повторяли ежедневно всё одно и то же и ругались всё злее и злее. Малейшее происшествие в остроге, узnanное как-нибудь случайно, малейшее событие, переданное арестантами, требовавшимися в суд, и, может быть, неверное, изобретенное самими же арестантами, — все это оживляло камору, двигало мозги каждого. Говорили все, каждый старался отличиться перед другими островами, шутками, каждый старался доказать, опровергнуть и переспорить ругательствами. Через неделю после того, как Панфил ходил на работу, в камору приходил прокурор, и Панфил подал ему прошение. Арестанты говорили, что за эту жалобу достанется Панфилу, но он надеялся, что дело его, может быть, кончится скоро, потому что сестра его в это время жила у судейского заседателя. И в самом деле, через неделю он был выпущен, обокрал сестру и исчез неизвестно куда. Пелагея Прохоровна очутилась без денег и к тому же, по неудовольствию с хозяевами, лишилась места...

XV

Удойкинские золотые прииски

Горюнов и Ульянов очень радовались своему путешествию на прииски; первый предполагал забрать какой-нибудь прииск в руки, то есть сначала оглядеться, расположить рабочих к себе, познакомиться с раскольни-

ками, которые непременно, по его мнению, должны были жить недалеко от приисков, и потом самому сделаться доверенным. Ульянов радовался тому, что давнишнее желание добывать золото исполнится. Он не хотел быть доверенным; нет, ему хотелось только иметь золото, продавать его — и в то же время жить ни от кого независимо. Он мечтал о том, чтобы ему дожить свои дни в покое, чтобы у него была жилая избушка, непременно около ключа, и в лесу водилось бы много птиц, за которыми, от нечего делать, можно было бы охотиться. Хозяйка варила бы ему пиво и брагу, дети бы подросли, сыновья поженились, а дочери вышли замуж, жили бы недалеко от него и каждый большой праздник приходили к нему. Славно бы было Ульянову! Но Горюнов и Ульянов, думая каждый сам о себе, в то же время не хотели ни работать, ни жить вместе, находя, что если они будут жить вместе, то никогда не достигнут своих целей; этого друг другу они, однако, не высказывали. Вообще как Горюнов и Ульянов, так и Кирпичников редко говорили друг с другом. Когда они останавливались ночевать (по ночам Кирпичников боялся ехать), то говорили хозяевам, что они люди торговые, ездили в город, да оттуда воротились ни с чем, потому что их обокрали. А дорога была дальняя, тем более что они ехали по проселкам, во многих местах занесенным снегом и узким до того, что, сидя в санях, нужно было постоянно нагибаться, чтобы по лицу не хлестало широкими ветвями дерев. Чем дальше они ехали, тем местность была лесистее, гористее, дороги были хуже и хуже, приходилось раза по три, по четыре переезжать через узенькие речки с крутыми берегами; меньше и меньше им стало попадаться сел и деревень, самые деревни были очень бедны на вид, да и гористая местность, по-видимому, очень мало приносила пользы людям. Здесь, в этих деревнях, с пятью-шестью домами, в это время жили только старики и старухи, не могущие ни пройти далеко, ни дома работать. Они уже отработали и доживали свои дни в нищете, водясь с внуками. Молодых людей в избах не было — все они ушли на прииски. Здесь только и было речи, что о приисках, и местный житель не знал больше другого ремесла. Поэтому нашим путешественникам редко попадались встречные мужчины. Эти люди, идя по одному или не больше трех, завидя сани, заворачивали с дороги в сто-

рону, несмотря на то, что вязли по живот в снег. Если же какой-нибудь человек, большею частию татарин, с дороги не сворачивал, то Кирпичников брался за ружье и зорко следил за движениями пешехода и оглядывался часто, до тех пор, пока, по его мнению, опасность не миновала.

— Время теперь самое опасное, — говорил он: — того и бойся, чтобы кто не выскочил из лесу и не ударил тебя бастрыгом (толстой палкой). Теперь самое удобное время бегать из тюрем али из каторги, потому снег. Мы вот едем по дороге, а беглый бежит по полю али по льду на речках на лыжах целый день, и если нет лесу, верст шестьдесят может откатать... Тоже с приисков бегают таким манером. Я в первый раз так ехал — не берегся, да как напало на меня четыре человека, стал бояться. И ружье не помогло!

Наконец путешественники въехали в холмистую местность, без леса, с изрытою во многих местах землею, с высокими в разных местах насыпями, в которых торчали или шесты, или просто палки. Кое-где на ней были разбросаны обгорелые бревна, торчащие из-под снега, кое-где лежали в кучах дрова, кое-где виднелись разоренные постройки с высокими полуразвалившимися трубами. В одном месте жгут дрова, обсыпанные землею, а недалеко от этого навалены в беспорядке в большом количестве угли; в другом сделано подобие кирпичного сарая, на досках которого в разных местах лежат кирпичи. Это был покинутый прииск. За ним, по обеим сторонам дороги, стали появляться столбы с выжженными буквами, просеки с обгорелым редким лесом, с накладенными в нем во многих местах кучками дров; дальше — справа лес густел, слева был только кустарник, который чем дальше ехали путешественники, тем больше и больше редел. Тут начинались Удойкинские прииски. Холмистая местность казалась как будто загороженной с запада и севера высокими грядами гор, на вершинах которых белелись снега, а бока поросли черным лесом; с юга и востока пространство застилалось лесом, который чем дальше, тем становился как будто бы выше. Издали казалось, что горы как будто шли прямым треугольником около приисков, преграждая дальнейший путь, но между тем, чем дальше путешественники въезжали на прииск, тем больше этот угол расширялся, серел и принимал раз-

нообразный вид. Тут же, при подошве гор, текла быстрая речка Удойка с очень холодной летом и весною водой. Все пространство большею частию было изрыто, и холмы были прокопаны. В этих местах постройки уже были частию сложены, частию заброшены, но по ним можно было судить, что они построены недавно. В настоящее время у подошвы горы была выстроена большая изба с четырьмя окнами, выходящими на речку Удойку. К этой избе наши путешественники и подъехали, так как она служила жилищем доверенного, в ней останавливались земская полиция, ревизор и другое начальство. Около крыльца с пятью ступеньками, по которым ходили в избу, стояла паровая машина, ничем не покрытая и без всякого призора. Недалеко от нее, направо, у самой речки, стоял дом в три окна с фигурными ставнями у окон. За домом, вплоть до подошвы горы, все пространство было огорожено плетнем. Тут жил мастеровой Костромин, торгующий водкой, пивом, хлебом, калачами. Наискосок от этого дома, за речкой Удойкой, стояла большая изба для рабочих. За нею, в одной версте, стояло что-то похожее на амбар, но с трубой на крыше. Тут была баня с полком, в которой, на полку, жили преимущественно женщины, не желавшие жить с мужчинами в большой избе, а внизу, около полка, — лошади, справлявшие работы на погонах, употребляемых для растирки песков. За этими постройками, окруженными каналами с перекладами на них для ходьбы, в двух местах стояли четыре большие избы, сколоченные из досок, каждая с тремя большими окнами, из коих было два по бокам, аршина на два от земли, а одно в середине, сделанное почти вровень с землей, и с железными трубами, из которых шел или дым, или пар. Из этих избушек, где производилась промывка золота, слышался стук, как от действия машинами, и песни нескольких мужских голосов. Около каждой избушки, между четырьмя столбами, вокруг каждого столба ходят, погоняемые мальчишками, по четыре и по пяти лошадей, которые приводят своею ходьбою в движение два каменные круга, вделанные у стены в перекладину и приводящие, с своей стороны, в движение толчею, находящуюся в избе и имеющую вид молота, медленно, но грозно опускающегося в середину большой чаши, в которую сверху сыплют из тачек руду. Около краев чаши стоят

рабочие с молотами и граблями или боронами, и первые из них разбивают мелкие куски руды, а вторые сгребают размельченную руду в трубу, откуда она поступает в вашгерт, или деревянный ящик с нагретою водою, приводимою в движение посредством ручного колеса. Через дно этого ящика вода просачивается с мелкими частицами руды в корыта, или желоба, сделанные немного наклонно.

Осаждающийся на дне этого желоба золотой песок рабочие подбирают совочками и кладут в небольшие жестяные кружки с печатями. Несколько человек накладывают промытую землю, в которой не содержится золота, в тачки и отвозят по доскам прочь.

Дом доверенного, или *изба*, как его называли попросту, состояла из прихожей, двух чистых комнат и кухни. Он принадлежал владельцу прииска, какому-то дворянину, как и все прочие постройки. Кирпичников был встречен приказчиком, исполнявшим на приисках должность нарядчика, и ревизором-чиновником, обязанным следить за тем, чтобы золото вымывалось как следует и не поступало в руки рабочих.

— Ну, братец ты мой, насилу мы дождались тебя! — проговорил приказчик.

— Что так?

— Да золота очень мало. Вон Яков Петрович придирается: говорит, плохо следишь! А я говорю, чем бы на птиц ходить с ружьем, взял бы сам и стоял да смотрел, как и что промывают.

— Нет, Гришка, воруешь! — сказал чиновник.

Начались переборы.

— А вот мы посмотрим. Надо узнать, сколько промыто грязи.

— Весили, братец ты мой! Изю ста пудов вышло только две доли.

— Ха-ха! да кому ты говоришь?

Между тем рабочие подходили со всех сторон к избе, и через час их было уже человек до пятидесяти. Тут были и татары и башкиры в серых войлочных зипунах и меховых бараньих треугольных шапках, или *малахаях*, черемисы, зыряне и калмыки — в полушубках, зипунах и просто в рубашках, в разнообразных меховых шапках; тут были и мужчины без шапок, с завязанными тряпичами или платком щеками и ушами, и раскольники

в востреньких плисовых шапочках: тут было до десяти женщин, из которых двух можно было сразу назвать татарками по широким шароварам, с повязанными холстом головами и в продранных бараньих шубах. На большинстве надеты лапти, на меньшинстве — валенки из войлока. На руках у мужчин надеты или кожаные, или большие собачьи и бараньи рукавицы с вывороченною наверх шерстью: у женщин — шерстяные варежки. Некоторые держали на плечах лопаты; некоторые упирались лопатами, как палками; большинство переминалось, не держа ничего в руках. Все голосили, каждый на своем языке, и не обращали никакого внимания на крики и угрозы казаков.

— Работать надо! Пушла, руска мужик, пушла! — кричали казаки, грозясь нагайками.

— Нечего гнать русских! Свою братью гони.

— Погонять моя твоя будит скоро на булшой дорога! Собак!

Но, по-видимому, казаки только для вида исполняли свою обязанность и кричали по привычке командовать.

Народ, несмотря на то, что стоял в одной куче, разделялся на несколько небольших кучек по нациям: так, татары стояли с татарами, русские с русскими, рассуждая только между собой; с другими они только огрызались. У всех на лице виднелось нетерпение, ожидание чего-то, и только по нескольким башкирским лицам можно было заключить, что, кроме башкир, всем не очень-то хорошо здесь; лица же башкиров, кроме выражения суровости, не изображали ни горя, ни радости.

Вышел Кирпичников с приказчиком.

— Здорово, ребята! — сказал он, сняв шапку.

Кое-кто снял шапки, кое-кто произнес что-то.

— Вы ленитесь, шельмы! — проговорил приказчик.

— Расчет подай! Деньги дай!

— Приказчик говорит, что он отдал деньги, — сказал Кирпичников.

— Што он отдал? Хлеба нет. Для того, што ли, мы пришли сюда?

— Никто не держит, голубчик. Знаю я, откуда ты!

— Деньги подай! Што нам голодом, што ли, быть?

— Сегодня, братцы, мне некогда, — и приказчик ушел.

Рабочие заговорили, приняли угрожающий вид; ка-

заки хватились за винтовки; Кирпичников засунул правую руку за полу тулупа.

— За что вам платить, когда вы ничего не делали! Много ли золота-то без меня промыли? Всего только четверть фунта! — кричал Кирпичников.

— Врут! Они воровали!

— По местам!

— Деньги подай! — И рабочие подошли к избе.

— Это видите! — крикнул вдруг доверенный, вытаскивая пистолет. — Смей только кто подойти!

— Приказчика вытребуй! Зачем он ушел? Трус!

— По местам! Я сейчас буду на приисках!

И доверенный ушел в избу. Рабочие пошли в свою.

Изба рабочих имела большие полаты, на которых умещалось до двадцати человек; под ними и около стен стояли широкие скамейки из тонких досок.

В избе было темно, дымно, угарно и сыро; на полу лежала грязь, да и скамейки не отличались особенною чистотою. Придя сюда, рабочие стали ругаться.

— Отчего ты, татарская образина, молчал?

— Моя все сказал. Твой куда язык девал?

— У тебя был лом!

— У тебя лопата. Боялся — собак стрелит!

— Вам бы только ругаться друг с другом, а до дела коснись, вы и ни тят, ни ляп. Уж добро мы, бабы, Христа ради робим, и денег нам дают меньше вашего, потому уж везде права наши одинаковы. А вы-то, вы-то, мужики!.. — кричала одна женщина.

— Сунься — коли он стрелять хотел.

— Не выстрелил бы, а лиха беда, один бы околел — не важность!

— А если бы в тебя...

— Не беспокойся! В тебя скорее бы попал! Вот уж некого было бы жалеть-то!

Рабочие захохотали.

И здесь рабочие разделялись на партии... Татары, башкиры и часть русских забрали себе полаты; на печи спали казаки и бабы, исправлявшие здесь должность кухарок на рабочих, за что ни рабочие, ни доверенный им ничего не платили, так как они и сами ели готовое и имели время работать на приисках, недалеко от избы, за что им и выговорена была плата по пятнадцати копеек; на скамейках спали остальные, которых не пускали

ни на полати, ни на печь. В числе этих были две татарки с своими мужьями и двумя парнями-татарчонками, пришедшие сюда недавно, и несколько человек беглых, которых, впрочем, никто, кроме доверенного и приказчика, не спрашивал, кто они такие, но которым часто приводилось брать место с бою; ребята спали на полу, а если было свободно, то и в большой печке.

Эти разнородцы постоянно ссорились друг с другом, смеялись друг над другом, задирали на ссору, высказывая каждый свое умственное и физическое превосходство. Попрекам не было конца, потому что каждый считал другого за вора, мошенника и пройдоху и доказывал это тем, что честный человек не пойдет в работу на прииски. Но какова ни была жизнь в избе, все сходились в нее, каждый ложился на приобретенное им место, и никто не выдавал перед начальством другого, если замечал за ним что-нибудь. Так, если татарин знал, что русский клал между складок лаптей несколько песчинок золота, он никому не говорил об этом, а старался как-нибудь обменять этот лапоть. Если проделка татарину удавалась и об ней узнавали рабочие, то татарина долго грызли русские, преследовали за воровство ругательствами везде, — и наоборот. Но никто не смел объявлять об этом начальству, опасаясь за свою жизнь, потому что здесь суд был короток: ябедник на другой же день оказывался убитым где-нибудь во рву.

Две женщины стали доставать из печи котлы с кислыми капустными щами. Один котел принадлежал христианам, другой — иноверцам, потому что ни те, ни другие не хотели есть вместе, чтобы не опоганить себя.

Начался крик, свалка; рабочие кинулись за чашками, лежащими под печкой. Чашки были грязны. Кто не брал чашки, развязывал узелок с хлебом.

В избе стал подниматься пар от нескольких чашек, которые держали на коленях рабочие.

Пришли женщины со своими чашками и ложками. Опять крик, свалка; женщины голоса пуще мужчин, а у одной пищит на руках грудной ребенок. Женщинам некуда было сесть.

— К чему ты эту куклу-то с собой взяла! — крикнул один рабочий.

Женщина не обратила на него внимания и полезла за щами, но ей уже не досталось щей.

- Дайте хлебнуть Христа ради, — просила женщина.
- Что делала?
- Мальчонку кормила... Дайте ложечку...
- Самим мало.
- Погодите же... Припомню же я вам.
- Машка! Иди, дам ложку.

Женщина рванулась в ту сторону, откуда послышалось приглашение.

Молодой рабочий стоял с чашкой у железной печки, то нагибаясь, то приседая, то ворочаясь и закрывая руками чашку для того, чтобы в чашку не загребали ложками.

— Хлебай скорее! — и он присел на пол, не обращая внимания на толкотню.

Женщина с жадностью стала хлебать, не обращая внимания на то, что щи остыли и прокислые. Ребенок пищал.

— У! — произнес мужчина и ударил по голове ребенка ложкой.

— Варвар! не жалко тебе своего-то ребенка! — крикнула женщина, ударив по лицу мужчины кулаком.

— Говорю, расшибу!

— Смей...

.

— На работу!.. Доверенный идет осматривать, — крикнул приказчик, входя в избу.

— Скажи, не пойдем.

— Братцы! Мне-то разве охота неприятности получать! Ведь он говорит: дери их чем попало...

Рабочие стали ругаться, и немного погодя половина ушла на работу, из другой половины одни легли, жалуюсь на нездоровье, другие прикладывали к головам снегу и валились в снег: они угорели.

Добывка руды происходила в это время в трех местах, в логах и в небольшой площади, по обеим сторонам речки Удойки. В логах рабочие копали слой глины параллельно площади, следя за полосой, в которой, по их мнению, должно находиться золото; на площади же копали внутрь. Доверенный осмотрел работы и позвал рабочих к своему дому.

Через час он роздал деньги и велел завтра гулять.

Рабочие, в том числе и женщины, отправились к Костромину.

Это был седой высокий старик. Ему было более ста лет. Он очень рано начал работать в рудниках и с приисками был знаком больше, чем кто-нибудь. Настоящий прииск он уступил теперешнему хозяину за тысячу рублей и выговорил себе право торговать на прииске хлебом, водкой и т. п. В городе у него был сын купец, а здесь с ним жил женатый племянник, который ему помогал торговать. В город он не ездил, потому что, как он говорил, не любил городской жизни и порядков, не любил и сына, который стал совсем другим человеком, отстав от дедовских обычаев. Рабочие любили старика за то, что он забавлял их рассказами. Особенно он любил рассказывать о Пугаче, который чуть-чуть его не повесил на колокольне за то, что он, бывши старостой в единоверческой церкви, держал икону вниз головой в то время, как Пугач прикладывался к ней.

От дома Костромина не было отбою; племянник, племянница и он сам то и дело высовывали руки из окна, спрашивая бумажку. Рабочий подавал бумажку, на которой был записан забор. Костромины, сосчитав долг, писали цифру и объявляли ее в окно.

Костромины не пускали к себе в дом вечером, потому что при свалке ничего бы им не поделаться с рабочими. Они уже были научены опытом, что рабочие при получении денег прежде уплаты долгов старались забрать что-нибудь от содержателя лавочки и очень скоро опрастывали даром бочонок с водкой.

Народ между тем с ожесточением толкался перед окнами, ругая друг друга, колотя в спины, не разбирая личностей, потому что каждому хотелось просунуть свою руку с бураком в окно.

— Пива! Водки! Кумыс!.. — кричат рабочие.

— И што это за порядки такие — дверь запираять! Што он за барин! — кричат недовольные Костромины.

Мало-помалу рабочие были удовлетворены. Каждый, отдавая с запиской долг, просил отпустить ему на столько-то копеек чего-нибудь. Костромины уничтожали старую записку, получая деньги, и, если денег не доставало, говорили:

— Десяти копеек недостает.

— Получай!

— Пиши в долг! — отвечал покупатель.

Через час каждый мужчина нес к избам по разнокалиберному бураку, в котором заключались водка, пиво или кумыс. Кроме бураков, мужчины несли кто калач, кто витушку, кто крендельки, кто кусок мяса, кто несколько огурцов, кто табаку. Женщины несли бураки с пивом и брагой. Вся эта толпа шла до избышек с хохотом, визгом и руганью. И если бы не этот гвалт, то всю эту публику можно было бы сравнить с тою, которая в крещенский сочельник идет домой с крещенскою водою.

Началась попойка в мужской избе под свет сальной свечи, едва освещающей избу. Ребята сидели в кучке у дверей, попивая пиво и водку из своих бураков и покуривая табак.

Невозможно описать тот гам, который происходил здесь. Говорили, кричали все, стараясь каждый похвалить себя и обругать другого чем-нибудь. Теперь здесь не было ни над кем никакого начальства, всяк чувствовал себя свободным человеком, не боясь никого. Все пьющие казались веселыми, и тех, которые казались скучными и которые отказывались принимать участие в попойке, заставляли пить силой.

— Ты што сидишь-то? О чем ты такую думу задумал?

— Лей на него! Лей в него — Костромин ответит!

— Не могу, братцы! — говорил больной.

— Слышите! Вытащимте его вон. Он худое замышляет!

И больной поневоле должен был пить.

У доверенного тоже происходил пир, но он сказал Горюнову и Ульянову, чтобы они отправлялись в избу к рабочим, так как он назначает их в работы наравне с прочими, и выдал им вперед по пятидесяти копеек.

Когда Горюнов и Ульянов пришли в избу, в ней было ужасно накурено махоркой; свет едва мерцал, рабочие — мужчины, женщины и ребята — пели разные песни, кричали, наигрывали на балалайках и гармониках и плясали.

— Штейгерскую! — Татарскую! — Кержацкую! — кричал народ во все горло.

Вдруг один запел:

Во Шадринском во селенье
Живут люди-староверы,
С давних уже лет...

Все подхватили последний стих и продолжали во все горло:

Они пастыря не знают,
Сами требы исправляют
Во всем Шартоше (bis).
Вот родятся, умирают
И усопших отпевают
Сами без попа (bis).
Вдруг является причетник,
Называется священник
Старообрядческой (bis).
Не спросив его письма —
Недовольно ведь ума! —
Приняли его (bis).
Не спросив его природу,
Лишь бы был долгобородый,
Тот у них и поп (bis).
Отвели попу квартиру,
Пребогату и не сыру...
Стал поп поживать (bis).
Ни об чем их поп не тужит;
Во часовне у них служит,
Как должно попу (bis).
Его слишком принимают;
Что попросит, награждают —
Все ему дают (bis).
Еще сведало начальство
Про попово постоянство —
Взяли попа в суд (bis).
Вот судить попа не можно,
Посадить-то его должно
В келью, за замок (bis).
Поп по лестовке спасался,
С кержачками жить ласкался...
Ты с ними простишь (bis).
Они все про то узнали
И не много толковали —
Прогнали его (bis).
Мы теперь тебе не други:
У тебя есть новы слуги,
Ходят за тобой (bis).
Комедьянты все, при лентах,
Все лакеи в позументах,
Стерегут тебя (bis).
За серебряны монеты
Сокуют тебе браслеты
На ручки твои (bis).

Во время этой песни четыре раскольника, с стриженными наперед чубами, вышли на улицу.

— Што, братцы? — проговорил Ульянов.

— Всегда так!.. От пьяных покою нет. А ничего не

сделаешь, потому как запретить? Все же по крайней мере свои. А вот как татары заталамкают — хоть вон беги.

Шесть человек вышли из избы и увели Горюнова и Ульянова в избу.

— Угощай же!.. Вы с доверенным приехали! — кричали со всех сторон.

Отговариваться нельзя было, и Горюнов с Ульяновым послали двоих рабочих по общему совету за водкой и пивом.

Началось опять пьянство с песнями и пляской. Горюнова и Ульянова приняли в товарищи, предоставив им самим выбирать место в избе для себя. Несколько человек уже ложилось спать, женщины, одна за другой, уходили.

— Татара-то! Татара-то! — прокричала одна женщина, восторженно вбегая в избу.

— Што? — спросило несколько голосов.

— Кобылу доверенного жарят.

Рабочие вышли из избы; недалеко от дома горел большой костер, и оттуда слышались татарские песни и пляски. В воздухе пахло нехорошо.

Рабочие долго удивлялись над проделкою татар. Каждый из пришедших давно уже не едал мяса, и каждому хотелось попробовать кобылятины, несмотря на отвращение в трезвом виде к этому кушанью, но обладатели кобылы не давали.

— Мы вам не мешаем, вы нам не мешай! — говорили магометане, засовывая в рот большие куски мяса и с наслаждением чмокая губами.

Русские стали приставать; магометане подсмеиваются.

— Вы с нами не хотите знаться, и мы не хотим с вами.

— Собаки! Разве мы не делимся с вами!

— Много вы делитесь! Не вы добыли кобылу. Купите?

— Поделитесь, — сказал казак.

— Што дадите?

— Водки хотите?

Магометане заговорили между собою. Одни говорили, что водку пить грешно, другие говорили, что они живут в таком месте, где водку пить можно: коли русским кобылу есть можно, и нам водку пить можно.

— Давай! — кричали татары.

— Садись, бабы, с нами, — лебезили около баб башкиры.

Бабы, опьяневшие от водки и желавшие перекусить горячего мяса, не противились. Русские начали ругаться.

— Што кричать! К нам же пришли кобылу *ашать*! — дразнили русских татары.

— Што, взяли!!.. Небось коровы не утащите! — дразнили, с своей стороны, женщины, входя в кружок иноверцев.

Появилась водка, начались пляски, песни — и долго-долго за полночь раздавались на приисках эти отчаянные песни, уносимые далеко по направлению ветра.

В мужскую избу возвратились немногие.

Горюнов и Ульянов легли на скамейку и долго не могли уснуть. Раскольники, не принимавшие участия в оргиях, говорили им, что прииски сначала были богаты золотом, а теперь с каждым днем золота становится меньше, так что эти прииски надо бы давно бросить, а начать в другом месте. О здешней жизни они говорили, что она хороша только понаслышке. «Вы видели, — говорил один из них, — как рабочие справляют получение заработка. А все оттого, что рабочим платят не каждые сутки, а когда случаются у доверенного деньги. Получивши деньги, рабочие не знают, что с ними делать, а отдать их на сбережение некому. Вот они и пьянствуют, закупая провизию у Костромина, который их надувает не хуже городского торгаша, а самое ближнее село, откуда бы можно было получать провизию, находится в пятидесяти верстах. Истративши в два-три дня деньги, рабочие берут в долг хлеб и водку, мясо же у Костромина не всегда бывает».

— Обожглись, верно, мы, Терентий Иванович, — сказал Ульянов.

— Посмотрим, — отвечал Горюнов, думая о том, как бы ему понравиться и доверенному, и рабочим.

XVI

Горюнов действует заодно с практическими людьми

«Нет, так жить нельзя! — думал Горюнов, лежа утром на скамье: — если я все так буду только глазами хло-

пать, я и здесь ничего не приобрету. В заводе мне пельзя было ничего добиться, потому что там меня все знали, я ничем себя не мог заявить перед начальством. Здесь дело другое. Здесь я могу выиграть... Стану я служить и начальству, и рабочим...»

И Горюнов задумал сделаться казаком сперва, потом расположить в свою пользу рабочих прибаутками, кротостью и простоватостью, ласкать ребят для того, чтобы они его любили и сообщали все, что они знают о приисках. А по его мнению, ребятам должны быть больше известны места золотого песку, так как они летом шляются по лесам. Не мешает также подделаться к какой-нибудь бабе, сойтись хорошенько с Костроминым и найти товарища из раскольников, которые говорят, что эти прииски нужно бросить, — стало быть, они знают другие места.

Утром Горюнов отправился к доверенному. Доверенный, приказчик и ревизор играли в стуколку, записывая выигрыши и проигрыши на бумаге. На другом столе стояла водка и жареные пельмени.

— Ты што? — спросил доверенный охриплым голосом Горюнова.

— Да наведаться пришел. В избе-то нечего делать... А вы не слыхали, что с кобылой?

— Ну? — спросил в испуге доверенный.

— Ее съели.

— Как? — доверенный вскочил; остальные захохотали.

— Так. Вчера ваш казак ее заколол.

— Отчего ж ты не сказал мне?

— Я только сегодня узнал.

Начальство перестало играть. Все отправились сперва в кухню, но там никого не было; в конюшне действительно не оказалось кобылы.

Приказчик и ревизор усердно хохотали над Кирпичниковым, который злился и доказывал, что ему за кобылу давали семьдесят рублей, да он не продал ее.

— Што же ты теперь делать станешь? — спрашивали Кирпичникова его приятели.

— Да што делать-то станешь? Теперь все пьяны, сегодня остальные деньги пропьют. Пойти теперь к ним — на клочки растерзают, потому народ всякий... Но я им покажу, какова кобыла! Я их проморю,

— Смотри, чтобы другую не съели.

— Нет уж, дудки. Вам што... Хочешь быть казаком и состоять при мне? — спросил вдруг Кирпичников Горюнова.

— Если жалованья...

— Жалованья я тебе дам шесть целковых в месяц на всем готовом. Ну, да кроме того, ты будешь пользоваться доходами от рабочих, так что тебе придется получать в месяц рублей двадцать пять. Только смотри, держи ухо востро... Я знаю, што эти проклятые татаршки и башкиры только вид делали, что они усердно исполняют свою службу, а я думаю, они немало накопили денег и золота. А твоя обязанность будет состоять в том, что ты одну неделю будешь спать и находиться с рабочими, а другую — у меня... А теперь призови ко мне девок.

Горюнов стоял, улыбаясь.

— Што? смешно? Поди к бабам в баню и скажи: доверенный, мол, зовет... Да потом скажи... Ну, да уж я сам скажу...

О первом времени должности Горюнова и Ульянова, которого Кирпичников сделал тоже казаком, говорить много нечего. Башкиры и татары сильно их невзлюбили, бунтовали товарищей и даже в драке вышибли левый глаз Горюнову, вследствие чего доверенный должен был отобрать нагайки и винтовки от татар и заменить татар русскими.

Все русские обрадовались тому, что они выжили инородцев, а если теперь и остались черемисы, то они были и прежде очень смирны. Но больше всех радовался Терентий Иванович, который своею добротой уже начинал привлекать к себе рабочих, работая с ними заодно на промыслах и забавляя их какими-нибудь смешными рассказами. Несмотря на то, что рабочих было меньше против прежнего наполовину, работы все-таки не хватало на всех, так что иногда нескольким человекам вовсе нечего было делать, потому что в действии были только две промывальни, и раскопка земли производилась в одном месте, так как в остальных золота не находили и их бросили. Но и в этих промывальнях очень мало промывалось золота. Доверенный сердился, распекал казаков за то, что они даром получают деньги и действуют с рабочими заодно. Он никак не хотел верить тому, что

золота мало. А зима между тем свирепствовала, рабочие голодали и ежедневно осаждали избу доверенного, прося денег. Горюнов видел, что дело плохо, и говорил об этом Кирпичникову, но тот хотел взять строгостью, хотя от этого дело не поправилось: рабочие, в том числе и женщины, разошлись; с ними ушел и Ульянов. На прииске осталось только двое рабочих, Иванишев и Анучкин, и два брата Глумовы, из коих первые чего-то выжидали, а последним некуда было деваться, потому что их дядя, с которым они пришли на прииски, был кем-то убит прошлой осенью. Горюнов обласкал ребят и поместил даже жить с собой в кухне доверенного, где он уже имел приятельницу, тридцатипятилетнюю женщину Офимью Голдобину, которая и прежде стряпала здесь на начальство.

Доверенный очень запечалился и не знал, что ему делать. Чиновник уехал сдавать золото, уехал и приказчик разыскивать рабочих. Но дня через три после их отъезда — ночью уехал и доверенный с Иванишевым.

Запечалились и остальные, потому что доверенный забрал все свои бумаги и все вещи и ничего не сказал Горюнову.

— Бросили! экая оказия... — горевал Горюнов.

— Зато теперь мы проживем... Давайте сами промывать золото! — сказала неожиданно Офимья.

— Будь ты проклятая, чуча!.. Где мы его возьмем? — сказал Анучкин.

— Полно-ко, батюшко!.. Будто я не знаю, што у тебя на уме...

— Ну, коли знаешь, так молчи. Однако, где же это ты нашла такое золото?

— Как где — а вверх по речке!

Анучкин побледнел.

— Што, небось, отгадала... Я, брат, все знаю, как ты оттуда по ночам руду носишь мешками на промывальни.

— Ну уж, молчи, пожалуйста.

— Небось, один хочешь все себе забрать?

Хлеба у них было еще недели на две; Костромины собирались уезжать, но Анучкин их отговаривал тем, что надо подождать лета, авось прииск перейдет в другие руки, — и объявил, что он знает, где есть руда, и руда богатая, только нужно достать лошадей и телеги.

На другой день явилось на прииске шесть крестьян

с шестью телегами. На общем совете было решено, чтобы золото делить поровну между Костроминым, Офимьею, Горюновым и Анучкиным, как главными руководителями этого дела, с тем, что они должны об этом молчать и хранить золото в секрете; остальным назначена была плата: при хорошей вымывке по пятидесяти копеек, а при плохой — по двадцати пяти копеек в сутки. За работу принялись все: Костромины, Офимья с Горюновым, Анучкиным и Глузовыми. Одни из них копали и возили руду в пошевнях к ближней промывальне. Каждый отдыхал не больше двух часов в сутки; о пище заботились тоже мало. Руда была действительно богатая, так что в первые дни намывали золота до десяти золотников, а на второй неделе в каждые сутки получалось не менее четверти фунта. На третьей неделе наши рабочие захотели отдохнуть и разделить между собою без спору золото. На долю Терентия Иваныча пришлось четверть фунта. Костромин уговорил своих товарищей свезти золото на хранение к своему приятелю, живущему в двадцати верстах от приисков, старцу Якову.

Старец Яков жил в таком месте, что летом добраться до него мог только человек, знающий одну тропинку. Он жил в небольшом домике с двумя сыновьями, которые работали на разных приисках летом, а зимою приходили к нему. Дом был окружен густым сосновым лесом; этот лес, со своей стороны, был окружен очень топким болотом. Поэтому к обиталищу Якова были положены в одном месте в траве жердочки, по которым мог ходить только человек привычный, понимающий, что такое равновесие, потому что в эту тину уходила целая сажень, если не больше. В ветер по этой импровизированной дороге никто не решался идти, потому что держаться приходилось только за тонкий камыш. Весною вся эта местность, верст на пятнадцать ширины, заливалась водой, и среди ее красовалось несколько островков. К этому времени Яков и его сыновья запасались на весь год мукою, приплавляя ее в лодке, и в это же время Яков ездил к одному богатому городскому купцу, тоже раскольнику, которому и сбывал золото. Впрочем, Яков не постоянно сидел в своем гнезде. У него много было дела и зимой и летом, но зимой его труднее было застать дома, потому что тогда он больше всего опасался *облавы*. Летом он знал, что до него невозможно добраться; зимой же на

его гнездо могли набежать беглые и разболтать о нем. Кроме же беглых, в эту местность, по его соображению, попасть было некому, так как кругом жили раскольники, и только разве могли зайти сюда еще землемеры, или межевщики, но и от них пока бог миловал. Яков был известен на большом пространстве; Яков держал, так сказать, на помочах раскольников; без Якова ни один раскольник не смел заявить о каком-нибудь открытом им месте золотого песку, — в противном случае с таким человеком разговаривать недолго. Яков заботился о том, чтобы раскольники были сыты, и если уж им было плохо, то он разрешал объявить о таком-то месте человеку наибольшему, но ничего не смыслящему в приисковом деле, и этого человека указывал сам, так как он имел от своих большие сведения о всем, что главнейшим образом творится в государстве. Яков был известен и начальству, которому давно хотелось словить его; оно подозревало Якова в делании фальшивых денег, фальшивых серебряных и золотых монет, приписывало ему грабежи и убийства, хотя он во всем этом нисколько не был виноват; полиции вступали одна с другою в полемику из-за него, но Яков свободно жил в своем гнезде, гостил там, где ему было хорошо, и являлся на приисках. Якова любили все те, кто имел с ним дело, считали его за добрейшего человека и берегли его.

Зимой постоянных дорог к Якову не было проложено, потому что те, которые знали его, ходили к нему на лыжах, чтобы не оставалось следа. Лошади оставлялись на привязи в лесу под чьим-нибудь присмотром, недалеко от узенькой дорожки, проложенной дроворубами.

Костромин сказал Горюнову и Анучкину, что он пойдет один для переговоров с Яковым.

— Хорошо еще, согласится он видеть вас. Ведь в вашу душу не залезешь, — говорил он строго.

— Пожалуй, Дорофей Леонтыч... Мы понимаем, — говорил Анучкин.

— Тебя-то возьму, пожалуй, а ты, Терентий, подожди... Ты, пожалуй, дай мне на всякий случай золото-то.

Терентий Иванов задумался: «А если они меня обманут?»

— Неужели ты думаешь, што мы с худым намерением взяли тебя с собой?.. Умеешь ли ты на лыжах-то ходить?

— Умею.

— Однако нам нельзя покинуть лошадь... Так как?

Горюнов отдал золото. Костромин и Анучкин ушли... Скоро Горюнов потерял их из вида и как ни заглядывал во все стороны, заходя в лес, не мог отыскать их.

Избушка Якова была бревенчатая, с двумя окнами, выходящими на юг и запад. В углу, против южного окна, была большая печь с лежанкою. На стенах, между окон, были наставлены один на другой медные образа. При входе Костромина с Анучкиным Яков, высокий худощавый старик, с черными волосами и бородой, в скуфейке и черном кафтане, опоясанном бечевкой, сидя на скамье, разговаривал с двумя раскольниками, ушедшими недавно с Удойкинских приисков.

— Иссакли?! — сказал, улыбаясь, Яков после обычных обрядностей.

— Бог не без милости, — проговорил Костромин.

— Благодарение богу. Надежный ли там карауль-ник-то?

— Кто его знает... Мы с ним работали, так он нам нравится... Впрочем, я его взял для того, чтобы он не убежал и не объявил... А ведь мы намыли немало, с помощью божиею... Ну, а отсюда он не уйдет. Там в бураке пиво. Мы его смешали с табаком для крепости.

— Ну, так как же ты, Дорофей, думаешь?

— Да вот Тарасу Трифону Анучкину теперь очередь.

— Я давно знаю об этом месте, и другое у меня есть на примете... А дело наше такое, того и жди, чтобы не наехали... Только навряд ли и там будет много золота, потому доверенный, известно, в этом деле не смыслит. Столбы наставят, начнут рыть канавы, настроят изб и промывальни там, где не следует... Неужели я стану указывать!

— А если тебя сделают доверенным? Полно-ко морочить старых людей! Давно тебе, как видно, хочется в начальство попасть, да воли нет... Охо-хо!.. Замечаю я, нет нынче в людях той крепости, как в прежние годы; ненадежны стали нынешние люди. Отчего прежде об этом крае и разговору не было? Отчего нынче здесь уже до сотни приисков разрабатывается?

— Но ведь все почти брошены, хоть и в них есть золото.

— Нет, ты мне скажи, отчего прежде-то об здешнем крае не было и речи? Все считали здешние места за самые негодные... Оттого, что жадность человека такова: ты ему дай шей, он захочет каши; ты ему рубль, он просит два... Обычай городские стали нравиться, водка стала лучше браги; мало одной жены, по две завели... Поневоле жадность явится.

— Пожил бы ты в мире! — сказал недовольно Анучкин.

— Слава богу, сорок лет выжил,— это мне не укор, да и я не про тебя говорю. Ты беглый, тебе едва ли ловко в город-то явиться!

— Я на Дорофея полагаюсь. Пусть он будет доверенным.

— Избави бог! Пусть лучше внук мой будет.

— Делайте, как знаете. А все бы обождать не мешало, потому что теперь многие из господ поостыли... ха-ха! Смешно мне, право, на этих людей: слышали они, што есть в здешнем краю золото, и думают, что его можно лопатами грести. Что ж? Подождите немного; может, какой-нибудь денежный барин и решится доверить, Костромин, твоему сыну, ну, а ты, Тарас, помогай, да больше о своих старайся; делай так, чтобы и тебе было хорошо, и барину, и нам.

Скоро гости расстались с хозяином, который дал за золото денег и обещался известить, когда пронюхает про простоватого, но денежного барина.

— Я уже сына своего, Никифора, пошлю по весне разведать, и если он узнает, то предложит барину так: скажет, что он пошлет ему и мужика, который знает место, и доверенного. Ну, разумеется, объяснит все, как следует, и Тарасу нечего будет бояться, потому богатство милее порядков: и беглого с почетом принимают, где нужно.

С ними вышли и другие два раскольника, которые обещались хранить в секрете совет Якова, с тем условием, чтобы им плата производилась больше других и у них не отнимали бы золото.

Костромин дал Терентию Иванычу двадцатипятирублевую бумажку. Терентий Иваныч посмотрел на свет бумажку, тщательно ошупал ее и, по-видимому, не решался брать.

— Думает, фальшивая! Ошибаешься, друг. Яков эти-

ми вещами не занимается,— голову могу положить на отсечение, вот што.

— Нет... мало...

Костромин захохотал. Товарищи торопили Костромину ехать.

— Ты знаешь ли толк-то в деньгах? — спросил вдруг Костромин Горюнова.

— Не ты один...— начал Горюнов; но Костромин опять захохотал.

— Говорил бы, слава богу, што и это дали! В своем заводе тебе и во сне не приснились бы такие деньги,— говорил Анучкин, садясь в пошевни, в которых уже сидели остальные. Костромин стегнул лошадь.

— Дорофей Леонтьич!.. Подожди меня-то,— сказал Горюнов, догоняя лошадь.

— Нет, мы тебя не возьмем! Ты недоволен...

— Што делать... я ничего...

— Иди куда хошь, а ты нам не товарищ.

Целый час Горюнов шел за пошевнями, упрашивая, чтобы его взяли, говоря, что он доволен всем; целый час Костромин и его товарищи не хотели брать его с собой, советуя ему идти туда, где лучше и где больше дают денег.

Но все-таки, проехавши верст пять, они посадили его, взяв с него клятву, чтобы он молчал об этой поездке и не выдавал их начальству.

Теперь у Горюнова исчезли все мечты о забрании в свои руки прииска. Он ясно понимал, что попал в ежовые рукавицы и должен будет работать на тех же, которых он считал своими товарищами и в руках которых находились приiski; эти люди знают приискное дело, в сбыте золота не затрудняются, да и по прекращении работ найдут поддержку, как вот и эти двое раскольников, ушедшие с приисков назад тому месяц. Они и рабочих найдут, потому что в окрестности все жители знают их... А он, пришлец, мечтал... «Да, нелегко, Тереха, деньги достают и на золотых приисках. Уж, кажется, ничего нет дороже золота, а и тут золото ни во что мне поставили. И как я надеялся, што на золотых непременно накоплю большой капитал и умру я не в бедности, а дело-то выходит, што здесь еще, пожалуй, хуже: того и бойся, што или убьют тебя, или ты поробишь-поробишь — да с тем же и уйдешь, с чем пришел».

Но где же лучше? — спрашивал себя Терентий Иванович. Что скажут ему его приятели, родные, когда он воротится к ним и когда ему нечем будет похвастаться... Ведь и сам Терентий Иванович видал у беглых мастеровых золото, и Короваев с ним нередко ездил в город с золотом. «Не надо было мне отдавать золото Костромину; надо бы мне было спрятать его, а потом и я бы привез золото в город», — подумал было он, но потом ему представились все опасности, каким подвергают себя на каждом шагу рабочие вне приисков, имея у себя золото, и то, как им дешево платят за него ловкие люди...

Что же делать? Неужели идти назад? Но куда идти с этими двадцатью пятью рублями, которые, может быть, еще и не деньги, а просто фальшивая бумажка? Да опять и то надо подумать: ведь он только что начал жизнь на приисках! Люди живут на приисках десятки лет, и все-таки не тянет их в другие места... А Костромин еще берет его к себе в компанию.

Все эти размышления убедили его, что ему надо пожить и потерпеть на приисках: «Авось, может быть, бог и поможет мне выйти из бедности в люди».

Костромин с товарищами застал на приисках земскую полицию, несколько человек из прежних рабочих, в числе которых был и Ульянов, приказчика, Иванишева и какого-то пожилого низенького человека в енотовом тулупе. Они бродили около речки и около ископанной недавно Костроминым местности. Несколько новых рабочих с крестьянами, работавшими с Костроминым, тесали бревна, копали землю и в разных местах ставили столбы. Какой-то господин в легком пальто что-то чертил на бумаге.

— Выдал, подлец!.. Ах, разбойник! — говорили Анучкин и Костромин, услышав от одного нового рабочего, что сюда приехал открывать новый прииск сам главный доверенный и что Кирпичников уже не приедет, так как Иванишев на него наскзал много нехорошего главному доверенному.

Костромин и Анучкин очень сердились на Иванишева за то, что он, не спрося их, *продал телку*; теперь оказалось, что и Костромин, и Анучкин — оба знали об этой телке, каждый рассчитывал на нее, считая ее неистощимым богатством, которое они берегли много лет и к кото-

рому приступили только потому, что им нечего было есть. Про это-то место они и говорили Якову. И вдруг их же товарищ, свой человек, передал это место в руки того же ба-рина, которому указал Удойкинский прииск Костромин...

По отъезде полиции главный доверенный выдал всем рабочим не в счет жалования десять рублей, для того чтобы расположить их к себе, и приказал им начать работы на новом месте.

Костромин с товарищами махнули на все рукой и остались на приiske.

С вечера началось пьянство на всем приiske, только Костромин с товарищами, в том числе и Терентий Иванович, принятый в их компанию, долго вели между собою беседу, заключавшуюся в том, чтобы Костромину по-прежнему заниматься с семейством торговлей, а прочим работать; но так как и этот доверенный назначает плату по-денно, то если кто-нибудь из них узнает, где находится богатое место, стараться скрыть его и копать в другом месте.

XVII

Катерина Васильевна

Пелагея Прохоровна, как читатели видели, жила уже несколько времени в городе. Читатели также, надо полагать, заметили, что она жила в разных местах в кухарках. Жизнь ее была везде нехороша, и ей приходилось часто менять места, но все-таки хорошего места на ее долю не выпало. На последнем месте она жила долго, но вдовец хозяин стал ей предлагать очень нехорошие условия, на которые она не согласилась, а именно — быть его любовницей. Поэтому она решила удрать от хозяина, и так как паспорт был у нее в руках, то она, завязавши свое имущество в платок, вышла из дома, в котором жила. Было еще очень светло, когда Пелагея Прохоровна вышла с узелком на улицу. Солнце уже село, и над северо-западной частью города на небе отливались золотистые, фиолетовые и розовые гряды гор. Несколько городских барышень, стоя у городского пруда в одиночку, упершись в чугунную решетку, задумчиво смотрели на отражающиеся в тучах лучи солнца — и мечтали. Вечер был тихий, прохладный; пыль, поднятая днем с улиц, постепенно садилась на строения и на землю. Езды было не

слышно; служащий народ, чиновники, после дневных занятий, большею частью холостые и семейные, без жен и детей, вышли к пруду и на бульвар, а некоторые из них садились на пароход и плыли к даче, от которой слышалась музыка и часть которой была освещена фонарями. Очень немногие шли в собор посмотреть, не свадьба ли там, потому что у собора стояло два извозчика. Нельзя сказать, чтобы народ этот был весел; на всех лицах заметно было или уныние, или тоска, или зависть.

Пелагея Прохоровна робко шла до пруда. Ее нисколько не удивила гуляющая публика, напротив, она занята была своим положением, чувствовала, что теперь она свободна, но что-то такое тяготило ее, в голове ее как будто пусто стало. Она шла, сама не зная куда.

На пруду в это время плыл пароход очень медленно. На пароходе песенники орали уже полупьяными голосами «Вниз по матушке по Волге». За пароходом плыла лодка, в которой пели несколько человек приказных из соборных певчих «Возле речки, возле мосту». Впереди парохода и рядом с ним плыло тоже несколько лодок с любителями духовных и светских песен, которые старались подтянуть певчим со всем усердием.

Все это издали привлекало сюда праздный народ вроде чиновников, девиц с шляпками и без шляпок; сюда шли подмастерья, покончившие со своею работою, как и другие любители приключений. Народу было много. Народ толкался, хохотал, острил насчет других, особенно насчет молодых незнакомых женщин. Кончилась песня, сотня голосов закричала: «Фора! еще!» — и начались ругательства, крики. Пелагея Прохоровна пошла прочь, не обращая внимания на любезности халатников, предлагавших ей пройти с нею. Она шла задумавшись. Вдруг она увидела на тротуаре сидящую женщину, которая держала на коленях ребенка.

— А! Это ты! — сказала женщина, узнав Пелагею Прохоровну.

Пелагея Прохоровна была очень удивлена тем, что эту женщину она где-то видела, лицо ей довольно хорошо было памятно, но где она видала ее, кто она такая, она никак не могла припомнить.

— Аль не узнала? Богата, верно, стала нонче.— И женщина так поглядела на узелок Пелагеи Прохоровны, что та стала сама не своя. И голос знакомый, резкий,

и улыбка, от которой ее когда-то коробило, знакомая ей.

Вдруг она вскрикнула ей:

— Катерина Васильевна!

— То-то... Ты куда идешь?

— На гулянье была...

— Счастливая! — и Катерина Васильевна тяжело вздохнула, потом сказала:

— Ты без места? Иди ко мне ночевать!

— Покорно благодарю.

— Полно-ко дурить! Иди... Ах ты, проклянный! Смучил ты меня... — говорила она, тормоша ребенка, который ежился и охриплым голосом кричал и часто кашлял.

— Царица небесная! — проговорила женщина с отчаянием.

Пелагее Прохоровне жалко стало прежней Катьки, которая назад тому полтора года часто была прогоняема от разных господ за воровство и дурное поведение, слыла между кухарками за самую отчаянную девку, не имевшую ни стыда, ни совести. И каково же было удивление всех прачек и кухарок, когда она объявила, что скоро выходит замуж за мастера, и даже назначила день свадьбы! Сначала думали, что это так, мало ли что может наболтать бешеная Катька, но через неделю все кухарки и прачки узнали, что в церкви уже было два оглашения о свадьбе Катерины, и Катька стала называться с тех пор Катериной Васильевной; ею стали больше прежнего интересоваться, заискивать ее расположения для того, чтобы узнать ее жениха, о котором ходили разные слухи. Одни говорили, что он в городе первый *грацильщик*, то есть отчаянный вор и головорез; другие — что он для того только и женится на Катерине, чтобы жить на ее счет, так как она работающая баба. Как бы то ни было, а Катерина Васильевна вышла замуж, и свадьбу ее имели удовольствие видеть около десяти прачек и кухарок, и эти смотрины пришлось им не по сердцу, потому что Катерина Васильевна их вдосталь удивила: жених ее был высокий, здоровый, красавец — и, главное молод, так что на взгляд ему было не больше двадцати лет.

С этих пор в тех порядках или частях города, откуда собирались на пруд прачки и кухарки, никто уже не видал Катерины Васильевны, точно она уехала куда-нибудь. Поэтому и не мудрено, что Пелагея Прохоровна, не принимавшая и прежде явного участия в суждениях об ней,

мало была знакома с нею и не любила ее, как женщину бойкую и болтливую.

Теперь же, встретившись с нею на улице ночью и видя ее плачущею и проклинаящую ребенка, она решительно не понимала, что такое случилось с этой бойкою женщиной.

— Горе моё! горе мое! — стонала Катерина Васильевна. Но слез уже теперь у нее не было, только лицо ее подергивалось. Пелагея Прохоровна при лунном свете заметила, что лицо ее — кожа да кости, а прежде какая она была здоровая!

— Катерина Васильевна! Дай мне ребенка-то: простудишь... ветрено.

— Пусть колет.

— Как тебе не стыдно? Бога-то ты не боишься!

— Што мне с ним, совсем разорилась. Хоть бы собака была в доме-то!.. Хоть бы старуха какая... Голубушка, ночуй ты у меня эту ночку: ничего я не могу сделать с ребенком-то.

Пелагея Прохоровна молча согласилась. Катерина Васильевна шла рядом с нею и тоже молчала. Ребенок хрипел. Пелагея Прохоровна думала о настоящем положении этой женщины, но заговорить ей было неловко. Ей самой ясно припоминалась ее первая жизнь в городе и очень хотелось помочь Катерине Васильевне, которая уже тем несчастнее ее, что имеет на руках ребенка.

Катерина Васильевна жила совсем в противоположной части города и почти в трех верстах от пруда. Дом Хорохова был низенький, деревянный, с тремя окнами на улицу. Он еще издали обращал на себя внимание тем, что внутренность его казалась провалившеюся и что если он еще не развалился весь в разные стороны, так оттого только, что по углам бревна были частью скреплены железными толстыми полосами и частью упирались в столбы. Всякий, кто шел мимо этого ветхого дома, с заколоченными двумя окнами, с прогнившею крышей, на которой там и сям росла трава, без тротуара, и с засоренной канавкой, — всякий улыбался и говорил: а должно быть, дом-то старше заплотов! Да это отчасти и оправдывалось тем, что ворота запирались хорошо и доски на заплоте были еще довольно крепки, и даже наверху заплота были вбиты гвозди, так что дом походил на развалившееся укрепление, в которое гораздо легче войти не через за-

плот, потому что стоит только дернуть за доску крыши, как крыша и рассыплется. Во дворе было еще хуже: задние постройки и крылечко у дома провалились. Огород только отчасти огораживался, и поэтому соседи рады были случаю пустить в него свою скотину. Только одна баня, с крышей на ней и маленьким окошечком, была крепче обиталища хозяев. В огороде хотя и были посажены овощи, но гряды все перетоптаны и из них все выдергано. Кроме этого, полицейское начальство давно уже делало распоряжение о том, чтобы этот дом с задними его постройками, в видах искоренения безобразия, был сломан, но этот приказ не был исполнен не только новыми его хозяевами, Хорохоровыми, но и прежними. Впрочем, и соседям не нравился этот дом, и они постоянно говорили, что в нем уже несколько лет живут или беглые, или мошенники, и поэтому трое соседей зорко следили за ним.

Пелагея Прохоровна удивилась, увидав, что, несмотря на то, что в кухне пол кривой и половицы шатаются, везде было очень чисто, светло и глядело приветливо. Так что, судя по убранству кухни, можно было подумать, что хозяйка не так бедна, как она говорит. Стол хотя и простой работы, но окрашенный, стены оклеены сенатскими ведомостями, кровать занавешена, и за занавеской висит мужской халат, исковерканная проволока от кринолина, зимний женский шугайчик и еще что-то вроде тулупа; в переднем углу два образа с посеребренными окладами, перед ними в бумажном плетеном кошельке висят два позолоченных пасхальных яйца; по обе стороны этих образов и под ними стена изукрашена картинами духовного содержания.

В кухне не было жарко, как бывает в других кухнях, в которых топят печи, жарят и пекут; просыпающиеся мухи жужжали, но, как видно, и их было немного. Пелагею Прохоровну еще более прежнего удивило отсутствие не только мужчины в кухне, но даже и летней мужской одежды, кроме халата. Однако она не решалась спросить хозяйку об этом предмете, да и хозяйка укачивала ребенка, напевая усыпляющие песенки. Хозяйка прилегла на кровать и проговорила:

— Одно к одному так и идет: вот корова теперь перестала доить, и изволь ее дожидаться, скоро ли она отелится. Опять тоже и кормить ее надо, а корма-то ныне,

не приведи бог, как дороги! Купишь сена пуд, глядишь — на другой день уж и нет, потому заплотов нет. Николай-то Иваныч так и купил место без заплотов. Соседи всё и таскают... А своего покоса нет, потому мещанам не дают покосов.

Обе молчали несколько минут.

— Где же у те муж-то? — спросила вдруг Пелагея Прохоровна и почувствовала, что она нехорошо сделала.

— В остроге.

— Што ты?

— Оказия вышла... Не шуточное дело! И совсем не виноват, а все своя оплошность дурацкая. Вишь ты, он больно любил рыбу ловить и летом часто уходил рыбачить — или сюда на пруд, или куда-нибудь на озеро. И лодку свою имел и припараты рыболовные имел всякие, только теперь я их все распродала почти задаром. Так тут однава раза летом, почитай в то время, как малину носить, он и отправился с одним своим приятелем верст за семь от города... Через двое сутки приезжают они — Николай Иваныч и приятель, оба подпивши; рыбы было порядочно. Разделили они рыбу меж собой; я сварила уху, приятель сходил за водкой, выпили все, и я тоже. Только я и спрашиваю: а што, мол, Петрову много вы отдали? Приятель и говорит: наш, говорит, Иван стал болван, потому, говорит, што как только мы утром пробудились, его и след пропал. А он, говорит, с вечера был хорошо пьян. Муж говорит: мы искали-искали его — и следов нет. Знать, говорит, ушел в село; там есть девицы, с которыми он знаком. Ну, мы тогда посмеялись — тем дело и кончилось. Только на третий день после этого и приходит к нам работник Петрова и спрашивает про Ивана. Ну, знамо, не искать же нам его. Сказывает, посылали и в село, да и там не нашли. Вот и привязались к моему мужу и его приятелю: куда девали Ваньку Петрова? А потом вдруг и объявили мастерки, что они нашли его убитым в кустах. Повезли наших молодцов туда, они сбухты-барахты и покажи то место, где они ночевали в последний раз, а от этого места, на расстоянии какой-нибудь полверсты, текла в озеро речка, в ней и нашли Петрова. Уж так, говорят, он изуродован, не приведи бог! Кто-то так хватил его по голове, что голова на две половины рассечена... Мой муж и приятель говорили, что они в этом деле ни капельки неучастны и што никакого крику

не слыхали, потому што спали крепко, а што, верно, Петрова укокошили мастерки, потому они до него давно добирались: раз он обсчитывал их деньгами за камни, другой — они давно хотели задать ему мятку за своих баб и девок. Но как они ни отпирались, а их все-таки посадили в острог, потому што придрались к мужнину топору и его халату: в крови — так, значит, и человека убил. Мы хоть и говорили, што около этого времени муж теленка колол в халате, а топором отрубал голову, кою я сварила на студень. А што топор был не вымыт, так потому, што не было в нем больше надобности. Нет, не поверили! И вот уж год скоро кончится, как он сидит... Сказывали мне на прошлой неделе, што в суде чиновник решение пишет и што хочет обоих в каторгу... Я испугалась... Ох, мать пресвятая богородица! знаю я, што мой муж не только убить не в состоянии, а даже и поколотить человека. Он ежели курицу заколет, так ни за что есть не станет; даже и теленка не ел, я уж обманом кормила его... Бегала я и к секретарю — нельзя, говорит. Я прошу: вы бы следствие там, в селе, произвели, может кто из тамошних убил. Он меня прогнал и сказал: курицу яйца не учат. Бегала к судье — никак не могла застать дома, а наконец — и гнать стали от дома. Сколько одних прошеньев носила стряпчему — не принимает... А народ там, в селе, ох! — такой злой и из воды сухой выдет; поэтому, верно, и побоялись пытать их. А он, мой голубчик... спичка спичкой стал!.. В воскресенье была у него — кашляет беспрестанно, кровью харкает... Просился в лазарет — не пускают: для убийц там, сказывают, нет местов.

Катерина Васильевна замолчала, но она не плакала, а сидела, уперев левою ладонью щеку, и качала головой; лицо ее немножко подергивало. Пелагея Прохоровна сидела бледная и смотрела в угол. Ей жалко было очень Катерину Васильевну, которая была, по ее мнению, в тысячу раз несчастнее ее. Вот она, бойкая-то женщина... О владычица!..

— Катерина Васильевна! — сказала шепотом Пелагея Прохоровна, потому что у нее во рту было сухо.

Та не только не отвечала, но даже и не поглядела на нее. Она повторила. Та промывчала.

— Ты бы заснула! Успокойся маленько, пока ребенок-то спит.

— Не хочется мне спать-то... Светло уж.

Между обеими женщинами было много разницы. Хозяйка была хотя и высокая, но, по народному выражению, худа, как спичка. Она, казалось, нисколько не заботилась о своем наряде: платьишко во многих местах продралось, подола закоробили от грязи, рукава оборваны, руки, лицо и шея давно не мыты, и только если чем она может кому-нибудь понравиться, так это разве правильным очертанием бледного лица, которое, несмотря на отпечаток на нем горя, все-таки еще было красиво. Но зато это была жена обвиненного в убийстве, жена будущего каторжника, жена опозоренного и не имеющего никаких прав и преимуществ человеческих в жизни... Пелагея Прохоровна теперь уже не могла сравниться с прежнею девятнадцатилетнею заводскою красавицею, какою она пришла в город в первый раз и какою ее встречала в первое время Катерина Васильевна. Она была двадцатидвухлетняя женщина, с загрубелым и покрасневшим от работы лицом, с твердыми здоровыми руками. Она пополнила, в глазах ее выражалось более осмысленности, губы ее, казалось, мало складывались для улыбок. Ее ситцевое платье теперь не сидело на ней, как прежде, мешком, и к ней уже не шел сарафан, который она уже два года как перешила на юбку и который надеть ей теперь казалось стыдно. Правда, ее пепельные волосы как будто немножко пожелтели и поредели, зато всякий городской рабочий мог сразу сказать про нее: «Вот баба, так баба! Только бы ей купчихой сделаться, разжирела бы на отличку».

Ребенок начал пищать в люльке. Катерина Васильевна взяла его на руки и стала качать, сказав, что у нее у самой молоко высохло.

— Я уж четыре раза носила его в люди. В первый раз отдала на вскормление нищей и денег ей дала рубль серебром вперед за месяц. Только прихожу как-то к заутрене, гляжу: на паперти чей-то ребенок плачет, я поглядела — мой. Жалко мне стало. Взяла я его и пошла в церковь, а нищая-то, коей я дала ребенка, стоит в углу между дверью и стеной и дремлет. Я ее ткнула, она разинула рот, изо рта, как от лоханки, так и разит винищем. Стала молоком кормить — покою нет. Да и сама посуди, што за работа с ребенком? У меня нет здесь родни, а у мужа и подавно. Пригласила было одну чулошницу к себе жить; так она весь день рыскает по городу, а ночью

и не добудишься. Взяла девчонку, та платье утащила. А жильца кудапустишь? Там вон есть комната, да кто в нее пойдет, потому потолок провалился. А как Николай-то Иваныч покупал его еще до свадьбы, так и не думал, што случится этакая оказия. Хорошо еще, што нас самих не задавило, мы в те поры ходили за малиной. А ведь семьдесят пять рублей отдал. Я и то уж продаю его — как на смех дают не больше десяти рублей. Рабочий народ в этом краю не живет. Так и ума не приложу, што делать теперь... Кабы не ребенок, я бы знала, што мне делать. Сегодня вот весь день рыскала: всех докторов здешних обегала — ни одного дома не застала... И какая я прежде была спокойная! А как вышла замуж — и не то стало. Раз, у мужа не всегда была работа, а если была, то он деньги забирал вперед, а попробуй-ко, каково брюхатой бабе белье стирать или полы мыть? Вот от этого, должно быть, я первого-то ребенка и выкинула мертвого. А все же и весело было с мужем: он такой смирной и никогда супротив меня не шел, и трудились мы, надо правду сказать, друг для дружки. И каково мне было терпеть позор-то, как его посадили в острог! Как я сказала об этом господам, на которых я работала, они и сказали: ну, матушка, теперь мы тебя увольняем от работы! можешь на других, потому ты жена такого-то... И молоко перестали брать, говорят: может быть, в молоке-то находится кровь... И чего-чего только я не перетерпела!.. Да не уступлю им! Буду терпеть, а по миру не пойду. Здесь не будет житься, в другой город пойду.

— Катерина Васильевна, знаешь ли что? Я сама хочу робить: стирать и гладить я умею; полы мыть — плевое дело, — сказала дрожащим голосом Пелагея Прохорова.

— Ты? — спросила хозяйка и с удивлением посмотрела на гостью.

— Я затем сюда и пришла в город, да без толку. Сама знаешь, сперва я ничего не понимала по-городски, и денег у меня не было... — И она рассказала про жизнь на промыслах.

— Трудное дело. А много ли у те капиталу-то?

— Да тринадцать рублей. А кабы брат не украл, было бы много.

— На эти деньги можно... Корову можно рублей за восемь купить; ну, сена хоть на два рубля.

— Так ты пусти меня к себе,— проговорила робко Пелагея Прохоровна.

— Ловко ли это будет?.. Места нам хватит, только как насчет коровы-то? где ты ее держать будешь?.. Соседки не пустят: это дьяволы, а не люди.

— Ничего, как-нибудь.

— Нет, не как-нибудь, а это загвоздка: все соседки смотрят на меня как на пугалу какую... Однако...

— Али ты боишься меня, Катерина Васильевна? — голос ее дрожал...

XVIII

Женский труд

Часов через пять после этого разговора корова Катерины Васильевны отелилась. Пелагее Прохоровне не спалось; она думала о том, каким образом ей найти работу, и пришла только к тому предположению, что хорошо бы ей продавать хоть ягоды. У коровы не было сена. Мокроносова вызвалась купить его и утром пошла на рынок, но дорогой, недалеко от дома Хорохоровых, встретила девочку лет восьми: эта девочка шла тоже в середину города из самой крайней улицы и несла три маленькие наберушки с земляникой.

— Почему ягоды? — спросила она девочку.

Та сказала. Сравнительно с заводскими эти ягоды оказались слишком дороги, но она решилась купить их. Девочка уступила на целые десять копеек и даже продала наберушки.

Пелагея Прохоровна повернула на главную улицу. И как ей стыдно было крикнуть в первый раз: «Ягод не надо ли! Ягод купите!» Однако кричать нужно... Крикнула раз — покраснела, крикнула в другой — голос дрянной... Но на улице никто не покупает ягод; стала она заходить во дворы — собаки кидаются на нее; но зато тут купили одну корзинку очень выгодно для Пелагеи Прохоровны, так что она целые десять копеек нажила от той наберушки. Кухарки она не заметила и поэтому спокойным голосом спросила купившую у нее ягоды, когда та стала отдавать ей деньги:

— Не надо ли вам, барыня, прачку?

— Да вот я не знаю... У меня стирает Авдотья, я ей велела прийти вчера вечером, а она и по сих пор мне глаз

не показывала... А ты, поди, вовсе не умеешь стирать-то?

— Што вы, барыня, я давно этим ремеслом занимаюсь.— И щеки Пелагеи Прохоровны покраснели.

— На кого же ты стираешь?

— Я-то?.. Да у меня много... один бухгалтер, другой — в правлении служит.

— Што же, мало, што ли, стирки-то теперь?

— Да видишь ли: я корову купила; все деньги истратила.

— Замужем или нет?

— Как же, замужем, за Курносовым... Плохое наше житье.

— Ну, ладно, я подумаю; приходи вечером. Если не придет Авдотья, так уж делать нечего.

Пелагея Прохоровна вышла с сильным биением сердца, голова ее отяжелела. «Што я такое наврала?» — думала Пелагея Прохоровна, выйдя за ворота. Она сама не понимала: каким образом она могла соврать? Она вдова и на поприще прачки вышла в первый раз. А уж если она соврала, то, значит, нужно теперь врать и врать, а это нехорошо. А если узнают?

Однако дело сделано; Мокроносову выручили ягоды. Она заметила дом и пошла дальше, думая о том, как сказать, если спросят: «А как зовут того или другого, на которых она стирает?» Надо так сделать, чтобы имена не забывались. «Экая я дура! Вот теперь и хлопочи».

Продала она и остальные ягоды и нашла работы еще в одном доме: вымыть полы сегодня же. Она занялась и боялась, чтобы ее не спросили: кто она такая? Однако избежать этого было невозможно, и здесь она уже не врала, а говорила правду. Когда после господского обеда, которым ее, впрочем, не угостили, она стала собираться домой, то хозяйка пригласила ее стирать белье на следующую же неделю, и работы предвиделось на целые три дня.

Пелагея Прохоровна была очень весела. Она, кажется, не была так весела даже и в первый день свадьбы.

Она радовалась тому, что нашла работу, будет получать деньги и будет жить самостоятельно, никому не подчиняясь, никого не боясь. Когда она пришла на рынок,— это в первый раз, как она живет в городе,— она заходила во множество лавок, заглядывалась на дорогие, красивые вещи, смотрела ситец — и до того надоела купцам и при-

казчикам, что ее почти из каждой лавки выгоняли насмешками. Теперь ей больше прежнего хотелось угодить Катерине Васильевне, и она купила ей платок на голову с картинками, осьмушку чаю и полфунта сахара, и даже едва не забыла купить сена корове. Катерина Васильевна не очень разделяла радость своей жилички, говоря, что это начало еще ничего не может обещать хорошего в будущем и, по ее мнению, ни больше, ни меньше, как одно разорение. Но Пелагея Прохоровна подумала, что Катерина Васильевна завидует потому, что она не только не получала работы, но помощник аптекаря не отдал ей денег за то, что она будто бы потеряла одну хорошую манишку. Подарок она спрятала до более удобного времени, потому что Катерина Васильевна весь этот день была сердитая. Когда же Пелагея Прохоровна сосчитала свои деньги, то их оказалось только девять рублей с копейками. Это очень встревожило ее, и она сказала Катерине Васильевне:

— Сколько я денег-то истратила! И куда? кажется ничего такого не покупала.

— И остальные проживешь.

— Нет, уж я теперь беречь буду.

— Сколько я тебе должна?

— Полно-ко, Катерина Васильевна. Неужели у меня нет креста на вороту... Я вовсе не к тому говорю, чтобы...

В воскресенье Катерина Васильевна пошла в острог, с нею пошла и Пелагея Прохоровна. Там, в конторе, им объявили, что убийца Хорохоров помер еще в понедельник и похоронен, как собака, в острожном месте. Это известие так ошеломило бедную женщину, что она не могла устоять на ногах, села на лавку и долго дико глядела на одно место, так что ее вывели из острога солдаты. Пелагея Прохоровна, держа на руках ребенка Катерины Васильевны, всячески старалась утешить ее, но не могла.

С полчаса они шли молча. Катерина Васильевна высказывала немножко, как бы про себя: какие, в самом деле, в жизни беды бывают? Ну, разве думала она, встретив в первый раз Николая Ивановича на похоронах у своей приятельницы Евдокимовой, — думала ли она, что такой красивый молодой человек, к которому товарищи и грубые мастеровые обращаются с уважением, потому что он грамотный, через год будет обвинен в убийстве, умрет и

будет похоронен, как собака?.. И вдруг все как будто исчезло. Для кого она теперь будет стараться? С кем и для кого будет работать? Теперь пусто; сердце не бьется радостно, а обливается кровью... И зачем такое несчастье приключилось именно с нею, а не с другим человеком, который бы имел порядочный дом, порядочное хозяйство, родню, которая бы хотя помогла ей с ребенком водиться?

Пелагея Прохоровна брала дешевле других за стирку и мытье полов, и у нее работы было больше. Мало-помалу она приобрела уже несколько домов и могла предоставить часть работы своей подруге, Катерине Васильевне.

Но и стирка белья было дело не совсем легкое и выгодное для наших женщин. Неудобство состояло главным образом в том, что они не имели возможности брать белье на дом, потому что иной день им обеим не приводилось бывать дома и белье могли украсть, да если бы и обе они были дома, то и тут углядеть невозможно без того, чтобы не караулить его постоянно которой-нибудь из них. Поэтому они и стирали у небогатых семейств в их квартирах. На третий месяц, несмотря на то, что они стали брать дороже, работы у обеих женщин было так много, что они сходились только по вечерам, а иногда даже и ночевали в людях. Только воскресные дни они бывали дома. И несмотря на такой усиленный труд, средства обеих женщин увеличивались очень мало, так что к концу августа у Пелагеи Прохоровны было капитала только семнадцать рублей, а у Катерины Васильевны только двенадцать; правда, рубля по три еще было не получено каждою с разных господ, но они и не надеялись получить долг, так как некоторые лица уже выехали из города.

Обе женщины жили дружно; обедать им приводилось вместе только по воскресным дням, и они расходовали деньги сообща. Но все-таки, несмотря на дружбу, обе они высказывали мысль, что хорошо бы было как-нибудь избрать другой род труда, например — завести еще корову. Но завести корову хотелось каждой, и обе не соглашались купить корову сообща.

От этого произошло то, что Катерина Васильевна стала поговаривать, что она хозяйка и ей никто не может препятствовать делать то, что она хочет. Так мысль о корове и кончилась опять ничем.

Между тем в Старой улице, где жили наши работницы, на них стали смотреть как на нечто особенное. Эта улица была населена мелким чиновным людом и мещанским сословием. Люди эти жили тем, что занимались каким-нибудь ремеслом дома или отдавали комнаты служащим в присутственных местах лицам. Им не нравилось, что на их улице живут какие-то две женщины, которые бывают дома только по ночам и по воскресеньям. Особенно не нравилось их женам, что при встрече с ними Мокроносова и Хорохорова не только не кланялись им, но даже и не глядели на них. Они знали, чем занимаются эти женщины, но никак не смели простить им этого неуважения, а особенно того, что даже в воскресенье и в будничные хорошие вечера, когда обитатели от мала до велика высыпали на улицу посплетничать и отвести душу разговорами, наших работниц не было видно на улице. Все это их злило, и они всячески старались изловить их в чем-нибудь.

Раз Пелагея Прохоровна шла домой вечером. У многих домов сидели женщины. Посреди дороги мальчуганы играли в городки. Пелагея Прохоровна глядела вперед и слышала, как про нее говорили, но она не повернула головы.

— Поломойка! — окликнул ее женский голос, но она и не поглядела в ту сторону, откуда ее спрашивали, и прибавила шаг.

— Известно, самая последняя женщина. Тварь!.. А какого она поведения! — крикнули справа и слева.

Это разозлило Мокроносову, и она остановилась.

— Што, небось неправду говорят? Сколько у тебя любовников-то?

— Отсохли бы у вас у всех языки-то, — крикнула Пелагея Прохоровна, плюнула и пошла.

— Как!! што!! Василь Иваныч! — слышалось из разных мест.

В Пелагею Прохоровну кинули мячик, она забросила его за чей-то двор. Это разозлило еще больше праздный народ, к ней подбежали женщины и стали ее ругать. Никаких оправданий никто не принимал.

— В полицию ее! Бейте ее! Она гульная...

Это оскорбление до слез проняло Мокроносову, однако ее не пбили, потому что все остались и тем довольны, что оскорбили беззащитную женщину. Но дерзости стали по-

вторяться больше и больше и, наконец, дошли даже до того, что в одну ночь несколько пьяных писцов стали стучаться в ворота хорохоровского дома и, не получивши никакого ответа, разбили стекло в кухонном окне. Улица от этой шалости пришла в ярость: утром рано несколько человек пришло в кухню Катерины Васильевны и стали гнать ее из дому, а так как она доказывала свои права купчею крепостию, то три человека стали разламывать крышу с дома, разломали трубу и стали выбрасывать ее вещи на улицу.

Такое самоуправство соседей поставило наших работниц в такое положение, что они решительно не знали, что делать... Но это недоразумение кончилось тем, что пришел квартальный надзиратель и повел их в часть, как того требовали все близкие соседи Катерины Васильевны, велел прекратить разборку дома, снести обратно вещи, но, не доходя до части, освободил их от ареста за пять рублей. У части Пелагея Прохоровна распростилась с Катериной Васильевной.

Нанявши у одной мещанки комнату с кухней за рубль серебром в месяц, Пелагея Прохоровна пустила на квартиру за полтинник женатого писца и по-прежнему стала заниматься стиркой белья. Через месяц после этого она встретила на речке Катерину Васильевну.

— Ну, как живешь, Катерина Васильевна? — спросила она свою подругу.

— По-твоему: дом продала за двадцать рублей, наняла квартиру — две комнаты с кухней и прихожей. В кухне-то белье стираю, а комнаты отдаю холостым приказным.

— Холостым, говоришь?

— Так што такое? Я им и стряпаю. Дрова только дороги, и квартира студеная... По пяти рублей с них получаю. Одна мебель пятнадцать рублей стоила. Сынишко со мной теперь.

— Отчего мы прежде с тобой не подумали так жить?

— Я думала, да проку не видно... Не знаю, что дальше будет! А корову не купила?

— Сено ныне дорогое, с коровой возни много.

Кончился месяц, писец с женой съехали. Осталась Пелагея Прохоровна одна во всей квартире. Квартиру никто не смотрит. Однако платить за нее надо — заплатила, купила дров. Правда, она дома бывала редко и поэто-

му могла сберечь деньги от пищи, которую ее угощали господа, но все-таки одной ночевать в квартире ей было скучно. Опять стали появляться в голове мысли у ней, что не худо бы было иметь свой дом. Припомнились ей слова Короваева, его прощанье с ней. «Где-то он теперь? Поди, женился!» И она старалась перебирать в своей памяти всех мужчин, которые заигрывали с ней. Но ни один из них не нравился ей так, как нравился Короваев. Она старалась не думать об нем, ей хотелось забыть его, но и при работе и лежа дома она раздумывалась о своей настоящей жизни, в которой чего-то недоставало. «Нету у меня здесь родни, нет ни кола, ни двора, и работаю я только для того, чтобы мне жить для самой себя... Поглядишь на бабенку, все же им есть с кем от души поговорить. А я одна, и любовника я не хочу иметь...»

Так думала часто Пелагея Прохоровна за работой и без работы.

Наконец зимой она впустила к себе чиновника за рубль. Чиновник прожил у ней тихо неделю, и когда она уходила из дому, то брал ключ с собой. Потом чиновник изъявил согласие, чтобы она готовила ему кушанье. Пелагея Прохоровна согласилась за пять рублей в месяц и стала стирать белье на дому на холостых чиновников того присутственного места, в котором служил ее жилец. В первый месяц, за всеми расходами, она выручила два рубля и нашла, что жильца с пищею держать выгодно, потому что, готовя на чиновника, и она будет сыта.

Между тем ее беспокоил вопрос, что-то поделявает ее дядя и где-то братья. Ей хотелось съездить в завод, показаться в нем не прежней Мокроносовой, а теперешней, городской Пелагеей Прохоровной, но у нее не было больших денег, а с этою поездкою она потеряет прежних господ, на которых стирает теперь, должна будет лишиться квартиры и, с тем вместе, самостоятельной жизни, хотя и тяжелой.

И она ограничилась тем, что послала в Терентьевский завод письмо к одной своей подруге, которая недавно приезжала в город хлопотать о доме, доставшемся ей по духовной от мужа, но ответа не получила.

Раз, идя домой под вечер с взятым от одной чиновницы, грязным бельем, она поравнялась с обозом, передние везы которого уже заходили в постоялый двор. Обоз был большой и загородил дорогу. Пелагея Прохоровна

стала огибать обоз и около одного воза увидела лицо, которое ей было знакомо. Обоз остановился, Пелагея Прохорова подошла к извозчику.

Это был Панфил Прохорыч.

Пелагея Прохорова ему очень обрадовалась.

— Да ведь ты на прииски хотел идти? — спросила сестра брата.

— Мало што я хотел... Я было и пошел, да настрашали: говорят, на какой прииск попадешь... Если прииск хороший и платят — ладно, если нет — друг дружку обкрадывают. А вот я теперь в извозчики нанялся... И это не нравится, потому все в дороге ходим... Думаю на железную дорогу идти робить, говорят, там очень, очень хорошо, потому работы много... Вот если бы я имел деньги, хорошо бы было. Говорят, там много приказчиков, и каждый помногу наживает.

— И ты этому веришь.

— Ей-богу! Если бы я накопил десять рублей, непременно ушел бы туда. Вот и Короваев с Гришкой ушли на той неделе туда.

— Што ты! И Короваев?

— Врать, што ли, я стану?

Возы в это время двинулись.

— Да ты врешь!! Где ты Короваева-то видел?

— В городе, в Прикамске. Мы с обозами на пристань ехали, а он с Гришкой и с Лизкой Ульяновой...

— Нет?!

— Ей-богу... Лизка Ульянова с матерью и ребятишками шла. И другие тоже какие-то с ними... Куда? — спрашиваю. На железную дорогу, говорят, далеко... А Короваев и говорит: а Пелагею Прохоровну видел?

— Нет?..

— Видел, говорю. Он и говорит: замужем, поди, она? Нет, говорю, в куфарках живет...

В это время возы были все во дворе. Панфила крикнули, и он ушел в дом.

XIX

Переселение Пелагеи Прохоровны

Сообщенные Панфилом новости очень поразили Пелагею Прохоровну. Она никогда не думала, чтобы Короваев ушел из М. завода, чтобы Лизавета Елизаровна,

привыкшая к промысловой жизни, и мать ее могли пуститься в незнакомые им местности с посторонними мужчинами. Ей не верилось, чтобы это было так, что они ушли. А если они ушли, то тут есть какая-нибудь причина. Но какая? Правда, она видела людей, натягивающих телеграфную проволоку, слышала, что где-то строят железную дорогу, а в одно время только и было разговоров, что о постройке от города железной дороги, вследствие чего на рынке по воскресеньям не одна сотня бродила мастеровых, думая, что их будут уже нанимать на железную дорогу; но того, чтобы кто-нибудь из знакомых уходил далеко для работы на железной дороге, чтобы кто-нибудь хвастался хорошим заработком, она не слышала. Да и что такое железная дорога?.. Все это маклаки смущают рабочих. Но теперь Панфил совсем ее сбил с толку.

«Этот парнишка, как посидел в остроге, совсем испортился», — думала она, стараясь не верить ему.

«А если они в самом деле ушли? — спрашивала она себя и ей делалось обидно. — Я вместе с ним шла... Я помогала Лизке... и вдруг ушли одни. Ох, злые люди! Они только о себе заботятся... Тут непременно штуки какие-нибудь... Верно, Лизка сманила мать в завод, потому-де Григорий очувствуется и женится на ней али в любовницы к себе возьмет ее!»

Немного погодя она думала иначе.

«Нет, Григорий Прохорыч не такой... Как помоложе-то он был, ну, тогда, пожалуй бы, Лизка ему села на шею и поехала бы. Уж коли он на приказчицкой любовнице хотел жениться... Ну, а как посидел из-за этой голубушки в остроге, опытнее стал... На Лизке уж он не женится... Эдакая, подумаешь ты, бесстыжая! человек ее ненавидит, а она за ним... А Короваев-то? Короваев-то?»

Но про Короваева она не знала, что и подумать, потому что этот хитрый, по ее мнению, человек ничем не связан с ней. Ей хорошо помнятся его слова: «У меня ничего нет, кроме долота и пилы. Я иду, — говорил он, — добывать себе капиталы. Если, говорил, ты не выйдешь замуж, я, говорил, буду свататься за тебя...»

«Вот он, женишок-то любезный!.. Он, поди, теперь посмеивается: жди, мол...» — говорила чуть не громко Пелагея Прохоровна.

На другой день она нарочно сходила на постоянный двор, но не в тот, в котором остановился ее брат, а в другой. Тут она узнала от ямщиков, что действительно из М. завода многие идут на железную дорогу, потому что в М. теперь работы стало меньше против прежнего.

— Как начали фабрики-то строить, народу навалило в М. изо всех заводов и деревень! Работа была всем, платили хорошо; а теперь работы стало меньше, и то парни больше самые трудные работы справляют — около огня али около машин, пожилые не выносят, хворают; ну, и плата, значит, стала небольшая. Вот кто скопил немного деньжонок, заплатил за год оброки — и пошел на железную дорогу. Там, говорят, и по полтора цалковых за сутки платят. Это выходит в месяц сорок пять цалковых... — говорил Пелагее Прохоровне один ямщик.

— Но вот ты нейдешь же туда?

— Эх, девах! Ты думаешь, хорошее наше житье-то? Кабы не привычка от измалетства к этому делу, удержал бы кто меня на одном месте? Ни! И так всё грозят, што и у нас такую дорогу построят. Ну, и урываешь: чуть излишек какой будет, надо бы к дому али откупить землю, возьмешь да и купишь еще лошадь... А ты не туда ли хошь?

— Нет.

— То-то. Вы в городах-то как поживете, так вас и рукой не достанешь. Хоть есть нечего, а в городе лучше нравится жить.

— Какое житье!

— То-то. Поди, *предмет* есть?

Теперь уж Пелагея Прохоровна не сомневалась в том, что Короваев ушел на железную дорогу. Ей припомнилось обещание Короваева написать ей в село через месяц. «Значит, и там нехорошо. Поэтому он и не извещал меня и не хотел, чтобы я шла туда».

Она не обвиняла Короваева; напротив, он был прав. И в самом деле, что за жизнь, когда и одному-то есть нечего, а тут еще будут дети... Прежде вон в заводах на детей провиант давали, а теперь не только не дают провианту, а отымают и покосы и дома; теперь за все плати деньги, а платы за труд едва достает, чтобы покупать муку, которая с каждым месяцем везде дорожает. На рынке только и разговору, что богатые люди скупили муку, что в таком-то месте неурожай, а от этого и мясо

и прочее стало дорого. Поневоле будешь искать места, где лучше. Вот она теперь и квартиру свою имеет, а едва сводит приход с расходом. Хорошо еще, что у нее чиновник живет нетребовательный: сам сапоги себе чистит, сам в лавочку за табаком и калачами ходит и ничего не говорит, если она подает ему вчерашние подогретые щи. В скоромные дни и она сыта от этого чиновника, потому что он за *хлебы* платит в месяц пять рублей, а вот в пост — не знаешь, что и варить: чиновник просит уху из окуней или ершей, жаркое тоже из рыбы, а рыба дорога, фунта едва на обед достанет. Не станешь же кормить его горошницей али картофельной похлебкой... Хотя же она и получает деньги за стирку белья и мытье полов, так мало ли и расходов по хозяйству? — то дров надо купить, то мыла, то синьки, то крахмалу, свеч; горшок какой-нибудь разобьется, надо новый завести — и т. п. И вся жизнь только в том и заключается, что с четырех часов утра до девяти вечера работает, так что в иной день и сидеть-то редко приводится; и хотя бы спокой был, а то все думаешь о том, как бы тебя похвалили, а не обругали, как бы все было цело. Ведь это редкость, чтобы барыня при отдаче денег не обругала. От соседей тоже неприятности; не многие верят, что она не имеет любовника, — и распускают разные толки. Все эти толки с разными прикрасами передавала ей хозяйка дома, к которой каждый вечер приходил отставной вахтер, значительное лицо в приемной одного высшего в этом городе присутственного места. Так уж сложилась городская жизнь, что о бедной рабочей женщине не верили, чтобы она могла жить самостоятельно и не обращала внимания на любезности жильца. И вот Пелагее Прохоровне город стал казаться противным со всеми его обывателями.

Но куда уйти? Вот вопрос, который заставлял ее крепко призадумываться, потому что все те, у которых она спрашивала о том, где строится железная дорога, не знали об этом, а говорили, что где-то далеко. Даже ее жилец, изредка читавший газеты, говорил, что по железным дорогам у нас уже ездят и строятся другие, только он не обратил внимания на местность, потому что дороги строятся *не в нашей губернии*. «Стройся дорога в нашей губернии, меня никто не удержал бы в правлении, потому я человек трезвый, имею три чина, и мне там дали бы хорошую должность. А далеко ехать не стоит, по-

тому что и в тех губерниях много таких чиновников, как я».

«Кабы близко!..» — думала Пелагея Прохоровна...

Чем больше она думала, тем больше ей противна казалась теперешняя работа, тем сильнее хотелось уйти из этого города. Только куда уйти? Кроме этого, ее затрудняло то: лучше ли там? Ведь Короваев не бывал там, а если он шел в М. завод, то потому, что ему этот завод хвалили... «Что будет, то и будь, а здесь я не останусь. Если здесь не знают дороги на железную дорогу, пойду в Прикамск. Ведь ходят же бабы на богомолье и в Киев, и в Ерусалим, а сперва тоже не знают дороги. А чем я-то хуже их? Они ходят потому, што им ходить нравится и ханжи потакают им, а я пойду на работу. Што мне, в самом-то деле, на одном месте жить? Будто я чем связана здесь...»

И она объявила жильцу, что идет на железную дорогу работать.

Это очень удивило жильца, и он сказал:

— Полно-ко, Пелагея Прохоровна, умом-то мутить. Пословица говорится: на одном месте камень обрастает. Ну, куда ты пойдешь и зачем? Чего еще тебе здесь мало?

— То-то, вы — мужчины, и не понимаете, што нашему брату трудно деньги достаются.

— Ну, матушка... Што ж делать: через силу и конь не скачет.

Жилец стал отговаривать ее. Катерина Васильевна пугала ее, говоря: как она пойдет одна такую даль? Но она твердо решилась идти, и ее останавливало только безденежье. Налицо у нее было денег около рубля; посуда, корыто и тому подобные принадлежности для белья стоили ей три рубля; два платья стоили на худой конец рублей десять; ну, и другие вещи можно распродать, как-то: платок шерстяной, купленный ею к пасхе, теплый шугайчик, — может, и дадут рубля три. Кроме этого, ей должны были две барыни за стирку и за мытье полов и четыре прачки, которым она давала по мелочам дня на два, на три, и они не отдавали денег уже целые месяцы. Пошла она к барыням, те просили подождать до получения пенсии; прачки, узнав, что она хочет идти в Прикамск, не сказали, когда они могут отдать долг. Прошел месяц. В продолжение его Пелагея Прохоровна работала

изо всей силы, но за работу получила денег даже меньше прежнего; из слов тех, на которых она работала, вроде таких: «Скоро ты богаче нас будешь», — она поняла, что ей не хотят платить потому, что надеются отделаться от нее ничем, как она хочет идти. За вещи давали тоже почти десятую часть, зная, что она очень нуждается в деньгах.

Это еще более раздосадовало Пелагею Прохоровну. В свободное воскресенье она сама стала продавать на толкучке платья, платок и шугайчик — и только к вечеру продала их за пять рублей. В понедельник она получила некоторые долги, и у ней составилось капиталу семь рублей.

Распростившись с чиновником, с хозяйкой и соседками, она пошла на постоянный двор. Там она узнала, что на железную дорогу идти гораздо короче и гораздо дешевле не через Прикамск, а на город Поярков, откуда она за рубль может уплыть на пароходе до Нижнего.

Так и сделала Пелагея Прохоровна, отправившись за полтинник до Пояркова с обозами.

В Пояркове она увидела людей, выговаривающих уже иначе, людей развитых настолько, насколько жизнь на большой реке и постоянные столкновения с людьми из разных мест могут развить их умственную деятельность, — людей здоровых, сильных, красивых, людей, преимущественно прокармливающих свои семейства работою на пристанях, — словом, людей смышленее Пелагеи Прохоровны.

Дело в том, что город находился на таком месте при реке, где было удобно, как по глубине реки, так и отлогому берегу, приставать пароходам, судам, баркам, плотам, грузить в них и выгружать из них товары на берег, на котором постоянно на несколько сот сажен были покладены товары, покрытые циновками, а дрова тянулись и не на одну версту. Здесь постоянно, даже и по ночам, когда приставали к городу для нагрузки дров пассажирские пароходы, работы было много и для мужчин, и для женщин, но так как город был небольшой и татарский и татары занимались больше садоводством, земледелием и скотоводством, то рабочих рук все-таки было немного, так что не редкость было увидеть на пристани работаю-

щих стариков и мальчиков от четырнадцатилетнего возраста. Пелагее Прохоровне нравилось оживление на пристани, оживление в ближайших к реке улицах. Здесь она не видела той вражды, происходящей на промыслах между мужчинами и женщинами, напротив — здесь мужчины и женщины, работая вместе, свободно обращались друг с другом и хвастались одни перед другими, кто больше получил денег. Но и здесь она не заметила особенного довольства. Недостатки были у всех, и она относилась это к тому, что здесь везде пили чай, везде обед состоял из щей и каши, у редких не имелось скота, а главное — все жаловались на большие оброки и другие взыскания. С первого же дня по прибытии в город она стала работать на пристани, а так как она была здесь лицо новое, то ее стали расспрашивать, и все хвалили ее за то, что она пошла сюда. Ей приводилось носить товары или дрова на носилках вдвоем, и она носила с женщинами, из которых одна и приняла ее на квартиру. У этой женщины она не заметила нищеты: все у ней было хорошо, дети ее не ходили оборванные, она пила чай; с мужем, работающим тоже на пристани, она не ссорилась. От них она узнала, где строится железная дорога, — только они не советовали ей идти туда, потому что там рабочих очень много и женщинам приходится только копать и возить землю, за что платят мало. Лучше будет для нее, если она пойдет в Москву.

«В самом деле, что мне делать на железной дороге?» — думала Пелагея Прохоровна. Здешняя жизнь ей казалась лучше заводской, и она думала, что чем дальше она пойдет, тем больше она увидит нового, хорошего, и останется там, где ей лучше понравится; ее тянуло дальше, и она спросила:

— А далеко Москва?

Ей сказали.

Выручивши на пристани три рубля, Пелагея Прохоровна отправилась на барке до Костромы. О путешествии Пелагеи Прохоровны говорить нечего. Чем дальше она плыла, чем ближе подвигалась к Москве, тем больше она видела хорошего: города были красивые, люди говорили свысока, не глядели так робко, как в Заводске, где она жила в кухарках; реже она стала встречать лапотников, да и по берегам реки попадались хорошие пашни. Здесь никто не бранил ее за то, что она пошла искать место,

где лучше, напротив — ее хвалили за это, хотя и говорили, что бог знает, где лучше... Многие вон все больше в Петербург идут, и как зайдет человек туда, так и живет там, — говорили ей в заключение.

В Ярославле она увидела нескольких мужиков и одетых по-деревенски женщин. Любопытно ей стало, потому что у каждого человека был узелок, сундучок или сума, и она спросила одну из женщин, куда они едут.

— В Питер, матушка. А ты?

— На железную дорогу.

— Ой, голубушка... Оттоль идем...

— Худо там?

— С голоду помрешь. Такой жизни никому не пожелаешь.

— А я в Москву тоже думаю.

— В Москву наводить тоску! — сказал один мужчина, захохотав.

Пелагея Прохоровна не знала, что ей делать, куда идти. В Нижнем она пробыла четыре дня, но здесь она большею частью сидела на барке, потому что от нее на берег нужно было плыть в лодке. В Нижнем в это время была ярмарка, Волга была почти наполовину запружена судами и пароходами, по подгорью кишел народ; отовсюду, и с берега и с реки, слышался говор, возгласы, шум, треск и свистки пароходов. Ее, робкую женщину, все это поражало; на все она смотрела с удивлением, обо всем расспрашивала... Впрочем, она раз сходила с судорабочими на ярмарку, но, воротясь оттуда, ничего не могла сообщить. Она видела только огромную толкучку всяких людей, смесь всевозможных товаров, она была оглушена неописуемым говором и треском; она ходила там, как угорелая, и когда вернулась на судно, у нее долго болела голова... «Господи, — думала она: — сколько тут народу! И откуда только народ этот взялся... Хорошо-то как здесь!» Но тут она не осталась. «Где уж мне тут жить! Вон купила я булку — десять копеек заплатила; за вишенье дала двадцать копеек... В платке у меня была завязана рублевая бумажка, платок я положила в карман — вытащили... Здесь только на берег выйди — непременно чего-нибудь купишь... Нет, бог с ним, и с большим городом». За Нижним она видела много народу только на пристанях больших городов, где рабочих было все меньше и меньше на берегах; больше и

больше ей приводилось видеть бурлаков, тянущих кверху суда; везде только и было разговору, что о больших оброках, о плохих урожаях, строгих господах, недодачах жалования и платы за труд, обманах приказчиков, живущих на счет рабочих людей... Чем дальше она плыла, тем больше она видела фабрик с дымящимися высокими трубами, винокуренных заводов, и тем больше слышала жалоб на худое житье, — и видела людей, куда-то идущих с котомками на плечах... И кого она ни спросит: куда идет этот народ? — ей отвечали: туда, где лучше! на заработки... Но где такое место, ей не могли ответить, а только говорили, что они идут в Петербург.

Но отчего же ей советовали в Пояркове идти в Москву, а здесь народ с пренебрежением отзывается об Москве, идет в Петербург?

— А што, разве не хорошо в Москве? — спросила она одного мужчину, хваставшегося на постоялом дворе тем, что супротив такого города, как Петербург, нигде нет таких городов, и ему Питер известен и вдоль и впоперек.

— Москва-то? Што Москва? — дрянь, окромя святых угодников... Супротив Питера далеко не доросла... — старался объяснить мужчина.

— Да ведь она столица?

— Об этом кто спорит!.. Москва большая деревня — вот што! — сказал мужчина, довольный тем, что он объяснил-таки, почему Москва хуже Петербурга.

— Вовсе не то ты толкуешь: в Питере завсегда работу достанешь, а в Москве не то, — сказал другой мужчина.

— Ну, нет: Москва приторна... Там живешь как будто не на своем месте, в Питер хочется, а как поживешь в Питере, не заманишь тебя в Москву и калачом московским, — так разве, когда домой пойдешь, зайдешь к святым угодникам помолиться.

— Хорошо ли там-то? — приставала Пелагея Прохорова.

— Бабам там хорошо, — говорили мужчины.

Женщин, живавших в Петербурге, здесь не видно было. Туда шли женщины на заработки в первый раз с мужьями, шли девицы, говоря, что у них там, в Петербурге, живут родные.

И Пелагея Прохорова решила плыть до Твери, откуда, как ей говорили, до Петербурга железная дорога.

В Твери она в первый раз увидала и железную дорогу и поезда, третьеклассные вагоны, которые были наполнены большею частию простым народом. Здесь она увидала и приезжающих из Петербурга. Стала она расспрашивать женщин о житье в Петербурге, но одни из них хвалили петербургскую жизнь, другие нет. Она заметила, что даже и те, которые ругали Петербург, все-таки ехали домой ненадолго.

«Должно быть, там хорошо, — думала она. — Уж много я шла, сама не зная куда, а теперь вон сколько народу-то едет, и кого ни спросишь: ты куда? — он говорит: куда! знамо, в Питер!»

И Пелагея Прохоровна, взявши билет, села в вагон третьего класса.

Скоро поезд пошел, и еще скорее она познакомилась с своими соседями.

XX

Счастье Горюнову улыбается

Вся зима прошла на приисках в постройках на новом прииске, который был назван Ново-Удойкинским. Золото в это время не промывалось, потому что приходилось много времени употреблять на копанье канав, которые проводили к новым постройкам, устроенным по совету Костромина и других рабочих. Денег у главного доверенного было не много, рабочим он выдавал по малости, так что им едва доставало в течение недели на хлеб. Рабочие ругались, но сознавали, что, пожалуй, доверенному не из-за чего платить много денег, не получивши золота, да и бог знает, будет ли еще много золота на новом месте. Поэтому старые рабочие уходили на другие прииски, новых прибывало мало, а из оставшихся большинство хворало, и им не оказывалось никакой медицинской помощи. Весной вода залила почти все пространство как на старом, так и на новом приисках, и с ней было много хлопотно все-таки золота промывалось гораздо больше, чем на старом прииске, и поэтому на новом прииске было до шестидесяти мужчин и до двадцати женщин. Но у доверенного все-таки не было денег, и он давал Костромину расписку за распиской в должных ему деньгах, потому что Костромин снабжал всех рабочих хлебом, капустой,

солью и другими овощами. Хотя же полпуда золота и было отправлено в горное правление, но оттуда денег не выдали.

А тут разнеслась по прииску весть, что старец Яков помер; дети увезли его в село, разломали избу и сами скрылись неизвестно куда. Костромин съездил туда удостовериться и вернулся больной; через три дня и он помер. Запечалились на приисках все рабочие, потому что Костромина они любили, он многих выручал из беды, давал за крупинки золота деньги, так что некоторым рабочим незачем было уходить в другие места для продажи его. Кроме этого, рабочим не нравился другой Костромин, Степан, и его жена Анисья, которые постоянно присчитывали на рабочих деньги; все думали, что теперь хоть живой ложись в землю. Особенно все почувствовали, как нехорошо жить без хорошего человека на приисках тогда, когда Костромины увезли хоронить старика в село, заперев дом. Два дня еще прошло ладно, на третий ни у кого не было хлеба, даже из дома доверенного по несколько раз посылали к дому Костромина узнать, приехали ли торгаши; некоторые рабочие так даже и сидели у дома Костромина, думая, что если приедут Степан или жена его, то они наперед отпустят доверенному; но Костромины не являлись. Терпение рабочих и доверенного истощилось, почему первые выломали двери в доме Костромина, но в доме не нашли ни куска хлеба, а забрали всю водку, пиво и брагу; доверенный послал в село Горюнова за покупкой муки и другой провизии, о чем его просил сам Горюнов, думая двадцать пять рублей, полученные им от Костромина, употребить в дело.

Горюнов, приехав в село, первым делом купил за десять рублей лошадь и за три крестьянскую телегу, потом уже закупил муки, крупы, соли и мяса. Едва он въехал на прииски, как его окружили рабочие, требуя муки. Никакие увещания Горюнова не принимались, и он должен был дать им целый мешок муки, доказывая, что мука принадлежит ему.

По окончании дневных работ, когда одни из рабочих сидели на горе и песнями старались немного развлечь себя, а другие сидели под горой, рассуждая о приисковой жизни в Сибири и на Урале, о жизни каторжных и о прежних хороших временах, когда торговать золотом было не в пример лучше теперешнего, Горюнов подошел

к ним и, поговорив немного о бывшем его заводском начальстве, начал:

— А што-то Степанко Костромин не едет...

— А што?

— Должно быть, нашел добрую землю. Уж не продает ли он какое-нибудь место.

Рабочие загалдили. Увидавши волнение внизу, рабочие, сидевшие на горе, спустились вниз и подошли к этим.

— Да ты это откуда узнал? — спрашивали пришедшие Горюнова.

— Я только предполагаю, потому, сами рассудите, сколько они с нас брали за все.

— Брали действительно дорого.

— А можно бы и без них обойтись, — сказал Горюнов.

— Как так?

— Очень просто. Вот обошлись же и без них, не померли. А муку я покупал наполовину дешевле, чем они нам продавали.

— Ты к чему это, Тереха, речь-то ведешь? — спросил вдруг Анучкин, не принимавший доселе участия в разговорах.

— К тому, што и самим можно покупать муку. Стоит только человека надежного выбрать.

— Не думаешь ли ты, што ты один надежный человек? — говорил Анучкин.

— Я только к слову сказал... я говорю — выбрать...

— То-то... Не хочешь ли ты, кривая собака, костроминское место занять?

— Может быть, тебе угодно, потому ты и спрашиваешь.

— А позволъ-ко тебя спросить: откуда ты деньги взял? На какие ты деньги муку купил?

— Про то я знаю... Может, у тебя есть деньги, да ты небось не купил муки... Братцы! — обратился Горюнов к рабочим, с недоумением смотрящим то на Анучкина, то на Горюнова: — хорошо ли я сделал, што муку привез?

— Кто об этом спорит!

— Ну, а вот ему хочется, штобы мы с голоду мерли.

Одни из рабочих захохотали, другие стали ругать Анучкина. Анучкин пошел. Горюнов пошел за ним.

— Послушай, Тарас Трифоныч, из-за чего ты на меня зубы-то грызешь? — спросил Горюнов Анучкина: — на-счет этого у нас уговору не было... Ведь ты не захотел

же почему-то купить муки, а теперь, как другой купил, ты и завидуешь... Послушай, Тарас Трифоныч. Я давно насчет этого думал, и думал именно заняться торговлей с тобой. А што я не объявил об этом раньше тебе, так не знал, как это понравится рабочим. Хочешь вместе торговать?

Анучкин не соглашался, но к утру, когда на приисках все спали, уехал на горюновской лошади.

— Вор! Посмотрим, как он нам шары свои покажет, — говорили утром рабочие про Анучкина, узнавши об его проделке.

— Бог с тобой, Горюнов! Не я ли тебя взял с собой на прииски, а ты другому представляешь барыши, — говорил Ульянов.

— Елизар Матвееч! Я ли не друг тебе...

— Так друзья не делают: ты от меня все особо, все особо...

— А кто виноват? Не ты ли больше всех ходишь в лес стрелять птиц... Кто велел тебе зимой отсюда уходить? Сам ты не хочешь со мной якшаться. Насильно милому не быть.

Скоро после этого приехал Анучкин. Анучкина обругали, но он сказал: меня просил Горюнов съездить, я и съездил.

— Так, Тарас Трифоныч, нельзя... — начал Горюнов.

— Почему? По-моему, удобнее попеременно ездить, чтобы друг другу незавидно было.

Так и стали Горюнов с Анучкиным торговать, переселившись в дом Костромина с Офимьей и Глумовыми, на которых Офимья готовила кушанье, даже на доверенного. и пекла хлеба на рабочих, а последние, в отсутствие Горюнова и Анучкина, продавали рабочим табак, водку и калачи. Теперь вечера рабочие стали проводить в доме Костромина.

Явился приказчик в сопровождении солдат — значило, что он вез деньги, — и Костромины.

Костроминых не пускали в их дом, они условиями ч расписками доказывали право на владение домом, и хотя потом пустили их, но никто не стал у них покупать ничего. Доверенный рассчитал рабочих, рабочие не стали платить долгов Костромину и дали Горюнову денег на закупку съестных припасов и водки. Горюнов побоялся ехать в село, передал деньги Анучкину; Анучкин коман-

дировал Ульянова, не сказав об этом Горюнову. Ночью Костромины уехали со всем имуществом с прииска и зажгли свой дом. Анучкин поехал за ними следом и к утру наехал на мертвое тело: Ульянов лежал поперек дороги с простреленной головой. Денег при нем не оказалось.

Об этом происшествии объявлять не стали, а из среды раскольников-рабочих нашелся один поп, который и отпел Ульянова по-своему. Все здоровые рабочие сопровождали до могилы Ульянова, изредка перекидываясь словами, но никто так не был печален, как Горюнов, который всю вину в смерти Ульянова сваливал на себя и на Анучкина.

Итак, теперь Горюнов и Анучкин сделались маркитантами. Дела их шли хорошо тогда, когда были на приисках деньги, и худо тогда, когда на приисках не было денег. Но зато теперь на приисках уже было меньше больных, потому что оба торговца брали с рабочих небольшие проценты на свой затраченный капитал, на приисках больше и больше стало расходиться водки, больше появилось гармоний и балалаек, но было уже меньше таких оргий, которые происходили при Костромине, потому что большинство здоровых рабочих все свободное время проводило в лавочке.

Прошла зима, в течение которой золота добывалось мало и начальство часто уезжало недели на три из приисков. Весной доверенный запил.

Раз, во время отсутствия Анучкина, прибегает Николай Глумов и говорит Терентию Иванычу, что он, перейдя гору Троскурицу в пяти верстах вверх по реке от построек Ново-Удойкинского прииска, нашел самородку. Самородка весила четверть фунта. Горюнов тотчас же предложил за нее мальчику десять рублей. Тот отдал и даже вызвался показать ему место, которое им замечено тем, что он воткнул в гору палку.

С горы, с того места, в котором Николай Глумов воткнул палку, представлялся великолепный вид: на несколько верст под горой волнами рос лес; кое-где казалось, как будто сделана просека; но между тем оттуда выходила зигзагами речонка, начало и конец которой терялись в лесах; кое-где виднелось большое озеро, как будто отлого положенное разбитое стекло на зеленеющую массу

леса; справа и слева возвышались, точно луковицы, горы — или с черным лесом, или с белою или глинистою почвою. Здесь царила тишина, прерываемая только чириканьем птичек, карканьем ворон и щебетаньем сорок. В полуторе верстах от горы Николай Глумов указал на небольшой холм, поросший невысокими соснами, который был окружен кустарником березы, редким до того, что к нему свободно проходило солнце, и около него с одной стороны журчал узенький источник. Здесь, в кварцевых породах, Горюнов увидал золотиносные россыпи, которые чуть-чуть были видны для глаз и тянулись по лугу сажен на двести.

Горюнов заприметил место и пошел на юг по течению источника, но источник вдался вправо, местность была холмистая; между холмами не было воды; ему пришлось проходить через густой лес, потом наткнуться на аршинную змею, на болото, на речку — и только к вечеру на другой день он вышел с Глумовым на Старо-Удойкинский прииск.

Анучкин был дома и подозрительно смотрел на Горюнова, расспрашивая, где он был так долго, но Горюнов говорил, что он искал свою лошадь.

Доверенный между тем пьянствовал, так что всеми делами заправлял приказчик с ревизором. Через неделю после того, как Горюнов нашел *телку*, приказчик, оставив Анучкина при доверенном, для того чтобы если доверенному понадобится водка, то Анучкин подавал бы ему ее, ушел с ревизором на охоту.

Анучкин редко приходил к Горюнову, а когда вечером Горюнов пришел наведать его, то нашел его запершимся в комнате. Сквозь замочную скважину Горюнов увидал, что Анучкин что-то делает, наклонившись к полу.

— Вижу, все вижу, — бессовестный. Вот те и товарищ! — проговорил Горюнов.

Анучкин вздрогнул, подошел к двери и тоже взглянул в замочную скважину, но так как в нее глядел Горюнов, то он увидел только черный зрачок.

— Отпирай! — шепнул Горюнов.

— Не донесешь?

— Провалиться!

Анучкин отпер дверь.

Доверенный лежал на спине с посинелым опухшим лицом и открытыми глазами, на которые уже были нало-

жены медные гривны. Он умер. В комнате было душно, жарко; но Анучкин работал усердно: он уже до половины разобрал вещи в чемодане, принадлежащем доверенному, и только на дне его увидел кожаную сумку, наполненную золотом.

Анучкин разделил золото пополам с Горюновым, рассыпав его в платки; затем сумку положил на место, склал вещи, запер чемодан и положил ключи под подушку доверенного. Затем они вышли из избы, чтобы спрятать золото.

— Ну, Терентий Иванович, молчок!

— Ты только молчи. Не удрать ли нам теперь?

— А в лавке кто?

— Возьмем с собой Кольку Глумова.

— Это на какой предмет?

Горюнов спохватился.

— Ты, брат, не коли. Я за Колькой давно слежу... Знаю, брат, куда он ходит в лес-то.

— Куда?

— А за пять да за шесть верст... Однако, Горюнов, нам надо решиться с тобой: нам с тобой обоим после этого не ужиться на прииске. Мы и раньше ссорились друг с другом. Нам надо разойтись: или тебе, или мне вон отсюда. Ты думаешь, я без цели допустил тебя ограбить доверенного? Да если бы я тебя понимал так, што ты человек нерассудительный, я бы тебя у дверей же убил бы и забрал бы все золото... Ты человек неопороченный, а я беглый, мне только и можно жить что здесь... Уж ты предоставь мне умереть в спокойе!

Горюнов молчал. Он думал, что Анучкин прав.

— С деньгами ты везде можешь заняться чем угодно, а покажись я — меня схватят и посадят в острог. Правду ли я говорю?

— Я не буду мешать тебе, Тарас Трифоновч. Я уеду.

Анучкин крепко пожал ему руку, утер наворачнувшиеся на глаза слезы и проговорил дрожащим голосом:

— Спасибо, Терентий Иванович... Но гроб не забуду тебя. Ей-богу! — И они разошлись.

Пришедши домой, оба они ни слова не говорили никому о смерти доверенного и не возобновляли разговора относительно дележа и находящейся руды в известном им обоим месте.

Горюнов соболезнавал о том, что сделал оплошность.

И к чему ему было говорить об отъезде с Колькой Глузовым с приисков? Ему бы надо молчать и выжидать удобного времени, потом ехать в город, продать золото, записаться в купцы, как и сделали самостоятельные мастеровые Терентьевского завода, еще находясь в крепостном состоянии, а тогда, в случае решения по справедливости дела об их каверзах, он мог бы избежать телесного наказания. Горюнов не мог теперь иметь прииска, потому что он считался мастеровым; но только стоило записаться в купцы... «Эдакой я дурак! И отчего это я не сообразил сегодня? А ведь я думал раньше об этом. Все это от радости произошло: шутка ли, найти самородку...» Но обещание уже было дано Анучкину; Анучкин еще в прошлом году говорил, что он знает богатое место, и если это место у него украдут, то ему не для чего больше и жить.

«Нет, не туда ты попал, Тереха! Здесь народ сборный; надо много воли, чтобы што-нибудь забрать в руки... Тут надо десятки лет жить, чтобы потом считать своим какое-нибудь место... Недаром сколько здесь живет народу, которым, кроме приисков, некуда деваться... Вот она и приисковая жизнь! Пришел я с двумя глазами, а уйду с одним. А уйти надо, пока цел. Бог с ним и с золотом...»

В это время на приисках только и было разговоров, что о строящихся железных дорогах, о чем постоянно общались вновь прибегающие беглые. Жизнь на железных дорогах они хвалили, но говорили, что пробраться туда очень трудно, потому что нужно пройти непременно те губернии, через которые редко кому удастся пройти благополучно.

Горюнов сообразил, что там ему будет лучше, именно потому, что там он будет находиться вблизи больших городов; так обсчитывать и творить расправу, как на приисках, там едва ли можно, да и он продаст золото и будет хлопотать, чтобы его сделали каким-нибудь приказчиком или надсмотрщиком, которые, как говорили беглые, получают там большое жалованье.

Итак, Горюнов решил идти на железную дорогу.

В доме доверенного без сцены не обошлось. Когда пришли утром с охоты приказчик с ревизором, Анучкин сказал им, что доверенный ночью, выпивая из стакана водку, поперхнулся, с ним сделались корчи, так что Анучкин держал его за ноги, но скоро доверенный захрипел

и помер; оба приятеля очень обрадовались, сказав: туда и дорога! — а приказчик, заперев дверь, сказал Анучкину, чтобы он объявил о смерти доверенного рабочим и съездил в село за станovým приставом. Анучкин стал смотреть в замочную скважину. Приказчик достал из-под подушки ключи, отпер чемодан и с чиновником стал выбрасывать из него вещи.

— Тут, проклятая... цела! — говорил с яростью и радостью приказчик; но, отперев сумку и поглядев в нее, вдруг побледнел, разинув рот, не то от испуга, не то от удивления, и ничего не мог выговорить.

Чиновник, сидя, как и приказчик, *на карачках*, улыбнулся и спросил:

— Пусто? — и взял сумку.

— Полюбуйся-ко! — проговорил приказчик.

— Чего и говорить... мерзавец! — И чиновник швырнул сумку в приказчика.

«Ну, слава богу! Теперь они подерутся; надо скорей отослать Горюнова... А то после они опомнятся и будут оба подозревать меня», — подумал Анучкин и объявил Горюнову, чтобы он ехал как можно скорее в горный город и взял с собою Глумовых.

— А их зачем?

— Они знают телку.

Ребята беспрекословно согласились ехать в село за закупкой провизии, как им объявил Горюнов.

Через пять дней Терентий Иваныч был в городе. Первым делом он отправился к одному богатому купцу раскольнику, но управляющий сказал, что купец умер, а всеми его делами заправляет его брат, который имеет несколько приисков в разных местах и принимает золото от беглых людей из других приисков через посредство управляющего, потому что ему самому неловко разговаривать или рядиться с мужиками.

— За самородку я тебе дам тридцать рублей; золото тянет два с половиной фунта... Хочешь получить по полтора рубля за фунт? — сказал управляющий, отдавая сверток Горюнову.

— Вы меньше казенной цены даете. На казенных приисках управители платят по два с половиною за золотник.

— Берешь или нет?

— Да хоть пятьсот рублей дайте.

— Ни копейки. Двести рублей сейчас, двести через

шесть месяцев, когда получатся деньги из петербургского монетного двора. Согласен?

— Если расписочку дадите.

— Ничего я тебе не дам. Ты знаешь ли, мне только стоит позвонить и позвать служителя... и тебя сейчас же арестуют. Понимаешь?

— Кабы вы понимали, как нелегко достается золото! Нельзя ли хоть через месяц, потому не мое золото.

Управляющий подумал и сказал:

— Если хочешь получить триста рублей сейчас, приходи за остальными через полгода.

Горюнов согласился.

Получивши деньги, Горюнов записался в городские мещане и стал разыскивать свою родню, но нигде никто из его знакомых об его родне не имел никаких сведений, почему он и уехал в М. завод. Узнавши там, что Короваяев с Григорьем Горюновым и какою-то молодою женщиною ушли на железную дорогу, Терентий Иванович поплыл на пароходе в Нижний, радуясь, что Пелагея Прохорова вышла-таки замуж за Короваяева.

XXI

На железной дороге

По приезде в Нагорск Терентий Иванович с Глузовыми долго искал главное управление железной дороги, от которого, как он узнал на пароходе, зависит определение должностных лиц. Отыскавши правление, Горюнов не скоро добился в нем толку, от кого зависит определение. Дальше хорошо обставленной и хорошо меблированной приемной, в которой сторожа были отставные рослые унтер-офицеры с медалями, его не пускали, да и в приемной он не мог добиться никакого толку прежде, чем не подарил сторожей, занимавшихся приготовлением для членов чая и снимавших и надевавших на членов верхние одежды. Сначала сторожа гнали его, но потом, когда он подарил их, сказали, что едва ли правление может что сделать для него, так как оно определяет и увольняет только главных лиц, ведет дела с конторами,— и обещали похлопотать за него перед одним снисходительным членом. Но сколько ни приходил Горюнов в приемную, он только и видел, как служащие с важностию приходили и уходили мимо него, презрительно смотря на его смешную

фигуру. Наконец-таки сторожа выхлопотали ему аудиенцию с одним членом на лестнице.

— Мы не принимаем! — сказал важно член и стал спускаться.

— Ваше благородие, я могу залог внести...

— Без рекомендации мы не принимаем.

— Я, ваше высокоблагородие...

— Что ты меня останавливаешь, скотина!

Горюнов опять прибегнул к помощи сторожей, но те посоветовали ему лучше обратиться в какую-нибудь контору, подчиненную правлению, но успеха не обещали, потому что теперь уже все должности заняты.

Проехавши Нагорск, Горюнов увидал другую жизнь. До этого города он видел жизнь бережливую, людей, занятых преимущественно сплавом по рекам товаров, леса, металлов и камней; эти товары и люди давали средства к существованию городам, селам, деревням; там люди или жили постоянно в одних местах, или все лето находились на реках; здесь же, напротив, несмотря на то, что ему попадалось много фабрик, он проходил хорошие луга, превосходные пашни; народ, большею частию в лаптях, куда-то шел и ехал, то с котомками, то с камнем, товарами, — и народ этот торопился; на всех лицах виднелось какое-то нетерпение; пешеходы говорили мало, и если говорили, то часто вздыхали, как будто в словах их заключалась и надежда, и сомнение.

— Куда вы? — спрашивал Горюнов.

— На железную дорогу.

— А товары?

— Кои на железную дорогу — им пешеходом-то осталось не больше ста верст, а там они скоро в Москву попадут, — а кои в другие края.

Встречные, большею частию в телегах, отвечали, что они тоже с железной дороги и едут за провизией, или за камнем, или за кирпичами.

Наконец не стало ехать по дороге товаров. Толпы народа больше и больше прибывали из разных мест на дорогу, идущую к железной; больше и больше стало ехать по тому же направлению телег с камнем и кирпичом, так что часто их шло до пятидесяти телег; больше и больше везли туда бревен. Больше и больше по дороге попадало нищих, которые или шли навстречу Горюнову, или сидели кучками около дороги... Пашни казались за-

брошенными; в деревнях виднелись только дети, глухие, слепые и больные старые люди да тощий скот; меньше и меньше становилось по дороге лесу, и там, где было поле, земля была ископана на несколько футов внутрь. А дороги не видать.

— Где же дорога?

— А во! Направо-то, видишь, песок, как гряда сделана! — указывая на насыпь, говорили Горюнову шедшие на железную дорогу.

Насыпь была ровна; она то была выше дороги, по которой шел Горюнов, то ниже ее; но на насыпи суетился народ, к ней подвозили песок, недалеко от нее, на площадке, складывали каменья, кирпич; в разных местах копали землю, разбивали крупные камни, кое-где распиливали бревна, что-то тесали. По одной стороне насыпи белели телеграфные столбы. Кругом было мрачно; от рабочих слышались громкие восклицания, да стук топоров там и сям оглушал местность. На расстоянии шести-семи верст около опушки леса или около насыпи сделаны были небольшие избушки из досок, или балаганы, служащие помещением для рабочих в ночное время и местом для склада топоров, пил, лопат и других вещей, принадлежащих строителям железной дороги. Дорога шла параллельно железной дороге между редким лесом и полями, на которых только была кое-как вспахана земля. Пересекши насыпь, дорога шла по ровному месту, около дороги. На этой стороне лес был вырублен сажень на десять от края уступа, и отсюда дорога казалась как бы вырезанною между холмами. Далее дорога заворотила вправо и версты полторы шла лесом, а потом пошла опять в виду насыпи, которая отсюда казалась высокою стеною.

— Прежде здесь никакой дороги не было, а теперь, гляди, какую проложили дорогу, и дорога-то эта выходит короче трактовой, только по ней не велят ездить с товарами али проезжающим, потому эта дорога компанейская, — объяснили Горюнову пешеходы.

Здесь уже меньше ехало телег с принадлежностями дороги, зато попадались навстречу телеги, наполненные больными мужчинами и женщинами.

— Господи помилуй! Ни одного дня не пройдет без того, чтобы не попадались хворые.

— Куда же их везут?

— Куда? Известно, куда! Вывезут на большую до-

рогу — и иди, откуда пришел. Хорошо, если село свое или деревня близко, а то так и помрет иной человек на дороге. У компанеев денег много, только не станут же они с хворыми возиться, когда, говорят, они подрядились дороге к сроку сделать... Коли в силе человек — робь, и отдыха нету, а коли помирает — домой его. Раз было привязались к управителю, он и говорит: у нас-де люди не умирают, а коли умерли за чертой — дело не наше, а божье.

Товарищи Горюнова были крестьяне недалних губерний. Все они жаловались на большие подати.

— Поневоле пойдешь в тяжелую работу. Прошное лето мы всей семьей ходили... Только если бы не тяжелая работа да не болезнь, ничего бы. И так все повинности уплатили, а зиму дома промаялись кое-как.

Мало-помалу местность по обеим сторонам насыпи делалась оживленнее. По одной или по обе стороны насыпи лежали, на несколько верст длины, перекладыны для полотна; на насыпи укладывали перекладыны, засыпая песком полотно; по бокам насыпь кое-где убивали щебнем. Дальше на полотне лежали рельсы, а еще дальше рельсы уже укладывали на полотно; в промежутках рек уже оканчивалась кладка фундамента и приступали к кладке устоев для мостов; через одну реку, шириною в шестьдесят сажен, береговые устои были уже готовы, и один речной гранитный бык был выведен наполовину; окрашенные металлические части к этому мосту лежали на полотне. На протяжении по крайней мере тридцати верст, как на полотне, так и около него, работало много народа, преимущественно мужчин; женщин же было очень немного. Работа шла разнообразная: кто действовал лопатой, кто молотом, кто киркой, кто топором, кто ломом... Здесь никто не сидел без дела, а если и курил трубку, то старался сократить это удовольствие или работал, держа трубку во рту. По полотну и около насыпи ходили мастера и приказчики, большею частью немцы или чухонцы, в куртках или пальто, или в черных рубашках, опоясанных ремнем, и черных засаленных брюках, в длинных сапогах, застегнутых повыше колен ремнями, и в фуражках наподобие крышек, с длинными козырьками и с пуговками на верхушках их. Они, покуривая трубки или сигары, понукали народ работать скорее, распоряжались тем, как и что нужно сделать, куда, что и как приложить.

Близ двух деревень, между которыми проложена дорога, около дороги построено несколько балаганов: в одних хранились инструменты, в других находились кузницы, в третьих помещались рабочие. За этими балаганами стояли целые поленницы кирпича, а против них был устроен большой бассейн, строили каменное водоемное и водокачальное здание и производили каменную кладку зданий. Всюду между этими постройками валялись коробки с гайками, крючьями и молотками, рельсы, перекладыны, мужские зипуны, полушубки, лопаты и всякие инструменты. Кое-где около дороги догорали щепки... Народу везде было так много, что его трудно было сосчитать. Работа, что называется, кипела; здесь не слышалось песен и веселых разговоров, но зато воздух оглашался стуком чугуна и стали, как на какой-нибудь большой фабрике.

«Ну, Тереха, здесь много не разживешься. Народу-то, народу-то!! Недаром столько его валит сюда», — думал про себя Горюнов, удивляясь.

Но никто так не удивлялся, как Николай и Петр Глумовы.

— Славно здесь, Терентий Иванович. Только ребят здесь что-то не видать.

«Где-то мой?» — думал Горюнов и, подошедши к одной кучке рабочих, обтесывающих каменья, спросил:

— Не знаете ли, братцы, Короваева или Горюнова?

— Таких не слыхали... Какой губернии?

Горюнов сказал.

— Таких не знаем. Здесь много всяких.

— Кто же у вас в работу принимает?

— А вон чухна, что с цыгаркой ходит.

— А русских разве нет?

— Русских-то? Русские только подрядами занимаются: муку, кирпич да другие материалы поставляют и от себя приказчиков нанимают, только компанеям-то немцы лучше нравятся. Прежде, бывало, были русские, да прогнали их, потому они пить стали да крепко поворачивали. Ну, а эти хоть и воруют, все же люди свои, а если и пьют, так на ногах крепки. Теперь вон погляди: кто мосты делает? Чухны да немцы!.. И платят им целковых по три и по пяти в сутки.

— Есть же у вас кто-нибудь главный-то?

— Как нету. Он вон в деревне живет; поди, теперь с инженерами в карты дуются.

Горюнов из этих разговоров понял, что ему тут не сделаться приказчиком. Он видел, что приказчики распоряжаются даже над тем, что и откуда взять, и спорят с мастерами; он же в постройке железной дороги ничего не смыслит. Поэтому он затруднился в том, что ему выбрать для занятия. Не обидно ли будет ему, промывавшему золото, делать то, что ему прикажут? Он соглашался работать вблизи деревни; но боялся, чтобы его не послали туда, где только что начинают облаживать полотно дороги.

Горюнов подошел к приказчику и изъявил желание работать.

— Что можешь?— спросил его приказчик.

— Да все, что угодно.

— Так нельзя... Ты должен знайт одно ремесло — каменщик, плотник, токарь али машинист... Э! не годишься!

— Почему?

— Мы с одним глазом не принимаем.

— Так возьми ребят.

— Силы у них нет. Можете дыры сверлить? Вон как тот сверлит...

— Мы на горных заводах робили,— сказал Горюнов.

— Ну, а здесь не завод, а железная дорога.

Однако приказчик принял Горюнова и Глумовых, заставив их сверлить дыры в рельсах.

Сперва Глумовым эта работа нравилась: им приходилось сидеть на горбине около рельсовой полосы и двигать к себе обеими руками резец. Они работали попеременно: сперва сидел Николай, а Петр стоял перед ним, подливая масло в резец, потом садился Петр, но к вечеру они устали, и когда увидал их приказчик сидящими без дела, то погрозились прогнать. Горюнову досталась тоже нетрудная работа: разбить рельсовую полосу к вечеру, когда ее хотели пригнать на полотно; но сколько ни усердствовал Горюнов, ударяя молотом в долото, он только до половины разбил полосу, и приказчик, отобрав от Горюнова марку, велел ему уходить прочь.

Все-таки Горюнов с Глумовыми проработал на рельсах неделю. В воскресенье он захотел отдохнуть, но увидал, что на железной дороге праздников нет, напротив —

даже по ночам стали работать, зажигая фонари. За сутки давали платы рубль серебра.

Все рабочие умещались в нескольких балаганах, сколоченных на скорую руку из досок; в этих балаганах пекли для них хлеб и варили щи, да в них лежали и больные. Все остальное время рабочие находились на работе. Каждый рабочий, получивший утром марку с номером, должен был носить эту марку при себе и потом, вечером или на другой день утром, предъявить ее приказчику для отметки в его записной книжке; если какой-нибудь рабочий не в состоянии был работать, приказчик отбирал от него марку и, если были у него деньги, рассчитывал его, что, впрочем, случалось очень редко. Колоколов на железной дороге не было, но каждая смена или остановка работы, время обеда и ужина, конец обеда и ужина — извещались свистками приказчиков. К обеду и ужину приказчики подносили рабочим по чарке водки, и рабочие ели под открытым небом там же, где они работали, несмотря и на дождь. Работа не прекращалась на рельсах ни днем, ни ночью, ни в дождь, ни в гром, только в град и грозу рабочие уходили в балаганы, потому что бывали случаи, что нескольких рабочих убило при работах около железа. В дождь приказчики надевали кожаные пальто, а рабочие свои зипуны или полушубки вверх шерстью. Когда не было дождя, рабочие спали на открытом воздухе, на сухих местах: усталые, измученные и голодные, они скоро засыпали. Кормили всех скверными щами, потому что мясо привозили из города, и хлеб был недопеченый... От этого редкий рабочий был в состоянии проработать кряду два месяца, забирался в балаган, и если ему становилось легче, он опять шел на работу, а если ему становилось хуже, его отвозили в компанейских телегах на тракторную или проселочную дороги, в села или деревни, смотря по тому, что было ближе к железной дороге. Это делалось и потому еще, что в городах больных с железной дороги будто бы не принимали, так как там или вовсе не существовало больниц, или в больницах помещались только городские обыватели. Больше всех доставалось рабочим, устроивавшим мосты. Им хотя платили и больше, но редкие из них могли в ненастное время проработать месяц или три недели, не захворав потом.

Но как ни тяжела была работа, здесь каждый наде-

ялся на получение хорошей платы, и это удерживало рабочих на железной дороге. Хотя же они однажды и требовали от управляющего улучшения пищи, но он им сказал: не хотите компанейских хлебов, можете сами печь хлеб и варить щи,— и велел прекратить корм рабочих. И все рабочие остались без хлеба и без щей, потому что сельским и деревенским жителям строго было приказано не продавать ничего на железную дорогу, под опасением взыскания большого штрафа; также никто не смел и с дорог подвозить провизию к железной дороге. Пришлось обратиться к компанейской пище, за которую вычитали по пятнадцати копеек в сутки с человека, не ставя, впрочем, разбавленную водой водку в счет. Если же кто хотел выпить более двух чарок в сутки, тот платил по четыре копейки за чарку. Однако, несмотря на разные строгости, рабочие напивались в селах и деревнях на ночь и покупали там табак. Чтобы прекратить такое самовольство, приказчики стали хлопотать о том, чтобы им было дозволено вычитать из платы рабочих каждое путешествие в село и деревню, но управляющий разрешил приказчикам заниматься торговлею в селах. Сельским жителям было трудно конкурировать с богатыми людьми, которые всячески старались разорить своих противников каким-нибудь образом. От этого и вышло, то, что в селах цены на все, кроме водки, поднялись очень высоко, и рабочие, получавшие деньги от приказчиков, половину или две трети их отдавали им же.

Прожил Горюнов на железной дороге месяц, а своих не разыскал. Он так и думал, что Короваев непременно ушел куда-нибудь, и подумывал махнуть в Петербург попытать счастья. О Петербурге и здесь ходили хорошие вести... Но его удерживало то, что такого-то числа назначена была от станции проба на протяжении пятнадцати верст: хотели пустить локомотив с пятнадцатью вагонами, наполненными рельсами. Этого дня ждали с нетерпением; большинство рабочих хотело удостовериться в полезности их труда и сомневалось, чтобы поезд мог пройти по рельсам, не свалившись в овраг, так как рельсы были положены в одном месте на пол-аршина от края, а полотно было устроено на три сажени выше от земли.

Наконец настал и этот день. Приказчики и мастера

бегали, как угорелые, с раннего утра, смотря направо, откуда должен был идти поезд; все инструменты были убраны с рельсов и полотна, тормозы были несколько раз испробованы и приведены в порядок, рабочих гнали с полотна. Но к вечеру их известили, что у двух вагонов лопнули два колеса и поезд придет завтра. Вечером, впрочем, показался вдали локомотив, свистнул и медленно прошел один по рельсам. На третий день он привез двадцать вагонов-ящиков с рельсами, отцепил вагоны и ушел обратно по другому пути.

— Каково прет-то! В каждом ящике, чать, пудов двести будет... Штука!

— И не упал!

— Знатно, значит, устроили.

С этого дня началось движение между двумя станциями, из коих на одной постройки уже приводились к концу, а на другой еще только что оканчивали кладку фундамента. Локомотив по два раза в сутки привозил сперва вагоны-ящики с песком, на которых уже сидели с лопатами по два человека, и, выбросив из ящика песок, отправлялись назад, — потом камень и другие принадлежности для железной дороги. Теперь работа шла еще сильнее прежнего и, как говорится, проводилась уже *набело*.

Горюнов уже хотел идти совсем, да захворал Николай Глумов, которого ни за что не захотел покинуть брат. На другой день захворал не только брат, но и Горюнов, и человек пятьдесят рабочих; от них горячка распространилась и в другие балаганы, а время было дождливое, осеннее, дул резкий ветер. Приказчики струхнули, донесли управляющему, который распорядился построить на скорую руку большой балаган вблизи села. Пока отстроили балаган, рабочие умирали десятками в старых, сырых и угарных балаганах на полу и в грязи. Начальство вызвало несколько фельдшеров с одним уездным лекарем, которые, надо правду сказать, больным рабочим не принесли ровно никакой пользы, потому что при них не было лекарств и они могли только пустить кое-кому кровь. Между тем управление железной дороги хвасталось публично, что у него около станций устроены больницы на несколько кроватей и больные пользуются всеми медицинскими средствами на счет управления. Избу состроили скоро, но в ней еще больше стало умирать. Однако, несмотря на то, что больные не умещались в избах, валя-

лись там и сям десятками, в рабочих недостатка не было; они то и дело заменялись другими, и большею частью уже такими, которые давно работали на дороге, перенесли болезни и, так сказать, обтерпелись и которых привозили в ящиках уже по железной дороге из других промежуточных станций, где рабочих уже требовалось немного.

Горюнов выздоровел, то есть он мог едва-едва бродить, а на железной дороге, те, которые были в состоянии немного ходить, уходили в села или в деревни, где и поправлялись. Так и Горюнов ушел в село один. Глумовы померли еще в старом балагане. К этому горю прибавилось еще другое: во время его беспамятства у него украли платок с деньгами, который он постоянно носил за рубахой на груди. В декабре месяце он поправился совсем. В это время дорога, в том месте, где работал первое время Горюнов, была уже окончена совсем, на дороге рабочих уже не было, а рабочие были только у станции, красивого каменного здания с фигурчатыми окнами и стенами.

— И черт же меня сунул сюда, прости господи!— ворчал Горюнов.— Купил бы я на родине дом, устроил бы постоянный двор... Нет! Жадность поганая! Денег больше захотелось иметь... Што я теперь? Нищий... Уж лучше бы было помереть, как ребятишки глумовские померли. Бедные ребятишки! А как я вас любил-то ведь...— И Горюнов утирал слезы с глаз.

Горюнов не знал, что ему делать. Работать на дороге в эдакой мороз ему не хотелось. Раньше у него была по крайней мере надежда, что он к имеющимся у него деньгам накопит еще хоть рублей пятьдесят или семьдесят — и потом поедет по железной дороге в Петербург, где, по его мнению, с деньгами он мог бы чем-нибудь заняться. Но теперь что он за человек без денег? Теперь у него и охоты не было работать. Но надо же было что-нибудь делать. И он пошел к станции, там рабочие доделывали платформу. Горюнов поздоровался с ними, те молча кивнули головами и сделали между собой нелестное на его счет замечание, состоящее в том, что этот кривой человек, вероятно, накопил порядочно денег, что без работы шляется. Недалеко от них двое рабочих в полушубках стругали балку.

— Бог на помочь!— сказал Горюнов.

Оба рабочие, держа струг в руках, стали глядеть на Горюнова.

— Кажись!.. Ах, вы, христовые!— проговорил вне себя от радости Терентий Иванович, и по заскорузлomu его лицу пробежали две слезинки.

Рабочие были Короваев и Григорий Прохорыч.

Радость всех трех была неописанная, но они пожали только друг другу руки. После расспросов, как живется, Горюнов уселся около них на доски и стал накладывать трубку табаком.

— Ну, а где же, Влас Васильич, твоя молодуха?— спросил Горюнов Короваева робко, боясь услышать неприятное о своей племяннице.

— Какая?— спросил в свою очередь Горюнова с удивлением Короваев.

— Как?.. Мне сказали в М. заводе, што ты ушел с Палагеей...

Короваев улыбнулся и сказал:

— Я сам об ней хотел спросить у тебя... Где она?

— Оказия!.. Как же это?

— Это вон Григорий шел с Лизаветой, а я с ними для компании,— сказал Короваев.

— Я сестру оставил в селе... Потом я встретился с Лизаветой в Прикамске: она кладь там таскала... Ну, она сказала, что Пелагея ушла в город Заводск вскоре, как Панфила стали судить за фальшивую бумажку... Панфила потом выпустили... Я его видел и звал сюда. Хотел идти,— говорил Григорий Прохорыч.

Запечалились земляки. Но горю не поможешь. Рассказов было так много у каждого, что они до вечера проговорили, сидя вместе.

Короваев говорил, что в М. заводе он никак не мог заниматься столярною работою, потому что ему не на кого было работать, и он работал на литейном заводе. Но работа у огня расслабила его силы так, что он пролежал около двух месяцев в больнице. Жизнь в М. заводе ему не нравилась по дороговизне и потому, что он там начинал порядочно попивать, не желая отстать от товарищей, да и работа была такая, что выпить хотелось. Поэтому он никак не мог скопить много денег. Подумывал он и выписать туда Пелагею Прохоровну, которая могла бы купить корову и продавать в городе молоко, чем даже прокармливают себя иные тамошние женщины, но для этого

нужно было непременно иметь свой дом, огород, покос, да и он не знал, понравится ли Пелагее Прохоровне такое занятие. «Тамошние женщины,— говорил Короваев,— сызмалетства привыкли ходить в город, отстоящий от завода в трех верстах, по два и по три раза в день, во всякую погоду. Они женщины бойкие, и у них не пропадет ни одна копейка. А Палагее Прохоровне ко всему этому нужно бы было привыкать». А тут чуть было его не женили: стала за ним очень ухаживать сестра хозяйки, у которой он жил на квартире, и дошло даже до того, что самовольно стала распорядиться его деньгами. Вот поэтому Короваев и решился идти на железную дорогу.

Григорий Прохорыч говорил, что ему тоже не нравилось житье в М. заводе, потому что там много было всякого народа и каждый человек то и дело что хвастался умением взяться за все; в сущности же ленились все, надеясь на других. Кроме этого, в М. так было много воров, что по ночам было опасно ходить от города в завод. Тамошние девицы ему не нравились, потому что предпочитали халатникам сюртучников, наряжались по-городски и вообще, на его взгляд, не могли бы ужиться с одним мужем, тем более что они сами зарабатывали себе пищу и одежду от огородов и коров. Хотя же он и сердился на Лизавету Ульянову, но с тех пор, как он увидел ее на пристани, его тянуло поговорить с ней, так как до нее у него не было там знакомых женщин, в которых бы он мог влюбиться, а у нее тоже там не было приятелей. Мало-помалу они сошлись, но обещались друг другу жениться, накопив капитал на железной дороге, куда пошла с ними и Степанида Власовна с детьми. Но Степанида Власовна испугалась далекого путешествия и осталась с детьми в Поярке.

Вечером все земляки ушли в теплую избу. Изба здесь была светла, просторна и имела большую русскую печь. Это была образцовая изба, которую компании показывали начальству путей сообщения, уверяя его, что здесь помещается большинство рабочих, которых привозят сюда на машине. В избе было несколько женщин, и в том числе Лизавета Елизаровна. Она была говорливее всех, и по голосу ее далеко было слышно. Она тоже обрадовалась Терентию Ивановичу; но известие о смерти отца ее долго печалило: ей уже много приводилось видеть, как здоровые люди умирали скоро.

— Я, дядя, хочу в Петербург. Хвалят тамошнее житье-то. Лизка мне покою не дает,— проговорил Григорий Прохорыч.

— Да как! Што это за жизнь?.. Здесь с голоду помрешь и околеешь, как собака... Да я и одна найду туда дорогу,— говорила Лизавета Елизаровна, лежа с Григорьем, около которого лежали Короваев и Терентий Иваныч.

— А есть ли деньги-то, Гришка?— спросил дядя племянника.

— Мы с Лизкой уж накопили тридцать рублей.

— Да и я тоже думаю,— сказал Короваев.

— У меня были деньги, да украли их. Ведь пятьсот рублей было,— приврал Горюнов.

— Ну, мы дадим, после сочтемся.

— Не хотелось бы мне так-ту, ребята...

— Полно-ко, Терентий Иваныч!.. Я вон тоже на Гришкины деньги ехала сюда,— сказала Лизавета Елизаровна.

— То ты... Нет, я лучше поработаю.

И земляки остались; но прожили только до апреля месяца, потому что сперва захворал Григорий Прохорыч, потом Лизавета Елизаровна выкинула младенца, которого и зарыли в землю, как вещь негодную, на что приказчики не обращали внимания.

В апреле земляки поехали в Питер попробовать: не лучше ли житье в столице?

В ПЕТЕРБУРГЕ

I

Пелагея Прохоровна находит Петербург не таким, каким ей малевали его раньше

Июнь месяц, полдень. Несмотря на то, что идет дождь, деятельность и всеобщее движение не прекращаются в Петербурге. Как и в хорошую погоду, многолюдные улицы полны народом; торгаши булками, рубцами, печенкой, яблоками и другою мелочью стоят около своих подвижных лавочек, накрытых клеенкой; артельщики несут на головах или рояль, или по полдюжине стульев, диваны и тому подобные громоздкие вещи; ломовые лошади, сопровождаемые понукиванием и руганью извозчиков, везут шагом, часто останавливаясь, кули, тюки хлопчатой бумаги, пеньки, железо, машины, ящики с водкой и с пустыми бутылками; бесчисленные городовые, стоя на углах улиц, или отгоняют кого-то, или распекают ломового извозчика за то, что у него упала лошадь или остановился огромный воз не в указанном месте. Из высоких труб фабрик и заводов, по окраинам столицы, поднимается черный дым и потом, рассеиваясь, наполняет и без того душливый воздух смрадом. Реки и каналы запружены барками и судами, из которых выгружают на берега дрова, камни, кирпичи, доски. Много судов и барок медленно пробираются по рекам и каналам дальше. Огромные дилижансы и пароходы битком набиты пассажирами, едущими с дач и на дачи. На Невском не редкость встретить двух мужиков с завязанными бечевкой назад руками и сзади их городского, держащего под левой мышкой книгу, а в правой руке концы бечевочки... Везде движение, суета, восклицания яблочников, шток-фишников, спи-

чечников, татар с халатами, поясами, платками или просто с узлами — и т. п.; треск, не умолкающий ни на одну минуту, жалобный стон и рев фабричных и заводских труб, неслышимый в середине города. Никому, кажется, нет дела до того, что дождь мочит и мочит; только на панелях пешеходы стараются обойти лужи, ругая тех, которые задевают их зонтиками разных объемов, и дворников, которые сметая с панелей грязь и воду, без церемонии задевают метлами по ногам пешеходов. Каменщики преспокойно спускаются и поднимаются с тележками по лесам около недокладенных каменных домов; кое-где приколачивают над окнами новенькие вывески, кое-где поправляют штукатурку и красят стены на домах; там и сям мужики в оборванных поддевках разбивают на мостовой камни, вколачивают один к другому или выбрасывают из ямы на поверхность черную вонючую грязь и выкачивают воду, пробуя, хорошо ли действует водопроводная труба. Без умолку пристают к пешеходам извозчики, беспрестанно ходят вокруг каланчей два сторожа, взглядывая изредка на вывешенные два черных шара. Но никто никому не мешает, всякий идет своей дорогой, ничем не интересуясь, останавливаясь разве там, где много собралось в кучу народа; все куда-то спешит, торопится; на лицах не заметно радости; каждый при своем месте и считает себя находящимся *при деле*.

Поезд, следующий из Москвы, опоздал. Весь двор запружен извозчиками, извозчичьими и городскими каретами; барские кареты стоят особо. Извозчики сидят смирно, толкуя друг с другом; кучера с огромными бородами, покуривая из трубок табак, тоже разговаривают с лакеями и с презрением поглядывают на меньшую братию. По двору ходит несколько городовых. В вокзалах народ, барыни, разодетые по погоде, баре, купцы, купчихи, чиновники и чиновницы, полиция, бедно одетые люди. Некоторые из солидных людей свободно расхаживают по платформе, то и дело натываясь на жандармов, квартальных и городовых. Все эти люди пришли и приехали встречать поезд. И в этой встрече есть две цели: одни встречают родных, знакомых, друзей; другие стараются пожить на счет приезжающих; не говоря об извозчиках, в вокзале находится до сорока квартирных хозяев, которые только тем и живут, что прямо с железной дороги берут к себе на квартиры жильцов.

Но вот показался поезд. Задрожала мостовая по линии железной дороги. Поезд идет тише и тише, наконец он остановился. Весь народ, бывший в вокзалах, рванулся на платформу, извозчики скучились на подъезде и перед подъездом. Народ стал выходить из вагонов,— и боже мой! сколько в течение четверти часа вышло из них народа, *народа простого!* И куда денется весь этот простой народ — мужики, бабы, девки?.. Все суетятся; разиня рот, разыскивают своих товарищей по деревням, свою родню, хватают за руки или полы полушубков, кацавеек, поддевок... Слышатся восклицания вроде следующих: «Митрей! а Митрей!.. Не видал ли, любезный, мою бабу?.. О, штоб тебе околеть! сказано — держись за меня! Держи крепче мешок-то: оборвут!» Каждый из приехавших простых людей что-нибудь да имеет при себе: кто котомку или попросту полушубок, обмотанный ремнем и надетый на спину, кто мешок, кто пилу, кто лоток — и т. п. Но вот мало-помалу платформа опустела, опустел и вокзал.

Около ворот на панели стояла молодая женщина с узлом под левой мышкой. По всему видно было, что она только что приехала и не знает, куда идти. Казалось также, что ее все удивляло: и большие дома, построенные всплошную, с вывесками сверху донизу, точно облепленные картинками, и треск, и многолюдство, и крики торгашей под самым ухом, предлагавших и спичек, и яблоков, и других сластей... Она стояла разиня рот, ничего не понимая; голова ее кружилась.

— Прикажете отвезти-с? — надоедали ей извозчики.

— Што стоишь-то? — крикнул на женщину городской, должность которого состояла в том, чтобы стоять у ворот Николаевской железной дороги, и который, видя стоящую женщину с узлом, хотел развлечься.

Женщина очнулась и вдруг спросила:

— А где у вас тут бог-то?

— Не видишь, што ли! Слепла.— И городской показал ей на Знаменье.

Женщина, отличивши, наконец, церковь от больших домов, перекрестилась и поклонилась на церковь.

— Скажи, ради христа, куда мне идти? — спросила опять женщина городского.

Этот вопрос немного озадачил городского, но он думал недолго.

— Всякой дряни в столицу хочется!.. а дороги не знает! Ты, поди, ехала с кем-нибудь?

— Как же! Только не понравились они мне... Укажи, ради христа, я тебе гривну дам.

— Иди на постоялый.

— Да тут ко мне приставали какие-то фармазоны: мастеровые — не мастеровые, кто их знает. Так они просили с меня тридцать копеек в сутки.

— Как зовут?

— Меня-то?

— Ну да! — прикрикнул городской.

— Палагея Мокроносова.

— Што за узел? Развяжи-ко?!

— Стану я для тебя развязывать!! Ишь, што выдумал!

— Ну-ну!! В полицию сведу. Извозчик?! — крикнул вдруг городской и потом прибавил: — узнаешь!

Пелагея струсила и стала развязывать узел. В узлу оказалось два сарафана, одно ситцевое платье и шерстяной платок.

Пока она показывала и трясла свои вещи, народу вокруг нее и городского собралось много. Народ этот был большею частью простой, занятой, но останавливающийся там, где собирается в кучу человек десять.

Народ говорил:

— Воровку поймали!

— Господи, какая молодая, и...

— Ну-ну!! Пошли! Чего не видали? — крикнул на народ городской. Но народ только попятился от городского. Куча росла.

— Паспорт?! — спросил вдруг у Мокроносовой городской.

— Ишь, выдумал!! Он у меня далеко... вот где. — И она указала на грудь.

— Доставай!

Мокроносова засунула руку за пазуху и с большим усилием достала платок, на котором было нарисовано сражение при Синопе. Развернувши платок, она подала городскому паспорт. Городской стал читать про себя, то есть не поднимая губ и не открывая рта. Несколько голов заглянули на паспорт и с обеих сторон головы городского.

Просмотревши паспорт и проверивши его с личностью Мокроносовой, городской возвратил ей его, сказал: ступай! — и пошел прочь.

Народ тоже разбрелся в разные стороны.

«Што же это такое? што ему нужно было от меня? и што он за человек такой есть? Такой оказии со мной еще нигде не случилось!»— думала Пелагея Прохоровна.

А народ идет и едет по площади по разным направлениям; треск, стук, крики сливаются в одно; на домах пестрят вывески, точно картинки; извозчики, видя стоящую с узлом женщину, то и дело предлагают свои услуги прокатить ее по Питеру за полтинничек; прохожий народ то и дело сталкивает ее то с панели, то в лужи на панели. Голова закружилась у Пелагеи Прохоровны: все ей кажется ново, непонятно, удивительно.

— Куда я приехала? Много я городов видала... а здесь... Што же это такое?

— Московские калачи хороши!— прокричал пожилой мужчина, неся на голове корзину, и, обратясь к Пелагее Прохоровне, сказал ласково:— не желаете ли купить?

И, не дожидаясь ответа, он снял с головы корзинку и откинул клеенку. В корзинке оказались булочки французские, русские и польские.

Пелагее Прохоровне хотелось есть. «Отчего не купить и не попробовать питерских булок?»— подумала она и стала рассматривать булочки.

— Какую желаете?.. эти московские, эти французские, это пеклеванный.

— Што это за пеклеванный?

— Мука такая есть. Господа его очень любят. В трактирах все тоже пеклеванный.

— Значит, питерской.

— Именно! И дешевле против этих и сытнее будет.

Пелагея Прохоровна купила целую булку и спросила у торгаша: куда ей идти? Тот, расспросив ее, откуда она и когда приехала, указал путь.

— Вот теперь ты поверни налево, будет Лиговский канал. Направо через канал будет идти переулок, ты в переулок не ходи, а иди прямо. Тут ты увидишь постоянный двор, только туда не ходи, потому там извозчики живут, а иди дальше. Там спросишь: где, мол, постоянный двор, што для проезжающих с машины...

— Покорно благодарю.

И Пелагея Прохоровна пошла. Дождь в это время перестал идти.

Когда она вошла по указанию налево в улицу, кар-

тина представилась ей уже другая: дома попроще, мало красивых вывесок, много питейных заведений; из дворов несет чем-то нехорошим; мало идет и едет народа. Но главное, что ее заняло, — это Лиговский канал, посреди улицы, с мутною вонючею водою и огороженный деревянными перилами. Здесь было много грязи, проход через канал — узенький, деревянный мостик. Налево деревянные тротуары с провалившимися досками, а кое-где просто канава. Пелагея Прохоровна поглядела в канаву. Она забыла слово канал, потому что не понимала его, и поэтому думала, что это река. Но какая же это река: из нее так и несет чем-то нехорошим, и узенькая она, и вода в ней, должно быть, стоит, ни судов, ни лодок нет на ней.

— Этот калашник надул меня: потому какой это Питер?

Она оглянулась назад. Там дома, как на картинках писано, — красивые... Ишь там как трещит и гудет... И она пошла назад туда, где трещит и гудет. Навстречу ей шел мужчина, держа под мышкой фунта два черного хлеба, а в правой руке булку и печенку, которые он откусывал понемножку. Он был уже выпивши и шел неровно. Одет он был в оборванный полушубок, синие изгребные штаны, в лапти и меховую рваную во многих местах шапку, промокшую до того, что с нее и теперь изредка капали на лицо капли, которые, протекая по лицу до бороды, оставляли на той или на другой щеке черные полоски. Он прошел мимо Пелагеи Прохоровны молча, даже посторонился от нее.

«Это из наших! Непременно. Бурлаки у нас так-то ходят», — подумала Пелагея Прохоровна и пошла за ним.

Немного погодя она догнала этого человека.

— Дядюшка! — сказала она, став с ним нога в ногу.

— Што? — сказал он охриплым голосом, глянул на нее — и потом, мотнув головой, стал глядеть на мостовую.

— Питер ли это?

— Знамо, Питер.

— Где бы мне остановиться?..

— Остановиться?.. Известно, где люди останавливаются... — Он глянул на нее и опять стал глядеть на мостовую.

— Укажи ты мне дорогу.

— И укажу! провалиться... —

— Да ты мне скажи, куда идти-то?

— Куда идти?! Подем к Артемьевне... Я у ней живу.
— А есть ли там бабы?
— Как не быть бабам... А ты, брат... Кабы мне такую бабу!..

— Пустое говоришь. Ты доведи до места. — Они пошли.

— Разве я пес?.. Нет, у меня душа христианская... Я к слову: потому у меня жена в деревне. Да какая она теперь жена мне?

И крестьянин остановился.

— Почему теперь я в Питере? — спросил он сердито. Лицо его подернуло, брови сдвинулись.

— Все вы таковы. У вас все только жены виноваты.

Крестьянин махнул рукой, и из руки выпал недоеденный кусок булки, который и попал в лужу. Крестьянин взял его, обтер грязь полшубком, поскоблил пальцем и откусил.

«И здесь тоже, видно, хорош народец», — подумала Пелагея Прохоровна.

Крестьянин вошел во двор одного из деревянных домов.

Пятиоконный деревянный дом, обшитый тесом, с питейным заведением, принадлежал, как гласила голубая дощечка над воротами, купчихе Фокиной. Он стоял особняком от других домов, потому что с одной стороны находился дровяной двор с возвышающимися около самого забора и заслоняющими с одной стороны свет к дому рядами еще не распиленного на дрова леса, с другой же стороны находилось пустопорожнее место, на котором, впрочем, купчиха Фокина, летом садила капусту и картофель. Как перед домом Фокиной, закоренелой староверки, так и перед дровяным двором и пустопорожним местом вместо тротуара существовала канава, которая, впрочем, только отчасти походила на канаву, но зато к каждым воротам были сделаны деревянные мостки. В настоящее время, в дождливую погоду, около низеньких окон дома нельзя было вовсе ходить: хотя грязи было не очень-то много, но почва была такая, что ноги скользили. Несмотря на то, что наши староверы чистоту любят, двор купчихи Фокиной не оправдывал этой славы: он был очень грязен и вонюч до того, что в нем пахло как из бочки с протухлой рыбой или говядиной. Впрочем, это объясняется, может быть, тем, что Фокина сама в доме не

жила, а приезжала в него только изредка. Кроме дома, во дворе был флигель с двумя окнами по бокам и дверью в середине, выходящими к воротам.

Помещение в этом флигеле тоже не отличалось изяществом; войдя в дверь, даже простой человек мог заметить, что внутренность его устроена с расчетом. А именно: большая изба с двумя окнами — одно недалеко от двери к выходу, другое налево. Но с первого раза нельзя отличить, изба ли это или горница: во-первых, потому, что в ней не было полатей; во-вторых, направо, в углу на заднем плане стоит *чугунка*, и от нее проведена через все помещение железная труба, идущая над дверьми направо, в помещение хозяйки; и, в-третьих, в этом помещении нет ни нар, ни скамеек, ни стола и ни стула. Прокоптелые сырые стены, когда-то оклеенные желтыми обоями, которые в иных местах уже отпотели и отпали, а во многих местах висят клочками; грязный, никогда не моющийся пол; в углу маленький образок, который с первого раза трудно заметить; серый потолок с дранками крест-накрест и штукатурные карнизы; сырой табачный и иной неприятный воздух — вот и все в этом помещении, которое содержательница флигеля, солдатская вдова Софья Артемьевна называла постоялою избею. Так и нам следует называть это помещение.

Когда Пелагея Прохоровна вошла в эту избу, она заметила, что несколько мужчин в поддевах, зипунах, а более в полушубках, различных лет, высокие и низкие, сидели на полу около стен, точно собирались петь «Вниз по матушке по Волге». Такое предположение, впрочем, в настоящий момент было неверно, потому что они говорили почти все разом, передавая глиняные и деревянные трубки с коротенькими чубуками соседям. Подальше от двери лежало четверо крестьян во всем как есть, подложивши под головы свои узелки; в переднем и противоположном ему углах лежало несколько котомок. Тут же можно было заметить кирку, пилу, лоток. Из хозяйской комнаты слышались крики женщин.

— Ермолау Евстигнееву! — крикнуло несколько голов вошедшему крестьянину. Несколько человек слегка приподняли шапки. Пелагея Прохоровна ушла в хозяйскую половину.

— Ну, как дела?

— Нашел ли место?

— И не спрашивайте!.. Народу нонича страсть. На Сенной-то нас собравши, почитай, была ста два. Дождем так и мочит. Ну, стояли-стояли, топтались-топтались, — хоть бы кто!!

— Нет?!

— Провалиться!

— Надо по заводам походить.

— Да што на заводах-то делать? На фабриках — другое дело.

— На суда бы.

— То-то, братцы; там всё стояли, кои на суда... Вот в маляры да в каменщики спрашивали. А таких, штобы на суда, — не было. Народ галдит: чать, поздно! Пошли к рекам — в полной препорции! судов страсть — и народу страсть.

— Мы тоже по рекам-ту ходили — народу в препорции. Надо рядиться песок плавить или хоша камень.

— Вре?!

— Семьдесят пять надить просить. Мы в прошлое лето с дядей Митрием ходили в Питер, так у него деньги были, он и купил лодку — семьдесят пять выложил да нанял четырех работников: так он еще в барышах остался и лодку имеет. Только помер теперь.

— А лодка?

— Што лодка? я ходил к тому месту, где мы ее под караул оставили, караульщик и не дает. «Дай, говорит, такую бумагу, што лодка тебе предоставлена, и плыви, говорит, с ней по Неве». А у меня бумаги нет. Ночевал я там, а утром уж лодки и нет. Ну, что ты поделаешь?

— Ничего не поделаешь. Известно, простота не доводит до добра.

Помещение хозяйки — кухня и комната, как хотите называйте его, — было уже мужского, которое отделялось от него перегородкой до потолка и имело изразцовую печь, похожую на русскую. Все пространство, вровень с печкою, было занавешено ситцевой драпой занавеской, сквозь которую виднелись кровать и комод. В переднем углу стоял стол со шкафом; на столе красовался самовар, не чищенный более месяца; по обеим сторонам стола стояли три стула с решетками. Над столом, в углу, укреплено три образа в фольговых украшениях, которые от

времени и от копоти уже отлиняли. Стены оклеены голубыми обоями, которые хотя и прокоптели, но еще целы. На стене, противоположной дверям, висит небольшое зеркальце и две картинки, из которых одна изображает девочку, держащую в руках книгу, а другая немца, отправляющегося на охоту с ружьем и двумя собаками. Потолок здесь выштукатурен, пол чистый.

В то время как в это помещение вошла Пелагея Прохоровна, шесть женщин в коротеньких шугайчиках и полшубках, в сарафанах и в платках на головах, от восемнадцати до сорока пяти лет, сидели на своих узелках в ряд на полу у стены, закусывали кто хлебом черным, кто белым хлебом с соленым огурцом и селедкой. Тут же была и хозяйка, низенькая, толстенькая женщина, с распухшим красным лицом, с широким ртом, с подбородком, заплывшим до того, что с первого взгляда казалось, нет ли у нее тут грыжи, с толстым красным носом, свидетельствующим, что она в день употребляет не малое количество водки, с маленькими карими глазами, то и дело перебегающими с одной женщины на другую и успевающими заглянуть в мужское помещение. Одета она была в это послеобеденное время в старенькую черную терновую юбку, которую жильцы называли платьем, потому что она носила еще такую же черную кофточку с широкими, немного поменьше поповских, рукавами. В ушах ее сережек не было; но на левой руке, на указательном пальце, находилось постоянно кольцо польского серебра — знак ее довольства.

Пелагея Прохоровна помолилась на образа и поклонилась хозяйке и женщинам, которые при входе ее в комнату замолчали.

— Што тебе? — спросила хозяйка охрипшим голосом, наливая в чашку кофе.

— Пусти на квартиру.

— Тесно! — ответила хозяйка и принялась пить кофе, не спуская глаз с Пелагеи Прохоровны.

Пелагея Прохоровна ступила шаг вперед и оглядела женщин. Женщины всё незнакомые: в том вагоне, в котором она ехала, этих не было.

«И куда это народ делся? Сколько ехало баб одних, а здесь ни одной нет», — подумала она и обратилась снова к хозяйке:

— Скажи, пожалуйста, хозяйюшка, Питер ли это?

Хозяйка засмеялась, разлила кофе и закашлялась так, что принуждена была выйти вон, во двор; женщины захохотали; щеки Пелагеи Прохоровны покраснели.

Оглушенная дружным хохотом всех женщин, Пелагея Прохоровна ничего не нашлась сказать. Она чувствовала, что ее щеки горят. «Нет, это не Питер», — подумала она и взглянула на женщин; женщины шепчутся и хохочут. «Экие гадкие!» — подумала Пелагея Прохоровна и пошла было к двери, но ее ухватила одна женщина за сарафан.

— Ты куда приехала-то? — спросила она Пелагею Прохоровну, закрывая рот рукою, чтобы не хохотать. Наречие у этой женщины было тверское.

— Знамо, куда: в Питер везли на чугунке, — сказала сердито Пелагея Прохоровна.

— А вместо Питера ты куда попала?

— К чертям! — крикнула Пелагея Прохоровна.

Женщины снова дружно захохотали.

Пелагея Прохоровна вышла во двор и столкнулась с хозяйкой.

— О, штоб тебе!.. Чуть-чуть из-за тебя не подавилась! — крикнула хозяйка на весь двор.

— Ты это куда пошла-то? — крикнула она снова, увидав, что Пелагея Прохоровна идет с узлом к воротам.

— Уж я в другое место.

— В другое? Да ты заплатила ли мне за постой-то? — И хозяйка подошла к Пелагее Прохоровне.

— За какой?

— А вот за какой! — И она толкнула Пелагею Прохоровну к флигелю.

В это время из дому в оба окна смотрел народ — в одно мужчины, в другое женщины.

— Да ты што дерешься-то всамделе? — крикнула Пелагея Прохоровна и замахнулась, но хозяйка успела отвернуться.

— Хошь, я городского позову?

— Зови хошь черта! — Пелагея Прохоровна пошла.

— Послушай, белоручка, куда ты пойдешь-то? — сказала хозяйка ласково.

— Куда-нибудь... Только с такой драчуньей и с такими зубоскалками я ни за что не останусь.

— Ладно...

Пелагея Прохоровна вышла за ворота и задумалась: куда ей идти, направо или налево,

В это время из кабака вышел молодой здоровый кабатчик, с длинными, гладко причесанными волосами, с небольшими усиками, закрученными кверху, в ситцевой белой рубашке, в жилетке, в драповых брюках и в белом холщовом фартуке.

— Дура ты, дура оголтелая! Ты должна спросить добрых людей, где можно пристанище иметь. Ты посмотри, все ли у тебя цело в узлу-то! — проговорил он скороговоркой, обращаясь к Пелагее Прохоровне, и Пелагея Прохоровна подумала, что и в Питере есть добрые люди.

— Ну, что ты стоишь-то? Ты посмотри: все ли цело в узлу-то.

— Да я его все в руках держала.

— Должно быть, ты еще не знакома с питерскими мазуриками?

На улицу из двора вылетела хозяйка Артемьевна и, остановившись около самого крыльца перед кабатчиком, плюнула ему в лицо и с яростью проговорила:

— Подлый ты человек! Мазурик!!. Кто воровские вещи принимает?

— Ты сперва уличи... У кого, как не у тебя, по ночам обыски делают. Слушай, баба: иди наискосок; там ты будешь спокойнее, — проговорил кабатчик, обращаясь к Пелагее Прохоровне, и потом ушел в кабак.

Артемьевна рванулась было в кабак, но кабатчик толкнул ее с крыльца, проговорив с достоинством, приличным хозяину питейного заведения:

— Куда?!. Ты сперва в баню сходи, потом лезь ко мне.

Ярость Артемьевны была велика. Она несколько минут топталась перед крыльцом кабака, ворча как собака, не могущая изловить кошку, забравшуюся на крышу после большой царапины, которою та угостила собаку.

Пелагея Прохоровна не стала дожидаться конца этой сцены. Она была рада, что избавилась от такой хозяйки, у которой и в самом деле, может быть, случаются нехорошие вещи. Ее еще все удивляло: отчего это здесь и дома дрянные, и народу мало, и народ какой-то нехороший, точь-в-точь как в каком-нибудь уездном городишке... А ей дорогой говорили, что Питер отличный город, что в нем и грязи никогда нет и народ вежливый... И все оказалось напротив. Даже и народ, простой народ, говорит

как-то иначе, непонятно. Тут и толку никакого не добьешься... Знала бы, не поехала бы такую даль! Уж если начин такой, то и жизнь здесь, поди, худая... хорошо, видно, там, где нас нет!..

Однако уж дело сделано, денег много истрачено на дорогу и в дороге, и теперь у Пелагеи Прохоровны денег только пятьдесят семь копеек.

С такими мыслями Пелагея Прохоровна подошла к каменному двухэтажному дому в пять окон, с подъездом в середине и с двумя лавками в подвале, из коих в одной продавался хлеб, овощи и другие съестные припасы, а в другой — водка. Пелагея Прохоровна поглядела кругом — чуть не в каждом доме красуются на дверях вывески с словами: «Распивочно и навynos».

«Вот где пьяное-то царство!» — подумала Пелагея Прохоровна и вошла во двор.

Двор большой, грязный, вонючий; здесь пахло еще хуже двора купчихи Фокиной. Но зато здесь несколько извозничьих колод, опрокинутых, изломанных; на заднем плане построены давным-давно какие-то клетушки с запертыми на замки дверями. Налево, против каменного дома, выходил деревянный флигель с пятью окнами на улицу, двумя во двор и с крыльцом.

Войдя в темные сени, Пелагея Прохоровна услышала говор нескольких голосов, мужских и женских. Постучалась налево — никто не отпирает, но за звонок она не взялась: она еще не понимала этой мудрости.

— Тебе кого? — спросила ее вышедшая из правых дверей худощавая, высокая пожилая женщина.

— Да на постоялый...

— Разе тут постоялый? Не слышь, што ли, в которой стороне мужичье орет? — проговорила эта женщина сердито.

— Можно туда идти-то? — спросила смиренно Пелагея Прохоровна.

— На то и постоялый, штобы народ шел... Я сичас приду.

Женщина позвонила, и когда ей отворили дверь налево, она вошла туда.

Большая комната с двумя окнами против двери и с неоклеенными стенами; двое широких нар по правую и по левую сторону с проходом между ними, имеющим вид площадки; в углу большая круглая печь, обитая железом

сверху донизу; далее дверь в темную комнату с русской печью, вероятно кухню, — вот постоянная изба, куда вошла Пелагея Прохоровна. На обеих нарах сидели в разных позах и лежали — направо мужчины, налево женщины. Мужчин было человек двадцать, женщин до десятка; как те, так и другие говорили, и поэтому в избе говор происходил неописанный, так что сразу нельзя было понять, в чем дело или о чем люди толкуют. Но хотя здесь были нары и на полу лежать не приводилось, зато табачный дым заставлял кашлять, и несмотря на то, что в избе было два окна, в ней от дыму было темно.

— Эх их, как накурили, словно в казарме! — сказала Пелагея Прохоровна и закашлялась; потом, отмахивая правую рукою дым, подошла к женщинам.

— А! суседка! А я тебя искала-искала... Ну, полезай! — проговорила радостно одна молодая женщина с веснушками на лице, в розовом шугайчике и ситцевом платке на голове; она подвинулась.

— Куда?! И так тесно.

— Пусть на мужское отделение идет, — проговорили две женщины.

— Со мной в одном вагоне ехала.

— Мало што!..

— Бога вы не боитесь. Полезай!!

Пелагея Прохоровна присела к женщине, но та уговорила ее залезть на средину нар для того, чтобы *устроиться*, — «потому-де, может еще с машины народ найдет, и тогда, пожалуй, придется под нары лезть». Пелагея Прохоровна заметила, что шесть женщин сидят у самой стены на своих узелках, увидела свободное место, полезла и тоже села на свой узелок. Пришла хозяйка, Марья Ивановна, та самая высокая, худощавая женщина, которая встретила ее в сенях.

— А где тут новая? — спросила она, прищурила глаза и стала разглядывать и считать женщин.

— Здесь! — Пелагея Прохоровна встала.

— А!!.. Ловко ли?

— Ничего. Я вон тут наискось была, так там на полу...

— Не-ет?! — произнесли несколько раз женщины, удивляясь.

— Это уж такая женщина! Она бы и не имела жильцов, потому што же за сиденье или спанье на полу, да ейной любовник на машину ходит и оттуда народ зама-

нивает... Ну, баба, надо с тебя за квартиру три копейки. Здесь, в Питере, сами жильцы знают, што деньги нужно вносить вперед.

— Сколько же? — спросила Пелагея Прохоровна.

— Да уж мы со всякого берем по положенью — три копейки. Ночуешь — ладно, не ночуешь — деньги не возвращаются, было бы тебе это известно. Потому я женщина бедная, за квартиру-то двадцать рубликов в месяц!

— Што ты? — удивились женщины.

— Што делать!

Пелагея Прохоровна отдала три копейки.

Хозяйка положила монету в карман своего ситцевого платья и посоветовала Пелагее Прохоровне иметь на всякий случай поближе паспорт.

— Потому ночью, может, полиция придет, она часто по ночам шляется, воров да беглых разыскивает. Прежде бог миловал, спокойно было на этот счет, да черт подсунул к нам в соседи эту Артемьевну. Раз у ней беглого из тюрьмы нашли — ну, стали и к нам ходить с тех пор.

— Да ведь она почем знала, что он беглый?

— А отчего она паспорта не спросила? Теперь тоже у них с кабатчиком постоянно ругань; она своим мужикам говорит: не берите у нашего кабатчика водку, потому-де нехорошая та водка, с дурманом; ну, а мужика долго ли застращать, они и идут в другой кабак, а он за это отгоняет от нее жильцов: она-де воровка, у нее постоянно по ночам обыски делают...

Пелагея Прохоровна стала есть пеклеванный хлеб. Пожевавши немного, она выплюнула на ладонь, посмотрела и понюхала хлеб.

— Бабы! Какой это я хлеб купила? — проговорила она, с удивлением смотря на женщин и часто отплевываясь.

— Ну-ко?

Пелагея Прохоровна передала хлеб одной женщине. Хлеб пошел гулять по наре. Одни из женщин находили этот хлеб хорошим, другие никуда не годным и спрашивали:

— Где купила?

— Какой-то булешник продал там, недалеко от машины. Он еще говорил: господской, говорит, самый питерский.

— Ну-ко?

Опять пошел хлеб гулять и прогулял до того, что мало-помалу от него остался маленький кусочек.

— Как вам, бабы, не стыдно! — сказала Пелагея Прохоровна, получив кусочек.

— Нехороший хлеб! Напрасно только деньги истратила.

— Нет, хлеб ничего; кабы анису поменьше, еще бы лучше был! — говорили женщины.

— Однако, бабы, не мешало бы похлебать чего-нибудь.

— Я вот цельную неделю ничего горячего в рот не брала.

— Марья Ивановна, нет ли чего похлебать?

— Нету. Сама двои сутки ничего для себя не варила. Кофеем питаюсь.

— А где бы эдак похлебать?

— Не знаю... Уж, верно, до тех пор не придется, как на места поступите.

— Экое дело!.. А ты, Прохоровна, непременно сведи нас туда, где принимают на места, — сказала одна молодая, худенькая, низенькая женщина лежащей на животе, в углу, длинной женщине, ноги которой уходили под стол. Эта длинная женщина повернула от стены лицо молодое, но желтое, и проговорила:

— Ох, не могу! Живот так и колет.

— Ты бы клубок подложила.

— Ох, клала коробочку, — не действует.

— И с чего это заболел-то?!

— Должно быть, с селедки: такая нехорошая попалась.

— Бабы! хоть бы капусты похлебать. Марья Ивановна, одолжи чашки и ложек. Мы заплатим.

Хозяйка заворчала, но все-таки сжалилась над бедными женщинами, дала им бутылку под квас, большую деревянную чашку и пять ложек деревянных, сказав при этом: смотрите, не изломайте! По получении этих вещей женщины учинили складчину и командировали одну из своей среды за капустой, квасом и солеными огурцами.

Надо заметить, что из числа этих одиннадцати женщин только одна бывала в Петербурге, а именно та, которая всех длиннее и лежит на животе в углу. Дарья Прохоровна своей фамилии не знала, и в ее паспорте

значилось; крестьянка Дарья Прохорова, замужняя,— а в паспорте ее мужа значилось: крестьянин Конон Дорофеев, женатый. Дарья Прохоровна жила в Петербурге два года, но в это время ей Петербург так опротивел, что она воротилась в деревню. В деревне она прожила года два и вышла замуж за молодого крестьянина, у которого был в доме хромой отец и сестра-вдова с ребятами. Этот молодой крестьянин с другими крестьянами на лето уходил на заработки в Петербург. Так он и нынче ушел еще в апреле месяце, а в конце мая жена получила письмо, что ее муж в больнице. Дарья Прохоровна испугалась, оставила своего шестимесячного ребенка и маленьких сестренек на попечение золовки и поехала в Питер. Мужа она нашла в больнице; он только что начал поправляться. Поэтому она решилась не уезжать из Питера до тех пор, пока не выздоровеет муж. Но вот она вчера целый день ходила по старым местам, спрашивала лавочника об местах, но утешительного мало: сегодня ходила в Никольский рынок — тоже неудачно. Остальные женщины, как и Пелагея Прохоровна, приехали в Петербург в первый раз вчера и сегодня. Две приехали с мужьями (тоже в первый раз) из Тверской губернии. Мужья хотят торговать чем-нибудь, и с ними три сестры, которым на родине делать нечего, так как на кирпичном заводе, где они раньше работали, теперь работы стало очень мало. Остальные две девушки — одна из Новгородской, а другая из Витебской губернии; сестры этих девушек живут тоже в Петербурге, а они раньше работали на фабриках и жили в городах. Две женщины, одна из Калужской, а другая из Костромской губернии, были солдатские жены, но мужья их писали им редко откуда-то издалека, и они жили в губернских городах, а потом вздумали попытать счастья в Петербурге.

Мужчины так накурили махоркой, что у женщин начали разбалываться головы, и они стали жаловаться друг дружке на головную боль, но ни одна не понимала причины. Наконец кашель стал душить всех женщин. У Пелагеи Прохоровны тоже разболелась голова, и она закрыла платком рот.

— Ты што закрываешься-то? — спросила ее соседка.

— Смотри, што дыму-то от табачища... От него, знать-то, и голова болит! Им што: они напьются водки и курят!

Женщинам этого было достаточно: они поняли причину головной боли. К тому же редкий из мужчин не был выпивши. Они закричали на мужчин, но тех унять было трудно.

— Мы здесь сами себе господа, денежки за фатеру наравне платим.

— Можно, я думаю, и на улице курить.

— Не замай! И так дома-то жены нам все уши прожужжали. Здесь-то нам и повольготнее.

— Мы вам не мешаем,— сидите, курицы, на яйцах.

— Што с ними, с дураками, говорить.— И сказавши это, одна женщина отворила дверь. Дым немного вышел, но против такого самоуправства восстала Марья Ивановна.

— Кто вам приказал дверь отпирать? У меня там благородные люди живут.

— Што нам коптеть тут? Отчего у те окна не отпираются и отдушин нет?

— Идите на улицу, теперь лето.

— Ну, и Питер! — заметила с сердцем Пелагея Прохоровна, не зная, что и как возразить хозяйке.

Стали хлебать капусту с квасом. Квас и капуста оказались нехорошими, огурцы гнилые; но на тощие желудки и это было слава богу.

Мужчины то уходили, то приходили. Были тут и посетители, которые говорили, что в Питере житье год от году хуже, и рассказывали о своих делах. Женщины, особенно Пелагея Прохоровна, вслушивались в эти разговоры. Разговоры были до того невеселые, что не одна женщина призадумалась над тем: что-то с ней будет! не худо ли она сделала, что поехала в Петербург, который ей там, в глуши, казался прекрасным местом, в котором, как она слышала, умирать не надо? И зачем эти самые крестьяне, жившие в Петербурге, испытывшие жизнь петербургскую, обманывали их?

— Не врут ли они? — спросила Пелагея Прохоровна соседку.

— Кто их знает? Только што же им врать-то... А не погуляем ли по Питеру?

— Нет, еще заблудишься.

После скудной трапезы женщины сидели немного. Они легли и лежа слушали толки мужчин. Однако сон брал свое, и Пелагея Прохоровна уснула.

Когда она проснулась, было темно. Мужчины галдели, а двое пели:

Ах, московская дорожка,
Шириною два аршина.
По ней бегают машины —
Настоящий соловей!
Не качает, не трясёт —
Словно вихорем несёт...

Но Пелагею Прохоровну не интересовала эта песня, у нее болел живот. Соседки охают. Долго крепилась Пелагея Прохоровна и тоже заохала.

— Што, живот?.. Это с капусты да с огурцов,— проговорила соседка.

— Што и есть-то мы будем! с рыбы живот болит, с капусты тоже! — проговорила другая соседка.

— Да будь он проклят, этот Питер... Хоть бы водки выпить с перцем! — сказала Пелагея Прохоровна.

Она не могла уснуть до утра. Утром пошла она в заведение — заперто.

Был какой-то праздник, и водки нельзя было достать до окончания обедни.

Пелагея Прохоровна захворала.

II

О том, как и где в Петербурге бедные женщины нанимаются в работу

Мужчины и женщины рано разбрелись по Питеру из избы Марьи Ивановны. Женщины, в том числе и оправившаяся Пелагея Прохоровна, пошли на Никольский рынок *продаваться*, как они выразили Пелагее Прохоровне свое желание наняться в работы. С собой они захватили и узелки. Мужчины тоже, захвативши свои котомки, мешки и инструменты, у кого какие были, пошли на Сенную *наниматься*. Изба опустела; в ней не было ни одного узелка, и только сор, хлебные и огуречные корки и табачный дым давали знать вновь вошедшему жильцу, если бы такой появился, что здесь *Русью* пахнет. Пелагея Прохоровна осталась одна, потому что и хозяйка куда-то ушла, затворив двери в сенях на замок. Невыносимо скучно сделалось Пелагее Прохоровне; много она передумала в отсутствие хозяйки, длившееся часа два. Она думала и о том, что-то с нею дальше будет, и о том, что

где она ни жила — везде было плохо. Из виденного ею во многих городах, и даже здесь, в Петербурге, она смутно понимала, что едва ли есть где на земле такой уголок, где бы хорошо и весело жилось. Но отчего это? Кто в этом виноват? Она было подумала, что виноваты мужики тем, что пьянствуют и не берегут деньги, но в жизни она видела совсем не то: она, трезвая женщина, начинала мало-помалу приходить к тому заключению, что пьянство происходит не от баловства, а совсем от другой причины. Ее отец всегда пил по неделе после того, как его наказывали розгами. Ее муж пил всегда после ссоры с начальством. В вагонах мужики ехали трезвые — отчего же они в столице напились все до пьяна? И тут есть какая-нибудь причина. Какая же причина? Пелагея Прохоровна доискиваться не стала, потому что мысли ее приняли другой оборот. Ее теперь не удивляла ни грязь, ни вонь петербургских улиц, ни Артемьевина, ни эта, Марья Ивановны, постоялая изба; ее удивило то, как это бабы пошли на рынок продаваться? Правда, они объяснили ей вскользь смысл этого слова, но зачем же именно продаваться, когда человек пришел в Питер для того, чтобы нажить деньги? Нет ли в этом слове нехорошего чего-нибудь? Ах, как ей самой хотелось поскорей побывать на этом рынке и узнать доподлинно суть дела! Да и неужели иначе нельзя найти работу?

Пелагея Прохоровна присела. Живот болит; в избе душно. Солнце ярко освещает двор.

«Тут совсем околеешь! Нет, не утерплю я: пойду как-нибудь на этот рынок».

Вошла хозяйка.

— Ну, што, белоручка?

— Ох, не могу!

— Вижу я, ты очень нежного воспитания. Вон у баб тоже животы болели, да они пошли продаваться.

— Пойду и я. Далеко рынок-то этот?

— Ты бы еще до вечера пролежала: гляди, где солнце-то! А до рынка-то, пожалуй, часа полтора будет ходьбы... Што, у тебя, видно, много денег-то?

— Марья Ивановна... Напрасно ты обижаешь меня. Бог с тобой! Виновата ли я, что пища у вас здесь нехорошая?

— Э-э! Ко всему надо привыкагь. Подмети-ка лучше избу-то, чем так сидеть.

И Марья Ивановна принесла из своей кухни метлу.

Пелагея Прохоровна начала мести, но хозяйка, посмотрев на нее, с сердцем выхватила метлу и сказала:

— Я так и поняла, что ты белоручка! А тоже хочет в людях жить. Поди ложись лучше на свое место.

Пелагея Прохоровна не стала возражать и легла. Хозяйка тщательно вымела пол, sprыснула его водой и опять вымела. После этой операции она сходила за кипятком, который принесла в большом медном, почти черном чайнике, и уселась в избе пить кофе, севши за стол на маленькую скамеечку, которую она притащила из кухни.

— Хочешь кофею? — спросила она Пелагею Прохоровну.

— Покорно благодарю; я его отродясь не пивала.

— Ты выпей, легче будет.

— Нет, не хочу я этого пойла.

— А здесь ты должна привыкать ко всему. Если ты поступишь в кухарки или прачки, тебе будут давать кофею. Куда хочешь девай; таково уж здесь положенье.

Пелагея Прохоровна попросила Марью Ивановну разъяснить ей, что значит ходить на Никольский рынок продаваться. Марья Ивановна, находясь в хорошем настроении и имея свободное время, объяснила подробно этот вопрос. В чем дело — читатели скоро узнают.

Солнышко манит на улицу; в избе душно, несмотря даже и на то, что Марья Ивановна отперла дверь в сени; без дела скучно. Вошла Пелагея Прохоровна во двор, присела на крылечко, солнце так и палит, как из печи; во дворе душно, тяжело дышится, в горле першит.

«Нет, у нас не в пример лучше. У нас если жарко — окно откроем, и ничем не пахнет. А если на улице жарко, схоронимся куда-нибудь в сторону; здесь и схорониться некуда, и пахнет нехорошо, и в горле першит!» — думала Пелагея Прохоровна и ушла в избу.

Марья Ивановна, моя чашку, напевала духовные песни. После этого она не торопясь оделась в своей кухне.

— Ты куда не пойдешь? — спросила она Пелагею Прохоровну.

— Куда я пойду? Кабы я в силах!

— Ну, так запись на крючок, а я пойду на железную дорогу.

— Зачем?

— Надо мужиков зазвать.

— И ты каждый день так ходишь?

— Как же! Под лежащий камень вода не побежит, говорит пословица.

И Марья Ивановна вышла.

«Какая она добрая и старательная. Вот бы мне до такой жизни дожить!»

Но Пелагея Прохоровна не понимала того, как нелегко Марье Ивановне достаются медные гривны. Она не знала того, что если Марья Ивановна не пойдет сегодня на железную дорогу да не будет там, по приезде поезда, заманивать честным и нечестным образом приезжающих крестьян, то с железной дороги к ней придет разве или уже останавливавшийся у нее, или заблудившийся, случайно забредший сюда горемыка; а на этих людей, что ночевали сегодня, надежда плохая, потому что половина из них, может быть, поступит на места, а другая половина разбредется по другим постоянным дворам, которые ближе к Сенной площади.

Пришла Марья Ивановна и привела с собой пятнадцать мужчин и шесть женщин. Мужчины и женщины галдили; но на лице Марьи Ивановны выражалось неудовольствие. И немудрено: сегодня ей меньше вчерашнего пришлось набрать народа.

— Никто не бывал? — спросила она сердито Пелагею Прохоровну.

— Нет.

— Вот што: ты бы шла в другое место, — сказала она шепотом на ухо Пелагее Прохоровне.

— Зачем?

— Кто те знает, какая у тебя болезнь? Может, холера.

Пелагея Прохоровна побледнела. Хозяйка ушла. Женщины стали знакомиться с Пелагеей Прохоровной. Из них две бывали в Петербурге и утешили Пелагею Прохоровну тем, что, может, к завтраму болезнь пройдет. Они думали так потому, что в Петербурге с непривычки почти у всех баб бывает эта болезнь в первый день по приезде, если только они напьются питерской воды или поедят чего-нибудь соленого.

В избе происходило то же самое, что и вчера: муж-

чины и женщины сидели отдельно; мужчины курили, выходили, приходили навеселе; женщины от скуки часто ели или черный хлеб, или булки, у одной даже оказался розанчик. К вечеру все женщины переговорили между собой много, успели раза два поссориться; мужчины успели к вечеру выпить — кто по косушке, кто по две косушки — и накурили, как вчера. К одиннадцати часам уснули все, кроме Пелагеи Прохоровны, которая, лежа в углу, вертелась с боку на бок, что ужасно беспокоило добрую Марью Ивановну.

— Ты не спишь? — спросила она тихонько Пелагею Прохоровну, подходя к ней.

— Нет.

Хозяйка вышла из избы и немного погодя привела городского.

— Ну, што ж я сделаю? — ворчал сквозь зубы городской.

— Отправь ее в больницу.

— Не могу. Ведь у нее нет адресного билета?

— Один паспорт.

— Ну, значит, без адресного и днем в больницу не примут.

— Што же делать? А если у нее холера?

— Если будет худо, завтра объяви в квартале. Тогда посмотрим.

— Боже ты мой! Вот наказание-то!

Городовой вышел. Хозяйка ушла в свою кухню, села на кровать и задумалась.

— Слышите, ребята, — холера! — проговорил один крестьянин.

— Што ты врешь! — сказал другой, проснувшийся от слова «холера».

— Ей-богу! Сейчас полиция приходила и объявила хозяйке, што если помрут мужики — объявить.

— Господь с нами! Да где ж эта холера! — говорили проснувшиеся крестьяне.

— Што вы его, дурака, слушаете! Он нализался вчера и бредит.

— Своими ушами слышал — провалиться!

— То-то, вчера едва на ногах держался! Спал бы лучше, а не мутил народ.

Женщины тоже проснулись, слышали весь этот разговор и струсили не на шутку, но больше всех трусили

Пелагея Прохоровна и хозяйка: первая трусила не потому, чтобы боялась холеры или смерти,— нет: она боялась, чтобы женщины не подумали, что холера с ней, и тогда ей не попасть завтра на Никольский рынок, что ее, пожалуй, в самом деле свезут в полицию, тогда как с ней просто слабость, маленькая головная боль и бессонница, а живот перестал болеть с тех пор, как она выпила осьмушку перцовки вечером; хозяйка, по простоте своей, думала, что с Мокроносовой действительно холера. А умира-ка у нее кто-нибудь, хлопот и возни не оберешься.

Женщины не могли уснуть до утра. Они рассказывали разные ужасы из деревенской, сельской и городской жизни; говорили о покойниках, о колдунах, о том, как ведьмы новорожденных ребят в трубу вытаскивают — и проч.

Утром Пелагея Прохоровна ходила по избе бодро. Хозяйка подошла к ней и спросила шепотом:

— Прошло?

— Слава богу. Перцовка, знать-то, помогла.

Немного погодя после этого, женщины, в том числе и Пелагея Прохоровна, вышли на набережную Лиговского канала со своими узелками. За ними вышли и мужчины. Мужчины и женщины столпились в кучки.

— Куда идти-то? — спросил один мужчина товарищей.

— Пойдемте по Глазовской. Я там робил... Оттуда Сенная-то близко, — проговорил мужчина в толпе.

— Пойдемте прямой дорогой по Невскому да по Садовой, — сказала одна женщина другим женщинам.

— Веди! только чтобы к месту...

Бывалая женщина тронулась, за ней пошли остальные, в том числе и Пелагея Прохоровна.

Когда они вышли на угол Невского и Лиговского канала, Степанида Антиповна (так звали бывалую женщину) взглянула на часы на башне, устроенной над зданием московской железной дороги. Стрелка показывала половину шестого часа.

— Как раз в пору: половина шестого. Покуда идем, да што... — проговорила Степанида Антиповна.

Женщины тоже поглядели на башню и подивились над тем, как это часы высоко приделаны, да еще так, что их издалека видно!

Солнце уже высоко стояло и грело слегка. Легкий ве-

терок с моря освежал воздух. Теперь дышалось легче от того, что пыль к тому времени осела на строения и мостовые.

В это раннее время деятельности и движения в Петербурге мало. На Невском пусто; изредка разве проедет карета или извозчик с загулявшимся кутилой. Извозчики, сидя в пролетках, дремлют и поднимают головы тогда, когда мимо их проедет извозчик или с седоком, или без седока. Мало стоит на перекрестках городских. Заперты магазины, но уже отворены мелочные лавки и питейные заведения, в которые заходят и из которых уже выходят: из первых — женщины-кухарки, женщины-прачки, швеи; из вторых — мастеровые, подмастерья, рабочие. Дворники в розовых вязаных фуфайках, или просто в ситцевой рубашке и черной жилетке, в фуражке и с фартуком, метут мостовые, панели. То и дело со всех сторон стекаются на Невский разные рабочие. В одном месте уже выбрасывают из ямы черную вонючую землю, размокшую как грязь. В другом месте, по левую сторону Невского, десять человек рабочих бросили на недоконченную мостовую два лома, мешочки с хлебом, молотки и стали снимать — кто рваные полушубки, кто поддевки. В это время дремлют на мостах торгаши булок, печеных яиц, кренделей, яблоков и разных разностей; они почти круглый год живут около своих лавочек; в это время не гремят мостовые, не кричат мальчики со спичками, торгаши яблоков, рыбы и т. п.; только откуда-то слышится свист, как от локомотива или как из фабричной трубы.

Женщины шли и удивлялись. Их все удивляло: громадные дома, построенные вплотную, и множество вывесок на них, и то, что в каждом доме, исключая немногих, весь нижний этаж занят лавками, и зеркальные стекла в окнах, и большое число рабочих, то и дело выходящих из улиц или идущих по Невскому куда-то все вперед, и рельсы посреди улицы. И говорили они между собой: «Нет у нас лучше Питера-города; и сколько, должно быть, в нем господ живет! И неужели купцы могут торговать выгодно, если в каждом доме несколько лавок? И хорошо бы пожить в верхнем этаже: все бы тогда увидел и все бы сидел у окна и глядел на улицу». И чем дальше они шли, тем больше им нравился Петербург; они не чувствовали усталости, и каждой казались теперь про-

тивными родные места — деревни, села, города, каждой хотелось жить в Петербурге.

«Тыщу рублей давай теперь мне, не пойду отселева... Эх, кабы Влас Василич надоумился приехать сюда. Озолотел бы он. А дядя, дурачок, зажил бы припеваючи: ему бы только глазами взглянуть на Питер, он бы выдумал штуку... Да, будь у меня деньги, я, ей-богу, завела бы постоянный двор... А што эти мужики говорили, што здесь худо — враки! Дела здесь, должно быть, много. Ведь вон сколько нас на машине приехало, и все разошлись! С постоянной избы сколько ушло — и не воротились. И говорят, каждый день столько народу приезжает... Да, хорошо, должно быть, здесь... Но кто же живет в этих домах? Неужели всё господа?» — Так думала Пелагея Прохоровна и спросила об этом Степаниду Антиповну.

— Всё господа и купцы... Живут больше так: у каждого своя комната. Вот в этом доме, я думаю, человек тысяча живет.

Женщины удивились.

— Народу здесь страсть! Говорят, тысячи тысяч. Полиция каждый день ведет счет, никак не может сосчитать.

Женщины еще больше удивлялись.

Так они дошли до Сенной.

На Сенной торгоши уже отпирали лавки, мужчины и женщины, большею частию пожилых лет, катили сюда из разных улиц тележки с разными разностями и останавливались каждый на своем месте. Мало-помалу Сенная площадь наполнялась торговыми людьми, женщины стали предлагать нашим женщинам яблоков, ниток, катушек, тесемок, стали появляться женщины в салопчиках и черных суконных пальто с рогожными кулками в виде сумочек. Но не это торговое движение, только что начинающееся, привлекло все внимание наших женщин, а то, что в углу, между церковью и Полторацким переулком, толпилось до двухсот крестьян; около них стояло несколько женщин.

— Подойдемте к мужикам: нет ли наших, — сказала Степанида Антиповна и повернула к толпе.

«В самом деле, нет ли тут дяди али Власа Короваева. Может, они с железной-то и пошли сюды. Вот бы обрадовались-то!» — подумала Пелагея Прохоровна.

— Это и есть Никольский? — спросила она Степаниду Антиповну.

— Еще не дошли. Это Сенная прозывается,— проговорила Степанида Антиповна.

Мужчины галдили. Женщины подошли к ним, стали заглядывать; ни одного нет знакомого, даже и тех нет, которые ночевали в одной с ними избе.

— Еще хвастались, а вот мы скорее их дошли,— сказала Степанида Антиповна.

— Што ж они тут стоят? — спросила Пелагея Прохоровна.

— А нанимаются. Этот рынок мужской.

Пелагея Прохоровна придвинулась ближе к мужчинам. В середине их стоял высокий, здоровый мужчина в фуражке и темно-синем суконном кафтане. Он говорил:

— Так ежели тридцать копеек...

— Несподручно,— загалдил народ.

— Харчи чьи? — спросил молодой мужчина.

— Харчи ваши. Так, пожалуй, тридцать пять...

— Нет... Так не годится,— говорил народ и отошел от него, потом рассыпался по углу площади.

Стали собираться в кучки, в которых говорили:

— Какая, он говорит, работа?

— Полы передельвать, стены штукатурить.

— Далеко отселева?

— Сколько человек-то?

— Нады спросить.

Кучки опять распались, подошли к подрядчику, окружили его.

— Сколько требуется народу?

— Пятьдесят человек, потому кто ежели портит только, тово вон. Ну, так как?

— Ну, а как идти?

— Как хотите, можно и на машине. Отсюда в Царское всего четвертак стоит.

— Пойдемте, бабы, кабы не опоздать,— сказала вдруг Степанида Антиповна и пошла.

Женщины тронулись. Прошли Сенную, перешли Вознесенский проспект.

Впереди и сзади наших женщин шли тоже женщины, по пяти, по две и даже в одиночку.

Сердце забило сильнее у Пелагеи Прохоровны.

«Продаваться! — подумала она. — Что-то будет, что-то будет».

Вот и площадь. По левую сторону каменные лавки — здание, похожее на гостиный двор, с подвалом, в котором тоже устроены лавки, которые тоже отворяют торгаши, а некоторые уже вывешивают на двери веревки, бечевки, шлеи, дуги с колокольцами и без колокольцов. Впереди от Старо-Никольского моста стоит несколько женщин с узелками.

Поравнявшись с собором, женщины усердно помолились на него и потом подошли к женщинам, оглядели их, поклонились им; те тоже оглядели вновь пришедших и слегка кивнули головами.

Пришедшие остановились.

— Вы подальше от нас! — сказала одна молодая женщина из прежде пришедших и тронула за руку Степаниду Антиповну, желая ее отвести.

— Это почему? — спросила сердито Степанида Антиповна тронувшую ее женщину.

— Потому, ты нам не компанья.

— Я тебе покажу компанью... Вот и видно, что из *новеньких*.

— Как бы не так! Вот тебя так и по облику видно, што калужская луковица!

— Ах, ты, подлая! Может, ты калужская-то, а я вовсе не калужская, а питерская.

— Оно и заметно.

— Двиньтесь, бабы, плотнее, — крикнула храбро Степанида Антиповна своим одноночлежницам и толкнула назойливую бабу.

Баба рассвирепела, обозвала Степаниду Антиповну воровкой. Женщины заголосили и едва не вступили врукопашную, но к ним подошел городской, стоявший доселе как статуя. Он подошел медленно, как будто каждый его шаг стоит больших денег, остановился против женщин и тупо-флегматически стал смотреть на них.

Степанида Антиповна и ее противница двинулись к городскому, за ними двинулись и женщины.

— Она меня обозвала! — закричала Степанида Антиповна.

— Она воровка... В узлу у нее воровские вещи.

— Ее надо за это...

— Кто ты есть такая, позволь тебя спросить! Ты не раз в части сживала...

— Ну-ну!! Молчать! — проговорил начальническим тоном городской.

Женщины заголосили, но городской начал легонько толкать женщин, говоря:

— Што на дорогу стали! Становитесь в угол! Пошли, пошли!! Я вас!

Женщины попятились. Городовой пошел дальше и стал распекать женщин, продающих хлеб, за то, что они выдвинули столы очень близко к дороге.

Женщин прибывало больше и больше. Они приходили или кучками, или в одиночку, большею частью с Сенной площади. Приходили сюда и от церкви Покрова, и от Фонтанки по Крюкову каналу, но это были женщины, отошедшие от мест в Петербурге; они приходили даже без узелков, — значит, у них были знакомые, у которых они оставили свои вещи. Все вновь пришедшие протискивались в кучу или становились отдельно, недалеко от столиков, или пристраивались к чугунной решетке, в угол, при впадении Екатерининского канала в Крюков канал.

Некоторые из них нашли знакомых.

— И ты здесь? — спросила женщина Пелагею Прохоровну, дергая за рукав.

Та обернулась, посмотрела на женщину: где-то видела, а не припомнит.

— Не узнала? А узнала ли ты Питер? — спросила снова женщина, улыбаясь.

— Ты у той, что с кабатчиком ругается? — спросила Пелагея Прохоровна женщину.

— Будь она!.. Штоб ей... Жаль, што она не подавилась кофеем.

— Што так?

— Да так! Всю ночь спать не дали. Сперва к ней любовник пришел, бить ее зачал, нас стал гнать. Просто беда! Спасибо, мужики защитили: связали ее любовника. Потом полиция: подавайте паспорта! Ну, подали; записал всех и паспорта возвратил... Всю ночь не спали.

— А вчера где спали?

— Тут, на Сенной... Тоже не приведи царица небесная. Если все говорить, што там делается, волосы дыбом встанут.

И женщина отошла к другой, знакомой ей женщине.

Пелагея Прохоровна подошла к Крюкову каналу и стала смотреть на медленно подвигающиеся с Фонтанки барки с кирпичом, углем и дровами. Интересного в этом для нее было немного, и она присела на панель, устроенную около решетки.

К ней подошла одна из женщин, ночевавших с нею первую ночь.

— Здравствуй. А мы думали, ты уж померла.

— А што?

— Да вот на том постоялом, где мы сегодня ночевали, двоих мужиков в больницу взяли, потому, говорят, с ними холера. И холера эта, говорят, от огурцов да от водки приключилась с ними.

— Господи помилуй!

— Меня тоже хозяйка хотела отправить в больницу и полицейского призывала.

— Неужели?

В это время Пелагею Прохоровну и ее знакомую окружило несколько женщин, которые тоже удивлялись и были напуганы холерой на постоянных дворах.

— Как же ты отделалась-то?

— Да так! Вчера весь день пролежала...

— Ну, значит, холера!

— Да у те, поди, и теперь холера.

— Отойдемте, бабы! — проговорили женщины, но прочь не шли, потому что их интересовало то, как холерная женщина отделалась от полиции.

— Погляжу я на вас, так у вас ума-то и на эсколько нету, — Пелагея Прохоровна показала на половину ногтя на мизинце. — Если бы я была нездорова, могла ли бы прийти сюда? Могла ли бы я быть в полном рассудке? Ну, подумали ли вы о том, што сказали, пустые вы головы!

— Кто те знает. Если бы ты не сидела, еще можно поверить... — проговорила бойко и неизвестно почему улыбаясь женщина без узла и с красными пятнами на лице.

— Если тебе хочется на мое место сесть — изволь! — почти крикнула Пелагея Прохоровна взволнованным голосом, встала, отошла к Екатерининскому каналу, уперлась на перила и задумалась.

Женщины в недоумении поглядели друг на друга несколько секунд.

— Вострая! — сказала одна из них.

- Из самой Сибири, говорит, приехала.
- Не беглая ли какая?
- Я паспорт видела.
- Паспорт и украсть можно.

Женщины поговорили о Пелагее Прохоровне минут десять, говорили громко, стараясь вызвать на ссору Пелагею Прохоровну; но видя, что она не обращает на них внимания, разошлись от Крюкова канала.

У Николе завонили к обеду. В это время Большая Садовая улица уже не походила на ту, какую она была утром. Вперед и обратно по ней то и дело ехали извозчики с седоками; то и дело ломовые лошади везли или мешки с мукой, кули с куделей, хлопчатой бумагой, железо, плохонькую мебель, за которою или шла старушка в худеньком салопчике и капоре на голове, или молодая женщина в черном суконном пальто с костяными четырехугольными и шестиугольными пуговицами; ехали порожние кареты, порожние пролетки с важно сидящими в них извозчиками, предлагающими от скуки прокатить пешеходов, преимущественно людей бедно одетых, которых теперь шло вперед и обратно очень много. Все эти пешеходы что-нибудь несли в руках и шли скоро. Вот приехала городская карета, запряженная четверкой лошадей, едва передвигающих ноги; на передке стоит кондуктор с светлыми пуговицами, в фуражке с каким-то значком и с кожаным кошельком на боку. Карета остановилась против Николе, и из нее вышло человек девять мужчин и женщин, из коих половина, по одежде, принадлежала к *порядочному* сословию, а другая половина к *голодающему* классу. Вот зазвенел где-то крепко колокольчик, и немного погодя показался вагон, который тащили по рельсам две лошади. На нем и в нем сидели люди: вверху — мужички, приказчики; внутри — господа, купцы и дамы. На передке и на задке этой кареты стояло по кондуктору в форменной одежде. Лошади остановились, немного не дойдя до дилижанса. В лавках не было тоже пусто: там покупали — кто дугу, кто деготь, кто овса и т. п. Все столы были заняты торговцами и торгашами, но женщины здесь превосходили своим количеством мужчин. На столах стояли огромные чайники с каким-то кисло-сладким теплым пойлом, называемым медом, и стеклянные кувшины с квасом из клюквы; лежали печенки, рубцы, яйца, тешка, черный и белый хлеб. По-

улице мимо лавок шли торгаши с яблоками, апельсинами и лимонами, с сахарным мороженым, ребята со спичками. Все эти люди громко, почти во все горло, кричали и предлагали встречным купить их товар.

Женщин теперь было в углу между Крюковым и Екатерининским каналом до двухсот. Они рассыпались по этому углу так, что городской то и дело просил их попятиться с дороги. Тут были и чухонки, лепечущие на своем языке и стоящие от русских особняком, и немки в худеньких салопчиках и чепчиках на головах, и еврейки; тут была даже девочка годов шести, босая, с не закрытою ничем головою и с маленькой плешью на темени, стоящая около пожилой женщины.

Одни из женщин галдят, ссорятся от скуки, стараются своим криком осилить других и выказать свою толковость; другие молчат. На всех лицах выражается какое-то нетерпение и страх; многие смотрят на образ Николая чудотворца, на церковь и вздыхают. Вон одна молодая женщина, прислонившись к перилам, плачет. Она старается не плакать, но не может удержать слез. Вон пожилая женщина, с отчаянием в лице, смотрит в канал, глаза ее точно приковались к одному месту. Вон девушка годов семнадцати, сидя на мостовой, уперла голову обеими руками. Другие стоят тоже с невеселыми лицами, часто вздыхают и смотрят большею частию на одно место, как бы что-то обдумывая. Их не интересуют разговоры, брань и ссоры других женщин, еще, по-видимому, не испытавших петербургской жизни; они сосредоточились сами в себе, точно их горе очень велико и впереди не видится ничего хорошего.

Пелагея Прохоровна заметила все это, и сердце ее билось не очень-то радостно. Ей хотелось заговорить с молчаливыми и убитыми горем женщинами, но она по себе знала, как тяжело человеку делается в то время, когда его спрашивают. Но у женщин любопытство и сочувствие к женщинам велико; ее так и порывало подойти к девушке, сидевшей на мостовой.

— Што это как долго никого нету? — проговорила она, не решаясь сесть или нет.

Девушка поглядела на Пелагею Прохоровну, но ничего не сказала.

— Ты бы лучше к речке стала — ветерком бы продуло.

— Ничего.

— Ты здешняя?

— А ты?

— Я издалека. — И Пелагея Прохоровна рассказала, откуда она, и присела к девушке.

— Ты, стало быть, еще не знаешь петербургской жизни.

— Где мне знать? Што будет, то и будь. Ведь уж не будет же хуже того, что было!

— А было и худое разве?

— Што и говорить. Я уж решилась молчать, потому што было, то прошло. А я по облику твоему замечаю и по речи, што ты не из мужичек... Правду я говорю?

Девушка закрыла руками лицо.

Вдруг все женщины подвинулись к дороге; сидевшие вскочили и побежали к толпе; стоявшие у каналов тоже побежали, с яростию толкая друг друга. Пелагея Прохоровна и девушка встали и пошли.

В середине женщин стояла пожилая толстая барыня в белой шляпке и в драповом пальто.

— А умеешь ли ты кушанья готовить? — спрашивала барыня одну женщину, в то время как Пелагея Прохоровна и девушка подошли к толпе.

— Как же... я у хороших господ жила.

— Врет она! Она только что из деревни приехавши. Вы меня возьмите, я только сегодня от места отошла, — проговорила другая женщина.

— Врет! врет! Она табак нюхает, — кричали со всех сторон женщины.

Барыня была в затруднении: женщин много, всем хочется в кухарки, а какую из них взять? Пожалуй, возьмешь такую, которая ничего и делать не умеет, пожалуй, попадется воровка.

Пелагея Прохоровна протискалась, употребляя в дело локти, так что женщины отскакивали и в свою очередь колотили ее в спину.

— Возьмите меня. Я сама своим хозяйством жила, нахлебников держала, — проговорила она, остановившись перед барыней.

Барыня улыбнулась. Вероятно, ей не верилось, чтобы деревенская баба могла где-то держать нахлебников.

— Будто? — спросила барыня.

— Ей-богу.

— Не верьте ей, она полоумная, — кричали женщины.

Пелагея Прохоровна обернулась и от злости, не помня, что делает, плюнула в ту сторону, где говорили про нее.

— Ну, как же ты не полоумная! — кричали со всех сторон.

— Нет, я тебя не возьму, ты очень молода.

Пелагея Прохоровна отошла, думая: хорошо, што предупреждает. И она стала искать глазами ту пожилую женщину, что с отчаянием смогрела в канал.

Но эта женщина уже стояла перед барыней и плакала.

— Ты водку пьешь? — спросила ее барыня.

Пожилая женщина обернулась к церкви, перекрестилась и сказала:

— Хоть раз заметьте, так вот Николай-угодник свидетель.

— Она горькая пьяница, — сказала какая-то женщина.

— Как вам не стыдно! Мало, видно, вы горя испытali, — крикнула Пелагея Прохоровна.

— А ты што пристаешь?

— Это она с того все еще, што ее, по нашей милости, не взяли, — кричали женщины.

Барыня в это время разглядывала паспорт и адресный билет пожилой женщины.

— Ты в больнице была?

— Да... Только вышла я из больницы и — пошла к дочке, пятнадцатый ей годок шел, она там на Литейной золотом шила у француженки. Прихожу — говорят, померши полторы недели.

— Ну, так согласна ты на мои условия: жалованья два с полтиной, фунт кофею, то есть полфунта кофею и полфунта цикорею, и фунт сахару?

— А жильцы есть?

— Да, есть. Им нужно и сапоги, и платье вычистить, и в лавочку сходить.

— Положите три с полтиной.

— Нет, два с полтиной. Жильцы тоже будут давать к праздникам.

— Я согласна! — крикнула другая женщина.

Женщины захохотали; барыня тоже улыбнулась.

— Так как? — спросила барыня первую пожилую женщину.

Та подумала.

— Не прибавите жалованья-то? — спросила она.

— Нет.

— Да ведь работы много!

— Как знаешь. И вас много.

Женщина согласилась. Барыня взяла ее паспорт и адресный билет и велела приходить в такую-то улицу, в такой-то дом и в такой-то номер квартиры, а сама уехала с извозчиком.

— Хорош ты, видно, сон видела сегодня, — сказала пожилой женщине одна женщина.

— У вас, видно, не было таких детей, как у меня! — сказала с презрением пожилая женщина и пошла.

К ней подошла пожилая женщина в салопчике с девочкой.

— Голубушка! у тебя, говоришь, дочка умерла; возьми мою, — проговорила она.

— Куда же мне с ней?

— Да я даром тебе ее отдаю, только корми да к делу приучай.

— Сама знаешь, што кухарок не держат с ребятами.

И нанятая женщина пошла торопливо.

— Заважничалась! — прошипела от злости пожилая женщина в салопчике и неизвестно за что ударила по затылку девочку.

Девочка заплакала.

— За что ты девчонку-то бьешь? — крикнула на нее женщина.

— Не твое дело: свое бью.

На пожилую женщину напала половина женщин: они стали ее стыдить за то, во-первых, что она бьет маленькую девочку, и во-вторых, за то, что хочет эдакую маленькую в работу отдать.

— Я ее продаю, потому что сама ищу места и мне самой нечего есть, — оправдывалась мать девочки.

Между тем ветер крепчал, по небу плыли тучи и мало-помалу совсем закрыли солнце. Женщины проголодались и стали покупать ситный, печенку или яйца. Пелагея Прохоровна купила фунт ситного и фунт печенки. С этими яствами она подошла к девушке, с которой она прежде

вступила в разговор, и спросила, как ее зовут. Та сказала, что ее зовут Евгения Тимофеевна.

— Не хочешь ли, Евгения Тимофеевна?

И Пелагея Прохоровна отломилла половину куска ситного и половину печенки и дала их Евгении Тимофеевне. Та не брала.

— Я не хочу.

— Полно-ко. У тебя есть ли деньги-то?

— Есть.

— Ну, не церемонься! Я сама была в нужде, знаю.

— А если вам самим нечего будет есть? — сказала Евгения Тимофеевна и взяла предложенные ей яства.

— А руки-то на что бог дал?

— Я то же прежде думала, да вот целый месяц ищу места. Ходила я и в хваленое общество — говорят, мы принимаем по рекомендациям. Принесите, говорят, письмо от сиятельного человека — примем. Ну, я было и пошла к одному сиятельному лицу, бывшему в нашей губернии губернатором. Целую неделю я ходила — не допускают. А я всё письма ему оставляла. Вероятно, письма ему не передавали. Наконец встретила его у подъезда и говорю: я вашему...ству целую неделю передавала письма через швейцара... — Ничего, говорит, я не знаю. Приходите туда-то. Я туда; кое-как допустили. — Кто, говорит, вы такая? Я сказала. — А! говорит, знаю. Что же вам угодно, сударыня? — Я и прошу у него рекомендательное письмо. — Не могу, говорит, дать, потому что вы нехорошего поведенья. Вы не с хорошей стороны уже успели зарекомендовать себя в провинции; мне, говорит, об этом ваша тетушка писала. Так я и ушла ни с чем. Потом я как-то увидала в газете объявление: нужна гувернантка. Я прихожу. Квартира отделана великолепно. Приглашают меня в кабинет. В кресле сидит барин. Пригласил сесть меня, расспросил, кто я такая. Часа два мы с ним толковали; я спросила, велики ли у него дети. Он говорит: у меня детей нет, а мне, говорит, гувернантка нужна для себя...

— Как это так? — перебила Евгению Тимофеевну Пелагея Прохоровна.

— Я тоже удивилась. Он говорит: не удивляйтесь; я вдов, и мне нужна женщина, непременно развитая; я бы, говорит, ее сделал хозяйкой в моей квартире, одним словом, мне, говорит, нужна молодая, красивая женщина для того, чтобы жить с ней гражданским браком. Ну я,

конечно, не согласилась. Барин извинялся, дал мне на бедность денег, но я его денег не взяла. Конечно, эдакие случаи редки, но со мной, по крайней мере, случилось так.

Женщины опять заволновались, стали собираться в одну кучу. Пелагея Прохоровна с Евгенией Тимофеевной тоже подошли. Еврейка нанимала кухарку и давала только рубль жалованья с тем, что кухарка должна и белье стирать. Поэтому охотниц нашлось мало.

Только что ушла еврейка, к женщинам подошла толстая пожилая женщина в шелковой мантилье, в шелковом же черном платке на голове. В правой руке она держала зонтик. Подойдя к женщинам, она стала оглядывать их.

— Я! Я! Я! — кричали женщины, окружая нанимательницу.

Толстая женщина молчаливо выдержала напор женщин. Минут через пять она начала звать к себе самых молодых.

В числе десяти молодых попала Пелагея Прохоровна с Евгенией Тимофеевной.

— Кто из вас желает ко мне поступить? — спросила толстая женщина с зонтиком.

Поступить пожелали все.

— Мне нужно трех, для комплекта.

Она опять посмотрела женщин и выбрала из них трех. Эти три были: Пелагея Прохоровна, Евгения Тимофеевна и одна чухонка, девушка.

— Замужние?

— Нет, — отвечали враз все три женщины.

— Болезни никакой нет?

— Нет.

К толстой женщине подошла мать с девочкой.

— Купи девочку.

— На что мне ее: кабы она большая да красивая была — так! — крикнула толстая женщина с зонтиком.

Сердце дрогнуло у Пелагеи Прохоровны. Она шепнула Евгении Тимофеевне на ухо:

— Слышишь? тут что-то неладно...

— Возьми хоть даром... — приставала мать девочки, утирая глаза.

— Я сказала, что таких не беру... Продай еврейкам; они за христианку деньги дадут. Ну, желаете вы поступить ко мне? — спросила нанимательница выбранных ею женщин.

— А позволь тебя спросить, что у тебя за работа? — спросила Пелагея Прохоровна.

— Да у меня работы никакой нет. Разве себе что будете шить.

— А какая цена за это? — опять спросила Пелагея Прохоровна.

— Цены я назначить не могу. Вы будете мне платить, каждая за свою комнату, так как я нанимаю целый дом и от себя отдаю комнаты жилищам...

— Так ты это нас на квартиру зовешь?

— Да!

— Ну, не-ет... Мы в работу нанимаемся, потому у нас денег ни гроша нет. А она еще на квартиру к себе зовет! — проговорила Пелагея Прохоровна и отошла. Прочие женщины тоже отошли.

— Послушайте! Эй, вы, три?! — крикнула толстая женщина.

— Да нечего тут слушать! — крикнула Пелагея Прохоровна.

Толстая женщина с зонтиком подошла к Евгении Тимофеевне.

— Послушай. Я за квартиру беру по истечении месяца, за пищу — пища тоже от меня — тоже по истечении месяца.

— Да из чего платить-то! Ведь нужно наперед найти работу! — отвечала Евгения Тимофеевна.

— Работа будет... За всеми расходами, я так думаю, у тебя останется к каждому первому числу рублей пятнадцать.

— Но какая работа?

— Я уж за это берусь.

— Но вы должны здесь сказать.

Толстая женщина нагнулась к девушке и что-то ей шепнула.

Щеки девушки покрылись румянцем. Она задрожала и ничего не могла выговорить.

В это время к ней подошла Пелагея Прохоровна.

— Што с тобой, Евгенья Тимофеевна?

— Вот... Подлая женщина!..

И она зарыдала.

Пока Пелагея Прохоровна успокоила Евгению Тимофеевну, толстая женщина подошла к чухонке-девушке, поговорила с ней, и немного погодя чухонка пошла за

ней, а потом женщина посадила ее с собой в пролетку и уехала.

— Вот как чухонки-то! С извозчиком ездят! — кричали женщины.

— Как? Чухонка таки уехала? — крикнула Евгения Тимофеевна.

— Уехала.

— А надо бы ее воротить, бабы! — крикнула Пелагея Прохоровна.

— А што?

Пелагея Прохоровна рассказала, для какой цели эта женщина приглашала их.

Женщины заохали. Им жаль было чухонки, но теперь ее уж не воротишь. Стали говорить о том: убежит чухонка или нет. Мнения были различные. Теперь на Пелагею Прохоровну все смотрели с уважением и говорили про нее, что эта белолицая бабенка не пропадет и не даст пальца в рот, чтобы его откусили. А попадись дура, как чухонка, которой стоит только насулить всякой всячины, — и попала, как кур во щи.

Появились на рынке, около столиков с яствами, каменщики с замазанными глиной передниками, штукатуры, маляры; некоторые из них были даже без шапок и фуражек, и у иных в длинных или всклокоченных волосах, на бородах и на лице была тоже или глина, или известка; появились рабочие с черными от дыма, пота и угля лицами, с черными, как уголь, ладонями, с черными фартуками; появились мальчики от двенадцати до восемнадцати лет, тоже с черными передниками, с вымаранными слегка лицами. Все они быстро подходили к женщинам, брали у них фунт черного хлеба, селедку, или тешку, или яйцо, на деньги или в долг, и потом также быстро уходили через Старо-Никольский мост в питейные заведения. Стало быть, теперь первый час; рабочие уволены до второго часу обедать. Здесь, может быть, читатель спросит: отчего они нейдут обедать домой? Они нейдут домой потому, что им, может быть, до дому ходу целый час. Работая по Фонтанке и около Крюкова и Екатерининского каналов, они предпочитают за лучшее покупать хлеб, рыбу и проч. на рынке, а не в мелочных лавках, в которых они уже успели задолжать; покупая сначала на деньги с шу-

точками и остротами, они, наконец, добиваются, что им верят в долг до получки заработной платы.

Пошел дождик. Женщины стали прикрывать свои узелки, но дождик, как назло, шел и шел, мало-помалу помачивая полушубки, шугайчики, пальто. Хорошо было тем женщинам, у которых был полушубок и пальто, но шугайчики скоро промокли. Мостовая тоже смокла, земля на камнях и между камнями превратилась в грязь... Женщины стали проситься к торговкам, потому что там над столами сделаны крышки. Женщины-торговки не пускают.

Платки на головах промокло, по лицам течет вода и падает вместе с дождем на плечи; ботинки, башмаки и сапоги промокли; дует холодный ветер с моря. Что делать? Женщины силой лезут под крышки; торговки гонят их прочь и кричат:

— По пятаку с рыла!

— Ладно.

Большинство женщин вынимают пятаки, у некоторых нет и трех копеек. Они просят у других, те не дают.

Евгения Тимофеевна дрожит.

— На пятак! — говорит Пелагея Прохоровна и дает ей пятак.

Евгения Тимофеевна не берет.

— Ничего, я не глиняная, не растаю. Теперь лето.

— А пошто дрожишь-то?

— Не знаю. Это пройдет.

Дождь перестал идти. Женщины, заплатившие пятаки, стоят под крышками и едят ситный. Торговки снова их гонят.

— Идите, дождик перестал.

— Нет, мы денежки заплатили.

— Што вы, на постоялый, што ли, сюда забрались? говорите спасибо, што пустили! — говорили торговки, употребляя в дело локти.

Как ни лебезили женщины перед торговками, как ни упрашивали их позволить постоять еще чуточку, а торговки все-таки прогнали их. Женщины стали на прежние места и сделались очень сердиты: им жаль стало пятаков, и они начали задирать на ссору тех, которые не имели удовольствия быть под крышками.

К женщинам подъехала в пролетке дама.

— Нет ли тут мамок? Не может ли кто ребенка

грудью кормить? — спросила дама женщин, подойдя к ним.

Женщины поглядели друг на дружку. Четыре женщины — три чухонки и одна русская — подошли к даме.

Дама расспросила их, давно ли они родили. Оказалось, что две родили уже с год, одна с полгода и одна назад тому три месяца.

— Где ребенок? — спросила дама чухонку.

— Помер.

— А у тебя где ребенок? — спросила дама ту, которая родила с полгода.

— В деревне — на молоке.

— Зачем же ты его бросила?

— И, барыня!.. Муж все говорил: оставь ребенка, пойдем в Питер; там в мамки поступишь. Ходила в спитательный — солдат не пустил. Знать-то, ему денег надоть... А вам для своо дитя?

— Да.

Дама отвела женщину в сторону, посмотрела у ней груди и зубы и стала торговаться. Эта женщина слыхала, что в Питере мамки получают по восьми рублей в месяц, дюжину рубашек, шесть сарафанов и другие подарки. Но дама больше пяти рублей не давала и обещала, если только она проживет полгода, сшить два сарафана и подарить две пары ботинок. Пища, разумеется, хозяйская. Женщина думала, рядилась — и через полчаса согласилась на предложенные условия.

— Вот кому счастье дак счастье! Эх, кабы у меня был ребенок!.. — вздыхала одна женщина.

Эту женщину обругали.

— Да мне давай десять цалковых — не пойду. Как бы не так! ни днем, ни ночью нету спокойствия...

Подошла молодая женщина в вязаном розовом платке на голове и в драповом темно-синего цвета пальто. В одной руке она держала небольшой кожаный саквояж, в другой зонтик.

— Это, видно, опять из таких, как даве толстая с зонтиком, — проговорили женщины, но все-таки подошли к ней. Пелагея Прохоровна с Евгенией Тимофеевной тоже подошли, — не ради найма, а ради развлечения.

— Кто из вас умеет шить?

— Я! Я! — крикнула каждая женщина.

— Мне нужна швея шить сорочки, манишки, делать

метки. Работа трудная, шить нужно чисто, хорошо, на господ. Случается и на машине шить.

Женщины посмотрели друг на дружку. Никто не решился поступить в швеи, потому что таких швей не было.

— Возьмите меня; я умею шить что угодно! — проговорила робко Евгения Тимофеевна.

— Ты из каких?

— Из... дворянок... Да вот я сама шила себе этот бурнус.

Швея посмотрела на строчку.

— Мне надо почище! это очень некрасиво.

— Я молода, могу скоро приучиться к здешней работе.

— Так-то оно так. Но вот что: вы дворянка, а я мещанка. Уживемся ли мы?

— Об этом вы, пожалуйста, не беспокойтесь; я уверена, что мы сойдемся. Я для того и приехала сюда, чтобы работать.

— Пожалуй, я вас возьму. Видите, я еще только открываю швейную; вы теперь будете третья. Вы будете сперва получать за штуку, на моем готовом содержании, а там увидим: если будете хорошо работать, я вас сделаю мастерицей и положу жалованье. Как вы думаете об этом?

— Я согласна,— робко проговорила Евгения Тимофеевна.

— Еще одно условие: чтобы к вам не ходили мужчины.

— Помилуйте! я здесь живу еще очень мало.

— Ну, уж это дело мое. По воскресеньям вы будете свободны и можете или работать на себя, или идти гулять.

Евгения Тимофеевна ничего не могла сказать на это: она была очень рада, что попала в швеи, и даже забыла проститься с Пелагеей Прохоровной, которая плохо верила словам швей и крикнула отходящей Евгении Тимофеевне:

— Прощай, Евгенья Тимофеевна! Желаю тебе счастья.

Стали приходиться к женщинам мужчины — мужья, братья, деверья, однодеревенцы. Одни из них говорили, что завтра поступят в работу, другие еще не поступили на место. Все мужчины были выпивши, а некоторых уже пошатывало. Женщинам стало веселее, и они жаловались мужчинам на дождь, на то, что мало приходит барынь

нанимать их; некоторые женщины даже ругали мужчин, что они нарочно завели баб бог знает куда, для того чтобы бросить их.

Стали приходиться торгаши, предлагавшие крестьянам фуражки, сапоги, поддевки, кафтаны. Крестьяне подержали все эти вещи в руках, фуражки даже примеряли себе на голову, поторговались, но ничего не купили, потому что торгаши просили дорого, да если и нравилась кому-нибудь вещь и было немного денег, так жалко было тратить их. Торгаши предлагали променять полушубок на поддевку, шапку на фуражку, говоря, что теперь лето, и просили придачи. Один променял шапку на фуражку и дал придачи десять копеек, другой променял полушубок на поддевку — и тоже дал придачи пятнадцать копеек. Торгаши отошли. Променявших вещи товарищи стали звать в кабак, делать спрыски. Двое крестьян приглашали своих баб на Сенную в кабак, где народу — и-и, ты, боже мой! и баб там много... Но бабы в этот кабак не пошли. Мужчины пошли на Сенную; половина женщин тоже разбредлась.

— Матушки! голубушки! Ох, узел мой!.. — ревела одна женщина немного погодя.

Женщины посмотрели на свои узлы, посмотрели на мостовую, заглянули на столики и под столики, спросили торговок: не видали ли они узла такой-то женщины? — узел исчез.

— В реку не упал ли?

— Да он, што есть, и не стоял у реки. Сичас при мне был.

— Эко горе, горе!.. Да ты не забыла ли на постоялом?

— Говорят, при мне был. Не видали, што ли? Ох!.. Што я теперь делать буду!

— Плохо, видно, держала.

К женщинам подошла старушка в люстриновом на вате салопчике и в черном капоре. В суетах и в поисках узла ее заметила только одна Пелагея Прохоровна и подошла к ней.

— Ты кухарка? — прошамкала старушка.

— Кухарка.

— У кого жила?

— Я приехала из Ярославля; у господ жила... А у вас што делать?

— Известно: убирать комнаты, мыть полы, кушанье готовить.

Старушку окружили женщины и стали напрашиваться.

— Замужем? — спросила Пелагею Прохоровну старушка.

— Вдова... А сколько жалованья?

— Два рубля.

— Я, пожалуй, согласна.

Женщины закричали, стали говорить про Пелагею Прохоровну всякую всячину, но старушка, взявши паспорт, велела ей идти за собой.

Пелагея Прохоровна перекрестилась на церковь и пошла за старушкой. Она была рада, что скоро нашла место.

III

Кухмистерша Овчинникова

Старушка в салопчике, за которой шла Пелагея Прохоровна, была кухмистерша с Петербургской стороны, Анна Петровна Овчинникова.

Сзади она походит на старую еврейку, которая с самого детства или поднимала всё тяжелые вещи, или сидела постоянно наклонившись с высокого стула к низенькому столу, отчего ее позвоночный столб принял наклонное положение. Однако, несмотря на значительную сутуловатость, по которой ее издали узнавали постоянные обыватели Мокрой улицы, Анна Петровна, дожившая до шестого десятка лет, шла очень скоро, немножко ковыляя правой ногой, как будто ее кто сзади погонял прутиком. Она, часто оборачиваясь и кашлянув, произносила фистулой: не отставай! еще далеко! У других старушек под шестьдесят лет волоса уже седые и лицо бело-желтое; а у этой, напротив, лицо было бронзового цвета и лоснилось, точно она его намазала салом. Щеки ее не были ни очень полны, ни худощавы; нос был длинный, прямой, острый, — точно она его постоянно чистила, как курица; рот маленький, может быть, оттого, что она его ужимала; ее серые тусклые глаза с бурыми зрачками часто мигали. К этому надо еще прибавить, что от салопчика и от капора Анны Петровны пахло жареным гусем, почему

ее всякий бы мог назвать, не расспрашивая, или кухмистершею, или кухаркою в кухмистерской.

Анна Петровна шла молча и думала; Пелагея Прохорова тоже думала. Анна Петровна думала, что теперь она спокойна вполне, нашедши кухарку. Только она много назначила ей жалованья; ну, да она сумеет сделать так, что кухарка будет получать не больше рубля в месяц. Пелагея Прохорова, с своей стороны, думала о том, какая эта старуха бодрая: «Точно бабушка Настасья Сергеевна, которая умерла назад тому восемь лет! Той было с лишком девяносто лет, та Пугача помнила; но ходила прямо, говорила ясно и чистым голосом, а не шамкала, не хрипела и фистулой не говорила. Бабушка была в большом почете во всем заводе; она была добрая, ни с кем не ссорилась, бывало, отца с матерью выручала из беды. А глаза у нее были тоже сердитые. Бывало, забалуемся мы, она только взглянет, мы и замолчим... Какова-то эта? Та была родная, и я в то время была маленькая, а теперь я большая — и к чужой старухе пошла в работу. Што бы теперь сказала про меня бабушка Настасья Сергеевна, если бы увидала меня, как я иду за этой старухой? Она бы ахнула, потому она мне пророчила мужа богатого, большое хозяйство, дюжину ребятишек! Господи, как много в жизни можно испытать всякой всячины... Вот эти мужички, что работают, камень разбивают, тоже прежде не думали, что будут в Питере на богатых людей работать. Они, поди, думают, глядя на меня, что мне лучше житье, чем им...»

Но напрасно кухмистерша и кухарка думали, что люди про них думают. Никто об них ничего не думал, а всякий шел своей дорогой или делал дело, думая только о том, как бы хорошо сделаться вдруг богатым человеком и делать то, что хочется.

Подшли к Неве. По Неве плывет много судов с лесом, камнями, барок с сеном, дровами. Плывут пароходы, у которых и колес не видно, — пароходы, битком набитые людьми. Множество судов и барок стоят у берега, прикрепленные цепями или толстыми канатами за кольца, вделанные в гранитные набережные. Множество яликов с пассажирами плывет по разным направлениям; у спусков яличники предлагают свои услуги перевезти через Неву.

«Вот это река настоящая. А все же помене наших

будет»,— подумала Пелагея Прохоровна, когда кухмистерша и она шли по Дворцовому мосту.

Она спросила старушку: как называется эта река? Та сказала — и, ткнув в пространство левой рукой, проговорила:

— А там море!

— Море! Ах бы, поехала я по этому морю. А ты по морям плавала?

— Я, что есть, через Неву ни разу не плавала.

— Боишься?

— Боюсь! А море я раз пять в году выдаю, со Смоленского.

— А это што же, Смоленское-то?

— Кладбище такое, вон там, на Васильевском острове,— сказала кухмистерша и указала рукой.

Пелагея Прохоровна стала смотреть на Васильевский остров.

«Так вот он, Васильевский-то славный остров, што в песне поется. А я думала, што в песне все враки... Думала, какой-нибудь пьяный мастерко сочинил эту песню»,— думала Пелагея Прохоровна.

Прошли мост, пошли по Первой линии.

— Здесь тоже Питер? — спросила Пелагея Прохоровна старушку.

— Нет, здесь Васильевский остров.

«Ах бы, дяде попасть сюда! Уж он непременно сочинил бы с Короваевым такую песню, што он был на самом Васильевском острове». И сердце у Пелагеи Прохоровны, неизвестно почему, заныло.

Опять мост.

— Это што же! Идем, идем — и конца нет. Все какие-то мосты да реки! — проговорила Пелагея Прохоровна, недовольная тем, что старуха ее ведет бог знает куда.

— Если бы я воды не боялась, давно бы уж дома были. Вон оттоль стоит только в ялик сесть, и через полчаса дома. А то я воды боюсь. Отроду не плавала,— проговорила старуха. Они пошли берегом.

Здесь кухмистерша чувствовала себя уже свободнее и спокойнее. Она пошла тише, не загребала правой ногой, а шла как ленивый конь, покачиваясь направо и налево. Здесь она была как дома, сняла даже с головы капор — на голове оказался белый чепчик с дырочками, сквозь которые виднелись начинающие сесть волосы. Отдавши

капор Пелагее Прохоровне с приказанием не измять и не испачкать его, она сняла и салопчик и очутилась в шелковом черном платке на плечах и в ситцевом голубом засаленном платье.

Это раздевание удивило Пелагею Прохоровну, но она не посмела спросить. Старушка отдала Пелагее Прохоровне и салопчик.

— Ты его положи на плечо, да смотри не изомни! — сказала она своей новой слуге.

— Барыня... А узел?

— И узел можешь держать.

Пелагея Прохоровна кое-как устроила свою ношу.

Преобразившись по-домашнему, Анна Петровна пошла еще тише, что-то напевая про себя, как будто воображала, что идет не по улице, а в своей собственной комнате.

— Здравствуйте, Анна Петровна! — сказала попавшая навстречу кухмистерше старушка с платком на голове, в ситцевом платье, тоже, вероятно, воображающая, что она у себя дома.

— Здравствуйте, Марья Игнатьевна! — И старушки поцеловали друг друга в щеки. — Куда ходили? А я ведь с Никольского...

— Мать пресвятая богородица! — проговорила Марья Игнатьевна и неизвестно отчего вздрогнула, точно ее что кольнуло в бок или случилась с ней икота.

— Да, матушка моя, с Никольского. Вон какую добыла! — И Анна Петровна кивнула головой на Пелагею Прохоровну, которая стояла недалеко от старушек и смотрела на них.

— Неужели у нас не нашлось?

— О! што здешние! Они избаловались.

— Это так... Только она молодая, — сказала шепотом Марья Игнатьевна.

— Не эдакие у меня жили... Вышколю.

— А у меня несчастье какое: сынок ногу вывихнул пьяный.

— Господи благослови! — чуть не крикнула Анна Петровна и замигала чаще обыкновенного.

— Да вот, поди же ты! Иду к доктору.

Старушки поговорили минут пять и простились, поцеловав друг друга.

Немного погодя Анна Петровна свернула в переулок,

потом в улицу. Здесь на каждом шагу попадались ей знакомые люди, но она не останавливалась, а только отвечала на вопросы: ах, с Никольского! устала!..

Через десять минут она вошла во двор, в котором было два деревянных двухэтажных флигеля с мезонином на каждом. На улицу, кроме того, выходило по обеим сторонам два дома — один направо, каменный трехэтажный, с подвалом, налево — деревянный, с девятью окнами, без мезонина, на котором была прибита вывеска с надписью: «Школа».

Хотя Анна Петровна Овчинникова никогда не была потомственной дворянкою, но она еще в девочках считала себя столбовою дворянскою дочерью, несмотря на то, что отец ее был только сенатский регистратор. Вероятно, это происходило оттого, что и родители ее и соседи их, служа в министерствах, считали себя особым классом, с которым нельзя сравнять мещан и даже купцов, и поэтому причисляли себя к дворянам. Однако, несмотря на причисление себя к дворянскому сословию, большинству этих самохвалов и самохвалок жилось гораздо хуже, нежели мещанам и купцам, не пренебрегавшим черною работою, за которую стыдно было взяться какому-нибудь чиновничку, его жене или детям. Некоторые чиновники имели на Петербургской стороне свои дома, доставшиеся им или от родителей, или в приданое; а как такие домовладельцы имели большие семейства, то чиновников со временем расплодилось много, и они так дружно сплотились на Петербургской стороне около тех мест, где родились и выросли, что заманить их в другое место было очень трудно. Поэтому и Мокрая улица, населенная преимущественно канцелярским людом, имеет свой характер, совсем отличный от петербургского. В ней очень мало каменных домов, а всё больше деревянные, окрашенные желтою краскою, или охрою, которые теснятся друг к другу, так что с крыши одного мезонина на крышу другого мезонина скачут кошки. Улица плохо вымощена, тротуаров не существует, нет извозчиков, нет городских, нет даже будки. В ней всего один фонарь, и то напротив гостиницы для приезжающих. Здесь пахнет провинцией, и если бы из окон мезонинов не видна была Нева и гранитная набережная с ка-

менными зданиями за Невой, то можно было бы сказать что это не Петербург, а угол уездного города.

Утром чиновники в известное время идут толпами на службу с портфелями, конвертами из синей бумаги, свертками или без них. Потом, в известное тоже время, чиновницы и вообще дамы дворянского класса идут в лавочки за провизией, после этого на улице пусто. Около пяти и шести часов вечера чиновники, измученные и уставшие, бредут по домам; некоторые заходят в заведения «распивочно и навынос», откуда или выходят сами, или их выводят с руганью жены. До десяти часов видится жизнь в этой улице; чиновники и их семейства сидят у окон, поют песни и наигрывают на гитарах; некоторые сидят на улицах на лавочках в халатах; некоторые, сидя у растворенного окна, что-то пишут; не редкость также в хорошую погоду увидеть нескольких молодых чиновников, играющих в дворах или на улице в бабки или городки. В десять часов все смолкает, гаснут огни в домах, запираются ставни окон, наступает тишина, прерываемая только лаем множества собак.

Даже в климатическом отношении Мокрая улица не похожа на петербургские улицы; так, здесь зимой несравненно холоднее и больше снегу, чем в Петербурге, где снег постоянно сгребают и увозят прочь, где иногда целый месяц уж ездят на колесах, тогда как в Мокрой улице еще хорошая езда на санях. При поднятии воды в Неве Мокрую улицу заливают раньше других, так что из нее в Неву можно отправиться прямо в лодке или в ялике. И все-таки здешнему воздуху Петербург может позавидовать: здесь меньше мрет народа, женщины доживают до семидесяти и больше лет, и если детям не передана родителями какая-нибудь болезнь, они растут толстыми и здоровыми.

Поэтому немудрено, что Анна Петровна родилась, выросла и прожила до шестидесяти лет в Мокрой улице, где прежде у родителей ее был свой дом, который после смерти отца, вследствие крайней нужды, мать принуждена была продать, а потом поселиться на квартире в той же Мокрой улице и заняться шитьем. Анна Петровна была третьею дочерью, но успела влюбить в себя молодого чиновника раньше прочих сестер и, вышедши замуж, поселилась с мужем также в Мокрой улице. Ни она, ни супруг ее даже и в помышлениях не имели не только

жить где-нибудь в Гороховой или в Офицерской улице Петербурга, но даже переселиться в другую улицу Петербургской стороны. Такое переселение было бы сочтено соседями за раскол или за чрезмерную гордость. Обитатели Мокрой улицы достоверно знают, что муж у Анны Петровны был *варвар*, каких свет не производил. Хотя таких варваров было много в Мокрой улице, но со стороны казалось, что этот варвар был почище других варваров. В сущности, однакож, он был даже несколько скромнее большинства чиновников, и такое название к нему припилилось не совсем кстати. Дело в том, что он был первые пять лет для супруги *ангелом*, но на шестой год, когда Анна Петровна родила плаксивую девочку, ангел стал приходить домой навеселе. Сперва супруга думала, что ангел весел потому, что у него есть дочь, или потому, что его сегодня похвалили на службе: ей и в голову не приходило, что ангел выпивает, так как он после выпивки обыкновенно закусывал или гвоздикою, или сургучом, чтобы не пахло водкой. Каково же было ее удивление, когда в день получки жалованья ангел приехал домой на извозчике до того пьяный, что она должна была втащить его в квартиру с извозчиком. Но и этого мало: у ангела денег оказалось налицо всего трехрублевая бумажка и несколько медяков.

С этих пор жизнь пошла нехорошая: муж пьянствовал часто, жена его била и мало-помалу истрачивала приданые деньги; соседки говорили про Овчинникова всякую всячину и не могли понять, отчего он стал пьянствовать хуже и хуже, закладывал свою шинель, вицмундир и даже сапоги; тащил в залог все, что лежало плохо. Жена выкупала все эти вещи, ходила к ворожеям, поила мужа какими-то лекарствами, от которых он хворал по месяцам, но пьянствовать все-таки не переставал.

Таким образом супруги прожили пятнадцать лет. На шестнадцатом Овчинникова уволили в отставку; Анна Петровна стала лечить его — и залечила до того, что он помер.

Анна Петровна осталась вдовою губернского секретаря с двумя дочерьми, Верой и Надеждой. Несмотря на нехорошую жизнь с пьяницей-мужем, она все-таки была женщина красивая и здоровая и могла бы выйти замуж, но ей уже опротивела замужняя жизнь, тем более что и в

других семействах она видела то же, что творилось и с нею в замужестве. Да за нее, впрочем, никто и не сватался, вероятно потому, что у нее было двое детей и она жила бедно, приобретая деньги шитьем. Сестра ее, жившая на Песках и не имевшая детей, которые умирали через три и пять месяцев по рождении, звала Анну Петровну жить к себе. Но Анна Петровна не могла у ней прожить и с неделю: ей было скучно обо всей Петербургской стороне, о Мокрой улице, где ей казался и воздух чище и жизнь проще. «Там все свои, там просто; здесь хоть и чиновники живут, но далеко хуже наших, и друг с другом они не ладят. Здесь проживет чиновник с месяц — и уедет прочь, а у нас этого нет. У нас и одеваться хорошо не надо, у нас и важных людей не встретишь; а здесь оденься-ко худо — осмеют».

Так думала Анна Петровна и воротилась в Мокрую улицу.

Пришлось переехать на другую квартиру, потому что прежняя была и велика для вдовы и дорога. Заложила Анна Петровна кой-какие ценные вещи, доставшиеся ей в приданое или купленные в первый год замужества, наняла квартиру в мезонине, в три комнаты с кухней, и прилепила на воротах бумажку с надписью: «Отдаются комнаты состалом и небелью». Сделавши это, она несколько дней по утрам выходила за ворота, останавливала чиновников, заговаривала с ними и просила их найти ей хороших жильцов. Но жильцы не являлись. Поднялись толки, что, верно, у Анны Петровны много накоплено денег, что она нанимает большую квартиру безо всякого расчета, тогда как ей достаточно было бы с девочками и одной комнаты, которую она могла бы нанять у любой чиновницы-вдовы; некоторые даже стали поговаривать, что Анна Петровна, должно быть, поддела любовника из Петербурга, который непременно ездит к ней по ночам и которого, вероятно, она хочет женить на себе. За Анной Петровной стали следить, но ничего не уследили: она по-прежнему шила, уходила с шитьем и за шитьем, была со всеми любезна и на вопросы: как живет? — постоянно отвечала: помаленьку! бог грехам терпит... Но, в самом деле, она едва сводила приход с расходом, и ей приходилось к концу месяца нести что-нибудь в заклад. Была у нее приятельница Степанова, которая жила тоже на Петербургской, только в другом

конце. Эта госпожа имела кухмистерскую секретно, то есть не имела ни вывески, ни свидетельства на этот род занятия. От нее Анна Петровна узнала, что вообще кормить небогатых людей выгодно, если только их много и они хорошо платят; за пищу она деньги выручает, но комнаты, или вообще квартира, сидит у нее на шее, потому что или стоят пустые все лето, когда студенты уезжают домой, или в них живут неподолгу люди бедные, с которых иногда совестно просить денег. — Анна Петровна была женщина сообразительная. В каждое из ее посещений она что-нибудь усвоивала и дома записывала на бумажку, как нужно приготовить из таких-то припасов супу на тридцать человек, как изжарить мясо так, чтобы его хватило на трое суток, — и т. п. И ей сильно захотелось сделаться самой кухмистершей. Но тут встретилось большое затруднение: чтобы готовить обеды — нужна работница; нужен мальчик или девочка, чтобы разносить кушанья, — не станет же она заставлять своих дочерей разносить кушанья, не для того они родились! Потом нужна посуда, нужны медные судки. И на все это нужны деньги. После нескольких колебаний она решилась попросить у мужа своей сестры сто рублей, но он дал только пятьдесят под расписку, с тем чтобы она их уплатила в течение года. На половину этих денег Анна Петровна купила держаной посуды, наняла кухарку и прилепила на воротах пол-листа бумаги, на котором крупными буквами было написано: «Чиновница Овчинникова адает кушанья на дом или у себя спросить об цене в мезонине квартира № 12 у вдовы кухмистерши Анны Петровны Овчинниковой». Несмотря на эту безграмотную записку, прохожие чиновники, заметив на воротах лоскуток бумаги с большим количеством букв, оставались, читали, чесали себе затылки и подбородки и рассуждали: не выгоднее ли будет им, в самом деле, получить кушанья от вдовы Овчинниковой?

Но пока они думали и рассуждали об этом, чиновницы, идя в лавки и на рынок, тоже успели прочитать эту надпись и от удивления перешли к негодованию, потому что вдова Овчинникова срамит их своим новым занятием.

— Жаль, что она кухаркой не назвала себя! Этого еще недоставало! — кричали чиновницы чуть не во все горло. Им было досадно не то, что вдова Овчинникова

будет держать нахлебников, но зачем она назвала себя именем кухмистерши, которое идет только к мещанину. Во-вторых, им было досадно, что вдова Овчинникова, до сих пор жившая со всеми откровенно, как говорится, душа в душу, вдруг письменно на всю улицу заявляет, что она *отдает* кушанья на дом или у себя: стало быть, этим самым заявлением она становится к ним в неприязнительские отношения, хочет отбить у них не только хороших нахлебников, но и квартирантов. Вся женская половина Мокрой улицы вооружилась против Анны Петровны, а одна чиновница хотела даже сорвать бумагу с ворот, но ее удержали соседи. Хотели было отправить к ней депутацию, чтобы потребовать объяснения, но решили подождать мужей и квартирантов, для того чтобы посоветоваться с первыми и уверить последних, что все написанное на бумаге над воротами дома Плошкина есть плод пылкого, но глупого воображения вдовы Овчинниковой, которая, как надо полагать, пустилась на аферу и думает обобрать простоватых молодых людей.

Однако, как ни старались хозяйки-чиновницы уверить своих квартирантов в этом и в том, что вдова Овчинникова табак нюхает, а табак легко может попасть в суп и в жаркое, молодежь захотела попытаться, не дешевле ли у вдовы Овчинниковой обед. И действительно, Овчинникова назначила цену дешевле других, и в тот же день обедало у нее десять чиновников, которые нашли кушанья превосходными. Потом четверо наняли у нее две комнаты и дали задатки, четверо согласились обедать помесечно и дали тоже задатки по рублю; остальные просили подождать до получения жалованья.

Такой успех Анны Петровны вывел из терпения чиновниц, и они решились сразиться с ней.

Утром Анна Петровна шла в Сытный рынок за провизией. За ней следовала и кухарка с кульком. Попадают навстречу две чиновницы.

— Вы что же это такое делаете? — спросила ее одна из них сердито, не поздоровавшись даже с нею.

— Что я такое делаю? — спросила, в свою очередь, спокойно Анна Петровна.

— А это как у вас в бумаге написано...

— И не стыдно вам? — прервала другая и закачала головой.

— Это вы насчет чего же спрашиваете?

— А насчет того, что вы на мошенничество пустились...

— Не горячитесь, Софья Сергеевна!..

— Я вот что хочу спросить у вас, Анна Петровна: пристала ли благородной даме называться кухмистершей, и на каком основании вы сманиваете к себе наших жильцов и нахлебников?

— На том основании, во-первых, что, по моему понятию, нет стыда в том, что я называю себя кухмистершей. Уж это дело мое, а не ваше. Во-вторых, я женщина благородная, и мне с детьми не хочется жить у *кого-нибудь* в углу или быть прихлебательницей богатых родственников, как это *некоторые* благородные дамы делают. Что же касается до того, что мне бог дал нахлебников, то значит, я умею вести дело и не беру таких цен, как *некоторые*.

— Позвольте... вы нас-то к чему называете некоторыми? Вы этим словом всех благородных хозяев обижаете.

— Извините... Я иду в рынок... Мне нужно кушанья готовить. — И Анна Петровна пошла.

Как вообще всякое новое дело в глухой местности находит у неразвитых людей отпор, так и Анна Петровна в течение двух лет много перенесла неприятностей от бывших своих подруг, которые теперь стали ей врагами. Они всячески старались напакостить ей и словом и делом; не было человека, который бы не слышал, что вдова Овчинникова нехорошая, разгульная женщина, не было лавки, в которой бы лавочники не были прошены не давать ей ничего. Все эти переговоры и сплетни передавались Анне Петровне дворниками, кухарками, лавочниками в преувеличенном виде; чиновницы перестали ей кланяться, точно она только что приехала на Петербургскую; девицы, завидев кухмистершу, хихикали и, сталкиваясь с нею, отворачивали лицо в сторону; одним словом, вся Мокрая улица и почти весь этот угол Петербургской был дурного мнения об ней; но Анна Петровна помалчивала, хотя на душе у нее, как говорится, кошки скребли, и проходила мимо врага, не только не кидаясь на него собакой, но даже и не глядя на него.

Однако, несмотря на то, что в два года Анна Петровна сумела прославиться чуть ли не во всем чиновном мире Петербургской стороны сплетнями и дешевым, но

сытным столом, прибыли-же она получала мало, потому что нахлебники навертывались всякие: задаток отдаст, пообедаст две недели, наест на два рубля в долг — и нейдет больше; таких же нахлебников, которые бы платили вперед за месяц, было немного. А тут еще новая беда: вещи, что отданы в залог, пропадают; муж сестры вместо пятидесяти рублей уже просит шестьдесят, а к концу второго года, пожалуй, присчитает еще лишних десять рублей; мяснику должна пятнадцать рублей, кухарка просит жалованье за полгода. Думала-думала Анна Петровна и выдумала штуку: идти по департаментам к экзекуторам просить долги чиновников. Результат этой ходьбы вышел тот, что к новому году экзекуторы вычли из пособий и наград чиновников должны Анне Петровне деньги и обещались не только рекомендовать хороших нахлебников, но и вперед вычитать с них, долги, если такие окажутся. Анна Петровна расплатилась с долгами, даже выкупила некоторые вещи. Но теперь против нее вооружились должники, с которыми она поступила так бесцеремонно. Но, несмотря на это, нахлебники находились, и дела ее мало-помалу улучшались, а квартиранты к шестому году ее кухмистерства успели уже обучить ее дочерей грамоте. Мало-помалу старые люди успели умереть; умерло несколько чиновниц-подруг, которые по началу ее кухмистерства сплетничали на нее, молодежь успела выйти замуж, и со временем все пришло в такой порядок, что как будто Мокрая улица немыслима без кухмистерши, и теперь Анна Петровна для всей Мокрой улицы такое же существо, как и всякая другая соседка.

Теперь Анна Петровна в почете в этой улице и в славе чуть ли не на всей Петербургской стороне, где ее знает каждая пожилая чиновница. В почет же Анна Петровна попала года с три назад, с тех пор как стала отдавать под залог деньги.

Как всякий человек, понаторевший в одном каком-нибудь занятии, старается еще больше извлечь из него выгоды, постепенно сокращая расходы, так и Анна Петровна, имея постоянных нахлебников у себя и в других квартирах, мало-помалу довела свое кухмистерство до того, что стала кормить всех очень субтильно. Прежде она всем давала хлеба, а жильцы ее получали даже ужин; теперь все это оказалось невыгодным. Ссылаясь

на дороговизну хлеба и других припасов, она значительно сократила обед и в то же время плату за него увеличила на целые два рубля в месяц.

Казалось бы, что при таком положении дел у Анны Петровны должно быть много денег, однако денежные ее дела далеко не в цветущем положении. Не говоря уже о мальчике, разносящем кушанья в судках по домам и взятом ею у мещанки-матери назад тому шесть лет почти даром, для того только, чтобы приучить его к поварской части, — не говоря об этом мальчике, которому она не хочет платить, ссылаясь на какие-то условия, заключенные домашним образом с умершею уже мещанкою, — она должна и в мясную лавку и в овощную, в которые перезаложила на время заложенные ей чиновницами вещи. Слушая сетования лавочников о том, что Анна Петровна день за днем все берет в долг и если выплачивает пять рублей, то заберет на пятнадцать, обитатели Мокрой улицы говорят, что она, вероятно, деньги бережет для того, чтобы выдать младшую дочь за майора, который уже два года как объявлен женихом Надежды Александровны...

IV

Квартира кухмистерши Овчинниковой

Во дворе окружили Анну Петровну сидевшие на крыльце и игравшие мальчики и девочки от трех до десяти лет. Они кричали:

— Бабушка, гостинцев! Бабушка в рынок ходила!

— Ну-ну... отвяжитесь! Не та пора, чтобы гостинцы раздавать! — И она, кое-как освободившись от повиснувших на ее платье детей, повела за собою кухарку в квартиру.

Был хотя и вечер, но еще светло. Зато на лестнице, по которой они поднимались, была совершенная ночь, так что Пелагея Прохоровна едва не заблудилась в переходах.

Лестница эта была не высока; на площадке было сделано слуховое окно. По краям над лестницей сделаны перила, около самой крыши, справа и слева, протянуты бечевки, на которых сушится белье.

В кухне с небольшой русской печью и небольшою плитою, с полками, на которых лежала посуда и судки,

и пропитанной запахом жареных гусей и сосисок, около большого стола сидели дочери Анны Петровны, из которых Вере было годов с тридцать, а Надежде годов двадцать восемь. Вера была девушка здоровая, румяная. Заметно было сразу, что она любит наряжаться и заботится, чтобы у ней и платье было в порядке, и воротничок на шее не был грязен и измят, и волосы не сбиты. Взгляд у нее был гордый, смелый и лукавый, и лица принимало в несколько минут различные выражения, точно она воображала себя актрисой. Другая сестра, Надежда, была худощава, и хотя сидела в ситцевом капоте с широкими рукавами и в кринолине, но и это не придавало ей полноты. Лицо ее было бледно, с небольшим количеством веснушек, но привлекательно; карие ее глаза выражали не то тоску, не то покорность; темно-русые волосы немного растрепались, сетка сползла набок. Она сидела, нагнувшись к работе, и торопливо шила. Около печки, на лавке, сидел мальчик, на вид годов десяти, с худощавым лицом, запачканным до того, что, казалось, он не мылся в бане целый год или только что пришел с фабрики, где работал неделю. Его черные волосы лоснились, черные глаза смотрели со злостью то на Веру, то на Надежду. На нем был надет тиковый халат, весь пропитанный салом, опоясанный ремнем и застегнутый на ворота на крючок.

— Вон взяла разиню, а она там заблудилась, — сказала, входя, Анна Петровна.

— Неужели? В коридоре заблудилась? — проговорила Вера, смеясь.

— Налей-ка воды! — сказала хозяйка повелительно кухарке.

— А где у те ковшик-то?

Вера хихикнула над чем-то.

— Ты не должна говорить — у те, у те! Что это за слово? Ты должна говорить — у вас, потому что ты у господ живешь! — проговорила наставительным голосом Анна Петровна.

— Давно Петр Иванович лег спать? — спросила она дочерей.

— Уж час будет. Он из *маскараду* пришел.

— Ничего не принес?

— Вон Наде катушку ниток принес.

Надежда покраснела.

— Экая скряга! — сказала Анна Петровна.

Минут пять все молчали. В кухне было тихо, только мальчик фыркал носом да Анна Петровна плескала водой; из соседней комнаты слышался храп.

— Много ли было сегодня? — опять спросила Анна Петровна, обращаясь к дочерям.

— Да все те же. Мясоедов съезжает от нас, — сказала Вера и взглянула на сестру.

Щеки Надежды покраснели, и она еще ниже нагнулась.

— Ну, и с богом. И так надоел со своей скрипкой. Я ему давно хотела отказать, да только ради бедности держала.

— Он, мамаша, вовсе не беден, — проговорила робко, но с заметным волнением Надежда.

— Ну, это еще неизвестно.

— У него всегда есть деньги, и он всегда трезвый.

— Ну уж!.. Все-таки пусть съезжает. Не забыть мне, как он однажды нагрубил мне за то, что не велела ему пилить в то время, когда Петр Иванович спал.

— Петр Иванович не в свою квартиру пришел.

— Все-таки он нам близок.

— Я бы на вашем месте давно ему дверь показала.

— Что такое? — строго спросила Анна Петровна.

— То, что он мазурик.

Анна Петровна подошла к Надежде и ударила ее по щеке ладонью.

— Мамаша, — проговорила Вера, встав и подойдя к матери, которая собиралась вlepить Надежде другую оплеуху.

— Ах ты, негодная!.. Человек платит нам деньги, сватается за вас... А она... Что, мне долго еще кормить-то вас? — проговорила запальчиво Анна Петровна, ежеминутно мигая.

— Я сама себе зарабатываю хлеб, — начала Надежда.

— Молчать!.. Сука!..

Надежда заплакала; Анна Петровна присела на стул, подперла левую щеку рукой и стала ворчать. Это ворчание заключалось в том, что у нее дочери хотя и дворянки, но девицы очень неблагодарные, грубые, как мужички. Иные давно бы уже успели завлечь такого жениха, как Петр Иванович, и выйти за него замуж, а они

заставляют Петра Иваныча ждать, тянут время, говорят про него бог знает какие вещи, чего в старые годы и думать даже было непозволительно. Пока она ворчала вполголоса, дочери молчали, точно она говорила не им и не об них, точно все это им было уже несколько раз говорено. Надежда не плакала, но по лицу ее заметно было, что она, если бы было можно, вскочила бы и убежала; Вера шила по-прежнему, и по глазам ее заметно было, что она что-то соображала.

В кухню вошел молодой человек с темно-русыми волосами, с маленькими усами, с лицом, изобличавшим в нем чахоточного человека. На нем надет был красный кашемировый халат.

— Потрудитесь поставить самовар, — сказал он Анне Петровне.

Та приказала Пелагее Прохоровне поставить самовар и вежливо спросила молодого человека:

— Вы, я слышала, съезжаете?

— А! уже это довели до вашего сведения... Да, мне казенная квартира вышла по жребию.

— А! Жаль! человек вы хороший!

— Благодарю за комплимент. Мне и самому не хотелось съезжать по некоторым причинам... — Он кашлянул в кулак и взглянул на Надежду Александровну, щеки которой покраснели.

— Кухарку изволили нанять? — спросил молодой человек, которому, как видно, хотелось посидеть в кухне.

— Да, как видите. А ты еще здесь? — обратилась вдруг хозяйка к мальчику, точно этот мальчик до сих пор не существовал в кухне.

— Куда ж я пойду без паспорта? — проговорил мальчик резко-охриплым голосом, который изобличал в нем девятнадцатилетнего мальчугана, а не десятилетнего.

— Слышите, как отвечает? — сказала Анна Петровна жильцу с удивлением.

— Сс! Да, он немного груб.

— Нет, он постоянно груб. Я бы его ни одной минуты не держала у себя, да надо кухарку познакомить с господами: ведь она не знает, куда нужно носить кушанье.

— Так, так, — заметил чиновник.

Чиновнику говорить было не о чем. Он было вынул из бокового кармана папиросницу, но только повертел ее

в руках. Анна Петровна учила кухарку, как ставить самовар. Надежда нагнулась еще ниже к работе и точно боялась поднять голову; Вера несколько раз поправляла ладонями свои волосы и важно взглядывала на чиновника.

— Ну... я пойду. До свидания! — сказал вдруг чиновник и ушел. Через пять минут он в своей комнате настраивал скрипку.

Когда он ушел, Вера Александровна вдруг захохотала.

— Вот образованность! — проговорила она сквозь смех. — Ты, Надя, заметила, что он пришел в туфлях и на правой ноге у него туфля разодралась?

— Очень нужно мне замечать! — сказала та сердито.

— Ах, ты, наказание! Опять запилил! — проговорила отчаянно Анна Петровна и вскочила на ноги. — Кухарка! Поди-ка скажи ему, чтобы он не играл, — сказала она Пелагее Прохоровне.

Пелагее Прохоровне это приказание показалось странным, и она подумала сперва, что ее хозяйка дурит.

— Ну, что ж ты стоишь? двадцать раз тебе, что ли, надо приказывать?

— Да как... — начала было Пелагея Прохоровна, но в это время что-то затрещало в соседней комнате, и оттуда вышел майор.

Если бы этому майору пришла фантазия нарядиться в башкирский малахай и серый войлочный зипун, опоясав его ремнем и заткнув за ремень нагайку, никто бы в нем не узнал русского человека; он даже и теперь, в своем майорском сюртуке, походил скорее на отъезжего кондуктора железной дороги из башкир.

Он вошел в кухню, потрянул правой рукой, заглянул на полку одним глазом, нюхнул воздух и сел на стул, растопырив ноги и сделав руки фертом.

— Славно выпался, — проговорил он охриплым голосом и уставил на Веру глаза, точно бульдог.

— Я думаю, этот прохвост помешал со скрипкой?

— А! — промычал майор, вопросительно повернув голову и уставив глаза на Анну Петровну.

В этом взгляде так и замечалось, что майор не любил часто ворочать голову.

Анна Петровна повторила свои слова.

— Ну, дак что ж? Пусть пилит... Мне какое дело, — проговорил нехотя майор.

Все молчали. Девицы, казалось, тяготились буль-
дожьими глазами майора; майор сопел.

— Вы что же удрали от меня? — спросил вдруг
майор, глядя на Веру.

— Еще бы не уйти! Вы напились пива-то и нас лезете
угощать, — сказала Надежда.

— А! Угощать, говорите, лезу... А! — улыбаясь, го-
ворил майор.

— Бутылок десять, кажется, выпили. Колька! сколько
ты покупал бутылок? — спросила мальчика Вера. Майор
тоже повторил этот вопрос.

— Только восемь; а в прошлый я шесть раз бегал;
бутылок двадцать выпили, — ответил мальчик.

— Ах, ты!.. Ты с пивом и арифметике выучился!

— Ну, что вы тут сидите! Идите в комнату! — сказа-
ла Анна Петровна.

— А надо еще пива купить! не купили?

— Нет.

— Што! Брр!! Вас все нужно учить...

— Ну-ну! Идите-ка в комнату.

— Ой!.. А я еще и не пойду один-то... Вы здесь, и
я здесь; вы там, и я там; где вы, там и я, — проговорил
майор, мотнув головою, и захохотал.

— Ну, а вы-то что глаза тут портите! Уж темно ста-
новится.

— Да, в жмурки можно играть, — проговорил майор,
встал, махнул рукой, поглядел одним глазом на полку и
заковылял в коридорчик.

Девицы пошли за ним. Анна Петровна пошла к
жильцу унимать, чтобы не пилил на скрипке.

— Экая махина! — проговорила Пелагея Прохоровна,
когда в кухне остались мальчик и она.

— Здоров! Этта как-то смазал Надежду Алексан-
дровну, так цельный месяц она провалялась,

— Отец, што ли, ихной?

— Отец! любовник ейной!

— Што ты врешь!

— Я правду говорю, не маленький. Слава богу, мне
девятнадцатый год.

— Ох, ты, хвастуша! — Пелагея Прохоровна захохо-
тала.

— Помереть сейчас... У меня и невеста есть.

И Пелагея Прохоровна захохотала пуще прежнего.

Вошла хозяйка.

— Это што за смех! Уж не любезничаєте ли вы?

— Да вон он говорит, ему девятнадцатый год и невеста есть! — проговорила, смеясь, Пелагея Прохорова.

— Вот как! — И Анна Петровна захохотала и со смехом пошла в комнату, откуда пришли вместе с нею маиор и дочери ее.

— Невеста, говоришь, есть? — проговорил, хохоча, маиор, подняв мальчика.

— Што ж такое?

— И свадьба скоро?

— Не по-вашему.

— Не по-нашему, говоришь? Молодец! Умница!.. Женишок!!! Скажите! а мы и не знали, что у нас жених есть... Кто же твоя невеста?

— Это уж мое дело.

— Конечно! Конечно! Про это не говорят... Скажите, пожалуйста! А! Брр!! И приданое есть?.. Ах, ты, каналья!

Мальчик рванулся и выскочил в сени. Маиор минуты две держал руку в том положении, как он ею поддерживал мальчика. Он глядел в потолок, тогда как Анна Петровна побежала в сени догонять мальчика. Девицы хохотали. Но больше всех хохотала Пелагея Прохорова, которую чрезвычайно смешила вся фигура маиора.

— Каков?! Бр!! Скажите! — сердито говорил маиор.

— Выскочил! — говорила, смеясь, Вера. — А еще хвастались: шашкой по десяти человек сразу в Польше убивали!

— Я?! — проговорил запальчиво маиор и двинулся.

Девицы взвизгнули и убежали в комнату. Маиор заковылял за ними.

Несколько минут из комнаты слышался хохот девиц и визг Веры Александровны.

Пришел тот жилец, который просил самовар.

— Что же самовар?

— Ой, барин, тут не до самовару... Тут у нас комедия; ох, ты, господи! — хохотала Пелагея Прохорова.

— Ну, подай самовар!

Пришла Анна Петровна запыхавшись и объявила, что мальчишка исчез.

Маиор сидел у Анны Петровны до двух часов. Спер-

ва он играл в карты с Верой и Надеждой, потом выпил четыре бутылки пива и пел непонятные для Пелагеи Прохоровны романсы. Сели опять играть в карты; но майор скоро заспорил, обругал всех сволочами, уронил стул и ушел, грозя всем перебить скулы. Чахоточный жилец еще после чаю ушел, сказав, что он сегодня домой не придет, а у другого жильца было двое гостей, для которых Пелагея Прохоровна два раза бегала в кабаки за водкой и которые, попев и пошумев немного, скоро уснули в комнате жильца, где попало.

V

Которая вкратце объясняет отношения майора к дочерям кухмистерши Овчинниковой

Майор Петр Иванович Филимонов стал известен в Мокрой улице года с четыре, с тех пор как он, пересмотрев в этой улице несколько комнат, проклиная Большую Садовую, Гороховую, обе Подъяческие, все три Мещанские улицы — за треск, за прокислый воздух, за то, что там он большею частию нарывался на немок-хозяек, которые будто бы лупили с него большие деньги и не уважали его майорскую особу. Он водворился в мезонине, нанимаемом вдовою-полковницею, доживавшею в то время седьмой десяток. Комната у майора была большая, светлая; кровать его была занавешана; окна выходили в огород, и поэтому он мог вволю наслаждаться пением петухов, мяуканьем кошек и лаем собак; полковница была старушка добрая, прислуга у нее была послушная. Зажил майор хорошо. Но через четыре месяца ему сделалось скучно. Делать нечего: считать деньги надоело, писать и читать он не любит, и идти никуда не хочется. Придет он к полковнице, сядет против нее. Полковница, в огромных очках и огромном чепчике, вяжет чулок и что-то нашептывает; в комнате у ней накурено ладаном. Она успела уже выведать от майора все его прошлое и настоящее, так же, как и он в четыре месяца выведал от нее не только настоящее и прошедшее, но и будущее, которое состояло в том, что полковница ежедневно ждала себе смерти, тогда как майор ни за что не желал умереть и не знал только, что делать ему завтра. Не о чем даже было и говорить. Новостей в Мокрой улице так мало, что о них довольно

поговорить с четверть часа. Полковница вяжет, майор сидит, смотрит на полковницу, и в голове его вертится только одна мысль: умрешь! И он силится развить эту мысль, но и развивать тут нечего: «Умрешь — и все тут, а мы поживем».

— Черт ее дери — скуку! — сказал однажды майор.

— На службу бы вам поступить! — сказала на это полковница.

— Баста!.. Будет: с одного вола двух шкур не дерут.

— Гулять бы не то шли.

— Сапоги драть?!

— Ну, пасьянс бы...

— Это по-немецки?.. А я их терпеть не могу. Я под Севастополем их палашом по пятнадцати человек сразу рубил.

— Да вовсе вы с немцами тогда, кажется, не воевали!

— Так-то оно так... Только что немец, что француз — все не русские. Вот что я вам доложу!

— Ну, не то женились бы!

— А? Отлично... Но боюсь...

— Чего?

— Толст я очень и силен. Меня в полку называли Ильей Муромцем. Боюсь!

— Ну, вы как-нибудь... А вам надо жениться... Дети будут, заботы будут, хлопоты, возня...

Полковница просветила майора. Стал он теперь думать, что, в самом деле, толстота его не мешает жениться, а рукам можно и не давать воли. Но вот что его сбивало с толку: уживется ли он с женой — и какая такая будет у него жена? И он опять обратился за советом к просветительнице.

— Это дело вкуса, — сказала полковница.

— А именно?

— Надо, чтобы она вам понравилась и имела капитал.

— Так, так. Капитал чтобы имела... ну, чтобы повиновалась...

— И чтобы хозяйкой была, — добавила полковница.

Майор задумался. Он привык к одинокой жизни, привык сам покупать, платить и получать деньги. На своем веку он немало имел любовниц, но уже годов с десять отстал от этого, вследствие какой-то нехорошей истории.

Этих любовниц он не любил, не доверял им, а просто сорил деньги. Теперь, *остепенившись*, он должен, как говорит полковница, завести хозяйку, а хозяйка, по его понятию, значила то же, что и всякая квартирная хозяйка. Он ужасался, что его *оберут*, опоят и отравят. Он сообщил это полковнице, но та разъяснила, что жена может и свои деньги иметь. Майор несколько успокоился, но его затрудняло теперь то, какая у него должна быть жена: равных с ним лет или молодая, толстая или тоненькая, высокая или низенькая, грамотная или неграмотная.

— Да где взять невесту?

— Мало ли у нас невест? — сказал полковница.

— Но я их не вижу.

— Вы думаете, они сами так вам в рот и полезут. Вон, например, против ваших окон, через огород, виден мезонин с двумя окнами. Тут живет кухмистерша.

— Слыхал.

— Ну, у нее есть две дочери. Девушки красивые, рукодельницы. Я иногда им даю кое-что починить.

— Отлично! — крикнул майор.

Но он с месяц не решался приступить к делу. Он думал о женитьбе у окна с трубкой и смотрел на мезонин. Раз он заметил у окна в мезонине мужчину. Заклокотала кровь у майора, расвирипел он ужасно и пришел в таком виде к полковнице.

— Мужчина! мужчина!!.. — проговорил он трагически, указывая руками в ту сторону, где мезонин.

— Да они не тут живут.

— А?!

— Не тут, говорю, живут.

— Не тут?

— Я вам советовала познакомиться с ними, а вы, как колода, все сидите или лежите.

— Ужо!

Майор успокоился и через день, выпарившись предварительно в бане, надев мундир с десятком орденов и взяв трость, поковылял к кухмистерше.

Если бы не девицы, он воротился бы с первой лестницы, но его, несмотря на темноту, нехороший запах и грязь, что-то так и тянуло вверх.

Анна Петровна совсем растерялась, увидав в коридорчике такую особу, которую она с переполоха при-

знала за генерала; ее дочери украдкой смотрели на него из двери комнаты. Глаза майора в короткое время успели разглядеть их, и он сам растерялся, говоря дрожащей Анне Петровне: «Я к вам! Я к вам!..» Ни Анна Петровна, ни ее дочери не понимали, что означал этот визит. Анна Петровна думала, не родственник ли какой дальний эта особа; ее дочери думали, не мазурик ли какой. Недавно был случай, что какой-то мазурик нарядился генералом и обокрал чуть не весь магазин, — но подойти и шепнуть матери об этом они боялись, потому что он стоял в коридорчике. Наконец майор пришел в себя.

— Я к вам из дома Королева... Я живу у полковницы Головиной и имею честь рекомендоваться: майор в отставке Петр Иванович Филимонов! — проговорил он с расстановкой и по окончании крикнул, точно с его плеч свалилась огромная ноша.

— Ах, это вы и есть, господин майор! Слыхала! Только вас что-то мало видать на улице, — проговорила Анна Петровна, утирая губы и обдергивая свое платье.

— Я домосед-с! Да. Такой домосед, что...

— Пожалуйте в комнату.

— Покорно благодарю... Я к вам по делу...

— Пожалуйте! — семенила Анна Петровна, думая, по какому это делу мог прийти к ней майор, которого редко кто видит в Мокрой улице.

В комнате майор объявил, что он намерен брать у кухмистерши кушанья. Он просидел до вечера, похвалил и чай, и обед, и кофей, и пиво, и девиц за то, что они шьют хорошо, и, обещав бывать в кухмистерской ежедневно, заплатил за все съеденное и выпитое, несмотря на то, что кухмистерша отказывалась брать деньги за чай, кофей и пиво на том основании, что она рада знакомству.

Майор сообщил полковнице, что он положительно женится; но вот горе: ему нравятся обе дочери кухмистерши...

— Господь с вами — вы ведь не татарин, чтобы на двух жениться.

Майор задумался. Обе молоды, красивы, любезны; которую выбрать?

— Предоставьте это времятечению, — сказала полковница на сетование майора.

Майор не понял.

— Очертя голову нельзя делать, что не следует. Потерпите, всмотритесь и рассмотрите ихние характеры, и со временем вы отличите из них достойную вас, — разъяснила полковница.

Стал майор посещать квартиру кухмистерши и каждый раз возвращался домой в недоумении, которая из дочерей кухмистерши достойна быть его женой: обе красавицы, обе умны... И думая об этом, он попивал пиво.

Прошло лето, осень, наступил мороз. Майор ходил к кухмистерше и засиживался у нее до вечернего чая, рассказывая про свою военную жизнь, удаль, силу и про то, что в нем весу с лишком десять пудов. Но перемены в дочерях кухмистерши он не замечает. Так же просто они одеты; так же на вате у них салопчики, и так же они стыдятся их, как и прежде. Как и прежде, они говорят бойко, недолго задумываясь, только что стыдятся его меньше и стали смеяться над ним, как ему кажется. Но теперь уже время проводится с ними скучнее прежнего, даже и в карты играешь — далеко нет той веселости, какая была летом и осенью.

— Что бы это такое значило? — спрашивает майор полковницу.

— А что же вы предложение не сделаете и ходите с пустыми руками?

— Подарить, небось, надо?

— Разумеется... А выбрали ли невесту-то себе?

— Да вот Надежда мне лучше нравится: она скромна, только горда больно.

— Ну, что пройдет! Вот вы ей и купите что-нибудь — ну, хоть лисий салоп.

— О-о!!! — завопил майор и замахал руками.

Однако полковница успокоила его, и на другой день отправился в Гостиный двор. Оказалось, меха дороги. Ему там посоветовали сходить на аукцион в гороховскую компанию, и там он купил дешево старенький лисий салоп, который и предложил Надежде Александровне в подарок к празднику.

Та удивилась и спросила:

— Это за что же?

— Извольте принимать, Надежда Александровна, не то силой надену! — сказал майор, улыбаясь.

— Нет, силой вы не можете и не имеете права, — ответила Надежда Александровна с большим волнением.

— Ну, так я мамашу вашу попрошу.

А Анна Петровна стояла у двери и отчаянно кивала головой, как будто говоря: бери! бери!

При последних словах майора она подошла к нему.

— Позвольте вас спросить, за что вы дарите Наде салопчик? — спросила она робко.

— За то... Ах!! не мо-гу-у! — простонал майор.

— Мы люди не бедные, Петр Иванович. Вы нас обижаете, — проговорила слезливо Анна Петровна и стала куксить глаза.

— Обижаете!.. Да мне плевать... — начал майор, что-то соображая, но дальше ничего не мог выговорить, потому что понял, что нарвался, и хотел идти к полковнице за советом.

— Не ожидала я от вас. Да вы, позвольте вас спросить, — за кого вы моих дочерей принимаете? — продолжала Анна Петровна запальчиво, сообразив, что словом «наплевать» он выразил что-то дурное.

— Анна Петровна... Ох!! Отдайте за меня Надежду Александровну...

— Я ее не держу: как она хочет!

— Я не хочу... Вы мне не нравитесь! — отрезала Надежда Александровна.

— Я так и думал... — сказал жалобно майор, сел и задумался.

Он сидел с полчаса. В это время Анна Петровна, вызвав дочерей в кухню, шепотом ругала их и приказывала Надежде Александровне изъявить свое согласие, а так как та не соглашалась, то она употребляла в дело руки.

Майор очнулся, девиц нет. Он пошел в кухню.

— Так как?

— Она согласна, — ответила Анна Петровна.

— Нет, я не согласна, ни за что на свете! — крикнула Надежда Александровна.

— Ну, так прощайте... А салоп я дарю, потому мне на что же он?

И майор ушел.

Он не приходил целых два месяца, потому что его обидели отказом.

Однако, несмотря на такую явную обиду и трату

денег на салоп, его почти ежедневно порывало сходить к кухмистерше и посмотреть, что там делается. И вот он задумал план: нельзя ли ему взять к себе Надежду Александровну в любовницы?

В эти два месяца сестрам покоя не было от матери: она их ругала и била, умоляла их, плакала и опять ругала.

Ни в чем не повинной Вере надоело все это страшно, и она стала тоже уговаривать Надежду Александровну пожалеть хотя ее.

— Ты изъяви согласие, пускай он ходит. Может быть, он еще и раздумает, — говорила она сестре.

Та плакала, хотела убежать, но ей грешно казалось обидеть своим побегом мать, да и пугала будущность, если она попадет куда-нибудь в магазин. Думалось также, что если она уйдет, то Вера не пойдет с ней; а если Вера останется, то майор непременно будет за нее свататься. Она знала характер Веры — ее уговорить не трудно. И что будет за жизнь с этим бульдогом, который может одним взмахом руки убить слабую женщину? Она начинала соглашаться с мнением сестры, что, может быть, он и раздумает жениться, может быть, со временем мать сама убедиться в своей несправедливости... Ну, а если он да в самом деле женится?.. И она сказала об этом сестре.

— Я бы на твоём месте вышла за него потому что такие толстые умирают от удара. Мамаша то же говорит. Она надеется, что он долго не проживет, и когда он умрет, все нам достанется. А если бы не это, стала бы мамаша выталкивать нас за него?

Надежда Александровна подумала об этом и решилась изъяснить согласие. Анна Петровна обрадовалась — и, откормив нахлебников, оделась по-праздничному и пошла к майору.

Майор лежал на кровати; при входе Анны Петровны он не вставал.

— Что это вы, Петр Иванович! Здоровы ли? — проговорила Анна Петровна.

— А что?

— Да вас не видать нигде...

— Чего мне делается! Я здоров.

— А я все собиралась к вам с Надей, попросить у вас извинения. Да тут Надя захворала, хлопот было

много. Она и больная все говорила мне: сходите за Петром Ивановичем, я, говорит, сказала ему грубости потому, что его сватовство было так неожиданно... И теперь все пристаёт да пристаёт: сходи да сходи... А я все думаю, хорошо ли это будет? Может быть, вы и отменили свое решение жениться?

Маиор лежал, глядя в потолок и поглаживая живот. С полчаса ни кухмистерша, ни маиор не сказали ни слова.

Наконец Анне Петровне надоело стоять.

— Прошу извинить, что беспокоила вас, — сказала она.

Маиор повернул голову к Анне Петровне и уставил на нее свои глаза, которые выражали и радость, и зверство.

— Так она согласилась? — проговорил маиор.

— Одумалась и согласилась.

— Так... А если я не согласен?

— Воля ваша.

— Ну, я прощаю... И чтобы вперед этого не было! — проговорил он и встал.

Маиор сделался любезен, напоил кухмистершу чаем и пивом. Анна Петровна пришла домой навеселе и разбила в кухне миску, купленную ею на Сенной.

Маиор не скоро собрался к кухмистерше; он пришел через неделю после визита к нему Анны Петровны.

Месяца два маиор приходил раза по два в неделю. Он обыкновенно приходил к обеду и уходил вечером. Вел он себя скромно, как следует жениху, рассказывал о своих походах, о том, как он в старые годы учил солдат, говорил, что ему не нравятся нынешние порядки, играл в карты и мало пил пива. На сетования Анны Петровны, что содержание стало дорого, на хлебники плохо платят, он посоветовал давать под залог вещей или за проценты деньги и, под предлогом быть участником в этом, дал ей денег и обещал вперед давать. Одним, словом, Петр Иванович оказался отличнейшим человеком, и все им были довольны, даже Надежда Александровна не косилась на него по-прежнему. Но о свадьбе ни маиор, ни кухмистерша с дочерьми не заикались; последние считали вопросы неловкими, да и думали, что лучше будет, если жених и невеста до свадьбы узнают друг друга. На третьем месяце маиор принес Надежде Александровне

шелковой материи на платье и потребовал, чтобы она поцеловала его. Отказываться было неудобно. Майор стал приходить по вечерам. Надежда Александровна должна была целовать его по приходе и при уходе из квартиры. Но и это ничего; к майору привыкли, и он в течение года был в квартире кухмистерши как свой человек. Иногда он снимал с себя сюртук, иногда приносил халат, трубку, ложился на диван; ему эти вольности допускались за то, что он носил кое-какие подарки невесте или ее сестре, а мать ссужал деньгами. А о свадьбе все-таки не было речи, и сестры стали говорить между собой, что им надо как-нибудь выйти из этого положения, потому что, как видно, майор не такой дурак, каким кажется, и польезжает к ним довольно ловко.

Раз Надежда Александровна возвращалась домой из Малой Дворянской улицы, куда она ходила за работой. Попадаетея ей *предмет*. Оба замлели, но спросили друг друга о здоровье. Потом предмет вдруг спрашивает ее: скоро ли ее свадьба с майором? Та сказала, что майор об этом не говорит им. Предмет пригласил Надежду Александровну в парк, дорогой купил апельсинов, груш, яблоков. В саду они сидели до вечера, говорили долго, изъяснились в любви, и предмет просил ее подождать немного, потому что ему обещают казенную квартиру и награду. А так как он ее очень любит, то просит приходить в парк. Но Надежда Александровна сказала, что ей нельзя часто ходить в парк, потому что бульдог по вечерам сидит у них, — «а лучше будет, если ты, Паша, будешь жить у нас. У нас теперь есть порожняя комната...» Паша переехал к кухмистерше, которая ничего не подозревала, а как только нет матери, а Паша дома, сестры или сидят у него, или он у них. Прошло два месяца; Паша живет, обнимается и целуется с Надей, майор тоже ходит, обнимается и целуется с Надеждой Александровной. Надежда Александровна весела, сделалась даже веселее Веры, которой было завидно счастию сестры, сумевшей своего Пашку поместить в одной квартире; майор тоже весел: ему казалось, что его наконец-таки полюбила гордая и своевольная девчонка. Теперь майор повел дело начистоту.

Приходит он раз в первом часу ночи с узлом и трубкой. Анна Петровна спала, но дочери работали.

Анну Петровну стали будить, майор не приказывал.

— Что вы так поздно пришли? — спросила его Надежда Александровна.

— Долго после обеда спал. Стели, Надя, постель.

— Это не для вас ли уж?

— Именно. Сегодня моему терпению конец. С сегодняшнего дня ты жена мне будешь.

Надежда Александровна побледнела и, шатаясь, дошла до постели и закрыла лицо руками.

— Стыдитесь говорить-то! — сказала с сердцем Вера Александровна.

— Да!

Вера Александровна подошла к двери, вынула ключ и крикнула:

— Мамаша! Кухарка! Жильцы! идите!..

Но маиор угостил ее оплеухой, и она упала.

Явилась мать, жильцы, кухарка. Вышла сцена.

— Вон!! — ревел маиор, толкая то того, то другого.

— Вон!! — кричала испуганная Анна Петровна, видя поднимающуюся с полу и с кровью во рту Веру и плачущую Надю.

— Деньги подай или дочь!

— Павел Игнатьич! сходите за полицией! — просила Анна Петровна.

— А! вы так?! Я вас проучу!.. — ревел маиор — и сел.

Но он сидел недолго и ушел вслед за жильцом, пошедшим за полицией.

Теперь всем стало ясно, что за штука этот маиор, и решено было жаловаться на него полиции и возвратить не только все вещи, но и деньги по возможности.

Но это было решено сгоряча. Утром явился маиор в мундире с орденами и, войдя в кухню, стал перед кухмистершей на колени.

— Виноват-с!.. простите... Вперед не буду! — проговорил он.

— Идите прочь. Не надо мне вашего прощенья, — проговорила запальчиво Анна Петровна.

— Но я маиор, и... я был пьян.

— Я хоть и не имею чести именоваться маиоршей, но все-таки дворянка и не позволю обижать меня и бить моих дочерей.

— Я плачу за бесчестие.

— Ничего я не хочу!

Майор встал, сделал руки фертм и начал:

— А вот это как по-вашему — бесчестье или нет? Сажу я у окна и вижу Надежду Александровну в комнате вашего жилья. Потом вижу, жилец обнимает...

— Полно вам врать-то!

— Позовите-ко сюда жильца и Надежду Александровну!

Анна Петровна не хотела этого сделать, но явилась Надежда и сказала запальчиво:

— Павел Игнатьич в тысячу раз лучше! Мамаша! позвольте мне идти за него...

— Что я говорил? — сказал майор и захохотал.

Это так удивило Анну Петровну, что она не знала, что ей сказать. Вдруг она пошла в комнату Павла Игнатьича.

— Вы... вы подлец! — произнесла она дрожащим голосом.

— Покорно вас благодарю.

— Извольте сейчас, сию минуту съезжать с квартиры! — крикнула она и вышла, хлопнув дверью.

Началась сцена, довольно неприятная для всех и кончившаяся тем, что майор заплатил за побитие Веры двадцать пять рублей, остался женихом Надежды с тем условием, что он женится непременно, если выедет Павел Игнатьич и если ему будут оказывать уважение; что он будет посещать невесту раз в неделю и не будет вперед безобразничать.

Началась опять прежняя жизнь: майор посещал невесту раз в неделю и по-прежнему играл в карты. Но Анна Петровна незалюбила Надежду Александровну, которая все дело испортила, может быть, навсегда. Дочери ненавидели майора, но сидели с ним потому, что из этой жизни не видели выхода. Так прошел год. Опять майор сделался своим человеком, но теперь уже строились планы будущей семейной жизни. Майор за две недели до найма Пелагеи Прохоровны говорил, что у него теперь лежит сердце больше к Вере Александровне, и он уже ходил к священнику посоветоваться насчет свадьбы. Анна Петровна тоже сходила к священнику — майор точно у него был. Он стал приходить к кухмистерше ежедневно, и в ожидании свадьбы, которая была назначена через неделю после Петра и Павла, все терпеливо сносили невежливое обращение его. Вера Александровна с

трепетом ждала дня, когда ее повенчают с тем, кого она ненавидит, и решилась на этот брак, чтобы угодить матери и в надежде на то, что майора кондрашка хватит. И действительно, вскоре после Петра и Павла майор был обвенчан.

VI

В которой Пелагея Прохоровна располагает к себе одну голову из подвала

Скоро после свадьбы майор купил себе собственный дом на набережной Невы и переехал туда с женою, переманив от кухмистерши и Пелагею Прохоровну.

Житье было дурное. Майор с утра до вечера был пьян, бил жену и несколько раз даже делал Пелагее Прохоровне предложение быть его любовницей. Но она все еще крепилась и не решалась оставить майорский дом, — во-первых, потому, что надеялась справиться с майором сама, если он будет слишком предприимчив, и во-вторых, потому, что получала тут три целковых в месяц и думала, что такого жалованья в другом месте, пожалуй, и не найти. Однажды майор ушел с женою в гости; Пелагее Прохоровне сделалось скучно; она отворила окно, уперлась на косяк и стала смотреть во двор.

За мезонином, в промежутке между двух окон, на бечевочке висело детское белье; из одного растворенного окна слышался плач ребенка и убаюкивающая песня женщины; у третьего окна сидела, по-видимому, девушка в сетке и, нагнувшись, пела: «Ах ты, купчик-душа! не ночуй у меня...» В одном углу двора пять мальчиков играли в бабки, три девочки сидели у крыльца и тихо играли в куклы; в другой стороне двора, из одного подвального этажа, слышался стук молотком, из другого выглядывала кверху, как раз на нее, мужская голова. Пелагею Прохоровну рассмешила эта голова, выглядывающая точно из водосточной трубы; но кроме головы, на один бок которой было надето что-то плисовое, похожее на ермолку, она заметила на окне два локтя, концы которых выходили наружу. Голова курила папироску. Вдруг голова кивнула по направлению к Пелагее Прохоровне.

Пелагея Прохоровна нагнулась, чтобы полюбопытствовать, какой особе кланяется голова.

— Пелагее Прохоровне! — вдруг сказала голова.

Пелагея Прохоровна вздрогнула, затворила окно и отошла от него. Ей сделалось стыдно и представилось, что это кивание непременно кто-нибудь заметил, а ее имя, по всей вероятности, услышал не один человек. «Эдакой подлец! — подумала она: — теперь, по его милости, обо мне нехорошо станут говорить!»

Во всей квартире была тишина, прерываемая тиканьем часов без боя, находящихся в комнате. Пелагее Прохоровне сделалось очень скучно, не хотелось работать, и в голове вертелась мысль, что вот она ни в чем не виновата, а теперь, по милости какого-то подлеца, ей совестно будет выйти на улицу или на двор. Ее порывало идти и спросить эту голову: как она смела кланяться ей и называть ее по имени на весь двор, точно она его любовница? «Надо дворнику сказать, чтобы квартиранты не смели обращаться так невежливо: я не какая-нибудь потаскуша, чтобы можно так обращаться со мной!» — подумала она и решила теперь же идти к старшему дворнику.

Она поправила свой сарафан, накинула на голову платок и подошла к небольшому зеркальцу, висевшему на стенке и принадлежавшему ей.

Она давно не смотрелась так в зеркало, как сегодня. Прежде она только взглядывала на него для того, чтобы посмотреть, в порядке ли причесаны волосы, хорошо ли лежит платок на голове; теперь же она особенно засмотрелась на свое лицо и удивилась, что оно стало бледнее прежнего и в нем нет прежней полноты. «Подумаешь, ведь, кажется, и сыта я — прежде вон об этом кофее и понятия никакого не имела, — работы не так много, и по ночам не мешают спать, а стала я пошто-то худощава; вон и глаза ровно не те, и волосы стали как будто реже». Но, несмотря на это сетование, Пелагея Прохоровна была все-таки женщина красивая: ее бледное, худощавое лицо, с сосредоточенно-осмысленным взглядом в глазах, при ее высоком росте, могло привлечь к себе хоть кого, хоть она сама об этом и не старалась.

Пелагея Прохоровна спустилась во двор, и хотя ей не хотелось глядеть на флигель, но против воли глаза взглянули на одно из окон в подвале, однако головы не оказалось.

Во дворе было два флигеля, из которых один был с мезонином, а другой без мезонина, но также, как и пер-

вый, с подвалом. В подвале первого флигеля отдавались внаймы две квартиры, и в одной из них жило пятнадцать человек рабочих; в другом помещался семейный сапожник, не имеющий, впрочем, вывески; остальная часть подвала была занята ледником и дровяным сараем домовладельца, и поэтому кухарке Филимонова ежедневно по несколько раз приходилось проходить в ледник мимо того окна, в котором она видела голову. Хотя же Пелагея Прохоровна до сих пор не обращала внимания на окна подвала и на народ, живущий там, но теперь она хотела увидеть того подлеца, который осмелился так дерзко фамильярничать с ней.

Она постояла против окна с полминуты, наклонившись к земле, как будто разглядывала находку, и искоса взглядывая на окна; но все окна были заперты, и в подвале было тихо.

После этого прошла неделя. Пелагея Прохоровна не обращала внимания на выходку рабочего из подвала и стала забывать о ней. Но она стала замечать, что кухарки взглядывают на нее полунасмешливо; дворники начинают отпускать любезности и хохочут, лавочники низко кланяются, шаркают ногами, и тоже хохочут, и уже начинают крепко жать ей ладони.

Стали Пелагею Прохоровну спрашивать: как она себя чувствует? — и спрашивали как-то насмешливо. Это ее разобидело; но она, поняв, что тут заключается какой-то намек, все-таки не возражала, чтобы не навлечь каких-нибудь неприятностей. Она это приписывала нехорошему, как ей казалось, поведению женщин: «Это они по себе судят; им удивительно кажется, што я живу без душеньки, и они злятся на меня, зачем я не якшаюсь с ними».

Хотелось ей познакомиться с женой лавочника Большакова, жившего тут же во флигеле, Агафьею Петровою, для того чтобы при посредстве ее мужа, у которого берут хлеб и другие припасы, найти место лучше или заняться стиркой белья, но ей казалось, что Агафья Петровна ведет себя с нею весьма надменно, и Пелагея Прохоровна незалюбила ее.

Так и шло все по-старому: женщины на нее косились, мужчины как-то насмешливо улыбались, лавочники жали руки и любезничали, что ей очень не нравилось, но никто не обижал словами. Раз маиор воротился домой откуда-

то очень пьяный и учинил дома драку, так что почти все жильцы высовывали свои головы, чтобы послушать, и делали громко свои замечания. Досталось тут и Пелагее Прохоровне, которая стала заступаться за хозяйку из боязни, чтобы майор не убил ее. Наконец майор выгнал жену и заперся в своей комнате.

Пелагее Прохоровне стало жаль майорши, и она пошла ее разыскивать, чтобы та ночевала в кухне, на ее кровати. Но ни на лестнице, ни на дворе она не нашла ее. Думая, не ушла ли она на улицу, Пелагея Прохоровна отворила калитку, взглянула налево — нет, направо — у самой калитки на лавочке сидит та голова, что так дерзко кричала ей из подвального окна. У Пелагеи Прохоровны по коже мурашки пробежали.

— Кого ищете, Пелагея Прохоровна? — проговорил скромно мужчина.

Пелагея Прохоровна вспыхнула, но отошла немного на дорогу и поглядела на сидящего мужчину.

Это был высокий человек, годов тридцати, с курчавыми рыжими волосами, без бороды и усов, с бледным чистым лицом, голубыми глазами и приятно улыбкою. Он сидел в голубой ситцевой рубашке, поверх которой был надет чистый передник; на босых ногах были надеты худенькие калоши, на голове плисовая шапка. Вся его фигура изобличала мастерового, и Пелагее Прохоровне представилось, точно она видит перед собой Короваева. Он сидел, скрестивши на груди руки, и спокойно глядел на нее.

— Хозяйку ищете? — спросил опять Пелагею Прохоровну мужчина.

— Ты... вы не видели? — Лицо Пелагеи Прохоровны покраснело; ей стало неловко, да и зло брало ее, неизвестно для нее самой почему.

— Нет, не видал... Видно, машина-то у вас все в полном ходу?

Пелагея Прохоровна не поняла.

— Видно, он все буянит? Вы бы нас, мастеровых, позвали, мы бы связали его.

— Свяжешь его, черта! — И Пелагея Прохоровна подошла к калитке.

Мужчина тоже встал.

— Пелагея Прохоровна... позвольте мне... просить вас, — начал он нерешительно.

— Ну?! — недовольно произнесла Пелагея Прохорова.

— Простите меня великодушно. Я слышал, вы изволили обидеться.

— Кабы умен был, не орал бы во все горло.

— Ну, простите же меня... — И он взял ее руку, крепко стиснул и прибавил: — Ей-богу, это меня черт сунул... Я давно хотел объяснить это... Ну, скажите, вы не сердитесь?

— Пустите!

— Нет, вы скажите.

— У! какой невежа!.. — И Пелагея Прохорова отвернула лицо. Мужчина выпустил руку и сказал:

— Простите великодушно, што я задержал вас...

Но Пелагея Прохорова не удостоила его ответом и вошла во двор. Она остановилась у лестницы и стала припоминать, что она сказала своему врагу. Кажется, ничего, но только как-то по-девичьи... И зачем он непременно тут?

Она задумалась... Ничего у ней не выходило, кроме того: «Какой ласковый... Этот не как Короваев!»

Опять стала думать: «И зачем он тут? Да я его часто вижу, только не в этой смешной ермолке... Ах, кабы он был кержак... то, бишь, раскольник... Экая я дура, о чем задумала, а там, поди, бог знает што творится наверху-то!» И Пелагея Прохорова побежала кверху, и ей было легко бежать; она думала: не боюсь я тебя, поганый бульдог!

Только что Пелагея Прохорова разделась и легла спать на свою кровать, как майор подошел к ней со свечкой и, схватив ее за волосы, проговорил с яростию:

— Где ты была, гадина!

— Неужели мне и на улицу нельзя выйти? — ответила кухарка тоном никого не боящейся женщины и правой рукой вышибла из руки майора свечку. Майор выпустил ее волосы, но схватил за рубаху. Пелагея Прохорова встала, но почувствовала крепкий удар в щеку, потом еще удар.

— Вон, тварь поганая! — кричал майор: — Разве я не знаю, куда ты ходила?! Вы все заодно с моей женой... Вон!! — И майор стал толкать Пелагею Прохоровну.

— Расчет наперво подайте, паспорт!.. — кричала Пелагея Прохорова вне себя.

Но маиор ничего не слушал; Пелагея Прохоровна не могла защищаться и выскочила в сени.

— Куда?!.— крикнул маиор в сенях.

Пелагея Прохоровна спустилась по лестнице.

Маиор постоял немного у перил и ушел в квартиру.

Ставши у крыльца, Пелагея Прохоровна заплакала. Вдруг кто-то в коридоре отворил дверь, к Пелагее Прохоровне подошла пожилая женщина. Это была нянька нижних жильцов, Дарья Васильевна.

— Кто это?!. А! Пелатеюшка... што, не прибил ли он тебя? — спросила она нежно.

— Бог с ним... завтра от места отхожу.

— Ну, полно-ко! Твоя-то барыня говорит, што все это будто от тебя... Мы ее спрятали.

— Врет барыня... Она сама задирает... Скажите ей, што она ошибается.

— Мне што?.. Я бы тебя пригласила, да сама знаешь, я в людях живу; каково еще моей барыне понравится.

— Да я где-нибудь...

Пелагея Прохоровна вышла за ворота, потому что ей не к кому было идти и не хотелось кланяться и просить приюта.

Был уже сентябрь месяц на исходе; дул резкий холодный ветер с реки. Луна освещала набережную и Неву с ее судами и барками. И здесь и кругом было тихо, только в реке плескались волны, скрипели суда и барки с дровами, лесом и камнем.

«Вот и опять одна и опять без приюта»,— думала Пелагея Прохоровна, уперлась о фонарный столб, на котором не было фонаря, и задумалась. Но в голову ничего не шло хорошего, как будто маиор весь мозг вытряс из головы. А ветер так и дует; Пелагею Прохоровну начинает трясти от холода.

— И это столица! Уж если здесь такая жизнь, где же лучше? — сказала она, глядя на реку.

— Пелагея Прохоровна... што вы тут делаете? — произнес вдруг позади ее мужской голос.

Пелагея Прохоровна обернулась; перед ней стоял рыжеволосый мужчина в том же наряде, в каком он был часа за два тому назад.

— Ведь вы простудитесь...— опять произнес он с сожалением.

— А вам-то что? Што вы за мной ходите? — недовольно проговорила Пелагея Прохоровна.

— Всякий вам то же скажет, что и я... Али вам жизнь надоела?.. Да вы идите лучше хоть во двор.

— Куда ж я пойду... Уж я не пойду больше туда.

— Экие вы спесивые... Все же за паспортом али за деньгами придется идти. Прошу вас, отойдите отсюда, пожалуйста себя.

Пелагея Прохоровна пошла к дому. Во дворе бушевал майор.

— Где жена? — кричал он.

— Эко горе... Не проходила Вера Александровна? — спрашивал во дворе дворник.

— Да вы все, подлецы, спали! — ревел майор, и слышно было, как он бил дворников по щекам.

— Господи! я боюсь, как бы он сюда не пришел! — сказала шепотом Пелагея Прохоровна, смотря на мужчину и дрожа от холода и от страха.

— Ну дак что! Пусть только тронет... Я покажу ему, кто из нас сильнее.

Но голос майора затих во дворе; по-видимому, он ушел куда-то.

— Вы постоите тут, а я посмотрю, куда он ушел, и похлопочу, где бы вам ночевать.

— Уж не беспокойтесь, я и здесь просижу.

— Ну, и значит, што вы дура!

И мужчина ушел во двор.

Пелагея Прохоровна не знала, что ей делать. Эта сцена вышла так неожиданно, что она не могла ничего придумать. Если бы она знала, что майор ее прибьет и прогонит сегодня ночью, она бы позаботилась о ночлеге. А теперь не сидеть же ей, в самом деле, на улице в такой холод? При этом она обозвала себя дурую за то, что стала у самой реки в одной рубашке, без платка на голове и босиком, когда могла бы спрятаться где-нибудь в подвале и таким образом избежать встречи с этим мастеровым, от которого теперь все узнают, что она стояла на улице в таком виде. «А он человек добрый, хороший и на тех подмастерьев, што я видела здесь, не походит», — думала она об этом мастеровом, не сердилась на его навязчивость, а ждала, где-то он ее приютит ночевать.

На улицу вышли дворник и лавочник Иван Зинович Большаков, за ними шел и мастеровой.

— Эдакой проклятый... Штоб ему лопнуть, живодеру! — говорил дворник.

— Пелагея Прохоровна... пожалуйста к нам, не побрезгуйте,— сказал лавочник, подойдя к Пелагее Прохоровне.

Пелагея Прохоровна не знала, что сказать. Ей вдруг представилось, что Агафья Петровна делается еще надменнее и ей придется унижаться перед нею.

— Нет, я в другое место.

— Ну, полноте. Вон и Игнатий Прокофьич тоже советует,— указав на мастерового, проговорил лавочник и прибавил: — У меня места много, хватит.

— Именно! А я завтра наведаюсь к хозяину, может, и ничего,— сказал дворник.

Все вошли во двор. Большаков спустился налево в подвал, в свою квартиру, заключающуюся из одной комнаты, с двумя окнами у самого потолка и с русской печью, и из овощной мелочной лавочки.

VII

Жена Ивана Зиновьяча Большакова находит, что Пелагея Прохоровна не годится ей в кухарки

Комната, или изба со сводами, была просторная, но так как она примыкала к лавке, то до половины была загромождена кадками, кулями и мешками, которые лежали тут потому, что Иван Зиновьяч Большаков не имел ни погреба, ни ледника. В комнате было тесно и грязно; а так как на окнах были наставлены разных величин банки с вареньями, изюмом, миндалем, черным немолотым перцем и тому подобными мелочами, то даже и днем тут было не совсем светло. По-видимому, Иван Зиновьяч не заботился ни о свете, ни о просторе и чистоте своего помещения. Имея жену, работающую женщину и хорошую хозяйку, и выторговывая в сутки от двух до пяти рублей барыша, он этим помещением был бы совершенно доволен, если бы не дымила в ветер печь, не текла в лавочку и в комнату со двора вода весной и осенью и если бы он имел ледник, в котором можно было бы дольше сохранять масло, молоко и рыбу. Но уж такова русская неподвижность, или привычка к одному месту, что Иван Зиновьяч каждую весну и каждую осень собирается переехать на другую квартиру, но летом и зимой раздумывает

вает, потому что летом выручает много, а зимой ему кажется, что все равно,— где бы ни нанял квартиру, везде холодно; а во-вторых: «Ведь прожил же я здесь семь лет, авось и восьмой проживу. Вот разве когда кончится срок контракту, тогда подумаем». К этому еще присоединялись хлопоты по переноске и перевозке вещей: «Все это было припасено не враз, а помаленьку да потихоньку; все это хоть и дешево куплено, дешевле, чем на толкучке, а стань-ко переносить или перевозить — половины не досчитаешься, и заводись опять снова; а мы знаем, каково опять сызнова-то обзаводиться».

Иван Зиновьевич родился в деревне. Отец у него был зажиточный крестьянин, но дальше своего губернского города не ездил, а дядя занимался в Петербурге мелочной торговлей, а потом стал торговать мукой и крупой и в помощники к себе выписал племянника. Иван Зиновьевич очень скоро понял изворотливость дяди и в отсутствие его, уже на семнадцатом году, торговал не хуже его, и дядя очень любил его, да и покупатели были очень довольны. Двадцати лет он женился на дочери одного лавочника, несмотря на то, что она была не очень красивая на лицо и что за него пошла бы замуж любая из барских горничных или даже дочь мелкого чиновника. Он не женился ни на одной из них потому, что они, на его взгляд, казались белоручками, не привыкшими к подвальной жизни, к стряпне и ничего не смыслящими по торговой части. Хотя же его молодая жена и не сидела в лавочке, но она ему пришлась по вкусу: лучше такой хозяйки он и не находил и был ею очень доволен. Это была низенькая, тощая молодая женщина, с веснушками на лице и с редкими рыжими волосами, никак не могшая отстать от своего ярославского наречия и привыкнуть к петербургскому. Сам же Иван Зиновьевич был рослый, здоровенный молодой человек, с полными красными щеками, без усов и бороды, которые он брил каждую неделю по субботам, тотчас по приходе из бани, постоянно улыбающийся, сдержанно-любезный, суевающийся и слывающий на несколько домов за самого толкового человека. Он всегда одевался так, что его не могли назвать маклаком: фуражка у него никогда не была измята и запачкана, передник постоянно чистый, сапоги хотя и смазаны дегтем, но со скрипом, и надо было посмотреть, как он один без подручного, управляется в лавочке, успевая то отвесить фунт

хлеба, то свернуть бумагу, накласть в нее кислой капусты и свесить, то отпустить полстакана сливок, бутылку молока — и в то же время записывать в книжки покупателей и у себя в тетрадке, что ими и на сколько взято. Ни своего огорода, ни своего скота, ни своей рыбной ловли у него не было, но он все покупал из первых рук, или с Охты, или от чухон, так что ему все стоило недорого; он же продавал по существующим в городе ценам и выторговывал барыша, как я уже и сказал раньше, от двух до пяти рублей в сутки.

Жена его, Агафья Петровна, в его торговые дела не вмешивается и приходит в лавку только посидеть с ребенком, потому что в лавке все-таки и воздух немного лучше комнатного и веселее. Несмотря на то, что местные женщины называют ее выдрой, они к ней обращаются всегда с почтением и непременно остановятся в лавочке минут на пять, чтобы покалякать с нею о господах. Но ей и в лавке приходится сидеть не подолгу, потому что у нее двое маленьких ребят, за которыми нужно посмотреть, да и много дела, а ей нужно все сделать самой, так как у нее работницы нет. Впрочем, она никогда не говорила, что ей скучно, друзей себе не искала и жила только с женой дворника душа в душу, тогда как у мужа ее, совсем опетербуржившегося, было много питерских приятелей, и она замечала, что он с земляками держит себя высоко, как важная особа.

Иван Зинович, видя, что Агафья Петровна выбивается из сил, и зная, что она опять беременна, раз сказал ей:

— Вот што я думаю, Агашка: хорошо бы тебе взять работницу.

— Это еще што за мода? — возразила жена.

— Да как же. Ты и ночь-то недоспишь с этими горластыми чертенятами, и хлебы-то тебе надо печь... И все такое. Нет уж, как хошь, я пайму, — настаивал муж.

— Яще, видно, полюбовницу завел!

И Агафья Петровна стала следить за мужем: какую такую ее муж завел полюбовницу, которую он метит ей в работницы; но ничего не заметила. Однако она и сама подумывала о работнице, но никак не могла представить себе, чтобы эта работница была женщина честная, вполне работающая и не воровка. Затруднялась она также и в том, куда поместить работницу. «Не перегораживать же

для нее комнату, не кормить же ее за одним столом, и опять — неловко же ей давать есть по мерке; а предоставь-ко ей самой брать есть, она все и сожрет». Так думала она, но не решалась высказать это мужу, зная, что он будет подсмеиваться над ней. А Иван Зиновьевич каждый день заводил разговор о работнице, хоть и знал, что жену это сердит.

Сегодня за ужином он опять заговорил о том же.

— Ты меня, Ванька, все сердишь. И што это у вас, у мужиков, за привычка такая проклятая! — проговорила сердито Агафья Петровна.

— А вот я возьму, да и найму.

— А вот я возьму ее, да и взашей.

— Нет, однако, будем, Агашка, говорить всерьез. Первое, ты баба хилая и водилась бы уж с ребятишками. Сама же ты говоришь, что у тебя в брюхе-то бахарь дрыгает.

— Вот ты для ребят-то бы нанял какую ни на есть девчонку, ведь твои ребята-то!

— Ну, девчонка не так доглядит, как ты.

— Ну уж, шалишь, чтобы я заставила работницу квашню заводить али хлебы в печь сажать.

Немного погодя Агафья Петровна высказала мужу, что она, пожалуй, наняла бы работницу, только... И она высказала ему свои опасения. Муж сказал, что кровать можно загородить ширмами, а ширмы он надеется приобрести даром; если работница будет не ленива, то пусть ее ест. «Больше того, что в кишки влезет, не съест», — заметил он и предоставил Агафье Петровне самой найти себе работницу не дороже двух рублей в месяц.

Когда Иван Зиновьевич привел Пелагею Прохоровну, комната его была слабо освещена; на столе стояла маленькая жестяная лампочка с керосином, который очень вонял. Агафья Петровна лежала на кровати лицом к стене и улюлюкивала ребенка, который тяжело кашлял и пищал; около кровати стояла в ногах детская плетеная коляска, покрытая простыней, и из нее тоже слышался крик трехлетнего ребенка, а напротив подушек, на небольшой скамейке, — плетеная корзина, в которой лежали пеленки и в которой, как надо было полагать, спал маленький ребенок.

При входе мужа Агафья Петровна повернула голову и, увидев Пелагею Прохоровну в ее скудном одеянии, поморщилась, но удержалась и только недовольно сказала мужу:

— Тебе бы только уйти... А я тут покою не найду... Покачай чертенка-го! — И она, обернувшись к стене, принялась улюлюкивать ребенка.

— Ох, уж эти мне... — проговорил Иван Зиновьич и стал качать люльку.

— Позвольте, я покачаю, — сказала Пелагея Прохоровна и взялась за ручку коляски.

Иван Зиновьич отошел к корзинке, нагнулся и проговорил недовольно:

— Ох ты, неряха эдакая! опять у те пеленки-то мокрые!

— Не разорваться же мне!.. — проговорила жена.

— Девочка-то мокрая, — сказала робко Пелагея Прохоровна, когда Агафья Петровна сидела на кровати.

— Это у нас всегда так... День-то бьемся, а ночью с ребятами... Она все спит, барынька!

Муж и жена возились с ребятами, переменили белье детей, уложили их, причем маленькому ребенку Агафья Петровна дала в рожке питья с маком, для того чтобы тот скорее заснул и дольше спал. Пелагея Прохоровна тоже помогала им, и Агафья Петровна не высказывала неудовольствия, что кухарка домохозяина находится тут в таком виде: она, вероятно, уже была предупреждена, что Пелагея Прохоровна ночует здесь.

— Ну, барыня, куда мы вас укладем? — проговорил вдруг Иван Зиновьич, не то обращаясь к госте, не то спрашивая сам себя.

— То-то, приглашать-то приглашает, а того и не подумает, што некуда. Ишь, какой приют нашел! — проговорила недовольно Агафья Петровна.

Пелагее Прохоровне было неловко, и ей Агафья Петровна показалась очень нехорошей женщиной, но она все-таки сознавала, что Агафья Петровна — хозяйка.

— Я где-нибудь около порога, — проговорила она не решительно.

— Зачем около порога? Ты вот к столу лучше ляг. Вот тебе одеяло — постели, подушки... А этим шугайчиком оденься! — проговорила Агафья Петровна, давая одеяло, подушку и шугайчик.

— Уж я вас, право, не знаю, как и благодарить,— говорила Пелагея Прохоровна, и ей было и стыдно, и обидно, что она дошла до такого положения.

Когда она сделала себе постель, Иван Зиновийч погасил огонь в лампочке, пожелал Пелагее Прохоровне спокойной ночи и лег на кровать. С четверть часа супруги шептались, но о чем — Пелагея Прохоровна не могла расслышать. Наконец и шепот замолк, послышался с кровати храп и шипенье носом.

Пелагея Прохоровна только дремала, а когда начала засыпать, заплакали дети, и, немного погодя, Агафья Петровна встала и затопила печь. Она сегодня должна была испечь ржаного хлеба и ситного. Пелагея Прохоровна тоже встала, несмотря на то, что хозяйка уговаривала ее спать, уверяя, что та ей нисколько не мешает. Агафья Петровна была так добра, что дала Пелагее Прохоровне свой старый сарафан, свои рваные башмаки и платок на голову. «После отдашь»,— сказала она, когда та стала отговариваться.

Работы у Агафьи Петровны было много, и так как все нужно было сделать к сроку, то есть чтобы хлеб испекся к восьми часам, а самовар поспел к шести, то ради этого она оставляла детей на произвол, не обращая внимания на их крик и на то, что они лежали мокрые. Пелагея Прохоровна хотела ей помочь, но не знала, за что взяться, и боялась вмешиваться зря, без приглашения. Заметив, что хозяйка хочет становить самовар, она было заявила желание сделать это, но хозяйка сказала недовольно:

— Нет уж, я сама...

— Да ведь мне нечего делать-то.

— Успеется.

Так и не дала самовара.

Стала Пелагея Прохоровна укачивать детей. И это как будто не понравилось хозяйке:

— А чего их качать-то! Мало, што ли, они спали... Нет уж, оставь.

— А лучше, как они спят.

— Они у меня всегда в эту пору встают... А што кричат — эка важность! Надо же мужу-то вставать... Не качай, пожалуйста,— хуже закричат.

Пелагея Прохоровна ужасно тяготилась своим присутствием здесь. Она хотела идти прочь, но уйти было неловко и рано. Наконец она не утерпела и сказала хозяйке:

- Пойду понаведаюсь, не встал ли майор?
- Ну, вот!.. Али он встает так рано?
- Нет. Может, и встал.
- Успеешь. Вот чаю напьемся.

Встал хозяин. Стали пить чай и сидели, большею частью обращаясь к детям, которые ели кашу. Все чувствовали себя как-то неловко, как будто стеснялись друг другом; муж и жена обращались к Пелагее Прохоровне мало, как будто им не о чем было расспрашивать ее и не о чем говорить с нею. Но Пелагея Прохоровна заметила, что Агафья Петровна часто взглядывала на нее, потом на мужа; муж же глядел больше на жену; так и казалось, что супруги что-то решали насчет Пелагеи Прохоровны.

— Не знаете ли вы где места какого-нибудь? — спросила Пелагея Прохоровна, смотря на хозяйку.

Иван Зиновьевич взглянул на жену, та наклонилась к ребенку и не торопясь сказала:

— Нет, теперь не знаю. Ты, может, не знаешь ли? — обратилась она к мужу.

Тот немного помолчал.

— Так вы точно что совсем от майора? — спросил он гостью.

— Теперь уж я не соглашусь ни за какие деньги у него жить.

— Так... Ежели место будет — отчего же! Непременно постараюсь.

После этого все сидели молча несколько минут. Вдруг Иван Зиновьевич пошел в лавочку, стал в дверях; Агафья Петровна тоже пошла к нему.

— Ну, што? — услышала Пелагея Прохоровна громкий голос хозяйина.

— Не годится — белоручка. Ей в господах только и жить, — сказала тоже негромко хозяйка.

— Думаешь, не управится?

— Нет, она ничего. Видно, охоча работать-то и смирна, только не годится.

— Это как?

— Ну, не годится, и все тут... Лицом она мне претит.

— О, дура! — сказал хозяин.

Хозяйка, недовольная, вошла в комнату, и ей как будто неловко было смотреть в глаза Пелагее Прохоров-

не; но Пелагея Прохоровна поняла, что разговор касался ее и что Большаковы, вероятно, хотели ее взять к себе в работницы, а потом раздумали.

Пришел дворник и, поздоровавшись с хозяевами, сказал Пелагее Прохоровне, что ее зовет хозяин и что Вера Александровна теперь уже дома.

Я не буду утомлять читателя тем, что происходило у маиора по приходе к нему кухарки. Скажу только, что через час Пелагея Прохоровна пришла к Большаковым с своим узлом.

— Отказал? — спросила ее хозяйка.

— Уговаривал остаться. Грозил. Сама приставала... бог с ними! — сказала Пелагея Прохоровна и утерла глаза, на которых появились слезы.

— Напрасно. Ведь не всегда же он такой?

— Нет, уж будет. Уж вы мне позвольте положить у вас вещи, а я пойду поищу места.

— Пусть лежат... И ночевать можно... А есть ли деньги-то?

— Пять рублей.

Хозяйка покачала головой.

— Он мне еще шесть рублей должен. Не знаю, как и получить.

— Ну, это дело трудное. Надо просить полицию, а полиция што? Известно, скорее поверит хозяину дома, чем кухарке, — сказал Большаков.

Но и он все-таки не советовал Пелагее Прохоровне вновь идти к маиору в услужение.

VIII

Хотя мастер Петров и предлагает Пелагее Прохоровне средство жить лучше, но это средство пока остается только одною мечтою

Пелагея Прохоровна проходила целый день без толку. Знакомых кухарок у нее оказалось хотя много, но они не могли обещать ей место; если же которая-нибудь из них и говорила, что она думает сама сойти и таким образом Пелагея Прохоровна может надеяться поступить на ее место, то тут же прибавляла, что здесь житье каторжное, кормят дрянно и много вычитают денег из жалованья, потому что и самим-то нечего есть. Идти на Никольский рынок Пелагея Прохоровна не знала дороги, а потому

она пошла по течению Невы, а как дошла до Литейного моста, ей захотелось сходить на Петербургскую сторону, частью для того, чтобы узнать, как поживает кухмистерша Овчинникова, а также и для того, чтобы ночевать там где-нибудь и потом рано утром отправиться на Никольский рынок тем путем, каким ее вела оттуда кухмистерша. Но жить на Петербургской Пелагее Прохоровне не хотелось: ей хотелось поступить на услужение к хорошим господам, живущим в большом каменном доме.

Она была теперь свободная женщина и имела капитал пять рублей, и если бы у нее было в виду свободное место, на которое бы нужно поступать послезавтра, то она, наверное, не пошла бы теперь по Литейному мосту, а удовольствовалась бы оглядыванием красивой набережной. Но и теперь, на просторе, ее занимало очень много предметов, всего же больше барки с дровами, лесом и камнями, на которых рабочие ругались оттого, что им нелегко было справиться с быстрою рекою и хотелось благополучно проплыть под мостом прежде, чем от пристаней отплывет на дачи какой-нибудь пароход. Крики и суетня на барках, судах и яликах показались Пелагее Прохоровне знакомыми, только люди говорили другим наречием. Ей невольно подумалось, что вот и эти люди пришли в Питер на заработок, да им, пожалуй, достается еще тяжелее бабьего, потому что — «мы бабы все же в тепле живем, и ночью нам не холодно; а они вот всё на ветру и в одной рубашке да в штанах». Ее удивило, что на этих барках нет палубы, а только в кормах сделано что-то похожее на клетушку, но эта клетушка, должно быть, тесна, потому что рабочие спят на кирпичах или на дровах в своих полушубках, подложивши под голову полено или кулак.

Пелагее Прохоровне грустно сделалось: что-то такое удерживало ее здесь, и она смотрела в воду, на ялики, пароходы, барки и суда. Вдруг ей послышался как будто знакомый голос.

— Сам-то што делаешь! Сам возьми багор и лови — больно прыток! — говорил этот голос.

«Што это? голос-то знакомый... наш!» — подумала Пелагея Прохоровна и стала еще пристальнее смотреть и направила к реке левое ухо, так как снизу дул резкий ветер.

— Никак Панфил? Господи... Да нет, где ему? — про-

шептала она. Ей не верилось, но сердце билось радостно, точно чуяло, что она не одна здесь.

Все рабочие на судах заняты своим делом, и ни одному нет времени посмотреть на мост. «Кабы он глянул, я узнала бы его», — подумала Пелагея Прохоровна.

Простояла она долго, но знакомый голос больше не повторялся; несколько барок и судов проплыло под мостом, и на них она брата не заметила.

«Это поблазнило», — подумала она и хотела идти. Но недалеко от нее к перилам подошло двое судорабочих и стали поджидать ялика, чтобы переплыть на барку с лесом. Они кричали на одну барку, стоявшую посредине реки, и махали шапками.

Пелагея Прохоровна подошла к ним.

— Родимые... нет ли у вас Панфила?

Но рабочие оказались чухны, не знающие ни слова по-русски. Они с увлечением поглядели на Пелагею Прохоровну, что-то пролепетали и стали махать руками к барке.

Уплыли эти рабочие с чухнами, стало темнеть, и Пелагея Прохоровна вернулась к Большаковым в большом беспокойстве. Неужели ее брат Панфил здесь, а если нет, то каким образом мог ей слышаться родной голос? Ей было досадно, что она не могла увидеть его.

В этом беспокойстве и от нечего делать она вышла на улицу.

— Што вы это все на улице торчите? — услышала она голос Игнатия Прокофьяча.

Пелагея Прохоровна вздрогнула, обернулась; Игнатий Прокофьяч стоял все в прежнем наряде и курил трубку. Он ей вежливо поклонился.

— А вам што за дело? — сказала Пелагея Прохоровна; но ей стало немного веселее.

— Конечно, мне каков дело... и спрашивать бы об этом не следовало, да вот вышел я, а вы тут...

— Што я, мешаю, што ли?

— Зачем?... только... я-то скуки ради выхожу на улицу покалякать с кем-нибудь, потому, сами знаете, на квартире скучно. Товарищи или в карты играют, а не то спят, или в кабаки ушли. А я к такой жизни не привык.

— Вы, я слышала, столяр?

— Столяр. Только работы мало, потому что мы работаем вместе с подрядчиком.

— Отчего же вы сами одни не работаете?

— Отчего? Об этом я уже много лет думаю, да ничего выдумать не могу. Капиталу нет.

— Будто уж много нужно капиталу?

— То-то, што нужно. Вот я теперь работаю в артели и мог бы скопить денег, только работа не каждый день. Хорошо, если позовут куда-нибудь...

— А на продажу?

— Вам, верно, кто-нибудь набил голову-то разными глупостями, потому вы так смело и рассуждаете. Легко так только утешать других,— на продажу! Ну, положим, я куплю лесу, материалу разного — на это мне нужно употребить сутки или двое, чтобы купить хорошо и дешево. Ну, теперь что я стану работать? Кабы у меня заказчики были — так, а вот заказчиков-то у меня и нет... Положим, я стану делать комод, я его проработаю двое али трое суток, надо искать покупателей — и прошла неделя. В эту неделю я ниоткуда не получал денег, нужно платить за квартиру, пить, есть, табак курить, да еще, может быть, я лишился заработка на стороне!

Игнатий Прокофьевич говорил серьезно и недовольным тоном. Пелагее Прохоровне показалось, что он говорит правду.

— И вы все так и будете работать? — спросила она.

— Хочу порешить... приглашают меня на завод, на Петербургскую сторону, по кузнечному мастерству. Оно мне, это кузнечное-то дело, лучше нравится, потому я и прежде находился в обучении, да потом захотел к столярному приобыкнуть. Там хорошо тем, што работа постоянная, и мне обещали по рублю двадцати в сутки.

— Што ж вы привязались-то к этому?

— Да не нравится мне у мастеров-немцев под командой быть. Иной мастер ничего не смыслит в деле, а над тобой куражится, как бог знает какая особа.

— Вы бы русского выбрали.

— Русский! Русский еще хуже. Дай русскому начальство, он и изважничается, начнет пьянствовать... Уж русский мужик как попал в начальники, совсем иной человек сделался: вместо того штобы поддержать своего брата, он же с него прогулы высчитывает; в кабак при нем, што есть, нельзя прийти — угощай его, а если он угостит на пятак, так перекоров наслушаешься на гривенник; и до-

рогой где встретится, шапку ему скидывай,— везде начальником себя считает. А немца мы только на работе и знаем, и немца провести ловчее и вооружиться против него тоже легче. Немцы в нашу компанию не мешаются, и нам на них плевать!

— Где же, по-вашему, лучше работать?

— Везде хорошо. Вот я уж много терся на разных фабриках и заводах и знаю, где лучше и больше дают платы,— только все это скоро меняется не от нас. Сперва платят хорошо, потом вдруг обрежут и стеснять станут, и причины на это у них найдутся: то-де материал подорожал, корабли потонули, подрядчик обанкрутился,— мало ли чего наскажут. Нам-то до всего этого нет дела, потому мы рабочие, а они нам сбавляют цену, да еще говорят, что мы ленимся, пьянствуем... А нашему брату деться некуда. Вот я сказал давеча, што нужны деньги, штобы самому работать, только как их скопить-то много? Работаешь целый день, измучаешься, как собака,— ну, как отказать себе в осьмушке водки? Выпьешь — и легче; и утром бодрее идешь на работу. Ну, а если бы я стал копить эти пятаки — што бы вышло? Полтора рубля,— да я бы непременно захворал. Ну, теперь в воскресенье куда деться? Дома скучно, по городу шататься не хочется, в театр идти — денег жалко, да и театру нет такого, чтобы мы понимали. Была воскресная школа за Московской заставой, я туда часто ходил, а теперь вот, говорят, эту школу закрыли, потому-де нам не годится.... Так-то, Пелагея Прохоровна. Поэтому и идешь в кабак и сидишь там, калякаешь со своей братией о своих делах,— ну, и выпьешь! А оно, глядишь, денежки и выпалзывают, и скопить их трудно. Ну, а вы что подумываете делать?

— Пойду завтра на Никольский рынок продаваться. Мне бы хотелось прачкой сделаться.

— Ну, это трудновато. Правда, вы с Никольского-то можете поступить в прачки к какой-нибудь женщине, только я бы вам не советовал, потому что чем больше баб, тем больше у них ссор и зависти. Это не то, што у нас, мужчин. А вот вы подождите немного, нельзя ли устроить так, штобы вам поступить в кухарки к нашему брату.

Пелагея Прохоровна обрадовалась, но ей показалось неловко поступить в кухарки по протекции этого чело-

века, который, вероятно, будет жить в одной с нею квартире. «Еще, пожалуй, ее будут считать любовницей его».

— Я не понимаю, как это? — спросила она.

— А так. Завтра я переберусь на квартиру на Петербургскую, поживу там с неделю и поговорю товарищам, не согласятся ли они жить у вас.

— Как же это у меня-то?

— А вы наймете квартиру, мы вам дадим денег, купите свои кухонные принадлежности. Я вам, пожалуй, и квартиру устрою.

— Нет уж, покорно благодарю, — сказала Пелагея Прохоровна, думая, что у Игнатя Прокофьяча есть злой умысел.

— Если не я, то кто-нибудь да должен же помочь вам. Ведь у вас мужа-то нет?

— Нет.

— Ну, то-то. А если я вам предлагаю это, то вы не думайте, што я с умыслом. Я, как и всякий другой, предлагаю потому, что знаю, што вы еще недавно в Петербурге и не успели еще избалсваться. Это я говорю без хвастовства, а вы делайте по своему рассудку.

— А если я до того времени истрачу деньги и мне все-таки этого места не будет?

— Кто же вам говорит, штобы вы сидели сложа руки... Только вот што, Пелагея Прохоровна: если вы будете намерены кормить нас, да куда-нибудь поступите на место, в таком случае оставьте адрес у Ивана Зиновьяча, штобы я мог известить вас. А если несогласны, тогда и не нужно оставлять. Прощайте, Пелагея Прохоровна.

— Я вам хотела сказать, што мне сегодня почудилось, — сказала Пелагея Прохоровна уже во дворе.

— Как это?

Пелагея Прохоровна рассказала, как она слышала голос брата Панфила.

— Што ж мудреного? Должно быть, он.

— Как же бы мне разыскать его?

— Ну, разыскивать-то теперь его не следует, потому что вы не знаете, на какой он барке плыл и в какое место эта барка пристанет. Ведь в Питере каналов много.

— Так, значит, я его и не увижу?

— Надо подождать недели две. В это время они разгрузят барки и, вероятно, будут жить на квартирах в го-

роде, тогда и можно будет справиться в адресном столе. А то, может, как-нибудь и так встретитесь. Только вряд ли.

И они расстались.

По приходе к Большаковым Пелагея Прохоровна застала там сцену. Только что она вошла в комнату, Иван Зиновьевич ударил кулаком по спине Агафью Петровну, которая голосила. Увидав Пелагею Прохоровну, Большаков смешался и ушел в лавку, а Агафья Петровна, стараясь казаться правую, подошла к мешкам и проговорила:

— Поскуда проклятая! Любовниц себе завел. Не знаю, што ли, для чего ты хозяйскую кухарку к себе сманил...

Но Большаков не вышел из лавочки, потому что к нему в это время пришли покупатели.

Пелагею Прохоровну точно кипятком обварило от слов Агафьи Петровны, но она удержалась, постояла минут с пять, думая, что ей сказать в свою защиту, но ничего не сказала, сообразив, что с такой женщиной, как Большакова, говорить трудно.

Она стала собираться. Агафья Петровна заметила это, но не обратила внимания.

Пелагея Прохоровна стала прощаться.

— Куда же ты? Ведь уж, поди, скоро десять часов! — проговорила с полуудивлением и с скрытою радостью хозяйка.

— Куда-нибудь... Покорно благодарю за ночлег... Сколько вам за это?

Хозяйка обиделась.

— Спрашивай вон его: он тебя пригласил, а не я.

Из лавки вошел в комнату Большаков. Его трясло от злости, и глаза сделались красными.

— Кто здесь хозяин? — крикнул он и сжал кулаки.

— Ну, бей! Убей меня! И так уж кожа да кости, — проговорила та резко и подошла к нему очень близко, откинувши голову назад, как будто она сделана из чугуна и для нее ничего не значат здоровые кулаки Ивана Зиновьевича.

— У!! — проговорил сквозь зубы Иван Зиновьевич и, отошедши к мешкам, уперся на них спиною.

— Оставайся здесь, куда тебе? — сказал он Пелагее Прохоровне.

— Покорно вас благодарю... Я каюсь, што согласилась прийти сюда-то... я...

— О, дуры эти бабы!! Обидела она тебя, што ли, чем?

— Это уж мое дело!

— Как же! Ей с Петровым надо на улице торчать,— сказала Агафья Петровна.

— Молчи! — крикнул на жену Иван Зиновьич. — Однако, куда же ты пойдешь-то?

Пелагея Прохоровна не знала, куда ей идти.

— А ты давно знакома с Петровым-то? — спросил опять Пелагею Прохоровну Иван Зиновьич.

Это допытывание взбесило Пелагею Прохоровну. До сих пор Иван Зиновьич обращался с нею вежливо, а теперь вдруг сделался грубым и точно за что-то озлобленным на нее человеком.

— А вам какое дело, знакома я или нет?

— Конечно... Оно тоже вашему брату без любовника как можно... — сказал ядовито Иван Зиновьич, улыбаясь, и ушел в лавку. Пелагея Прохоровна вышла во двор со своим узлом, а потом пошла машинально по направлению к Смольному монастырю.

IX

**Пелагея Прохоровна очень скоро попадает туда,
где денег за житье не берут, и встречает там
Евгению Тимофеевну**

Прошедши Смольный монастырь, Пелагея Прохоровна затруднилась, в которую идти ей сторону. До сих пор она шла, сама не зная, куда идет; ей хотелось проходить до утра и утром отправиться на Литейный мост, чтобы еще посмотреть хорошенько на барки. Она думала, что если разыщет брата, то будет звать его жить с собою и тогда, пожалуй, может заняться приготовлением кушанья для рабочих, как говорил Петров; без брата же, одной, нанимать квартиру и жить с рабочими в одной избе она считала делом неудобным. Уж если теперь про нее бог знает что говорили, то тогда и житья ей не будет. Петров предлагал ей жить вместе, и это Пелагее Прохоровне не понравилось. «Нет ли тут чего-нибудь худого? — подумала она: — Может быть, он воображает, што я сгану с ним жить как жена, так он, значит, дурной человек, и

таким манером я жить несогласна, пусть другую для этого избирает». Теперь у ней отпала всякая охота выйти замуж. В Петербурге она видела много дурного и находила семейную жизнь неудобною для рабочего человека. «Вот бы так устроиться, чтобы приобретать больше денег, чтобы и комнату иметь и сытой быть! а што если мужчина обещает, так это только одна приманка, и он только мешать будет, а потом и мои деньги вытягивать станет. Нет, уж одной не в пример лучше». Так думала она дорогой — и очутилась опять у Смольного монастыря. Здесь она стала чувствовать голод и усталость, а до утра казалось еще далеко. Пошла она по какой-то улице. Фонари стоят далеко друг от друга, темно, дома деревянные, там и сям лают собаки, хоть куда — провинция! «Што за дьявол! живу в Петербурге, а все на деревянные дома натыкаюсь. Хоть бы постоянный дом попался». Но постоянных домов в темноте она не заметила. Присела она на тротуар, грустно ей сделалось, тяжело, заплакала она; потом ей стыдно сделалось за слезы и малодушие. «Што мне горевать-то? я одна; детей у меня нет. Встала да пошла, а место найдется. Што ж делать, если господа дрянные? может, и лучше будет». Она пошла опять и вошла в большую улицу, по обеим сторонам которой стояли большие каменные дома; фонари стояли недалеко один от другого; здесь даже и извозчики были, но они дремали в пролетках. Пелагея Прохоровна остановилась, посмотрела назад, соображая, идти ли ей вперед, или повернуть направо, или налево. Она подошла к одному извозчику, который, слышав чьи-то шаги, очнулся и поглядел на стороны.

— Дядя, а близко Петербургская сторона? — спросила она извозчика.

— На што? — спросил тот сонным голосом.

— Надо.

— А што у те в узлу-то?

— Вещи.

— Чать украла!.. Дай три целковых — отвезу... Без сумления! В целости доставлю.

— Нет, ты скажи, я дойду сама.

— Ишь ты! Дойдешь, говоришь?

— Дурак!

Она плюнула и пошла налево. Извозчик поехал за ней.

— Эй, барыня! Пра, представлю. Три цалковых. Подь, на десять цалковых в узле-то будет! — приставал извозчик.

— Отвяжись!

— Подлинно, ты мазура отменная: ишь как шагает!.. Небось трусу празднует,— говорил извозчик.— Слышь, тетка?

— Ну?

— Садись! даром отвезу.

— Пошел, дурак... Ты скажи лучше, где постоянный двор?

Извозчик захохотал.

Навстречу Пелагее Прохоровне шел медленно городской.

— Стой! — сказал он, загораживая дорогу Пелагее Прохоровне: — Што несешь?

— Воровка. За рынком на Невском увидал... На Петербургскую сторону хотела удрать, да я ее до тебя тянул,— сказал извозчик.

— Ах ты, подлая рожа!.. Ты же меня звал туда, просил три цалковых даром,— сказала Пелагея Прохоровна извозчику.

— Ну-ну, иди! — И городской толкнул Пелагею Прохоровну так, что она очутилась на мостовой. Городской стал брать ее узел.

— Кто еще позволил тебе брать? — крикнула Пелагея Прохоровна и толкнула городского.

— А, дак ты так! — Городской ударил ее по лицу.

Городской и извозчик усердно поколотили *пойманную* женщину и отняли у нее узел.

Пелагея Прохоровна опомнилась уже в пролетке, которую трясло ужасно от скверной мостовой.

Она в первый раз ехала в Петербурге в пролетке, но сама не знала, куда ее везут. Ее спутники — городской, не тот, который ее остановил, а уже другой, сидящий с ней рядом, и извозчик, спина которого была на четверть от носа Пелагеи Прохоровны,— молчали. Дорога была, впрочем, не дальняя. Извозчик остановился перед частью, отличающеюся от других домов особенным устройством, мрачными, производящими неприятное впечатление стенами, затхлым воздухом из двора... Городской приказал ей слезть.

— Деньги! — крикнул городской Пелагее Прохоровне.

— Какие?

— Што тебя, подлую, даром, што ли, возить-то? — И он ударил ее по спине своим здоровым кулаком.

— Хорошенько ее! Воровка! — поддакнул дежурный у ворот.

— У меня нет денег, хошь убейте, — ответила со слезами Пелагея Прохоровна, сторонясь от поднятой руки городского. Извозчик стал ругаться, а городской провел Пелагею Прохоровну черным узким двором в узкое пространство, едва-едва освещенное лампочкой с керосином, и потом ввел в полуосвещенную с закоптелыми стенами комнату. В ней за одним столом сидел дежурный и дремал, на другом большом столе спал городской на спине во всем облачении.

— Воровку привел, — отпраповал городской дежурному.

— А! — сказал дежурный. — Где?

Городской сказал.

— И прекрасно. Иди-ка сюда!

Пелагея Прохоровна подошла.

Спавший на столе городской тоже подошел и ждал приказа дежурного.

— Где же ты, матушка, подтибрила узел?

— Это мои вещи.

— Твои?! — произнес, скрипя зубами, дежурный.

Всячески старались от Пелагеи Прохоровны вывести сознание: где она украла вещи? Ее слова, что узел принадлежит ей, что она отошла от места, только раздражали дежурного и городских, вероятно, потому, что им много приводилось иметь дел с разными мошенниками, которые говорили им то же. К тому же дело было ночное, когда прислуга редко отходит от господ.

Натешившись вдоволь, так что бедная беззащитная женщина еле могла передвигать ногами, дежурный приказал городскому развязать узел.

В узлу оказались: сарафан, ситцевое поношенное платье, простой терновый голубого цвета платок, две рубашки, четыре пары чулок, зеркальце, клубок ниток, коробочка с иглками и булавками, катушка с нитками, начатой чулок с вязальными спицами, янтарные бусы, разные ситцевые и суконные лоскутки, наперсток, фольговый образец — одним словом, все имущество Пелагеи Прохоровны.

— Ну, где же ты взяла это? — спросил опять дежурный Пелагею Прохоровну.

— Ей-богу же, я вчера отошла от места... Сегодня искала другого, не нашла... С квартиры прогнали.

— Так... знаем мы эти отговорки! А зачем ты от городского убежала? Зачем была городского?

— Не бегала я, врет он. Меня извозчик звал. Врет он, шобы я...

— Кто ты такая?

Пелагея Прохоровна сказала.

— Деньги есть?

— Есть пять цалковых.

— Где?

— В чулке.

Пелагея Прохоровна подошла к своим вещам, для того чтобы взять чулки, но ее оттолкнули. Один из городских сдернул с ее головы платок, другой сдернул шугайчик; сняли также с ее руки кольцо, подаренное ей покойным мужем. Пелагея Прохоровна заплакала и просила отдать ей хоть обручальное кольцо.

— Когда будем выпускать, наденем. Все будет цело. Отвести ее в секретную! — сказал дежурный городскому и дал ему какую-то записку.

— Пошла! — произнес городской и толкнул ее вперед себя.

Городовой повел ее через двор. Они поднялись во второй этаж. Там дверь не была заперта на замок. Комната большая, но тоже грязная и плохо освещенная. В ней сидели тоже городовые. Отсюда Пелагею Прохоровну провели узким, темным, с прокислым воздухом коридором, по обеим сторонам которого сквозь решетки слышались женские голоса. Женщины голосили, кричали и ругались. Городовой провел Пелагею Прохоровну в темное пространство, толкнул ее туда и запер дверь с деревянной решеткою, но он ее не на замок запер, а ошупью завязал веревкою. По-видимому, здесь никого не было, однако Пелагея Прохоровна на что-то наступила.

— Какая тут еще поскуда наступает? — проговорила какая-то женщина и пошевелилась.

Заговорили еще несколько женщин.

— Поди, опять воровку привели?

— Штой-то ноне их как много! Господь с ними!

— Небось, ты только одна и есть, поскуда!

— Што ругаешься-то? никак уж десятый раз здесь, и все в Сибирь угодить не можешь!

— Вот ты, верно, туда хочешь!

Я не стану передавать всего, что говорилось женщинами в темноте. Пелагея Прохоровна, не знавшая тюремной жизни, выдавая ее вскользь во время посещения в остроге своего брата, ужаснулась, что она попала в такое общество. Лиц она не видела, не могла определить того, сколько тут помещается женщин, но слова, произносимые женщинами, точно острою иглою прокалывали ее сердце. Она слышала какую-то злобу на все и на всех; женщины ругались не хуже мужчин, отчего Пелагею Прохоровну пробирала дрожь, и ей становилось стыдно за себя и за эти голоса. В продолжение нескольких минут она не слыхала ласкового слова, только где-то кто-то охал и стонал какой-то старческий женский голос. Не сон ли это?.. Нет. Она слышит голоса, чувствует, что у нее голова отяжелела, ее трясет от испуга и от чего-то такого, чего она не в состоянии определить; у нее болят груди, шея; на лбу, недалеко от левого виска, она чувствует свежую ссадину, точно она только что ударилась лбом об стену; к тому же и ноги болят...

— Господи, что это со мной? Неужели это вьявь? Сколько времени я жила, сколько городов прошла,— и вдруг в самом Питере,— проговорила она шепотом. Сердце у нее болезненно заныло, она присела на пол, подперла голову руками, но слезы не шли из глаз, в голове точно камень, и всю мозговую ее деятельность словно придавило что.

В таком бесчувственном состоянии она пробыла неизвестно сколько времени, до тех пор, пока кто-то не запнулся об нее.

— О, штоб тебе сдохнуть! — произнесла какая-то женщина и стала пинать ногами.

— За што ж ты меня бьешь-то? виновата я, што ли, што места нету? — проговорила болезненно Пелагея Прохоровна.

Женщина изругалась и стала отпирать дверь.

— Кто хочет на двор, выходите враз! — проговорила другая женщина.

Несколько женщин не торопясь вышли в коридор, и не от одной из них достались пинки Пелагее Прохоровне. Но деваться ей было некуда, во-первых, потому что по

темноте она не могла отыскать свободного места, а во-вторых, если она подходила куда-нибудь, ее оттуда гнали, так как каждая женщина дорожила своим местом. Но нашелся один голос, который заступился за Пелагею Прохоровну.

— Как вам не стыдно, право!.. Ну, виноваты ли мы, что нас насажали в тесное место. Уместимся как-нибудь.

— Ишь, заступница какая!

— Пусть под нары лезет! — заговорили женщины.

— Небось сами-то не лезете под нары? — проговорила защитница.

— Толкайте ее: пусть она, барышня эдакая, под нары лезет.

— Она ребенка убила!

— И слезу! Пойдем под нары, женщины!

Говорившая ушупала Пелагею Прохоровну; казалось, ей уже эта камора была знакома. Они залезли под нары и легли, подсунувши под головы кулаки.

— Я уже здесь третьи сутки, привыкла! — проговорила болезненно женщина.

В это время в камору втокнули девочку, которая редела.

Сперва женщины ругали девочку за ее плач, потом принялись ее расспрашивать, за что ее посадили. Она отвечала сначала, что не знает, потому что хозяйка ее, прачка, стала укорять ее в том, что она только ест хлеб, а ничего не делает, а потом она что-то сделала с хозяйкой, и хозяйка ее прогнала. Два дня она ходила по миру, пряталась на чердак, где белье сушат, и вот ее сегодня ночью одна баба нашла на чердаке. Потом ее били, призывали городского, насажали, что эта девка, должно быть, уже не в первый раз пришла за кражей на чердак, потому что там многих вещей недосчитывались.

— И вот лопни мои глаза, штобы я хоть когда-нибудь што украла! — сказала девочка в заключение.

Несколько голосов было за девочку, меньшинство не верило.

Пелагее Прохоровне из этих разговоров стало немного ясно, что не все женщины виноваты в взводимых на них преступлениях. «Ведь вот и я шла со своими вещами, а сказали, что украла... Будто уж здесь и с узлами по ночам никому ходить нельзя?» — думала она.

Соседка ее молчала.

— Неужели здесь все нехорошие женщины? — спросила вдруг Пелагея Прохоровна соседку.

Та промолчала. Она или не расслышала, или слушала, как одна женщина учила другую показывать:

— Эка важность! ты скажи: потому, мол, я взяла ложки, а потом заложила, что она, хозяйка, мне за месяц деньги не заплатила. Неужели мы так и должны даром работать?

Это заключение разделяли все женщины.

— И где это справедливость? и это Питер!

— Поди ж ты! А вот здесь-то што творится.

Эти слова относились, может быть, к тому, что откуда-то слышались свирепые мужские голоса и плач женщины.

— Господи помилуй! — проговорило несколько женщин враз.

На несколько минут в каморе настала тишина.

— Спишь? — спросила соседку Пелагея Прохоровна, у которой начинали болеть бока от жесткого пола и которой было не до сна.

— Я уже отвыкла спать, — произнесла соседка охриплым голосом.

Пелагее Прохоровне жалко стало соседки, и она не решилась спросить ее, за что она сидит. Но говорить хотелось, хотелось высказать, что ее взяли безвинно.

— Што же потом будет? неужели то же, как и теперь? — опять проговорила Пелагея Прохоровна.

— Бог знает!.. Я совсем измучилась за это время... В моей голове, не знаю, что делается... Я думаю, что если пробуду здесь еще двое суток, то с ума сойду. Уж я просилась в больницу — не обращают внимания. Говорят, что отсюда берут в больницу только таких, которые ни руками, ни ногами не могут пошевелить.

Пелагее Прохоровне голос соседки показался знакомым, и самое произношение ее не походило на мужицкое.

— Ух, право бы, лучше помереть. И так жизнь была нехороша... Сама от себя я отвергла ту жизнь, какую живут в провинции!

Пелагея Прохоровна задумалась над ее словами. Она говорит, что ей хорошо бы жилось, если бы она только захотела. Зачем же это она до такой степени дошла?

А каким манером она-то, Пелагея Прохоровна, сюда попала? Ведь и ей сколько попадало случаев жить хоро-

шо, да она не согласилась же, а вот захотела в столицу. И за коим чертом ее толкало в Петербург? Для того, что ли, чтобы ее обвинили в воровстве и сослали в Сибирь!.. Эко, право, хорошее счастье! Мимо тех или через те же места родины придется идти, только безвинно опозоренной... Правда, ее тянуло сюда другое дело, любовь к Короваеву, только ведь он ушел на железную дорогу.

— Вы чем занимаетесь? — вдруг спросила ее соседка.

— Кухаркой была, — ответила Пелагея Прохоровна.

— Давно здесь?

— О Петре-Павле пришла.

— Ну, я немного раньше.

— Что это, ровно ваш-то голос мне знаком?

— И мне тоже кажется, как будто я вас видала где-то.

Вы не хохловские?

— Нет, я издалека, из Терентьевского завода. Я во многих городах живала.

— Ну, а я не живала во многих городах, только теперь, пожалуй, придется пройти много городов, если обвинят. — И соседка заплакала.

Пелагея Прохоровна старалась ее утешить:

— Бог не без милости. Он видит, кто прав, кто виноват.

— То-то, что на бога-то мало обращают внимания.

— Ну, што ж, и там люди живут, да еще лучше, пожалуй.

— Я тоже понимаю так, что там уже предел всякому новому желанию. Умрем, так и всему конец, — я, пожалуй, согласна на это.

— Ну, вот! — сказала недовольно Пелагея Прохоровна.

— Ведь меня обвиняют в том, что я задушила своего ребенка, хоть я вовсе не имела этого намерения, а просто заспала его оттого, что две ночи перед тем не спала. Я ребенка своего любила. Хорошо, если мне поверят и не сошлют!

— Послушайте-ко: вы не продавались на Никольском рынке? — спросила вдруг соседку Пелагея Прохоровна.

— Стояла перед праздником... кажется, перед троицей.

— Вы... я забыла имя-то...

— Евгения Тимофеевна.

— А я Пелагея Прохоровна.

— То-то, я слушаю: кажется, мне голос-то ваш знаком.

— И мне тоже... Ну? Вы еще тогда говорили, што в Питере к генералу какому-то ходили. Ведь вы в швеи нанялись!

— Да, я у этой женщины, которая меня наняла с Никольского, три месяца с половиной выжила; и никому не советую жить у нее. Уж лучше наняться в кухарки, чем к ней. Это ничего, что она отставная чиновница и что у нее есть любовник, но то обидно, что она хочет чужими руками деньги зарабатывать. Ничего бы и то, если бы деньги шли впрок, а то скверно, что деньги идут на водку и пиво любовнику, и доходит она до того, что к концу месяца за квартиру нечем платить, есть нечего, и тогда она заставляет работниц голодать.

— Чем же она занимается?

— Она швея, и швея хорошая. Швеей она была еще девушкой, и чиновник на ней женился, как она говорит, не из-за красоты, а из-за того, что она добывает деньги, даже больше его: он, кажется, получал одиннадцать рублей в месяц, а она вышивала не меньше чем на пятнадцать рублей. Но до замужества она нанимала комнату, и деньги у нее были кое-какие, а когда вышла замуж, тогда они наняли квартиру, чтобы пускать жильцов. Тут она и просадила все денежки, потому что нужно было купить мебели и кухарку нанять. Годов пять, что ли, она билась с мужем; он был смирный, не пьяница, только хворал часто — и, наконец, помер от чахотки. Пока был жив муж, она не очень усердно брала работу, и стало быть, те, от которых она получала ее в девушках, уж смотрели на нее иначе и давали работу другим. После смерти мужа она увидела, что приходится трудиться так же, как и до замужества. Стала она работать крепко, вставала рано, ложилась поздно, а видит, что одной и каша во рту не спора — заработок все так же плохой. Вот и задумала она нанять женщин. Нас у нее было три, и все мы оказались плохими швеями, — так, по крайней мере, она говорила; целый месяц она на нас ворчала, однако не отказывала, а как окончился месяц, сказала, что у нее нет денег, и стала умолять, чтобы мы остались. Ну, две-то швеи ушли, а я осталась, потому что у меня денег в то время было столько же, сколько и тогда, на Никольском рынке, да и башмаки обносились. Остались мы вдвоем, работы

она набирает много, а нам двум не управиться. Опять начали ей отказывать. Опять она наняла швею — перемашила откуда-то. Эта швея попалась из бойких; пошли у них ссоры, стала швея уходить по праздникам куда-то в гости, хозяйка все на меня и свалила. Так мы и бились.

Евгения Тимофеевна замолчала.

Стало светать. Началась переключка. Женщины этой каморы вышли в коридор, но их оттуда гнал прочь назад городской. Теперь оказалось, что и в этой каморе было окно, только оно было маленькое и находилось немного пониже потолка и выходило к какой-то лестнице. Рядом с этой каморой была большая камора, человек на двадцать пять, но в ней было не больше двадцати женщин. В этой каморе было квадратное окно со стеклами и решетками; но куда выходило оно из каморы, определить трудно, так как оно от нар было аршина на два с половиною вышины. Напротив этой каморы была секретная камора, с железною решетчатой дверью, запертою на замок. В ней была одна женщина, которая теперь стояла у двери и смотрела как-то дико, точно потеряла рассудок.

— За што тебя, голубушка, посадили? — спрашивали эту женщину другие арестантки.

Женщина молчала.

— Не бойся, не выдадим.

Женщина горько улыбнулась.

— Пошли, пошли!! Ты што стоишь? В карцер хошь? — говорил городской, обращаясь то к арестантам, то к одиночной женщине.

— Што это за карцер, Евгенья Тимофеевна?

— А это около отхожего места есть такой чулан без окна. В него помещается только один человек. Я, не знаю, что-то сказала в первый день дежурному, он меня и запер. В нем едва сидеть можно. Я в нем просидела часа с три, и мне это время показалось целою вечностью: темно, сыро, скребутся мыши, вонь... Хуже, чем в подзелье.

Сделалось еще светлее; в той каморе, в которой находилась Пелагея Прохоровна, было, кроме нее и девочки, восемь женщин. Пять из них обвинялись в нищенстве, остальные — в воровстве. Обвиняемые в воровстве говорили, что они крали потому, что по отходе от места им бы не на что было прожить трое суток. Но таких воровок,

у которых была бы страсть к воровству, не было; то же и в другой камере, в которой были две женщины, подкинувшие своих младенцев: одна, хотевшая задавиться, две — горничная и кухарка, — обвиняемые в намерении отравить графскую собачку, и одна пьяная женщина, поднятая в бесчувственном состоянии на мостовой. В секретной сидела женщина, обвиняемая в сообщничестве по какой-то крупной краже и убийству.

Старостиhi, тоже арестантки, сидящие подолгу, по случаю неимения паспортов, пошли получать хлеб и щи. Пелагее Прохоровне не хотелось теперь есть. Над ней смеялись женщины.

— Что, видно, не хочешь солдатского-то хлеба? Вон барышня-то небось привыкла.

У Евгении Тимофеевны лицо было бледнее прежнего. Казалось, что она в последнее время или была больна, или вынесла много душевных страданий. На ногах ее были с прорванными носками башмаки. На ней самой была ситцевая блуза. У других женщин были или сарафаны, или ситцевые платья, у трех головы повязаны платками, а одна, молодая и высокая, обвиняющаяся в краже, была даже в кринолине.

— Тебя, баба, за што взяли-то? — спросила старостиha-старушка Пелагею Прохоровну.

Пелагея Прохоровна начала рассказывать.

— Ну, просидишь с месяц!

Пелагея Прохоровна чуть не замерла.

— Што испугалась?.. Ничего, привыкнешь. Вон барышня-то тоже привыкла... Садись, барышня, поди, болят бока-то? — говорила худощавая старушонка в каком-то рваном пальто на вате, принадлежавшем когда-то какому-то канцеляристу, так как на нем еще сохранилась одна медная заржавля пуговица, о которой старушонка поговорила, что она эту пуговицу бережет как драгоценность, потому что, как только она оторвется — глядь, ее, старушонку, и заберут в часть.

Всем женщинам было очень скучно. Пожалуй, они и говорили, но все было старо, давно всем надоело.

Сделалось скучно и Пелагее Прохоровне. Хотя она и сидела на нарах, но, по случаю недолгого здесь пребывания, кроме Евгении Тимофеевны, ни одна из женщин не смотрела на нее ласково. Напротив, насчет ее молодости и лица они отпускали остроты и старались чем-нибудь

уязвить ее, для того чтобы развлечься хоть на несколько минут. Но Пелагея Прохоровна отмалчивалась, а это молчание в кругу говорящих и издевающихся над ней женщин — та же пытка... Пробовала было она оборвать женщин — не помогло: ее молчание им не нравится, а о чем она станет говорить с ними?

Женщины заговорили, оживились; но это оживление было невеселое. Все говорили дрожащим голосом:

— Што-то господь пошлет?

— Выпустят или нет?

— Дожидай! Чать, в тюрьму сведут...

— Ну, там, говорят, лучше здешнего.

Пристали к Пелагее Прохоровне.

— Ты где жила?

Та сказала.

— Ну, теперь будет следствие, спрашивать будут, у кого украла...

— Да я не украла...

— Ну, полно-ко... Ты прописана ли? И паспорт в квартале?

— Паспорт у меня в платье.

— Покажи!

— Да там, в узлу.

— Ах ты, дура! Да ты погибла теперь.

— Как?

— А так. Теперь у тебя паспорт вытащат и изорвут или паспорт бабе какой-нибудь чужой всунут в платье... Где узел-то лежит? в каком углу?

— Походишь же ты по частям. Придется посидеть с годок... — и т. д.

Пелагею Прохоровну очень напугали арестантки, и она решительно не знала, что делать. Она готова была разломать стену, чтобы выскочить из этого ада.

Не меньше ее мучилась и Евгения Тимофеевна, но Пелагее Прохоровне казалось, что той как будто легче. Она подумала, что эта барышня, должно быть, не из добрых, потому что она и с родными перессорилась из-за чего-то непонятного и говорила ей ночью как-то непонятно. Кто ее знает, закралось у Пелагеи Прохоровны сомнение, из каких она? Может, она здесь уже и не в первый раз.

— Неужели можно привыкнуть? — спросила она Евгению Тимофеевну, которая сидела с нею рядом.

— К этой жизни... Да, немножко я попривыкла.

И к худу надо привыкать. Мне вот немного легче, потому что я жду уже другой день сегодня, как меня поведут в тюрьму; по крайней мере, я на воздух выйду.

— Откуда же ты знаешь, что тебя в тюрьму поведут? — спросила Пелагея Прохоровна Евгению Тимофеевну.

— В первый день меня водили к следователю; допросы отбирали. Там следователь сказал на мою жалобу, что здесь нехорошо, что недолго придется просидеть в части и что, как кончится следствие, меня переведут в тюрьму.

— Неужели ты своего ребенка задушила?

— Ох, виновата ли я! — Евгения Тимофеевна заплакала.

В это время к двери подошел дежурный.

— О чем это плачет? — спросил он камору сердито.

— А кто ее знает? слезы-то некупленные!

— Только смейте вы у меня ее хоть пальцем тронуть! Я вас всех в карцер запру! — проговорил грозно дежурный и ушел.

Женщины напали с ругательством на Евгению Тимофеевну и согнали ее и Пелагею Прохоровну с нар.

— Сиди с ней на полу.

— Какое вы имеете право толкаться! Я дежурному скажу, — крикнула Пелагея Прохоровна.

Женщины напали на нее.

— И ты, видно, из таковских! И ты, видно, своих ребят в реки побросала, что с ней знаешься!!

— Должно быть, она помогала ей.

— Как вам не грех! Ну, чем я виновата перед вами? — проговорила Евгения Тимофеевна, рыдая.

— А! тут так виновата... А отчего ты, если тебе не мил ребенок, в воспитательный не отдала его?

— Если бы мне не жалко было... — проговорила Евгения Тимофеевна.

— А кто ж у те любовник-то?

Евгения Тимофеевна еще пуще зарыдала.

— Не троньте ее, бабы. Не всякой, я думаю, из нас приятно об этом рассказывать.

Женщины мало-помалу отстали от Пелагеи Прохоровны и Евгении Тимофеевны.

Они хотя и сидели рядом, но не говорили друг с другом долго: Евгения Тимофеевна не плакала, но уперши

голову на левую ладонь, с отчаянием и какою-то злобою смотрела на пол? Пелагея Прохоровна смотрела на нее, с сожалением думала: какая она молодая!

— А жалко мне тебя, Евгенья Тимофеевна! Очень жалко! — проговорила наконец Пелагея Прохоровна: — Добро, я мужичка, а ты дворянка, — Евгения Тимофеевна несколько минут молчала.

— Гораздо лучше бы было, если бы я была не дворянского роду, — сказала она.

— Ну, полно! дворяна — господа, а наш брат што? Плевок. Дворянин накуралесит — ему ничего, потому за него богатые да знатные стоят; а мужик чуть чего сделал — виноват. Вот хоть я — за што я попала в часть?

Соседка молчала несколько минут.

— И все-таки мне удивительно, Евгенья Тимофеевна, как это ты дворянского роду, а за тебя дворяне не заступятся? Ведь вот хоть бы эти полицейские, ведь они не из дворян, поди, а как обижают-то.

— Палагея Мокроносова! — крикнул мужской голос; другой мужской голос повторил это.

— Никак меня? — спросила арестанток Пелагея Прохоровна, встала и пошла.

Х

Наконец Пелагея Прохоровна стала свободным человеком и едва не умирает в этой свободе

На третий день Евгению Тимофеевну куда-то потребовали. Она со слезами распростилась с женщинами и особенно с Пелагеей Прохоровною.

— Не видаться уж, знать, нам больше! — говорила Евгения Тимофеевна.

Но долго рассуждать ей не дали и велели взять все, что у ней есть при себе.

Пелагея Прохоровна прослезилась, да и прочие женщины смотрели на нее с жалостью. Им уже не в первый раз приходилось видеть женщин, уходящих из каморы со слезами, что означало не выпуск на волю, а заключение в тюрьму; при виде же Евгении Тимофеевны жалость проявилась даже у более жестких натур. Ее ждали до вечера. Вечером ждать перестали.

Теперь Пелагея Прохоровна чувствовала себя одинокою, потому что остальные женщины как-то сторонились

ее и большею частию молчали или развлекались с вновь появляющимися в каморе женщинами. От скуки они шли в другую камору, несмотря на то, что их оттуда гнали городовые; и к ним заходили арестантки из другой каморы. Скука была страшная.

На третий день, как ушла Евгения Тимофеевна, Пелагею Прохоровну отправили в Петербургскую часть, откуда ее повели к кухмистерше Овчинниковой. Оказалось, что г-жа Овчинникова уже померла, а дочь ее живет у тетки на Песках. Дворник того дома на Петербургской, где жил маиор, сказал, что Пелагея Прохоровна была у маиора в кухарках и потом переехала с ним тогда-то.

Когда Пелагею Прохоровну привели обратно в часть, то она заметила, что полицейские, рассматривая какие-то бумаги, хохочут.

— Ты говоришь, у маиора Филимонова жила? — спросил Пелагею Прохоровну весело надзиратель.

— У него.

— А сколько времени?

— Месяца полтора.

Полицейские опять захохотали.

— А славный мы с него сдерем штраф — и за билет и за адресный.

Пелагея Прохоровна, сообразившая, что полицейские смеются над маиором, сказала:

— Отпустите меня, ради Христа.

— Отпустим, матушка; только удостоверимся, действительно ли ты жила у него. Позвать его дворника! — сказал надзиратель окружающим его служащим.

Пелагею Прохоровну оставили в прихожей до дворника.

Через час явился дворник Филимонова. Увидев Пелагею Прохоровну, он опешил. Видно было, что городской, ходивший за ним, хотел сделать ему сюрприз. Надзиратель был занят, и поэтому дворник подошел к Пелагее Прохоровне.

— Што это, што это с тобою?.. Как ты это попала-то?

— Вот по милости вашей. Зачем не прописали, што я у маиора живу.

Дворник струсил, стал смотреть в свою книжку и помолчал несколько минут, как бы соображая, что ему теперь сказать в свое оправдание.

— Да неужели за это?.. Ты бы могла сказать, что приехала из Царского али из Гатчины; там, мол, я в кухарках жила.

— А почему я знаю это Царское?

— Дура! Ты знаешь, чем это дело-то пахнет?

— Хороши и вы! по вашей милости сколько я побоев-то приняла... Седьмые сутки сижу; еще, пожалуй, засадят.

Наконец позвали дворника в присутствие вместе с Пелагеей Прохоровной.

— Ты знаешь эту женщину? — спросил частный пристав.

Дворник замялся. Он было подумал сказать: не знаю, — но боялся того, не сделала ли бывшая кухарка его домохозяина чего дурного.

— Ну, что же?

— Знаю.

От дворника нужно было каждое слово выжимать, потому что, имея всякого рода дела с полицией в продолжение нескольких лет, он всегда был осторожен, боясь попасть впросак. Он показал, когда переехал в дом майор Филимонов с женой и кухаркой Пелагеей Прохоровной Мокроносовой; что он, дворник, с самого же начала получил от майора его бумагу, а о паспорте кухарки тревожить его не посмел, думая, что тот должен знать все порядки; потом прошло недели две, и дворник пошел к майору попросить паспорт Пелагеи Прохоровны, майор был не в духе и прогнал его. После этого дворник еще несколько раз просил у домовладельца паспорт, но тот молчал или гнал прочь, говоря, что паспорт у него и больше он ничего знать не хочет.

— А отчего же ты не донес полиции, что у твоего домовладельца живет женщина без прописки? — спросил частный.

— Не мое дело.

— Так вот теперь ты узнаешь, чье это дело. Запереть его!

Дворнику и Пелагее Прохоровне приказали идти в прихожую; дворник, понутив голову и почесывая затылок, медленно пошел, а Пелагея Прохоровна обратилась к частному:

— Ваше благородье, меня взяли с узлом и говорят, што я воровка. Вот спросите дворника, он мои вещи

знает. Он знает, в какое время я ушла от лавошника Большакова.

— Какого Большакова? — спросил частный.

— А он в доме же Филимонова торгует хлебом и разноразностью. Иван Зиновьевич прозывается.

— А!..

— Пожалуй, можно спросить, — сказал надзиратель.

Позвали опять дворника и опросили, в котором часу такого-то числа вышла из дома Филимонова Пелагея Мокроносова. Тот сказал, что майор прогнал кухарку за день до этого, а такого-то числа она, неизвестно почему, ушла от Большаковых.

Принесли узел, Афанасий некоторые вещи признал принадлежащими Пелагее Прохоровне. Узел отдали Пелагее Прохоровне и велели ей подождать в прихожей билета на жительство. В прихожей Пелагея Прохоровна хотела разобрать узел, но при людях делать это казалось ей неловко, потому что тут было все ее имущество. Дворник сердился на Пелагею Прохоровну за то, что, по ее милости, он теперь должен будет сидеть в арестантской, и называл ее нехорошими словами, попрекая Игнатием Прокофичем.

Наконец выдали Пелагее Прохоровне билет и сказали, что она может идти, но о месте жительства должна сообщить непременно в квартал через дворника, а за паспортом понаведаться через неделю.

Пелагея Прохоровна очень обрадовалась, и когда вышла из части, то почувствовала всю прелесть свободы. Она смотрела весело, готова была обнять каждого человека, готова была плакать от радости. На слова караульного: «Что стоишь?» — она вздрогнула и пошла машинально направо, не зная сама куда. Но не прошло и пяти минут, как она почувствовала усталость, слабость во всем теле, голод; узел ей мешал. Тогда явился сам собою вопрос: куда идти?

Было уже час седьмой. Начинали зажигать фонари. Но движение в Петербурге как будто только что началось. Пелагея Прохоровна не знала, в какую ей идти сторону и где найти приют до утра. Она спросила несколько человек, шедших навстречу: где бы ей ночевать? — но эти люди, оглянув ее подозрительно, отвечали: не знаем. Спросила она городского, тот придрался к ее узлу и не повел ее в часть потому только, что она показала ему билет.

Совсем растерялась Пелагея Прохоровна, присела она на панель, стала развязывать узел, но дворник стал гнать.

— Пусти, ради христа, ночевать,— сказала дворнику Пелагея Прохоровна.

— Я те пушу! Пошла!!

— Дай ты мне хоть деньги-то достать.

Но дворник подошел с метлой, которой и замахнулся на Пелагею Прохоровну.

Опять пошла Пелагея Прохоровна и думала о дворниках, полиции, арестантах; голова ее кружилась, да и сама-то она шла бессознательно, так что через час после ее выпуска из части она опять очутилась недалеко от той же части...

«Пойду я в часть, все едино опять возьмут с узлом»,— подумала Пелагея Прохоровна и вошла в контору.

— Ты зачем? — спросил ее городской.

— Пустите ночевать.

— Ах ты, подлая! Пошла вон! — И Пелагею Прохоровну стали гнать.

— Батюшки, голубчики! укажите, где ночевать?

— Мы тебе укажем!

— Украдь, и ночлег будет,— сострил другой городской.

— Неужели же у вас сердце каменное?..

— Гони ее! — сказал помощник надзирателя.

Пелагею Прохоровну выгнали из части.

Вышла она на двор и задумалась. Начала перебирать вещи; опять прогнали. Ей хотелось найти чулок, в котором лежали деньги, но и в этот раз не дали ей добраться до кармана, сделанного в платье.

И вот идет опять Пелагея Прохоровна, усталая, больная и голодная. Народу идет и едет много, нарядного и ненарядного: едут кареты, торгаши выкрикивают спички, яблоки, груши, булки; там и сям играет шарманка, из какого-то дома слышится музыка, улица с обеих сторон залита светом: горят огни во всех этажах, горит газ. Хорошо идти по этой улице, много на ней можно увидеть хороших вещей; но голодного человека это богатство, это, так сказать, сказочное видение, тотчас после арестантской камеры, еще более расслабляет; еще более ноет сердце при виде всего этого блеска, еще более является любопытство, прекращающее на время голод, и это любопытство тянет человека идти еще дальше и увидеть еще что-

нибудь получше. Так и Пелагея Прохоровна шла по Невскому; наконец предметы стали ей казаться однообразными, и как только она вошла на площадь, наступило общее ослабление.

Она села и закрыла лицо руками. Слезы не шли из глаз, но в голове ее был жар.

К ней подошло несколько человек любопытных.

— Что с тобой? — спрашивали они.

Пелагея Прохоровна ничего не понимала.

Подошел городской и стал разгонять толпу, но толпа росла.

— Она нездорова! Холера! — говорили в толпе.

Городовой тормозил Пелагею Прохоровну и спрашивал, где она живет. Стали об этом спрашивать и в толпе.

Пелагея Прохоровна опомнилась.

— Батюшки! укажите, где мне ночевать... Я есть хочу.

Несколько человек отошли от Пелагеи Прохоровны; остальные стали советовать городскому отправить ее в больницу; городской просил ее идти, куда она знает, а не сидеть тут и не привлекать народ.

— Ох, не могу я идти-то, — проговорила она.

— Найми извозчика. Эй, извозчик! Отвези ее! — крикнул городской извозчику, ехавшему тихонько порожняком.

— А есть ли у нее деньги-то?

— Есть, — сказала Пелагея Прохоровна.

— Давай, — сказал извозчик.

— Вот в узлу.

— Вези, вези... — кричал городской.

Но извозчик стегнул лошадь и уехал.

Пелагея Прохоровна поплелась. Через полчаса она очутилась на набережной Невы; потом пошла по Троицкому мосту.

Дул резкий ветер с моря; ночь была темная, холодная; по небу плавали густые тучи, так что не видно было на нем ни одной звездочки; волны плескались с шумом и шатали плашкоты. На мосту было пусто; редко-редко разве кто проедет или пройдет; Пелагее Прохоровне казалось, что она плывет — и конца нет этому мосту.

Бессознательно прошла она площадь, вошла в Александровский парк — и опять силы ей изменили; она упала и скоро заснула.

Холодное утро скоро пробудило Пелагею Прохоровну. Когда она проснулась, было не совсем светло еще. Оглядела Пелагея Прохоровна местность и увидела, что спала в какой-то яме; сарафан ее и узел весь запачкан в грязи. Развязала она узел и стала искать чулок с деньгами, но чулки целы, а денег нет.

Опять пошла Пелагея Прохоровна, еле передвигая ноги. Народу почти не видать; двое извозчиков, сидя в пролетках, спят; начинают отпирать лавочки.

Пелагея Прохоровна зашла в лавочку и попросила христа ради.

— Бог с тобой! — сказал лавочник.

— Батюшко! Я совсем не знаю, што мне делать...

— Н-ну, не разговаривай. Украла, поди, узел-то? Вот городского позову.

— Уж я просилась и в полицию — не берут.

В другой лавочке ей подали кусок черного хлеба. Она очень обрадовалась этому куску и тотчас съела его. Это удивило лавочника, и он с насмешкой спросил ее:

— Видно, ты давно голодаешь-то?

Пелагея Прохоровна рассказала, как она отошла от места и попала в часть. Лавочник попросил у нее паспорт и, удостоверившись в справедливости ее слов просмотром билета, дал ей еще хлеба и посоветовал идти на Никольский рынок.

XI

**Пелагея Прохоровна находит брата
Панфила Прохоровича**

Пелагея Прохоровна пошла по направлению к Самсоновскому мосту, разделяющему сторону Петербургскую от Выборгской. Еще не дошла она до угла нескольких шагов, как увидела выходящих из одного питейного заведения четырех рабочих в рваных полушубках. Они оставались и стали о чем-то рассуждать. Сперва Пелагея Прохоровна не обратила на них внимания, но ей опять послышался знакомый голос, что ее и заставило посмотреть на рабочих. Двое из них были невысокие, с большими русыми волосами и такими же бородами, много захватившими их щeki; третий был высокий молодой мужчина без бороды и усов, но с желтым лицом; четвертый отличался от других тем, что его полушубок был

сшит точно из клочков, которые еле-еле болтались, и на голове была фуражка с оторванным наполовину козырьком и с тремя заплатами на верхушке. Он был молод, годов шестнадцати, но на вид казалось гораздо больше, оттого что на его лице сидело много грязи и пыли. Вглядевшись в него хорошенько, Пелагея Прохоровна узнала Панфила Прохорыча. Радость ее была неописанная. Однако она подошла робко, поклонилась и неловко спросила:

— Вы откуда?

Мужчины захотали, но молодой человек стал пристально смотреть на женщину.

— Што смотришь? Аль сродни? — спросили Панфила товарищи.

— Ты не Панфил ли Прохорыч? — спросила робко Пелагея Прохоровна.

— Так зовут... А ты?.. Уж не Пелагея ли? — спросил не то с насмешкой, не то с горестью молодой человек.

— Как же, Палагея Мокроносова!

Молодой человек посмотрел еще на Пелагею Прохоровну и сказал:

— Палагея-то была здоровая, красивая, а ты што?

— Неужли и голос не узнаешь?.. Ведь, кажись, вместе в Моргуновом-то робили... Ты еще за фальшивую билетку попался.

— Ах ты!! Глядите, робя,— счастье! Сестра ведь... Ах, ты черт!..

И Панфил Прохорыч утер глаза заскорузлыми руками.

Пелагея Прохоровна тоже стала утирать глаза.

Товарищи Панфила Прохорыча глядели то на Панфила, то на женщину; они то улыбались, то чесали затылки и что-то обдумывали. Их лица выражали словно зависть и как будто говорили: «Ишь ведь, свиделись-таки!.. Экое, подумаешь ты, людям счастье!»

Начались расспросы. Восторгам этой встречи, кажется, и конца бы не было. Но рабочие сказали Панфилу:

— Пора. Надо переть барку-то кверху.

— Так ты где ино теперь? — спросил брат сестру.

— Без места я, и денег у меня нету — украли. И сама не знаю, где украли.

— Пойдем ино на барку: у нас хлеб-то есть, — сказал брат.

— Иди, место будет,— проговорили рабочие.

Пелагея Прохоровна пошла за братом и рабочими в барку и дорогой рассказала брату, как она ушла из Прикамска и попала в Петербург:

— Уж натерпелась же я горя в этом Петербурге! И если бы знала, что здесь такая жизнь, ни за что бы не пошла из Пояркова.

— Ну, я тоже в Пояркове робил, народ — собака.

— Не ври; там люди хорошие и достаточно живут.

— Кои тамошние; а кои пришедшие, те и работы не скоро найдут. Это, может, тебе так показалось, потому што ты баба. А я там прожил с неделю и узнал, что тамошние-то жители между собой уговариваются, штобы им оттереть пришлых, и зрителей на пристанях задобривают.

— Ну, а ты-то как попал сюда?

— Как?.. Нанялся на баржу до Нижнего, а в Нижнем эту баржу взяли да продали, и мы все, сколько там было, поступили в службу к другой компании. Ну, нагрузили наши баржу, и потащил нас пароход в Тверь. А в Твери двое товарищей и говорят: пойдемте в Питер, еще поспеем на суда. Ну, и получили расчет. Мне досталось пять рублей с четвертаком. Походили по Твери дня четыре и нашли еще пятерых — тоже в Питер собирались, только они ехали в Чудово. Ну, мы и поехали на чугунке и скоро нанялись на барку камень сплавлять.

— Сколько же ты получаешь?

— Да вот, как камень представим, надо бы по десяти рублей получить.

— Пошто же ты оборван?

— Пошто!.. Поживи, так узнаешь. Вот ты говоришь — тебе нехорошо; а нашему брату и еще лучше...

Наконец вошли в барку по дощечке. Здесь, на реке, были два плота с плотно сложенным на них сеном, в середине которого было устроено подобие коридора, в котором и спасались от дождя рабочие; далее стояла большая лодка, вмещавшая в себе до восьми кубических саженьей песку, еще дальше — четыре судна, дожидаящиеся попутного ветра, и та барка, на которой находился Панфил Прохорыч. Эта барка не походила на те, которые видела на родине Пелагея Прохоровна: она не имела палубы, была несколько овальнее, посредине ее не было гребных весел. Вся она была нагружена кирпичом.

— Уж мы в четвертый раз этот кирпич плавим с кирпичного завода. А завод этот недалеко: сейчас за Охтой будет линейный завод, так не доходя ево. Сперва плавили в Фонтанку-реку, потом в Обводный канал, потом по Обводному же каналу — в Лиговский канал, теперь сюды — уж в последний раз. Говорят, скоро лед пойдет. Нанимали в Кронштадт, в море, по двадцати рублей давали, да опоздал.

— Ты видал ли Питер-то?

— Вот те раз!.. Да я там везде выходил. Чудной этот город; не верю я, чтобы тебе там худо было.

На этой барке было всего шесть человек рабочих. Панфил откачивал воду, остальные что-нибудь стругали, зачинивали в барке дыры, починивали свои полушубки, а один, сидя в корме под досками, которые были положены на края барки, для того чтобы было удобно грести и править, варил гречневую кашу на всех рабочих.

От груза на барке было так тесно, что всем приходилось сидеть на грузе, а там, где варилась крупа, можно было уместиться только двум человекам, и то присев. Поэтому рабочие сидели где попало, спиною к ветру, не обращая внимания на то, что сквозь дыры рубах ветер сквозит на голое тело. Пелагея Прохоровна тоже присела. Теперь ей было весело; она нашла брата, и с братом ей будет легче работать.

Между тем, все рабочие порасспросили Пелагею Прохоровну о ее родине и пребывании в Петербурге. Двое говорили, что у них жены находятся тоже в Питере и они виделись с ними раза по три, но и они не хвалят питерское житье. Начались общие сетования на мужицкую долю, на то, что мужику везде одинакова жизнь, и Питер, по ихнему мнению, еще, пожалуй, хуже, потому что редкий к концу лета не захворает чем-нибудь.

— Никто и в Питере-то не хвалится житьем. Оно бы и заработок ладный, а деньги идут, и сам не знаешь, на што... И все-таки ни сыт, ни голоден. Еще ладно, если кто на одном месте долго держится. А как свернется с места, и слоняйся да проживай денежки. Ну, вот лето-то летенское робишь, бережешь деньги, потому дома оброки да недоимки нужно платить, нужно хлеба купить; опять и то: об семье надо позаботиться. Чем она-то виновата? Прожил зиму — и марш опять сюды; а дома какая ныне

работа — и по гривеннику на день не заработаешь... И што это за жизнь, господи! Летом живешь один, робишь-робишь; домой приедешь — деньги издержишь и живешь кой-как. И не ходил бы домой на зиму, да семью жалко и вздохнуть хочется. А здесь жить с семьей нельзя.

— Отчего нельзя? — спросила Пелагея Прохоровна.

— То-то нельзя. В деревне-то все ж свое хозяйство. А здесь — на-тко, займись хозяйством-то!

— И подлинно мужицкая жизнь самая скверная, — сказал другой рабочий.

— А я мекаю, здешним солдатам житье — помирать не надо!

Эти слова были произнесены потому, что по Самсонове-скому мосту прошло несколько рот солдат с музыкой.

— Ну, а вот наш Пантюхин сделался купцом, а тоже на судах сперва ходил.

Рабочие стали смотреть на солдат и смотрели молча до тех пор, пока они не скрылись.

— Нет, им тоже, поди, служба-то — о-ёй! — сказал кто-то.

— Чего — о-ёй! Я вон как в Ижоре камень ломал, так ходил к брату в Красное, — начал молодой высокий рабочий. — Ну, и житье ему — умирать не надо! вся служба в том и заключается, чтобы на лошадях разъезжать. А это разъезжание, он говорил, так только, чтобы мужики солдатам не мешали, когда солдаты с ученья идут.

— Ну, все ж солдату трудно.

— Трудно, вот коли ученье. Только не люблю я их. Потому, может, не люблю, очень уж важничают перед нашим братом, ни за што нас считают. Вот хошь бы этих городских взять — из солдат ведь?

— Ну, ты потому их не любишь, што в полиции сидел пьяный.

— Нешто я не шел на барку?

— То-то! ты дошел бы!

— Ну уж, што ни говори, а не люблю. Вот у брата просил денег, — не дал: жениться, говорит, собираюсь. Я и говорю: што ж, Онисим Пантелеич, позовешь меня в гости?.. Он: коли, говорит, пальто есть, приходи. Ну, не подлец ли он после этого, братец-то мой родимый?

Стали хлебать гречневую кашу из большого чугуна большими деревянными ложками; Пелагею Прохоровну

пригласили тоже. Она сидела рядом с братом и осматривала его фигуру, в которой находила много перемен. Рабочие ели молча.

— Вон, Панфил, ты и сестру нашел. Чать, уж не пойдешь более на суда али на барки? — спросил молодой рабочий Панфила Прохорыча.

— Куда пойдешь? Надо што-нибудь работать.

— Ты што умеешь-то?

— Ковать умею.

— Ой ли?.. Где ты энтой науке обучен?

— Дома я в заводе робил... Наши заводы не вашим чета: у нас завод не меньше города.

И Панфил стал рассказывать, что такое горный завод, но так как кашу скоро съели, то этот рассказ не был окончен, да и рабочих он мало интересовал, и они глядели больше на реку и на фабрики. Вообще рабочие были народ молчаливый, точно тяжелая работа отбила у них всякую охоту к рассуждению.

Панфил стал откачивать воду, рабочие принялись откачивать барку, а Пелагея Прохоровна сидела посреди барки и смотрела, как ее брат откачивает воду.

— Ты за это занятие десять-то рублей получишь? — спросила она брата.

— За это. На этой барке-то я уж четвертый раз плыву, вот за все разы мне и назначили десять рублей.

— А хлеб-то чей?

— Мой: вперед деньги взял. Уж теперь, почитай, рублей пять взял.

Барка плыла по течению. Хотя рабочие и употребляли в дело шесты, но барка шла сама, и только приходилось работать на корме и на носу. Рабочие ругались, если барку поворачивало в которую-нибудь сторону, или на нее чуть-чуть не наплывал маленький пароход с двумя десятками пассажиров, или большая лодка с мебелью, которую плавили с дачи.

Наконец пристали недалеко от каких-то казарм. Лощман, заступивший место приказчика и обязанный от подрядчика доставить сюда кирпич в целости, ушел в казармы, а рабочие, оставив Панфила Прохорыча караулить барку и отливать воду, ушли на берег разыскивать, где бы им поесть.

Пелагея Прохоровна осталась с братом.

Несколько минут они сидели молча,

— Где-то наши? — спросил вдруг Панфил Прохорыч.

— Я сперва об них долго думала, а теперь уж не думаю. Поди, и им, Панфил, не лучше нашего?

— Кто ево знает. Я вот как на пристани робил, мне говорили, что на железной дороге хорошо робить: денег много дают. Хотел идти — и не пошел, потому не с кем было, и народ все какой-то острожный. Я вот по чугунке ехал, так, говорят, на железной дороге народу мрет много и порядки там дурацкие.

— Поди, и они там померли.

— А вот што-то наш дядя? Поди, богатей теперь стал. — Пелагея Прохоровна задумалась.

— А ты, сестра, ноне больно худа сделалась.

— Нездоровится мне што-то, братчик. Вот как этот проклятый майор прогнал меня в одной рубахе, так я в те поры, верно, простудилась.

— Ну, ничего... А знашь, што я думаю: будем вместе робить?

— Будем... Я еще скажу тебе, братчик, когда я жила у майора, так там в доме жил мастеровой Петров. Я на него и вниманья сперва не обращала, а он все выслеживал меня. А какой умной и, видно, работающий; видно, что он будет лучше *наших*, заводских... Так он мне што сказал: будьте, говорит, вы кухаркой на рабочих...

— Ну, так што?

— Ну, он говорит, што найдет рабочих и тут же жить будет. Только это мне не нравится: што будут говорить люди?... Я уж совсем думала назад идти в Поярков...

— Ну, в Поярков не стоит, потому там работа только летом, а зимой, говорят, и городские-то жители летние заработки проедают.

Итак, Пелагея Прохоровна решила остаться с братом в Петербурге и работать где-нибудь на фабрике.

XII

Пелагея Прохоровна опять сталкивается с мастеровым Петровым, который и находит квартиру для нее

Ночевавши в барке под крышкой, утром на другой день Пелагея Прохоровна чувствовала себя бодрее и как в этот, так и в следующие четыре дня катала в тележках

с барки во двор казарм кирпичи. Хотя заработок был и небольшой — тридцать копеек в день, с шести часов утра до сумерек, — и работа не совсем легкая, но она находила это занятие не в пример лучше ее жизни у майора и кухмистерши. Здесь ее никто не смел обругать, не к чему было придираться, рабочие барки уважали ее, как сестру их молодого товарища, и им даже было веселее в ее обществе, потому что они давно уже не бывали в обществе женщин; хотя же солдаты из той же казармы, куда разгружали кирпич, и подмазывались к Пелагее Прохоровне, но она одного оборвала, другому что-то заметила неприятное, а потом и они стали вежливы. Ела она хотя и не по вкусу, но наедалась досыта; одно было неприятно, что приходилось спать под открытым небом, без защиты от ветра и дождя. Таких постоянных изб, где бы можно было нанять ночлег, здесь не было; да и рабочие говорили, что им уже немного остается терпеть. По мере выгрузки из барки кирпича, становилось меньше работы Панфилу Прохорычу, так как края барки становились все выше и выше над водой, и вода сочилась только сквозь дно. Поэтому и Панфил Прохорыч тоже катал в тележке кирпичи. На барке не знали, какой сегодня день, и потому работали ежедневно, стараясь кончить; за провизией ходили в лавочки, потому что на рынок идти было далеко, да и туда ни один идти не решался, боясь заблудиться; Пелагее Прохоровне покупать не поручали, хотя она и вызывалась, на том основании, что ей не донести пяти ковриг хлеба. Пелагея Прохоровна прожила на барке пять суток, и ей казалось, что она живет в таком обществе, которое нисколько не похоже на остальные, потому что живет она на реке и спит в барке, под открытым небом. Ходит она в мокрых ботинках и чулках, и еле-еле высыхает ее одежонка около костра, который разжигался из лишних досок на барке или из дров, которые рабочие воровали на берегу. Она видела — и на себе ощущала, — как тяжела жизнь рабочих на реке, но находила тут все-таки больше свободы, чем в ее положении у майора и у кухмистерши. Ей нравились эти люди, дружно работающие и редко ссорящиеся между собою и делящие хлеб и заработок поровну, но и это не удовлетворяло ее. «Неужели нельзя им робить што-нибудь другое — они мужчины», — думала она, но тут же узнала, что эти рабочие только и умеют, что дома строить по-сельски, ломать

камни и обжигать кирпичи, а этой работы в Питере мало, да и рабочих рук на эту работу много.

Ей было неприятно, что Панфил по утрам и по вечерам уходит с рабочими в питейные заведения. Хотя она и думала, что они пьют с холоду, но то скверно, что брат может втянуться в водку, станет пьянствовать и никогда не будет иметь денег, а это дело скверное. Стала она ему советовать — пить вместо водки чай, — он рассердился, рабочие улыбнулись.

— Вот и видно, што ты не нашего сорта, — сказал молодой высокий рабочий. — Мы к этому чаю непривычны, и если пьем, так в гостях у старшины или у десятского на именинах. На именинах, знамо, все вали; половица говорится: «В крестьянском брюхе и долото сгниет». А здесь нам не до чаю; проклажаться-то — еще простудишься.

А Панфил на шестые сутки был так пьян, что его на руках принесли в барку, он долго ругался. Пелагея Прохоровна плакала и сетовала на рабочих, которые втягивают мальчишку в пьянство.

— А што ж ему не пить-то? с тобой, што ль, обниматься?.. каки-таки ты ему радости предоставишь? — проговорил недовольно один из рабочих.

Слова эти показались Пелагее Прохоровне справедливыми. Сердце ее стало ныть от предчувствия, что из брата ничего хорошего не выйдет. Она стала на колени, заплакала, стала молить бога, чтобы он спас ее брата, и потом легла с надеждой, что не все же такая жизнь будет.

Очистили барку, Лоцман сходил к подрядчику, получил деньги и роздал рабочим. Панфил Прохорыч получил пять рублей. Все собрались на барке.

— Ну, куда топерь, робя? — начал один рабочий.

— Уж теперь плавать не придется: гляди, скоро лед пойдет.

— А денег-то маловато. Теперь надо обувь купить; не так же из Питера прийти-то. Хозяйке тоже надо — платок просила. А денег-то, гляди, восемь цалковых. На дорогу еще надо.

Рабочие задумались. Половина из них решила остаться в Питере и отослать заработок по домам, другие тоже хотели остаться, но их тянуло домой. Всем работавшим лето вместе тяжело было расставаться и хотелось

немного повеселиться. Поговорили было о том, не сходить ли на Сенную, чтобы потолкаться там или, как говорят рабочие, посмотреть Питер, потом найти квартиру. Но так как идти на рынок было не близко и уже поздно, то все пошли делать spryski; стали звать и Пелагею Прохоровну. Та отговаривалась тем, что ей идти неловко, но она хотела выпить чего-нибудь тепленького, чтобы отогреться; денег у нее было около полутора рубля, и она пошла. Панфил отдал ей на сбережение и свои деньги.

Рабочие вошли в одну из харчевен, примыкавшую к трактиру. Как харчевня, так и трактир с номерами помещались в одноэтажном деревянном доме, отдельно друг от друга; их содержал мещанин Сидор Данилыч. Фамилии его из рабочих посетителей никто не знал. Это был толстый, среднего роста, пожилой мужчина, с круглою редко-черною бородкою и черными, короткими, всегда примазанными салом волосами. Лицо его было полное, выражало постоянно спокойствие и невозмутимость, как будто уверяло, что Сидор Данилыч с малых лет находится при трактирах, видал всяких людей и переслушал всякой всячины. Он знает все, что относится до жизни рабочего, афериста и торгаша, его учить нечего; знает, как и при каких обстоятельствах можно выбиться из такого-то положения, на что стоит обращать внимание, на что не стоит — и т. д. Сидор Данилыч давно уже занимается трактиром с харчевней, которые ему приносят большие барыши, и эти барыши он извлекает от рабочих, которые при расчете предпочитают его заведение другим, может быть, потому, что он верит в долг и со всеми одинаков. Он говорит октавой, не возвышая и не понижая тона ни в каких случаях, так что вызвать с его стороны крик довольно трудно. Он в своем заведении сидит где попало, потому что у него есть сын двадцати двух лет, высокий худощавый брюнет, пошедший относительно наживы денег в отца и с которым не могут ужиться подручные, так как он до тонкости сверяет всякие счета и украсть из-под его рук довольно трудно. Только деньги мало идут ему впрок, так как он хотя уже и женат, но любит всякую компанию в других гостиницах, которые посещают господа. Зная эту слабость Ивана Сидорыча, Сидор Данилыч сидит попеременно — или днем в трактире, а вечером в харчевне, или днем в харчевне, а вечером в трак-

тире; он ни одного дня не пропустит, чтоб не посидеть в котором-нибудь заведении. Харчевня состояла из трех комнат, из коих в первой, тотчас по приходе с улицы и самой большой, стояла выручка, полки с налитой водкою, железная печь с такой же трубой, протянутой вдоль потолка к окну. За выручкой сидел теперь сам Сидор Данилыч и что-то считал на счетах. На нем надет был черный дубленный полушубок, во рту он держал гусиное перо. В этой комнате, оклеенной старыми серыми обоями, со множеством лубочных раскрашенных картин, под которыми были напечатаны или русские и малороссийские песни, или безграмотные стихи, стояло пять столов небольшой величины и несколько деревянных стульев. Посетителей тут теперь не было.

— Сидору Данилычу! — сказал молодой высокий рабочий, снимая шапку.

Сидор Данилыч поглядел на сказавшего, оглядел вошедших и стал считать на счетах.

— Аль спесив стал! Не узнал Егора Шилова?

— Проходите, молодцы, проходите!

Мальчик повел пришедших в другую комнату с двумя окнами, в которой также стояла железная печь с трубой, проходящей в третью комнату с одним, не очень светлым, окном. Комната эта была оклеена старенькими палевыми обоями, и в ней стояло четыре стола. За одним из них сидело четверо мастеровых — двое в тиковых засаленных халатах, двое в пальто, с передниками, зачерненными донельзя; у всех были лица черные, руки тоже черные.

Рабочие уселись за два стола. Лоцман потребовал полуштоф. Пелагея Прохоровна стала было отговаривать брата от участия в водкопитии и уговаривала пить чай, но товарищи Панфила сказали, что здесь, в харчевне, чаю нет, потому что здесь черная половина.

— Это ты откуда, братец, взял, что здесь черная половина? — спросил один мастеровой, вставая и набивая свою трубку табаком.

— Коли не черная! чаю не подают, — в трактир посылают.

— А знаешь ли ты, что такое черная половина?

— Ты не приставай, — обиделся молодой высокий рабочий.

Появилась водка, стаканы; лоцман налил стаканы, налил и Пелагее Прохоровне. Та стала отказываться.

— Ну, полно! здесь мы с тебя деньги не возьмем: мы по-дружески. Пей.

— И эта барышня тоже с вами на судах работала? — спросил опять мастеровой с трубкой.

— Нешто нельзя бабе на судах робить?

— Самое последнее дело, я тебе скажу, если баба чем иным прокормиться не в состоянии.

— Это верно, — подтвердили товарищи мастерового.

Наши рабочие не возражали. Мастеровые отстали; они разговаривали между собой о своих фабричных мастерах, десятских, о зарботке; рабочие, с своей стороны, рассказывали впечатления по сплаву камня — и между разговором скоро распили полуштоф, закусывая редькой и ржаными сухариками.

— Похлебать бы чего, робята? — предложил лоцман.

Оказалось, в харчевне есть щи. Принесли на стол две небольшие деревянные чашки, две деревянные тарелки, на которых на каждой было мясо фунтов по пяти и ложки: хлеба для щей от харчевни не полагалось.

Один из рабочих сходил за хлебом и принес с собой фунта три ситного и полфунта тешки, что вызвало смех его товарищей.

Однако щи оказались — одна вода, без круп и капусты, и холодные до того, что в них плавало сало; чистого мяса было не больше двух фунтов, да и то жесткое, остальное — всё кости.

— Ну уж и еда! угостил Егорка Шилов! — говорил лоцман.

— И на этом говори спасибо. Аль лучше едал?

— Пойдемте в трактир.

— Ну, нет... Все равно ись надо, потому после нас ись не станут... Эй, мальчонко, вали полштоф! — говорил Шилов.

Рабочие стали одобрять Шилова и бранить харчевню.

— Што ни говорите, а супротив здешней харчевни едва ли где другая устоит. Уж я где-где не был. И по московской машине ездил из Тосны, и из Царскова, и из Красного по петергофской, — везде в тех краях харчевни хуже здешней. Пра! Здесь ящо благодать!

— А ты што же в Царском-то делал? — спросил мастеровой Шилова.

— Там за Ижорой камень ломал,

— Выгодно?

— Я зимой робил; ну, так за сажень платили по цалковому на своих харчах.

— Мало. Чать, сажени-то в день не наломаешь?

— Каков камень... Иной такой твердой, што порохом надо брать, на такое уж место попадешь. Ну, тогда, конечно, берешь и посутошно — цалковый и с укладкой вместе. А ежели теперь камень ломкой — знай только подковыривай ломом. Тогда и полторы сажени наломаешь. Вот кабы лошадь своя была, возить бы стал к речке на пристань — тоже по цалковому за сутки платят.

Двое рабочих закурили трубки, от них попросили закурить и мастеровые.

— Ну, а теперь как же вы? — спросил мастеровой, раскуривая трубку у судорабочего.

— Да кои по домам, кои здесь остаются.

— Ну, теперь по вашему-то занятию вряд ли будет работа. Ваша работа што наша: мы вашу не умеем, вы нашу.

— И што это за работа! Вот наша работа, так работа, — сказал с гордостью другой мастеровой.

— Кто спорит — вы кузнецы, по облику видно.

— То-то и есть.

— Што вы хвалитесь-то! — вскричал Панфил Прохорыч. — Вы думаете, што только вы и есть люди, а мы и не люди!

Мастеровые захохотали.

— Чево смеетесь? Вы думаете, и мы не умеем полосы лить, али в горнах огонь раздувать, али по ремню наждаком сталь шлифовать? — проговорил с азартом Панфил Прохорыч и покраснелся.

— Э-э! Ты, брат, верно, слыхал что-нибудь от людей.

— Не слыхал, а сам робил в заводе.

— Што про это говорить! А знаешь ли ты, што такое бурав.

Панфил Прохорыч рассказал.

— Што ж, тебя немец-мастер прогнал, што ли?

Панфил Прохорыч рассказал про свое житье в заводе. Он долго толковал им устройство горных заводов и спорил насчет плавки металлов. Оказалось, что питерские мастеровые имеют смутное понятие о происхождении чугуна и железа, потому что этот материал они получают в готовом виде и перерабатывают на разные вещи. Горунов хвастался тем, что они, петербургские мастеровые,

может быть, перерабатывают то железо или ту медь, которую он с своими земляками сперва добывал из земли в виде руды, а потом плавил, — и начинал рассказывать, каким образом добывается руда и т. д., но петербургские мастеровые и тут задели его за живое, сказав, что у них на фабрике употребляется в работу только английское железо, а сибирское железо нипочем, и им только обивают крыши.

Скоро, после разговора, трое мастеровых ушли, а четвертый остался. Он сказал, что на квартиру не пойдет, вздремнет здесь, а вечером что бог даст.

Вошел хозяин, оглядел наших рабочих.

— Ну, что? Кончили? — спросил он, обращаясь к Егору Шилову.

— Будет. А все-таки, Сидор Данилыч, плоховато, больно плоховато становится год от году.

— Это уж так. Теперь вот железная дорога много портит вашему делу, ну, опять и народу ноне много. Ныне я посмотрел на железной дороге, так народу, братец ты мой, из Питера страсть што едет. Это — полон вокзал; билетов даже не достало. Так половина и не уехала. И это еще ничего, а то человек двадцать и билеты взяли, да в вагоны не попали — некуда.

— В другой раз уедут.

— Ну, нет. Я было им посоветовал просить обратно деньги — не дают. Я взял два билета и пошел к начальнику станции, стал просить деньги — не дают. Зачем, говорит, опоздали? Мы, говорит, и билетов выдаем столько, сколько в вагонах может приблизительно поместиться народу, поэтому мы, говорит, и кассу ране запираем. Так-то. А прежде не то было. Худое, должно быть, житье в Расее.

— И не говори.

— А! Потемкину! Што, друг сердешный? — проговорил Сидор Данилыч весело, подойдя к оставшемуся мастеровому.

Мастеровой снял фуражку и принял прежнее положение.

— Али старуха опять?

— Чево и говорить!

Сидор Данилыч старался добиться от Потемкина слова, но тот упорно молчал, глядя в пол. Сидор Данилыч пошел.

- Сидор Данилыч... Голубчик...
- Что, верно, недопито?
- Все пропито. Дай косушечку, голубчик.
- Ну, нет.
- Сидор Данилыч... Эх! — Потемкин встал. — Али ты меня не знаешь?.. Семь лет я к тебе хожу.
- Знаю. Потемкин, знаю... Только, брат, ты забаловался много.
- Вчера же я тебе отдал трешник.
- А обещал сколько?.. Нет, брат, шалишь! Ты у меня обманом-то на одной неделе на три цалковых забрал.
- Сидор Данилыч!
- Будь спокоен, не дам. Иди, куда хошь... Ах, Потемкин! человек-то ты хороший, по шестидесяти рублей зарабатываешь...
- При людях-то хоть бы не страмил... Ей-богу, ходить к тебе перестану.
- Сидор Данилыч ушел, а Потемкин сел к печке и задумался.
- У наших рабочих был только что подан полуштоф. Видя болезненную фигуру петербургского мастерового, пренебрежение к нему хозяина харчевни и его мольбы об водке и думая, что он будет рад выпить даром стаканчик, Егор Шилов сказал ему:
- Эй ты, как тебя?
- Потемкин.
- Иди сюда.
- Мне и здесь хорошо.
- Мы угостим тебя.
- Убирайтесь вы к черту!
- Нет, друг, выпей... Мы от души.
- Што у вас много денег, что ли? Удивить меня хотите?
- Ну, полно, выпей.
- Не стану... Я еще не нищий и не хочу, чтобы меня укоряли тем, что я водку христа ради пью.
- Ты, верно, только сам угощать любишь! ишь, какой барин! — сказал Панфил Прохорыч.
- Я с теми пью, кого знаю.
- А мы, по-твоему, што такое? — пристал Егор Шилов.
- Глуп, братец, ты, и больше ничего. Неужли я не знаю по обличью, что вы судорабочие.

— Отчего же ты не пьешь?

— Не хочу. Компания ваша мне не по сердцу; о чем я, столяр, стану толковать с судорабочим? Нешто мне интересно, што у вас там творится! также и вам со мной скушно будет, если я насчет своего ремесла стану говорить. Да я вот еще о своем занятии и говорить сегодня не намерен и сижу потому, что мне здесь очинно хорошо. И если бы хозяин дал косушку, еще было бы лучше, потому я скоро бы заснул... Я сегодня молчать хочу — и буду молчать.

И Потемкин, нахлобучив на лоб фуражку, обнял руками трубку и уперся на печь.

Наши рабочие очень захмелели к вечеру и поэтому уж не могли идти гулять. Пелагея Прохоровна хотя и не пила водки, но у нее разболелась голова от табачного дыма и начинало болеть горло. Она звала брата искать постоянный двор, но он не хотел отстать от компании. Поэтому она ушла на барку, выдав брату по его настойчивой просьбе два рубля. В барке она устроила себе гнездо, под досками, но не могла долго уснуть. Ночью явился Панфил с Егором Шиловым и еще другим судорабочим, Фролом Яковлевым.

Утром у Пелагеи Прохоровны заболело горло.

— Што это, как у меня горло заболело? Прежде болело, да не так.

— Пройдет. Вот сегодня найдем квартиру, завтра в бане выпаришься — и пройдет, — говорил Егор Шилов.

— И у меня тоже горло болит, — сказал Панфил, как бы желая показать товарищам, что на болезнь нечего обращать внимания.

Наконец пошли нанимать квартиру с Егором Шиловым, который оставался в Петербурге и хотел поступить куда-нибудь на фабрику или возить зимой снег и разные нечистоты. Он слышал, что этим занятием крестьяне много в зиму зашибают денег. Егор Шилов был знаком с Петербургской и Выборгской стороной; было у него несколько приятелей из мастеровых, и поэтому он знал, где больше живут рабочие разных фабрик и заводов, а попавши на квартиру к рабочим, он скорее рассчитывал поступить на место.

Было воскресное утро, и поэтому народу на набереж-

ной было мало; кабаки заперты, и около них нет ни одного человека, только в воротах деревянных складов и в местах, примыкавших к фабрикам и заводам, толпился рабочий люд. Несколько заводов, несмотря на праздник, были в действии, и там тоже рабочего люда без дела не виделось.

— Пелагее Прохоровне! — услышала Мокроносова голос Петрова.

Пелагея Прохоровна остановилась. Из одной кучки, человек в двадцать, стоявших наискосок от ворот деревянного двора, отошел навстречу Пелагее Прохоровне Игнатий Прокофьевич. На нем надето было пальто на вате, крытое черным драпом, на ногах триковые брюки и на шее ситцевый розовый платок; на голове была новенькая фуражка, на ногах простые сапоги. Он курил папироску. Во всем этом наряде Пелагея Прохоровна не скоро узнала Петрова.

— Ну, как дела? — спросил он.

— Да вот брата я разыскала — камень плавил.

— Поздравляю. А вы, молодой человек, как теперь думаете?

Панфилу Прохорычу показалось, что этот франт издевается над ним, называя его молодым человеком; Петров ему сразу не понравился, и он не ответил на вопрос.

— Ну-с, а я все знаю-с... Я вчера был в доме Филимонова, — продолжал Петров: — дворник-то целые сутки просидел в части; требовали и майора — нейдет; к нему опять повестку, а наконец и сама полиция приехала. Стали с него взыскивать деньги за непрописку вас. Теперь он в водянке, и Вера Александровна очень ухаживает за ним.

— Што ж, и кухарка есть?

— Как же. Старушонка какая-то. Ну, где же вы поселились?

— Мы идем квартиру искать.

— Постойте... Молодой человек, вы к чему приспособлены, то есть к какому ремеслу?

— Это мое дело! — отвечал нехотя Панфил.

— Какой ты, Панфил, неуч, вот и видно, все с судорабочими бы тебе жить!

— Видите ли, я почему спрашиваю. Квартиры у нас вы, пожалуй, не скоро сыщете, потому что здесь по нашему вкусу мало квартир, и поэтому рабочие каждой

фабрики или завода живут отдельно от рабочих других фабрик; это уж редкость, чтобы в том же доме жило несколько человек из разных фабрик и заводов; к тому же здесь и домов больших нет. Ну, если вы хотите найти квартиру для себя, то вам какую же надо квартиру? Рабочее семейство вас всех не примет, потому что оно вас не знает; нанимать целую квартиру — две комнаты с кухней — еще не отдаст домохозяин; скажет: может, еще мазурики какие... Право. А вот если ваш братец захочет с нами работать на литейном заводе, тогда мы легко сыщем квартиру.

— А мне там можно робить? — спросила Пелагея Прохоровна.

— Нет, у нас женщины не работают. Вот тут недалеко обойная фабрика была, назад тому два года, работали и женщины, только теперь женщин там заменили мальчиками. А то, если хотите, можно на сахарный завод поступить.

— А сколько там платят?

— Ну, вы уж и об ценел.. Вам копеек сорок дадут, не больше. Если вы хотите, то я схожу к Лизавете Федосеевне. Она вот тут за дровяным двором с сестрой и с мужем живет, у ней теперь есть комната, потому вчера ихний жилец повздорил с ними и вечером же перешел на другую квартиру. Сестра-то Лизаветы Федосеевны на сахарном заводе работает, так вот вам и легко будет поступить туда.

— А разве у вас трудно на заводы поступить?

— То-то, что у нас, молодой человек, в народе никогда нет недостачи, и нашему брату, мастеровому, тоже хочется, чтобы все работали поровну, а то за что же другой будет получать деньги, не умея ничего делать? Поэтому у нас мастера и не нуждаются в приходящих, говорят — не надо; а если такого человека никто в заводе или фабрике не знает, то его осмеют рабочие, и ему не попасть туда. А если он с кем-нибудь работал прежде где-нибудь или просто знаком, тогда его примут тотчас же, и уже за него в ответе тот, который рекомендовал его.

Петров ушел во двор. Свободные рабочие пристали к Панфилу Прохорычу и Егору Шилову и стали острить над их произношением, но Панфил скоро заинтересовал их всех знанием мастерских оборотов и своими остротами, так что все мастеровые решили, что этот оборвыш непре-

менно состряпал какую-нибудь штуку на какой-нибудь фабрике или заводе, почему и слоняется по судам. С своей стороны Панфил Прохорыч видел в этих мастеровых людей гораздо более речистых и с большей сметкою, чем мастеровые его родины.

С Егором Шиловым почти не разговаривали, и он не знал, что ему делать.

— Панфил, я пойду! — сказал он.

— Куда ты пойдешь? живи с нами.

— Что он, жених твоей-то сестре, што ты его приглашаешь? — спросил Панфила один молодой мастеровой.

— Глуп, братец, ты, и больше ничего, — сказал, рассердившись, Егор Шилов и пошел прочь.

Мастеровые захохотали. Егор Шилов ушел, не простившись ни с Панфилом, ни с его сестрой.

— Нанял, за два рубля одна комната. Пойдемте, — сказал Петров, выходя из-за поленницы.

Пелагея Прохоровна и брат ее поселились на квартире у мещанки Лизаветы Горшковой.

XIII

Пелагея Прохоровна знакомится со столичными рабочими женщинами

Дом, в котором жила Лизавета Федосеевна Горшкова, был полукаменный. Нижний этаж, сложенный из кирпича, когда-то вмещал в себе лавки, но теперь на нем не только не было штукатурки, но не было даже и дверей там, где когда-то были лавки. Во втором, деревянном, этаже с девятью окнами, выходящими к деревянному двору, рамы были с разбитыми стеклами, с замазанными бумагой или просто заткнутыми тряпкой дырками. К этому этажу со стороны деревяного двора была сделана крутая лестница с перилами, — лестница очень старая, с ступеньками, прикрепленными бечевками, так что невольно думалось, что тут, в этом этаже, живут не рабочие, а какие-нибудь другие люди, которые или не дорожат своею жизнью, или не умеют построить новую лестницу. На перилах этой лестницы, наверху, и на протянутой вдоль дома бечевке сушилось разное белье. Направо от лестницы дом примыкал к забору, выходящему в какой-то переулок, за которым тотчас начиналась фабрика.

Во дворе было очень грязно; о зловонии и разговаривать нечего.

Петров не повел Пелагею Прохоровну по лестнице. Они завернули к противоположной стороне дома. Там стояла поленница барочных дров, были три гряды, с которых уже до половины были выбраны капуста и картофель, и росла одна березка.

— Вот и у нас, в Питере, жильцы заводятся своим домом. А знаете ли, Пелагея Прохоровна, что эти три гряды принадлежат восьми семействам, которые живут во втором этаже? Я думаю, у них много было ссоры из-за того, кому в каком месте сажать, да и теперь без ссоры, чай, не обходится. Вот и береза тоже. Но отчего бы не срубить ее, еще гряда бы была! Не мешает, говорят, пусть ее стоит; по крайней мере, детские пеленки можно на ней сушить...

— Ну, а што ж та лестница куда идет?

— Это фальшивый ход. Тут прежде по этой лестнице, когда дом не был еще очень стар, ходили в квартиру хозяина дома, потом в ней жил приказчик дровяного двора, но случился пожар в его квартире, упали потолки. Вот хозяин лесного двора и велел заколотить эту квартиру. Однако наши бабы добрались и до нее. Есть у нас в доме квартира Селиванова, так его сестра стала раз вколачивать в стену гвоздь, оказалось, что гвоздь куда-то прошел в пустое место, а доска была поставлена и держалась на карнизах. Вот муж ее взял подрубил эту доску, вынул — и таким образом открыли пустую квартиру, в которой зимой многие сушат белье и в которую ходят через квартиру Селиванова.

С этой стороны дом несколько менял свою наружность. Казалось, что он как вверх, так и вниз имеет по две половины, именно потому, что в середине дома, внизу, было большое закоптелое отверстие, а вверх у окне вовсе не было рамы, и там стояли какие-то поломанные горшки и бутылки и висела юбка; внизу, по левую сторону, в двух окнах были рамы, и в форточку одного окна выходила железная труба; направо было три окна с рамами и разбитыми в них стеклами.

— Вот я тут и живу, направо. Нас тут, в двух берлогах, помещается восемнадцать человек. Ничего, живем дружно и друг у друга не ворует; от посторонних воров нас тоже бог спасает. Да и правда, что украсть-то у нас,

кроме инструментов, нечего. А налево живет кузнец. Он работает на заводе, когда у него дома нет работы, а как только достанет работу, дома мастерит.

Петров провел Пелагею Прохоровну и ее брата по узкой, крутой, с двумя оборотами, лестнице во второй этаж. На площадке, перед окном без рамы, были три двери. Петров отпер дверь направо; там оказалось еще два хода — напротив двери и налево от входа. Они вошли налево в узенькую прихожую, из которой ход был в кухню, и еще направо. В кухне пожилая, высокая, худощавая женщина суетилась около печи; откуда-то слышался детский плач и мужской голос.

— Вот, Лизавета Федосеевна, и жиличка с братом, — сказал Петров.

Женщина поглядела на Пелагею Прохоровну и ее брата и стала что-то мешать в чугуне.

— Согласны вы их принять?

— Да уж коли сказала, так надо. Софья! — крикнула она, поворачивая голову к двери.

Оттуда вышла молодая низенькая женщина с ребенком и поклонилась всем в один раз.

— Вот надо им устроить. А у вас, поди, ничего нет?

— Ничего. Я в кухарках жила, — сказала Пелагея Прохоровна.

— Как же ты сказал, што она из фабричных? — обратилась хозяйка к Петрову.

— Она в провинции работала, а здесь еще недавно.

И Петров, распроставшись с хозяевами и новыми жильцами их, вышел.

Комната которую нанял Пелагее Прохоровне Петров, была маленькая, и свет в нее проходил через пространство между перегородкой и потолком из соседней комнаты, занимаемой хозяевами. В ней был всего только один с тремя ножками стул.

— Вы идите пока в нашу комнату. Вот Данило Сазоныч придет, он все вам устроит, — сказала молодая женщина.

Комната, занимаемая хозяевами, имела два окна, выходящие к деревянному двору. Она была бедно, но хорошо меблирована, и даже две кровати занавешаны.

Софья Федосеевна стала расспрашивать Пелагею Прохоровну, откуда она, и обещала свести завтра на сахарный завод, но Лизавета Федосеевна сказала, что

завтра надо белье стирать, и поэтому Пелагея Прохорова, может быть, чем-нибудь обзаведется. Панфилу Прохорычу надоело слушать бабью болтовню, и он ушел из квартиры. Пелагее Прохоровне очень понравился ребенок, но у этого ребенка было бельмо на левом глазу.

— Это ваш ребенок-то? — спросила она Софью Федосеевну.

— Мой. Только отец-то его помер.

— Экая жалость! А сколько вы замужем были?

— Мы не были обвенчаны. Он все собирался, голубчик, да деньгами не мог раздобыться. А я хоть и работала, так жила с матерью. Мать чахоточная была, и мне ее не хотелось пускать в больницу.

Начали говорить о работе. Софья Федосеевна говорила, что женщин больше обижают, чем мужчин, и меньше дают против мужчин дела; поэтому женщин мало работает в сравнении с мужчинами, и работают большею частью девушки, привычные к фабричной работе с малолетства в провинции или здесь, в Петербурге; но эта работа многих из них убивает преждевременно.

— Мне двадцать девятый год; я начала работать с восьмого года, здесь, в Петербурге, — говорила Софья Федосеевна.

— Неужели и у вас, в Петербурге, так же берут в работу, как и у нас в горных заводах?

— Не знаю, как там у вас. По вашим рассказам, ваша жизнь тоже похожа на нашу, только вас давила крепость, а нас самосудство.

— Ну, и у нас, Софья Федосеевна, тоже приказчики помыкали нами как господа.

— У нас это вежливее делается. Да вот я про себя расскажу. Мать моя была, может быть, такая же женщина, как и я. Судить об ней я не могу, потому что была немного постарше этой девчонки. Может быть, она и любила меня, только к чему и любовь, когда есть нечего... Ведь вот и у меня не всегда есть заработок; бывает, что по четыре дня без работы живешь. Починку на себя и для ребенка нечего считать за работу. Хорошо еще, что с сестрой живем дружно... А моя мать, вероятно, была одна-одинехонька. Должно быть, ей было немоготу с ребенком, и она продала меня. На седьмом году меня заставляли сучить бечевки, ткать. К четырнадцатому году я только и умела, что бечевки делать и ткать ковры. Я не

была крепостною; меня считали за воспитанницу, и я за то, что меня кормили хлебом и одевали, должна была повиноваться. Но вот я узнала, что срок моему вскармлению кончился. У меня были подруги. Все мы были, конечно, против наших воспитателей; имели много веры в себя, думали, что нам и руки-то оторвут, требуя нас на работу. Оказалось не то. Куда мы ни придем — нужно учиться сызнова; ткачей мало из женщин, и заработок этот, как мы узнали, дешевле против прежнего наполовину... Потом я работала на бумажной мануфактуре. Нас было там, по крайней мере, до двухсот женщин, и заметьте: замужних было только штук тридцать. Я сперва находилась при чесальне и получала в день по пятнадцати копеек. Некоторые женщины получали и семьдесят пять копеек, но это такие, которые были в близких отношениях с мастерами, конторщиками, начальством, и труд их был очень легок. Им стоило только смотреть, направлять машины и распоряжаться девчонками. Я там ничего не приобрела: все, что получала, шло на одежду и на хлеб. Оттуда перешла на обойную фабрику. Там машин было мало, и нашему брату приходилось растеребливать и сортировать хлам. Вдруг фабрика закрылась, и нам за три недели не заплатили заработку. Нужно было платить за квартиру, лавочнику; а тут вышли новые порядки — нужно в полицию платить за адресный билет. Меня посадили в часть.

— А вот угадай, где я был? — произнес в это время хриплым голосом вошедший мужчина.

Софья Федосеевна замолчала, и лицо ее сделалось печально.

— Уж ты всегда сумасбродничаешь. Где ты был, подлец? — кричала Лизавета Федосеевна.

— Извините, Лизанька...

— Ах ты, пьяница! Тут есть нечего...

— У нас зато есть.

Несколько минут продолжалось молчание. Пелагея Прохоровна хотела уйти, но неловко было. Софья Федосеевна, уперши голову одною рукою и глядя на спящего ребенка, молчала. На лице ее Пелагея Прохоровна заметила какую-то жалость.

— Господи! И когда это кончится!.. — проговорила Лизавета Федосеевна. По ее голосу слышно было, что она плакала.

— Жена!.. Супруга!.. Не реви!.. — говорил мужчина; но и он, как слышно было, плакал.

— Это каторга, а не жизнь!

— Ной еще! Ной!.. О, будьте вы прокляты!

Ребенок проснулся и заревел.

Вошедший был высокого роста, одет в суконный кафтан, с красным платком на шее и с фуражкой на голове с очень высоким верхом. Ему было на вид годов сорок. Волоса на голове и бороде черные, глаза и лицо выражали невозмутимость. От него пахло водкой.

— Машинька! Ах, ты, шельмочка!.. — И он начал занимать ребенка, который с охотой полез к нему.

Пелагея Прохоровна ушла в кухню.

— Ты дома будешь обедать? — спросила мужа Лизавета Федосеевна.

Не получив ответа от мужа, Лизавета Федосеевна стала торопить сестру.

— Ради бога, сходи ты за водкой, а то уйдет! — говорила она шепотом.

— Посмотри, Лиза, за ребенком.

Грустно сделалось Пелагее Прохоровне. Пошла она в свою комнату; но ей еще грустнее стало при виде ее пустоты. И она вышла из квартиры.

— Это ли жизнь? Неужто за Питером люди живут лучше?

С этими мыслями она вышла на набережную. Она стояла у забора, потому что идти было некуда и погода была невеселая. Дождя хотя и не было, но везде грязь, холодно, дует ветер, и дышится как-то тяжело, да и самые предметы не веселят: фабрики черные, постройки ветхие, все как-то мрачно — и небо, и строения, и оголяющиеся деревья; на длинных дорогах едут очень медленно с железом, досками, кулями и т. п. оборванные и невзрачные мужики с выражением усталости и какой-то безнадежности; едут эти мужики без клади, и лошади их, тощие, избитые, с протертою в кровь кожу на задних ногах и хребте, еле-еле переступают ногами, так что не верится, что эти животные в состоянии возить по убитой камнем мостовой по тридцати пудов всякой клади. Народ здесь бродит все рабочий, так что очень мало увидишь человека в порядочном кафтане или сюртуке, а если и попадется кто-нибудь одетый по-модному или по-приказному, то у него или галстук на боку, или сюртук продран,

или другой какой недостаток. Хотя в их разговорах и замечается удалство, но это ни больше ни меньше, как привычка с малолетства выражаться и вести себя похотим на довольного человека, в самом же деле у этих людей многого не хватало и для крохотной доли довольства. Женщины одеты тоже бедно и легко; все они худощавы, с изнуренными лицами; маленькие дети хотя и носят на ногах обувь, но ходят в оборванных рубашках и хорошим здоровьем не обладают. Так все и наводит тоску, ни на что бы не смотрел, и все-таки среди этих людей нужно жить, нужно привыкать к этой жизни и жить их жизнью. И тут подумалось Пелагее Прохоровне: неужели же эту жизнь нельзя сделать получше?

Пелагея Прохоровна пошла в лавку, но вдруг ее перегнала молодая женщина в палевом стареньком платье, с загрязненным подолом и с небольшим ситцевым платком на голове. Лицо ее выражало отчаяние и какую-то дикость, точно она с цепи сорвалась. Она шла очень быстро и, как только перегнала Пелагею Прохоровну шагов на пять, остановилась, посмотрела на нее и так же быстро подошла к ней.

— Ты... ты из какого дома? — спросила она Пелагею Прохоровну торопливо.

— Я... тут за постоянным двором.

— Ты из того же дома! И отлично! Пойдем, голубушка!

— Куда?

— В кабак... Чему удивляешься-то? Э-эх, матушка, поживешь с нами, похлебаешь кислого, захочешь и горького. А впрочем, как знаешь! До свиданья.

И женщина убежала в питейное заведение.

Еще больше запечалилась Пелагея Прохоровна: в провинции она хотя и знавала женщин, пьющих водку в кабаках, но такие в каждом городе были на перечете, и все их считали за самых отчаянных и развратных; теперь ей показалось, что в Петербурге, пожалуй, много таких женщин; она видела их в полиции; многие кухарки даже хвастались тем, что отпивают водку жильцов. Она ужаснулась при мысли: неужели и с ней то же будет?

Однако, несмотря на то, что время шло к вечеру и рабочий народ больше прежнего шел в питейные заведения, песен не слышалось.

Возвратившись домой, Пелагея Прохоровна очень об-

радовалась, что в ее убогой комнате появилась кровать. Кровать была деревянная с двумя ножками, которые были к ней привязаны; вместо других двух ножек был подставлен деревянный ящик. Досок на кровати не было.

— Довольны ли кроватью? — спросил Пелагею Прохоровну вошедший хозяин.

— Покорно благодарю; только спать-то как?

— О! Это мы устроим. Вот завтра я с заводу достану бечевок, оплетем кровать. Отличная штука будет.

— А дощечек у вас нет?

— Опоздали немножко. В пустой квартире, что теперь бельё вешают, почти две стены ободрали бабы, — кому на гладильную доску, кому на подтопку, потому житьишко-то наше некорыстное... А вы завсяко просто к нам приходите сидеть-то.

И он ушел.

Пелагея Прохоровна присела на край кровати — шатается. «Еще упадет!» — подумала она с улыбкой. В соседней комнате у хозяев плакал ребенок; за стеной кричали две женщины; где-то ругался мужчина.

Пелагею Прохоровну тянуло на улицу, потому что и сидеть было неловко на худой кровати без досок и крики из соседних помещений стали надоедать; в этой комнате становилось темно; у хозяев свечи не зажигали.

— Что сидишь-то тут в темноте? Иди к нам, — сказала Лизавета Федосеевна, появившаяся в дверях комнаты.

Она вошла, заглянула на кровать и, качая головой, проговорила:

— Как же ты спать-то тут станешь? Эдакой он, право, осел! Это он на смех кровать-то поставил... Да. На смех добрым людям, а мне назло, потому что я не хотела больше пускать мужчин. Они у нас все добро приломали. Известно, женщина более к хозяйству норовит, а мужчине что!

— Хозяин говорил, что бечевками опутает.

— Бечевками!.. И ты поверила!.. Мало же ты знаешь наших мастеровых... Да он, пожалуй, и обмотает, да так, что ты наземь упадешь. Вот он какой человек-то!

— Я не просила кровати; на што мне ее!

— Ну, без этого нельзя потому, что, во-первых, у нас во всем доме такое множество мышей — страсть! Ловушки на них поделаны тоже, должно быть, для того,

чтобы мышам над нами смеяться! А кошка у нас в квартире хоть и есть, так она, будь проклята, только спит. А другое опять — блох тоже... Нет, без кровати нельзя... Я уж посмотрю в ермоловском доме. Там недавно один мастеровой померши, так его жена хочет в деревню ехать... Может, за полтинник-то уступит. Ну, а там помаленьку, и другое что заведете с братом. Вдруг нельзя. А где же у те брат-то?

— Не знаю. Поди, в кабак ушел.

— Дело плохое... да пойдем же к нам-то!

Они пошли в хозяйское помещение. Софья Федосеевна укачивала ребенка. Хозяина не было. На столе стоял кофейник и две чашки, из которых только к одной было блюдечко. Кошка действительно спала на окне.

Хозяйка хотела зажечь лампочку, но Софья Федосеевна сказала, что еще светло, и так как сегодня праздник и завтра надо вставать рано, то можно и раньше лечь спать, на что сестра возразила, что наши черти, вместе с блохами, не скоро дадут заснуть, потому что будут пьянствовать до полночи, и ей, пожалуй, придется идти за мужем. Вообще хозяйка жаловалась на мужчин, которые пьянствуют, и на худое житье; но Софья Федосеевна защищала мужчин, говоря, что они не все пьяницы, и если пьют, то непременно от чего-нибудь.

— А отчего ж мы-то не пьянствуем? — сказала Лизавета Федосеевна.

— Этого еще недоставало... Какая ты, сестра, глупая! До старости дожила, а говоришь бог знает что. Ведь ты сама знаешь, что у нас больше привязанности к дому. Кто бы без нас стал ребят воспитывать? Кто бы кушанья стал готовить?

— Однако возьми Устинью Николавну: у ней двое детей.

— Эх, сестра, сестра! — сказала со вздохом Софья Федосеевна. — Что же делать, если и из нашей братии, рабочих женщин, наберется несколько пьяниц... Ее надо жалеть, стараться, чтобы она не пьянствовала!

— Все-таки, по-моему, нехорошо женщине пьянствовать в кабаках, — сказала Пелагея Прохоровна.

— Што про это говорить!..

Женщины замолчали. Ребенок уснул, но за стеной все еще ругались мужчины, и визжала какая-то женщина.

Пелагея Прохоровна сказала, что у ней болит горло,

хозяйка посоветовала ей выпить сала, а если она этого лекарства принять не в силах, то посоветовала простое средство: намазать на правый чулок сала с мылом и привязать чулок к горлу. Пелагея Прохоровна сказала, что это средство она знает, но думает, что пройдет и так.

— Ну, пренебрегать-то этим, матушка, нечего. У нас зачастую эта болезнь бывает, и мы только этим и спасаемся: днем заболит, к ночи привяжем, а к утру и пройдет.

В квартиру Горшкова вошла та женщина, которая звала Пелагею Прохоровну в питейное заведение. Она была слишком навеселе, размахивала руками, делала отчаянные жесты. Платка на ее голове не было.

— Еще здравствуйте... А, и вы здесь? Прекрасно! — проговорила она скороговоркой и села на табуретку.

Хозяева, видимо, были недовольны ее посещением.

— Представьте!.. Иванов стал ко мне примазываться. Каков сокол!

И она стала рассказывать, как к ней примазывался Иванов и как она выпила на его счет две бутылки баварского. При этом хозяйка просила ее несколько раз говорить потише.

— Этот Иванов и теперь ждет меня у Гриши. И я пойду! Вот околеть, чтобы я не пошла... И уж непременно напьюсь...

— Эх, как хорошо!

— Ей-богу, напьюсь!

— Не кричи, пожалуйста, Устинья Николавна! — сказала Софья Федосеевна.

— Ну, и ты, Софьюшка, на меня!

Женщины опять замолчали.

— И отчего это ты, Николавна, пьянствуешь? Ну, выпила бы косушку перед обедом, легла спать, вечером тоже косушку... Да дома. А то ведь уж безобразничаешь много! — проговорила Лизавета Федосеевна.

— Худая я, скверная женщина... И сама знаю об этом. Да что ж я сделаю? Сердце так и сосет!

— То-то вот и скверно, что ты все деньги пропиваешь, а потом твои ребятишки голодают. Нехорошо.

— И сама я знаю, да скверный я человек. Помереть мне надо, вот что. Жизнь мне надоела хуже горькой редьки; ребятишки мучают. С самого рождения, кажется,

я не видала радостей; почти все в работе находилась и ничего от этой работы не нажила хорошего. Вот мой-то покойничек все упрекал, что я-де получаю за работу деньги и никаких повинностей не несу. А на то он и не хотел обратить внимания, што ведь я и за паспорт платила и за больницу с меня брали, хотя я и никогда еще там не лежала! Ну, опять надо и за квартиру заплатить, и есть, и платье сшить; ведь я была молода, хотелось и одеться получше. Ну, а велик ли наш заработок, сами посудите! Ну, вот вышла я замуж, и помянуть это время нечем! Муж — пьяница, стал меня бить, не работал по неделям. Мы с ним исходили почти весь Петербург: где-где не жили! Теперь вот я одна, ребята есть-пить хотят, им надо одеться, а сами знаете, нашего брата с ребятами не везде-то жалуют на квартирах!

— Ты бы отдала детей. Что тебе с ними мучиться?

— Жалко. А придется, видно, отдать... Нет, я их при себе буду держать, пока еще могу работать. Я уж сама по себе испытала, Лизавета Федосеевна, каково расти-то в людях: сама не знала ни отца, ни матери.

Лизавета Федосеевна зажгла лампочку с керосином. По щекам Устиньи Николаевны текли слезы; Софья Федосеевна сидела грустная, подперши руками голову.

— Мать здесь? — крикнула девочка годов шести, войдя в кухню Горшковых.

Подойдя быстро к Устинье Николаевне, девочка уперлась в нее взглядом и спросила:

— Ты опять напилась?

— Вот у нас какие ласки-то! — сказала Устинья Николаевна и прибавила дочери: — А ты видела, что я пила водку?

— Все говорят. Потемкин тебя в кабаке видел... Иванов видел.

— Ну, так что ж такое!.. И знаете что, бабы! и жалко мне моих ребят, больно жалко, а вот так мне противно дома, так.. — проговорила Устинья Николаевна и махнула рукой.

— Надо тебе, Николавна, перейти в другое место: там другие люди будут и не скоро научат ребят говорить тебе в глаза укоризны. Право. А тебе их трудно заставить не говорить; битьем не поможешь, хуже будет.

— Да я их и не бью. А покою от них нет. Уж как берегешься, чтобы они не знали, что я пошла выпить, — нет-

таки! пойдет, вцепится в меня и давай плакать: не пей, мать! пьяна будешь! работать не будешь!

— Правда! — сказала девочка с укоризной.

— Ну, пойдем домой. Спокойной ночи. А ты, как тебя, приходи ко мне-то, у меня комната отличная, — проговорила Устинья Николаевна Пелагее Прохоровне и потом, взяв за руку девочку, ушла.

Горшковы минуты три сидели задумавшись. На Пелагею Прохоровну Устинья Николаевна произвела тяжелое впечатление. Она сознавала, что Устинья Николаевна права; но ведь, думала она в то же время, не всем же женщинам выпадает такая жизнь. Ведь вот Лизавета Федосеевна не пьянствует же и живет, кажется, достаточно, так что и кофей пьет. Конечно, с детьми было бы похуже, и умри ее муж, то и Лизавете Федосеевне с детьми не совсем-то бы было хорошо. Нет, видно, плоха жизнь рабочей женщины в столице!

Пелагея Прохоровна распростилась с хозяйками и ушла в свою комнату. Вскоре пришел брат. Он был трезвый и сказал сильно охриплым голосом, что у него болит очень горло, самого его тянет и ломит ноги. Лизавета Федосеевна опять-таки посоветовала Пелагее Прохоровне привязать к горлу ее брата чулок с салом, а завтра сходить ему в баню и хорошенько выпариться веником.

Пришел Данило Сазоныч и стал буянить. Он долго буянил и разбил стекло в окне. У соседей тоже долго ругались мужчины и целую ночь плакали дети.

XIV

В которой Пелагея Прохоровна вместо работы попадает с братом на попечение людей

Горшковы встали в пять часов; сестры принялись за стирку, а Данило Сазоныч в шесть часов ушел на завод, выпросив у жены пятак на похмелье. Жена и сестра ее были очень рады тому, что он ушел и не проспал дольше; радость их еще увеличилась, когда они положительно узнали, что он ушел прямо из кабака на завод, и их беспокоило только то, чтобы он не хлебнул водки через меру перед обедом; хлебни он лишнее, пропадет послеобеденное время, а стало быть, и весь дневной заработок. Это для них много значило, потому что Данило Сазоныч по-

лучал платы за рабочий день по рублю двадцати пяти копеек серебром — и все-таки в настоящее время был должен содержателю харчевни, Сидору Данилычу, десять рублей уже года два, кабатчику Григорью Емельянычу Чубаркову рублей двадцать, да лавочнику рублей пять. Пелагее Прохоровне не понравилось в Даниле Сазоныче то, что он и не спросил об ее брате, а вчера обещался взять его с собой.

Брат ее, по-видимому, спал. Но с ним была горячка, и он всю ночь ворочался с боку на бок, только Пелагея Прохоровна, не зная об этом, спала крепко. А так как ей показалось, что он спит, то она не стала будить его и пошла на сахарный завод, находящийся на Выборгской стороне. Завод этот был обширный, этажа в четыре, и когда она пришла, он был в полном ходу. Пелагея Прохоровна многому дивилась тут: ее удивляли и машины, и огромные чаны, и печи. Машины стучали, колеса кружились откуда-то раздавался свист, откуда-то показывался пар, так что ей немножко показалось боязно, несмотря на то, что она выросла в горном заводе. Но ее ободрило то, что рабочие расхаживали от одного предмета к другому смело, громко разговаривали, насвистывали, острили над мастерами-немцами, расхаживающими около машин и чанов с коротенькими трубками в зубах.

«Вот теперь я и сама буду сахар делать», — подумала Пелагея Прохоровна.

Мимо нее прошел молодой рабочий в красной ситцевой рубашке, в фуражке и в драповых черных брюках, без обуви на ногах.

— А што, можно мне поступить в работу? — спросила Пелагея Прохоровна этого франта.

— Теперь вряд ли примут.

— А што?

— Надо приходиться до рабочей поры.

К рабочему подскочил приземистый немец в тиковом коротеньком пальто, в фуражке, похожей на чайник, и с сигарой во рту.

— Пошоль!.. Што сталь?.. На табль пишу! — прокричал немец.

— Вот эта женщина в работу просится, — сказал, отходя, молодой рабочий.

— Вон!

И немец вытолкал из завода оторопевшую Пелагею Прохоровну.

Зашла она еще на две фабрики, и там ее осмеяли и прогнали мастера-немцы. Спросила она на одном литейном заводе, нет ли тут Игнатия Петрова, — такого не оказалось.

Дома хозяйка с сестрой стирали белье, а Панфил Прохорыч по-прежнему лежал на полу. Он был очень бледен, едва поворачивал головой и с большим трудом произносил слова. Пелагея Прохоровна испугалась, Лизавета Федосеевна была недовольна тем, что в ее квартире есть больной, помянула Пелагее Прохоровне о деньгах за комнату и советовала поскорее отправить больного в больницу.

Пришел обедать Данило Сазоныч. Он был невесел и молчалив. Обед состоял из капустных щей с сметками и десятка жареной салакушки. Лизавета Федосеевна сказала о больном.

— Ну, вот!.. Всегда вы хотите на своем поставить! Надо его непременно в больницу отправить завтра утром. Есть у него адресный-то билет?

Оказалось, что у Панфила был только паспорт, а адресного билета не было.

— Ну, вот! Без адресного билета никуда не примут... Эдакой, право, народ глупый!

— Что же мне делать? — спросила с унынием Пелагея Прохоровна.

— Что делать? — сказал сердито Данило Сазоныч. — Нечего тут делать! — И он ушел на работу.

Пелагея Прохоровна была в отчаянии. Хозяйка с сестрой ничего не могли посоветовать, и им не хотелось, чтобы больной находился в их квартире; обе они были задумчивы и при Пелагее Прохоровне шептались, а это приводило ее в ужас. Она пошла в квартиру Петрова, но там никого не было; кузница тоже заперта. Попалась ей навстречу Устинья Николаевна, шедшая с узлом мокрого белья. Та на рассказ ее покачала головой и сказала: дело дрянь; попытайся разве сходить в клинику. Там, может, и примут.

Долго ходила Пелагея Прохоровна по двору 2-го хирургического госпиталя; никуда ее не пускают, на вопросы не отвечают. В глазах у нее мутилось, и она не могла выйти из двора. Это заметили двое студентов недалеко

от прѣпаровочной и спросили ее, куда она идет. Та сказала. Один из студентов посмотрел на часы.

— Сегодня уже поздно, привези его завтра утром; — сказал он и указал ей выход из двора.

Назавтра Пелагея Прохоровна отвезла на извозчике брата во 2-й сухопутный госпиталь, а когда на следующий день пришла туда, ей сказали, что посетителей к больным не допускают и она может прийти к больному в воскресенье. Где лежит брат и какая у него болезнь — она ничего не узнала. Попыталась она опять спросить студентов, но те сказали, что в госпитале так много больных, что об ее брате ровно ничего не могут узнать, а только могут посоветовать ей сходить к такому-то доктору, который живет в таком-то месте при госпитале, и выпросить у него дозволение навещать больного ежедневно. Но и этого доктора она не могла дожждаться.

Она возвращалась домой уже вечером. Ее очень беспокоила болезнь брата; к тому же Горшковы говорили, что в клинику отдают самых безнадежных больных, которых там и живых режут без церемонии... Жизнь казалась ей так пуста и тяжела, что она готова была кинуться в реку. Она была слаба и едва переступала ногами. Вечером она захворала, стала бредить и наделала много хлопот Горшковым, которые утром отправили и ее во 2-й сухопутный госпиталь.

Игнатий Прокофьич усердно работал на литейном заводе и домой приходил только спать. Уставши на работе и ослабевши от огня, он даже не заходил и в кабак, а ложился спать, чтобы завтра встать раньше. Поэтому он и не заходил в квартиру Горшковых, с которыми был давно знаком; кроме того, ему не хотелось, чтобы про него думали, что он ухаживает за их жиличкою. Но ему все-таки было интересно знать, как поживает Пелагея Прохоровна, довольна ли она и ее брат работой, и он хотел сходить к ним в воскресенье. Игнатий Прокофьич даже завидовал тому, что Пелагея Прохоровна живет в отдельной комнате, а не так, как он живет, с пятнадцатью рабочими. Ему такая жизнь с людьми не совсем нравилась, и он жил в артели из экономии. Рабочие, как в этом, так и в других домах, жили или семейно, или в артели. Семейный рабочий обыкновенно снимал квартиру — комнату с кухней, потом комнату разгораживал и отдавал под постой — или своим родным, или хорошему

товарищу. Но Петрову казалось, что жизнь семейного человека тогда только хороша, когда муж и жена любят друг друга и между ними нет третьего лица. Только это убыточно, потому что за такую маленькую квартиру надо заплатить не менее восьми-десяти рублей в месяц, да дров нужно прикупить рубля на три зимой. Но и при жизни в семействах, как поселилась Пелагея Прохорова с братом, все-таки и мужу, и жене хорошо до тех пор, пока не появятся дети, которые и время отнимают у жены, и соседям мешают. Жить семейно было хорошо еще тем, что там можно было по средствам сварить щи, кашу и т. п.; а в артели готовят кушанья сообща, или артель платит за стол по три рубля с полтиною в месяц с рыла, и поэтому никогда не бывает довольна ни комнатою, которая плохо отапливается, никогда не проветривается, ни пищей, которая редко заключает в себе мясо и большею частью состоит из прокислой капусты, сметков и дрянной жареной рыбы-салакушки. Вот и на этой квартире у них была стряпуха, называемая маткою, но она, несмотря на то, что товарищи платили исправно деньги, постоянно готовила невкусный обед и ужин, и почти каждый рабочий говорил, что он не наедается, а некоторые так предпочитали закусить яичком или тешкой в питейном заведении.

На основании того заключения, что жить в комнате все-таки лучше, чем в артели, Игнатий Прокофьич, получивший в субботу расчет, решил нанять себе комнатку в том же доме. Но комнат пустых не оказалось, кроме как у Устиньи Николаевны. Он не осуждал Устинью Николаевну за пьянство; он знал, что она ни трезвая, ни пьяная — и даже при безденежье — не предавалась разврату, а ограничивалась только тем, что подлаживалась к мужчине, выпивала нужное количество водки и потом убегала, оставив мужчину ни при чем; но ему казалось, что она могла бы воздержаться от пьянства, что он ей постоянно и советовал и за что она его очень не любила. Поэтому Игнатий Прокофьич решил поискать квартиру в другом доме и пошел прямо в харчевню к Сидору Данилычу.

При расчете, то есть при получении денег за работу за месяц, одну и две недели, смотря по тому, где и как платили, рабочие и мастера различных фабрик и заводов шли к Сидору Данилычу, которому они были должны и у

которого частенько ели и пили в долг до расчета; а так как получка производилась по субботам, то Сидор Данилыч в этот день, до двух часов пополудни, сидел сам в харчевне, а вечером сидел в трактире. Мастеровые, при получении денег, обыкновенно шли в харчевню, мастера — в трактир. Как те, так и другие вели компанию только между своею братьею. Но надо заметить, что Сидора Данилыча посещали не все мастера и рабочие, живущие и работающие на заводах и фабриках на Петербургской и Выборгской сторонах; тут было меньшинство; постоянных посетителей у Сидора Данилыча было человек полтора, не больше; другие рабочие посещали другие харчевни. И теперь, когда в харчевню пришел Игнатий Прокофьевич, в ней было не более двадцати пяти человек.

Сидор Данилыч был одет по-праздничному: в жилетке, в черном галстуке на шее и в сюртуке; волосы у него были гладко причесаны, и он был очень вежлив и ласков.

Рабочие, празднующие в этой и других комнатах, были из двух фабрик и трех заводов, а как в этой комнате нашлось восемь человек из того же завода, на котором работал и Петров, то они и пригласили его к себе.

Пьяных еще не было, потому что многим рабочим нужно было сегодня уплатить сколько-нибудь долгов, дать денег на хозяйство и потом выпариться в бане.

— Совсем, братец ты мой, спутался, — говорил один рабочий из сидящих за одним столом с Петровым. — Теперь вот я получил тридцать восемь рублей, а осталось только семь. А почему? Вот теперь с меня сходит в год с семейством семьдесят пять рублей. За два года я был много должен, потому такой работы, как теперь, не имел. Ну, вот и стали взыскивать — подай да и только; коли, говорят, не отдашь, в полицию посадим. Теперь уж все заплатил долги-то, а тут опять за этот год плати! Просто беда!

— Что у тебя, много там земли-то?

— Какое много!.. Думаю вот в мещане записаться, так хлопотать некогда, и не знаю, куда лучше. И земли опять жалко.

— Что и с землей, если она не приносит пользы. А вот у меня и земли нет, а все из долгов выбиться не могу с тех пор, как от Шагинского завода отстал. Там

меньше здешнего платили, а жил-то я ровно спокойнее, потому везде в долг верили. А как от завода-то я отстал,— и оказалось, што лавошнику должен пять рублей да в кабак одиннадцать, а тут переезд. Ну, они взяли да и представили в полицию; меня посадили, жена иконы и разное имущество заложила. Пришлось потом выкупать.

— И все это водка,— заметил рабочий.

— Трудно, братец ты мой, отстать, от нее. Уж я сколько давал зарокоев не пить. И скажу вам, эти зарокоев никогда не нужно класть, потому — не пьешь, крепишься долго, а потом точно прорвет: выпьем осьмушку, да под-вернулись приятели — и пошла круговая... А кабатчик рад, сам сует.

— Это так. И народ у нас тоже всякий. Вот я за Московской заставой работал, так по три рубля в сутки получал. Уж, кажется, чего лучше. А как получишь денежки за месяц — и пошел! Месяц-то работаешь-работаешь, хуже лошади, не доешь и не допьешь, а тут как получишь — и прихоти явятся, и деньги девать не знаешь куда. Надо бы с долгами расплатиться, напередки оставить, а товарищи говорят: полно-ко печалиться; отличись чем-нибудь, покажи, что ты не нюня какая-нибудь, да так, братцы вы мои, раздосадят, что и пойдешь качать, да и прокачаешь всё!

— То-то, што как деньги-то получаешь через пол-месяца али позже и рассчитываешь вперед, что-де я получу и могу брать в долг; а потом и окажется, что или тебя обсчитают или ты лишка в долг переберешь.

— Оно бы, пожалуй, лучше, если бы деньги давали за каждые сутки!

— Это верно. Потому тогда бы сперва купил что требуется, а потом уже и гулять. А то как получишь много денег, и удержать себя не можешь. Гордость какая-то явится, важность. От других отстать неохота.

Из другой комнаты вышел Потемкин.

— Честной компании! — сказал Потемкин и поздоровался со всеми.

— Что ты мало сидел?

— Некогда!

— К полковнице идешь?

— Надо. Письмо по городской почте получил — зовет!

— А! значит, стосковалась твоя *симпатия*.

— Надо полагать, што так. Прощайте, братцы.

И Потемкин ушел.

Рабочие стали хохотать над ним и его симпатией, то есть любовницей.

— И удивительное это дело, братцы! Неужели это правда?

— Что он с полковницей-то? Тут, брат,— не разбери ты их господа! Вишь, дела-то какие. Года четыре тому назад я с Потемкиным работал вместе за Московской заставой. Он тогда получал в месяц, как и я, около сорока двух-пяти рублей. Такого говоруна и знающего, как он, у нас, правду сказать, не было. Это по-французски, по-немецки, по-чухонски — на всё мастер был наш Захар. Ну, и франт он был тоже хоть куда. Это в праздник оденется, шляпу наденет, пальто и идет с тросточкой — хоть куды помещик. Нам было и смешно, глядя на него, и приятно, что наша братья, мастеровые, могут щегольнуть не хуже какого-нибудь дворянчика. Ну, и собой он был красавец, а поэтому и любил ухаживать за барышнями, и ему всегда удавалось. Только вот раз он таким манером одевши гулял на Екатерингофе и познакомился там с полковницей. Ну, и после хвастается, что в него влюбилась по уши какая-то барыня, и барыня молодая, только не совсем красивая. «Мне, говорит, от ее любви не будет тепло, а вот, говорит, я у нее попробую попросить денег...» Дня через два он опять говорит: «Эта барыня, говорит, следит за мной; вчера, говорит, к себе зазвала. Я, говорит, стал отказываться, она пристаёт. Ну, пошел. Квартира, говорит, хорошая. Ну, тары да бары — и до прочего дошло». И денег ему дала. Вот наш Потемкин и загулял, и в кабаки в наши нейдет: днем сидит в трактире, а вечером к ней. На работу и глядеть не хочет и нашего брата кинул.

— Неужели она не могла с господами знаться?

— То-то, вишь ты, ей Потемка первый подвернулся. А парень был красивый. И теперь он красавец, как не попьет дня три да в бане смоеет сажу. Ну, вот полковница и стала уговаривать его жить с ней, а Потемка этого не хотел. Как ни хорошо у барыни, а все-таки скучно, хочется погулять в компании. Пожил он с ней недельки две, да и стал исчезать. Она видит, что как волка ни ублажай — он все в лес смотрит, поняла, значит, что ошиблась, и перестала ему давать денег. Придет он к ней; посидит, она угостит его, уложит спать, опохмелит, а денег

не даст. Потом и говорит: я, говорит, не люблю, что ты деньги берешь не на добро, а на безобразие, даже лучше, говорит, будет, если ты ходить перестанешь. Он так и сяк; станет у нее денег просить,— не дает. Он стал укорять ее, что она его совсем испортила, что он отвык от работы. Дала она ему рублей пять, он прокутил их, заложил и платье — и опять к ней за деньгами. Не дает. Видит Потемка, что дело дрянь, товарищи смеются, дразнят его полковницей, в кабаках водки не дают в долг. Вот он и перешел сюда, на Петербургскую. И что зарабатывает — всё пропьет. Бывает, что и рубашки на нем нет.

Между тем, посетителей в харчевне прибывало больше и больше. Больше и больше выпивалось пива и водки; за столами сидело уже порядочное число выпивших. Все говорили, немногие пели:

Голова болит,
Ай люли! (два раза)
Ай да худо может
Да нездоровится.
Нездоровится,
Гулять хочется,
Ай люли! (два раза)

Харчевня ожила. Все, казалось, были веселы; но всех веселее был Сидор Данилыч, сам подносящий, по требованиям, склянки. Рабочие, казалось, не знали счету деньгам, требовали то того, то другого, но до еды не дотрогивались. Водка и пиво уже начинали производить свое действие. Некоторые острили над Сидором Данилычем.

Большинство рабочих уже давно работало в Петербурге и поэтому отличалось от рабочих провинции особенным складом речи и живостью соображения. Они отвечали не задумавшись, хотя бы ответ и выходил неподходящий; в их разговорах слышалась непременно какая-нибудь острота, хотя и пустая, могущая показаться образованному наблюдателю глупою, но нравящаяся тем, к кому она обращается, и вызывающая их хохот.

Стало уже темнеть, а Петров все сидел. Ему весело было сидеть, потому что такого веселья, какое было здесь, в его квартире не было, да там едва ли даже кто был дома.

Вон за одним столом сидят шестеро. В числе их один в полушубке. Это рослый, здоровый, краснощекий и молодой мужчина. Он извозчик, возящий с мостовых сор

и снег зимой, и познакомился с рабочими сегодня, потому что занял их смешными рассказами.

— А это ящо што... А вот как меня жена выстегала! — говорил он.

Все хохочут.

— Как тебя жена могла выстегать?

— Могла, да и все тут. Да так, братцы вы мои, што вперед в баню не захошь! больно сладко...

Рабочие хохочут до слез и заставляют повторить, что он чувствовал во время секуции, острят и хохочут.

— Да за что же это она тебя угостила?

— Именно угостила. Видишь, какое дело-то: пьянствовал я две недели, она возьми да к старшине, а тот и задал мне порку... Славную задал...

Опять хохочут.

— Што ж ты с женою сделал?

— Чего сделаешь? Поглядел на нее сыскоса и сказал: покорно благодарим, Дарья Ивановна!

— Молодая она?

— Моложе меня... Ну, а потом взял да и уехал в Питер с обеими лошадьми.

— Хороши, стало быть, бабы.

— Дьявольское отродье... От них надо завсягды обороняться. Теперь я, если с возом еду да завижу бабу, в сторону поворачиваю.

— Боишься, штобы не выстегала!

— Заметил: непременно несчастье будет!

Но извозчик стал заговариваться, и от него скоро отстали.

К столу, за которым сидел Петров, подошел десятник, мастер, выбранный рабочими и утвержденный главными мастерами для наблюдения за порядком и рабочими и получающий за это по два рубля в рабочий день. Некоторые встали и поздоровались с ним. Петров сидел. Он не любил этого мастера. Десятник потребовал водки, стал угощать рабочих и рассказывал, как он поругался в трактире с главным мастером, Карлом Карлычем.

— Ну, от тебя этого не сбудется, потому что ты перед ним юлишь, как собака! — сказал Петров.

— Ах ты, калуской азиат! — сказал десятник.

— Я? Вот, может, ты калужский-то вор! Господа! Как он смеет так обзывать! Вы знаете, чем пахнет это слово?

Это название было, по понятиям рабочих, самое обидное. Поэтому товарищи Петрова вступились за него. Петров пересел к другому столу, начали пересаживаться и прочие.

— А! Вам Игнашко Петров лучше нравится... Погодите! — говорил десятник.

Трое остались с десятником.

— Сделай милость. Ишь разлакомился. У тебя, брат, шуба-то лисья, да душа-то крысья, а у меня шуба овечья, да душа человечья. Кто тебя спасает от Карла Карлыча? Кто за горном-то спит пьяный целый день... Сделай милость, брат! Мы допекем тебя.

— Полакомься! ¹ Кто говорит Карлу Карлычу, што ты вышел в контору?

— Что ты умеешь делать-то? Раз принялся на штуку колесо делать, целый день возился и испортил, а Петров-то по шести колес в сутки делает... Полакомишься, брат, теперь! — кричали рабочие со всех сторон.

Десятник увидал, что дело плохо, и ушел.

Рабочие стали ругать десятника и тех, которые сидели с ним; за этих пристало несколько человек. Началась ссора, от которой Игнатий Прокофьич ушел. Он зашел в кабак к Григорью Чубаркову, называемому попросту Гришкой.

В кабаке тоже было немало народу. Извозчик, рассказывавший в харчевне о том, как его выдрали из-за жены, был уже здесь и сидел у дверей пьяный, без шапки и полушубка, в вязаной рубашке, — и ругал своего хозяина за то, что тот взял у него на хранение тридцать рублей денег и не показывает глаз двои сутки.

— Где ж у те полушубок-то и шапка?

— На фатере оставил. Не дали товарищи, — пропьешь, говорят. Гриша! А Гриша! Дай косушечку. Поверь: тридцать рублей у Кондратья лежат.

— Поворожи! — сказал Чубарков.

— Нешто я не волх?.. Да я, братец, по-чухонски умею!

— Ишь ты какой ученый.

— То-то и есть.. Да я хошь сейчас водки достану. Пойду к кабаку и скажусь, что я дворник.

¹ Это слово у петербургских рабочих означает все равно что — «возрадуйся». Оно употребляется как выражение обиды, оскорбления. (Прим. автора).

— Ну? — хохотала публика.

— Скажу какому-нибудь судорабочему: зачем тут ходишь — нельзя!.. Гриша! Дай... рубашку возьми... сапоги.

— Ну, брат, ты помешался. Плохо, видно, тебя жена стегала. Ведь уж ты и так едва сидишь. Иди домой.

— Не пойду. Блазнит.

Вошел Горшков с узлом. По лицу его заметно было, что он пришел из бани.

Выпивши водки, он направился домой. Петров пошел за ним.

— А я, брат Игнатий Прокофьич, давно хотел поблагодарить тебя, да все как-то не подходило случая. Уж и жильцов же ты нам поставил! Нарочно как будто привел больных. Сvezли в клинику. Вот теперь девчонка у Софьи захворала. Это от них. Нехорошо, братец! — проговорил обидчиво Данило Сазоныч.

Петров побледнел. Он расспросил подробно и высказал сожаление о том, что ничего не знал раньше.

— Я-то ничего, а вот Лизка с Сонькой сердятся... Я только боюсь, не прилипчивая ли болезнь-то у них: кабы бабы не захворали!..

Петров предложил Горшкову сходить завтра во 2-й сухопутный госпиталь и выразил желание водвориться к нему.

Они пошли в квартиру Горшковых. Лизавета Федосеевна высказала, вместе с сестрой, свое неудовольствие Петрову насчет жилищки.

— Вы меня давно знаете. С какой стати я стану делать вам назло? А вот вы меня к себе пустите, вместо них.

— Да я не знаю... Я деньги с нее уже получила... Неловко, — сказала Лизавета Федосеевна.

— Я ей возвращу деньги.

Лизавета Федосеевна подозрительно посмотрела на Петрова и ничего не сказала.

— Ну, да ладно, переходи... Ставь, баба, самовар, а завтра мы проведем их. Что ты давно с ней, видно, знаком-то?

— Да так, месяца с три.

— Ишь ты, шуба овечья — душа человечья!

— Да ты, Данило Сазоныч, не думай чего-нибудь: я с ней и разговаривал-то, кажется, всего раза четыре.

— Што про это говорить!

И Данило Сазоныч завел разговор о Потемкине, который говорил ему, что переходит опять за Московскую заставу.

XV

**В которой столичные рабочие разъясняют
вопрос: где лучше?**

Утром, на другой день, Игнатий Прокофьевич перебрался в ту комнату, которую наняла Пелагея Прохорова. Имущества у него было немного: сундук, образ Тихвинской божией матери в серебряном окладе и узел с хорошим платьем. Кровать он устроил скоро, так что к десяти часам он и Горшков уже были одеты по-праздничному и пошли во 2-й военно-сухопутный госпиталь.

Сперва они разыскали Пелагею Прохоровну. В палате, которую им указали, лежало до пятнадцати женщин. Около шести кроватей стояли посетители, мужчины и женщины. Когда они подошли к Пелагее Прохоровне, она спала, лежа на спине. Лицо ее было изменившееся, а по склянкам, стоящим на маленьком столике около кровати, можно было заключить, что она уже приняла немалое количество лекарств. Над ее головой на черной дощечке было написано мелом название болезни по-латыни. Они отошли к двери.

Большинство женщин лежало, меньшинство полусидело; лежащие говорили с трудом, смотрели на один предмет; полусидящие выговаривали медленно, точно у них в горле что-нибудь засело. Посетители, бедные люди, одетые по-праздничному, говорили тихо, старались придать себе бодрость, но это как-то не выходило: в их голосе слышалось дрожание, глаза выражали любовь, ласку и печаль. Нигде так человек не примиряется с человеком, как в больнице, как бы он ни был зол на противника. Невольно посетителю приходит мысль, что жизнь человеческая недолговечна и из больницы очень легко отправиться к праотцам. Тем более рабочий человек, видящий постоянно, что больные из больницы поступают прямо на кладбище, смотрит на больных с великим сожалением, много думает о прошедшем, примиряется с жизнью и желает себе смерти, думая: а ведь там лучше? По крайней мере, не знаешь, что будет завтра, там ничего

не чувствуешь... А то живешь, живешь, всегда чем-нибудь недоволен, на каждом шагу встречаешь препятствия — и, наконец, добьешься того, что умрешь в больнице.

Горшков и Петров стояли грустные. Им невыносимо тяжело было. Но они не говорили, а только взглядывали друг на друга со вздохами.

К ним подошла сиделка, толстая, высокая пожилая женщина, и сказала, что их знакомой больной операцию в горле делали недавно и что к ней не велено никого пускать.

Печальные вышли из палаты Горшков и Петров.

— Вот она, жизнь-то наша! — сказал Горшков.

— Што про это говорить. Ищем, где лучше, а находим — могилу. Зачем родиться-то? — проговорил с досадой Петров.

— Слава богу, што у меня детей нет, — сказал Горшков.

Приятели замолчали и молча шли до конторы, чтобы справиться о Панфиле Горюнове.

— Умер вчера, — сказал писарь, справившийся в книге.

Горшкова и Петрова точно морозом обдало.

— Завтра в анатомическую снесут. Резать будут, — сказал писарь.

Петров взглянул на Горшкова, который смотрел в пол.

— А нельзя, чтобы не резать? — спросил Горшков сердитым голосом.

— Если родные найдутся... Если кто хоронить возьмется, резать не будут, потому что болезнь неинтересная.

Петров и Горшков вышли из конторы задумчивые.

— Как быть-то? Надо хоронить, — сказал Горшков.

— Зачем давать им резать?

— Нешто человек скот какой? Умер — и режь. Надо его домой взять.

Но трупа на дом не дали, а сказали, что его будут вскрывать, так как всех умерших в клинике вскрывают. Запечалились приятели, но делать нечего. Скоро они нашли, на Выборгской же, знакомого гробовщика, которому ничего не стоило сколотить из досок гроб и помазать его снаружи охрой, за что он по-приятельски взял рубль серебром.

— Теперь, на каком кладбище мы его похороним? — спросил Горшков Петрова.

— Не в Невскую же его тащить. Конечно, к Митрофанию. Это наше кладбище.

Сделавши все, что нужно, приятели пошли домой; но не могли есть и молчали. Лизавета Фёдосеевна, пристававшая к ним с вопросами, наконец потеряла терпение.

— Што, померли, што ли? — спросила она.

— Брат помер, а той операцию в горле делали.

— Экие времена-то, господи! сколько народу-то мрет. Диви бы, холера!

— Ну, да толковать-то нечего, приготовь чистую рубаху да штаны, — сказал Данило Сазоныч.

— А много ли их у тебя нашито? — проговорила недовольно Лизавета Фёдосеевна.

— Умрем, так ничего не нужно будет.

Обоим приятелям было тяжело, и они вышли на улицу, но и там невеселые мысли бродили в их головах; к тому же шел снег. Оба они хотели говорить, но ничего не паходили, о чем завести разговор. Что об этом говорить! — заключил каждый и, сделав сердитый взгляд, отворачивал голову в сторону. Но Петров злился больше Горшкова.

— Што стоите, али баб караулите? — спросил рабочий, вышедший из другого двора.

Приятели промолчали.

— Што, Федул, губы-то надул? Аль дома худо? — спросил, улыбаясь, рабочий Данила Сазоныча.

— Так, невесело... Тут вот квартирантов пустил к себе, да захворали; вон там... — И он указал на Выборгскую.

— Померли?

— Один помер, другая-то тоже, может, помрет... Полакомься!

Рабочий замолчал.

— У меня вчера вот мать соборовали. Тоже, должно быть, скоро отойдет; а маленький сынишко ногу сломал сегодня. Спасибо, студент у меня на Дворянской знакомый живет, так полечил немножко... Вот и полакомься! Што ж, как вы думаете?

— Уж все готово. Надо завтра тащить. Думаем, где ближе — через Литейный али Троицкой — к Митрофанию.

— А на Волково не ближе?

— Не хочу я на Волково!

Все трое вошли в заведение к Грише Чубаркову и сели за стол. Молодой извозчик сидел у двери с растрепанными волосами, с опухшим лицом, босой; вместо вязаной рубахи на нем была надета холщовая, и холщовые же штаны вместо суконных брюк.

— Не дашь? — говорил он хозяину заведения.

— Нет... Что, Данило Сазоныч, скучный такой? — обратился хозяин к Горшкову.

Тот закурил трубку и рассказал о причине своей грусти.

— Вот теперь надо его тащить, а ведь двоим-то, пожалуй, и не дотащить, Игнатий Прокофьич! — сказал вдруг Горшков Петрову.

— Надо попросить товарищей.

В кабаке нашлось четыре человека, пожелавших отнести гроб на Митрофаниевское кладбище.

На другой день Горшкову и Петрову было много хлопот. Нужно было выхлопотать свидетельство на дозволение хоронить, брать билет на место в шестом разряде, просить, чтобы покойника позволили поставить в церковь, чтобы он пролежал там обедню, упрашивать могильщиков, чтобы они к концу обедни успели выкопать яму, — и т. п. И за все это нужно было платить деньги, так что с отпеваньем у приятелей вышло расхода четыре рубля с копейками. В церкви покойников было штук пятнадцать, и в церкви только и было разговору, что об умерших. Обедня кончилась; но вот началось отпеванье всех покойников разом. Каждый зажег свечку, а если у кого не было денег, то тому давали свечку. Монотонное пение, и особенно «Со святыми упокой» и «Плачу и рыдаю», взволновало в церкви все общество, начались рыдания женщин, кашли, сморкания; те, которые не рыдали, плакали и, смотря на какой-нибудь гроб, слегка покачивали головами; мужчины, стоявшие ближе к гробам, старались не плакать, но слезы сами собой сочились из глаз, и они слегка утирались своими заскорузлыми кулаками; те же, которые стояли дальше и не могли видеть гробов, не плакали, но, тяжело вздыхая, смотрели на свои зажженные свечки, как бы стараясь этим развлечься.

Наконец, понесли покойников из церкви. До могил священники не провожали, потому что шестой разряд неблизко. В этом разряде было много еще свободных мест, но ямы вырыты только на аршин с четвертью, по-

тому что на дне вода. Гроб с Панфилом так и шлепнулся в воду.

— Вот, брат, тебе и покой. Ищи, брат, где лучше! И жизнь-то худая человеку на земле, и умрешь-то, так в воду попадешь... А ведь тоже искал, где жизнь лучше? — проговорил Данило Сазоныч, когда стали зарывать гроб.

— Все мы ищем этого.

— Пятнадцатью человеками меньше стало. А народилось-то, поди, еще больше.

Саженьх во ста от могилы Панфила стояло четыре гроба. Их спускали один за другим, два поставили рядом, другие два — на эти гроба. Это публике не нравилось, и она стала приставать к могильщикам, чтобы не ставили гроба на гроба.

— Не раздерутся!.. Не велики господа!

— И то еще ладно, што в разные гроба положены. А то вон привозят по два и по три в одном гробу,— говорили могильщики

Скоро народ разошелся.

Недалеко от кладбищенской ограды стоит питейное заведение, мимо которого никак нельзя пройти ни из кладбища, ни в кладбище.

— Догадливый этот народ, кабатчики: отличное место себе выбрал. Ну, как не выпить? — проговорил Горшков и повернул к кабаку; за ним пошел и Петров и другие.

В кабаке было уже несколько посетителей, так что скоро в него набралось до тридцати пяти человек, отчего и стало тесно.

— Хорошо, братец, тебе торговать тут! — сказал один портной.

— Ничего. А тоже от времени много зависит,— ответил кабатчик скороговоркой, наливая в стаканы водку.

— Што про это говорить? Поди, в день-то рублей десяток выручишь?

— Все от времени. Вот теперь осень, народу мрет больше, ну, и посетителей больше.

— Ну, все-таки тебе хорошо тут.

— А вот в самом деле, господа, где, по-вашему, лучше? — проговорил кто-то в народе.

— Это, то есть, как?

— Об деревне и говорить нечего; в столице дрянно. Где же хорошо-то?

Большинство подняло этот вопрос и начало его разбирать; другие сказали, что об этом рассуждать не стоит, и вышли.

В кабаке стало меньше народу, так что оставшиеся расселись на стулья и взяли по косушке водки.

— Нет, в самом деле, братцы, где лучше?

— Кабатчику лучше, вот особенно ему. Он все едино, што поп: как началась обедня — и пошли к нему залить свое горе людишки. Схоронили эти людишки своих родных или знакомых да помянули их у него — он и лавку на замок.

— В кабаке лучше, — сказал Горшков.

— В самом деле, братцы, в кабаке лучше! — подхватило несколько человек.

— Именно. Я эти дни как собака бегал, и со мной не то лихорадка была, не то что... Голова так вот и хочет треснуть. А как выпьешь — немного повеселеешь. Ну, и приятели и все такое. А дома хоть бы не показывался. Вот тоже в церкви... Как тяжело! И плакать бы, кажется, не от чего: известно дело, все там будем; нет, слеза так и прошибает... А вот как выпил, ничего. Оно как будто тоска какая-то на сердце, а в голове ровно легче.

— Это ты справедливо говоришь. В кабаке не в пример лучше, только забываться не надо.

— По-моему, тогда хорошо, когда ничего не чувствуешь.

— Не о времени разговаривают, об месте... На работе чижало, обижают; дома нехорошо, да и што за дом, коли своего-то нет, али хоша есть, да в деревне. А куда нашему брату идти? В киятр дорого, и времени нету; гулять мы не привычны с господами, тошно... Вот одново разу я соблазнился, пошел музыку слушать в манеже, да заместо музыки в часть попал... Такой, братцы, мне в части концерт задали, што всякую охоту теперь отшибло от концертов. Провались они совсем! — говорил один сапожник.

— А по-моему, в могиле лучше, — сказал кто-то.

— Ну, это ты, может, с горя...

— А в самом деле, умрешь — и конец.

— Это справедливо, никому сам не мешаешь, и тебе никто не мешает. Вполне спокоен. В церкви-то вон не напрасно поют: «Идеже несть болезнь, ни печаль, но жизнь

бесконечная». Недаром же мы, братцы, терпим такую канитель. А што это справедливо, так видно и из того, што и по законам строго запрещено разрывать могилу покойника. Значит, еще и уважают. А в жизни кто тебя уважает? — проговорил Петров.

— Именно. Недаром, видно, мой брат повесился.

— А вот вчера я шел по Троицкому мосту... Иду, вдруг какая-то баба бултых в Неву. Только ее и видели... Городовой кричит: лови! Куды!? Значит, есть люди, кои сами себе смерти желают. Только грех вот.

.

Народ начал спорить, и дело чуть не дошло до драки, но пришел городской и стал их унимать.

— Нет, братцы, подлинно в земле лучше. Хорошо бы было и в кабаках, если бы городовые не мешали, — сказал кто-то.

И народ разошелся.

XVI

По поводу разрешенного в предыдущей главе вопроса Петров хочет пробовать, подобно немцам, добиться до какой-нибудь пользы

После похорон предыдущий разговор заставил сильно призадуматься Игнатъя Прокофьича. «В самом деле, в могиле лучше», — долго вертелось в его голове, и, наконец, его взяло зло, потому что как он ни разбирал свою жизнь, все приходил к тому же заключению. «Богатому человеку везде хорошо, — думал он: — но и богатый не всегда доволен; черт с ним и с богатством. Не надо мне его. Вот так бы жить, чтобы и работа была, и деньги водились, и нужды бы не знать». Но вот этого-то и трудно, почти невозможно добиться. Но неужели невозможно? Почему немцы приходят в Петербург с пятьюдесятью рублями денег — и через десять лет дома строят? Он сам, бывши мальчишкою, работал у одного немца-кузнеца; немец тогда нанимал маленькую квартирку на Гороховой и жил очень бедно, а теперь у этого немца есть своя фабрика и свой дом. Почему большая часть ремесел находится в руках немцев и отчего, если за что-нибудь возьмется русский, дело у него не клеится, русский разоряется и держится только по торговой части? Ведь, ка-

жется, для столярного и кузнечного занятия нужны не бог знает какие знания и капиталы? Петрову казалось, что немцу, или вообще иностранцу, дают более ходу и веры; немец немца скорее вытянет из беды, чем русского, а русский русского, прежде чем вытянуть из беды, еще подумает, можно ли, да будет ли какая от этого ему польза. Немец не трусит, ставит последнюю копейку ребром и если устраивает какой магазин, то на хорошем месте, одевается по-заграничному, говорить умеет по-французски, умеет подделаться к господам, которые больше льнут к заграничному, думая, что все заграничное лучше своего, тогда как сам немец и понятия, может быть, о такой-то вещи не имеет, и делают такую-то вещь русские рабочие. Стало быть, тут виноват сам же рабочий, свободно отдающий себя в кабалу, и неуменье его взяться за дело как следует, трусость его, и простота, и главное — неуменье беречь деньги на черный день. Немец деньги свои употребляет на материал или товар, а русский на водку и другие удовольствия, отчего впадает в долги и кончает тем, что, пропивая вещи, теряет через это работу, или, как выражаются портные, давальцев. Но что же бы сделал сам Игнатий Прокофьич, если бы он захотел заняться чем-нибудь? Теперь немцев в Петербурге очень много; почти все ремесла в руках немцев и французов, так что многим даже немцам и французам приходится с трудом зарабатывать себе пищу и деньги за квартиру. Стало быть, ему очень трудно будет найти заказов, и он только понапрасну затратит деньги и насмешит людей. Но, однако... Немцы, как бы им ни было трудно, не едут же из Петербурга... А если и есть такие, что едут в провинцию, так это или аферисты, или такие, которые уже спились в Петербурге. Отчего портные и сапожники, работа в одиночку, без мальчиков или работников, не бросают своего ремесла? Неужели столярное или кузнечное занятие самое пустое?.. «Все это, — думал Петров, — потому больше происходит, что наша братья привыкла работать на фабриках или заводах, где народу много работает, где можно меньше сделать, чем одному дома, и где плата известная. Там, дома-то сидя, не знаешь еще, будет или нет у тебя работа, а на фабрике или заводе проработал день — и знаешь, сколько тебе следует получить. Ну, и жизнь рабочего на фабрике или заводе такая сложилась, что его тянет из дому, ему

скучно без компании, а компания только высасывает деньги, и каждый, не желая отстать от других, ставит последнюю копейку ребром, не заботясь о том, будет ли он в состоянии завтра идти на работу».

«Попробую я сам жить, как живут немцы», — решил Петров и этой мысли уже никак не мог выкинуть из головы. Денег у него было очень мало, и он остановился на том, чтобы поработать на заводе недели две, жить экономно, в праздники походить по городу, посмотреть какого-нибудь выгодного места, чтобы перейти туда, и нанять комнату, в которой бы можно работать в свободное время. Он решил работать дома что попадется. «Надо будет запастись всякими инструментами — и для кузнечного и столярного дела. В сундуке у меня хотя и есть, только мало. Ну, а бросового железа и меди можно из завода натаскать — на грех-то тут нечего смотреть. Нужно непременно с дворниками и лавочниками познакомиться, да дом такой выбрать, чтобы в нем других мастеров не было. И отчего это я раньше не решался?.. Вот и Пелагея Прохоровна говорила мне: отчего я сам собой не работаю, — так я наговорил, как и все товарищи. Надо рискнуть».

Хотя Петров о своем намерении заняться мастерством никому не сказал, но товарищи заметили, что он что-то замышляет. Он был молчалив, много работал и отвечал нехотя.

— Смотри, брат, надорвешься! А ныне нам прибавку обещают, — говорили ему на заводе товарищи.

— Какую прибавку?

— Скидку по двадцати копеек. Полакомься!

— Это почему?

— Ну, уж так в конторе болтают.

— Надо, братцы, узнать достоверно, — сказал Петров и пошел в контору.

— Говорят, нам убавят заработку? — спросил он конторщика.

— Пошел вон! — крикнул конторщик.

— Нет, однако, позвольте... После мы же будем виноваты...

— Не твое дело.

Когда он воротился на завод, то десятник, который обозвал его калужским азиатом, стал требовать, чтобы он повесил номер на таблицу. На заводе, у стены, около

двери, висела таблица; на этой таблице висели жестянки с номерами. Взявший жестянку считался рабочим на заводе, и его номер десятник отмечал в своей книжке и на таблице мелом; когда рабочий уходил из завода домой, то свой номер вешал на таблицу; поэтому уходящие обедать домой уносили жестянки с собой для того, чтобы их номер не попал другому, отчего десятник часто путался в своем счете по книжке.

Петров рассердился.

— С какой стати я тебе жестянку дам? Полакомься! — и пошел к горну.

— Ну, мне все равно, я тебя уж вычеркнул.

Петров пошел разыскивать мастера Карла Карлыча и нашел его сидящим на машине и курящим сигару. Это был толстый, низенький, обросший бородою немец, которого рабочие прозвали чурбашком. Но он был добрейшее существо.

— Што, каспадин Петров?

Петров рассказал, в чем дело.

— Зачем обижалъ. Нельзя обижать начальников. Иди робь.

— Велите ему записать меня снова. Я ходил в контору. Ведь вы видели меня здесь после шабашу.

— А што тебе до конторы?

— Да как же, болтают, будто нам сбавка готовится.

Немец засмеялся и сказал:

— А если и так?

— Вам-то ничего, вы по сту двадцати рублей получаете в месяц, вам не сбавляют. А мы-то чем виноваты?

— Время идет! Робь. А уходить будешь, расчет получишь.

— Вот у них, у подлецов, какая справедливость! По неволе руки опустятся,— сказал Петров собравшимся около него рабочим по приходе от мастера.

— Стоит разговаривать с ними.

— Нет, их надо допытать. Они, как мы станем получать деньги, после действительно дадут двадцатью копейками меньше. Не в первый раз. Скажут: зачем работали? А это ведь и нам расчет и им расчет. Положите на четыреста человек по двадцати копеек, — сколько составит в сутки капиталу?..

Вечером в этот день во всех квартирах и кабаках только и было разговору, что о смелости Петрова и сбавке

платы. По этому поводу у Григория Чубаркова собралось много народу, который водки брал мало, что не очень нравилось Чубаркову, и он сам навяливал им взять в долг.

— Когда не нужно, ты предлагаешь, а после тебе и давай деньги при получке, а тут толкуют, што плату обре-зывают.

— Што же это Петров-то нейдет? Смутить — смутил, а потом спрятался.

— А Петров — мастер первый сорт. Жалко, если его уволят.

— Ну, уволить — так уволили бы сегодня.

А Петров рассуждал в своей квартире с Горшковым.

— Где не следует, там мы бойки. Вот и теперь, поди, в кабаках пьянствуют и похваляются чем-нибудь да свои способности высчитывают, — говорил Петров недовольно.

— Ну, эдак, брат, много не получишь, если будешь менять заводы, — отвечал Горшков. — Ведь они, скоты, не дорожат нашим братом.

— И все-таки молчать я никогда не стану и говорю, что наши рабочие дураки, потому что сами потекают.

— Ну, хорошо; ну, если не станут все работать — закроют завод, думаешь? Нет, новых наберут.

— А новые-то и будут все поргить.

— А мы все-таки будем без хлеба... Уж я знаю. Раз тоже мы эдак сговорились и стали все требовать расчета. Расчет обещали через день. Мы не пошли, завод заперли. А у половины мастеровых денег нет. Кабатчики и лавочники, как слышали, что такой-то завод не в ходу, перестали и в долг верить. На другой день тоже расчета не дают, и тоже никто не хочет работать; а голод берет свое. Хорошо, кто успел на другой завод или фабрику попасть. Так ведь нас пятьсот человек с лишним было: куда ни придешь, везде нумеров нет. После оказалось, что на соседних заводах да фабриках мастера стакнулись между собой: остальные жестянки попрятали. Ну, на третий день выдают расчет — половину. Вот и полакомься! Жалуйтесь, говорят. По вашей, говорят, милости завод двое суток стоял, компании убыток. А в заводе уж и новый народ набравши. Ну, наши-то почесали затылки — и пошли опять в работу, потому есть было нечего.

— Кабы поменьше пьянствовали, были бы деньги, — сказал сердито Петров.

— И никогда денег не будет, если мы так будем получать. Если бы давали за каждые сутки, тогда — так.

Петров на это ничего не сказал. По его мнению, такая выдача хороша бы была, если бы производилась с самого основания заводов и если бы рабочие не надеялись на завтрашний день, но так как в Петербурге за квартиры везде платят вперед и гуртом, то Петров находил более удобным получать плату в каждую субботу, а не через месяц, в течение которого рабочие много должны. При таком порядке рабочий мог бы сообразить: следует ли ему еще работать на таком-то заводе, и, уплатив из платы часть долга, мог бы употребить понедельник на приискание другого места.

На другой день рабочие завода, на котором работали Петров и Горшков, собрались перед конторой и стали требовать объяснения: почему сбавляют плату без их согласия?

— Кто вам сказал, что сбавляют? плата та же, только требуется сокращение рабочих.

Рабочие успокоились и постарались взять поскорее жестянки, которых против вчерашнего оказалось на таблице меньше. Петрову и еще десятирем рабочим жестянок не досталось.

— Што это значит, братцы? Мы когда работали полным комплектом, и тогда еще болталось жестянок двадцать, а сегодня, кажется, человек двадцати недостает, и тут на явившихся не хватило? — говорили рабочие.

— Это штуки! — проговорил Петров и вышел.

Остальных рабочих, не получивших жестянок, потребовали в контору, и там они получили должное внушение и жестянки. Петров тоже пошел в контору.

— Позвольте расчет.

— Приходи через две недели, — ответили ему спокойно.

— Значит, и на работу не принимают и денег не платят?

— Если ты хоть слово еще скажешь и не выйдешь сию минуту, тебя в полицию отправим. Бунтовщик!

Так как Петрову знакомы были полицейские порядки, то он ушел домой.

Там соседка Соловьева ругалась с Горшковыми. Женщины голосили так, что разобрать их было довольно трудно. Игнатий Прокофьевич пошел вон из квартир.

— Игнатий Прокофьич, разбери ты нас... Вот она говорит, что я ее мужа рубашку дала на покойника,— проговорила хозяйка, останавливая Петрова.

— Сколько рубашка твоего мужа стоит? — спросил Петров, подойдя к Соловьевой.

— Да я денег и не прошу вовсе.

— Она еще попрекает меня тем, что я будто бы в связи с тобой, — сказала Софья Федосеевна.

— Если бы она совесть имела, не говорила бы этого.

И Петров ушел рассерженный. Он встал на Самсоновском мосту, долго смотрел на плывущий лед. Ему уже не в первый раз приходилось бывать без работы не по своей вине. «Пойду на Обводный канал, посмотрю там место, найму комнату и попытаю жить по-новому».

Зашел он в сухопутный госпиталь,— Пелагея Прохоровна значилась в живых, но его и сегодня к ней не допустили, а велели прийти в воскресенье или вторник.

По Обводному каналу, идущему из Невы по краям Петербурга и впадающему в пролив, отделяющий Гутуевский и другие острова от столицы, находится много разных фабрик и заводов, больших и малых. Поэтому набережная этого канала преимущественно населена рабочим людом, и там более, чем в других местах, кипит деятельность рабочего класса. Но попасть в какую-нибудь фабрику или завод не очень легко даже и хорошему петербургскому мастеровому, не только что какому-нибудь новичку в фабричном или заводском деле, потому что все эти фабрики и заводы постоянно имеют своих рабочих, а некоторые, по большому производству в них дела, имеют даже и постоянных рабочих, которые, работая на одних заводах, постоянно, лет пять, живут в одних домах, меняют редко кабаки и мало знакомятся с рабочими других заводов и фабрик.

У Петрова были знакомые почти на каждой фабрике и заводе, и он знал, на которой из них лучше; но со своими знакомыми он видался только на народных гуляньях, на Адмиралтейской площади, в пасху и в масленицу. В течение пяти последних лет он слышал от них, что во всем Петербурге самый хороший заработок в трех местах, прилегающих к Обводному каналу.

Зашел Петров на один завод, и его на первых же порах поразила темнота. С виду здания громадные, чуть-

чуть не дворцы, а внутри темно, душно — точно тут вываривается какое-нибудь масло. Это на него произвело тяжелое впечатление. Он прошелся по промежутку, по обеим сторонам которого работали мастеровые, — и чем шел дальше, тем воздух был удушливее, и рабочие казались ему похожими на мертвецов. Все рабочие смотрели на него с любопытством, но ни один не спросил, кто он и зачем пришел. Мастеров он не увидел ни одного. Работа продолжалась, как по машине, да и люди походили скорее на кукол,двигаемых машинами.

— Братцы, не знаете ли вы Демьянова Егора? — спросил Петров одну кучу рабочих.

Рабочие стали спрашивать друга друга. Это переспрашивание перешло по всему отделению.

— По какой он работе? — спросили Петрова.

— По рельсовой.

— Это не у нас.

— Што же у вас-то?

— Колеса, крючья, цепи... Мало ли? Здесь кузница; дальше будет формировочная, потом казенная...

— А много ли вы получаете?

— Мы казенные, и цена у нас казенная. У нас по комплекту. Так што ежели у кого есть дети — дети должны сюда поступать.

— А если кто со стороны желает поступить?

— Нужно свидетельство на то, где он обучен. Потом у него возьмут согласие работать на столько-то лет.

— И вам это нравится?

— Ошиблись в расчетах... Хотим просить вольготы. А впрочем, говорят, новое начальство будет: обещают другие порядки.

Пошел он к водочному заводу. Там не работали: что-то попортилось. Идя мимо него, Петров встречался с рабочими, или стоящими у перил набережной, или сидящими перед воротами.

— Что это завод-то ваш оплошал? — спросил он одну кучку.

— А штоб ему сдохнуть!.. толкуют, хозяин под суд попался, да и попортилось што-то.

— Да ведь если под суд попался, так надо бы больше зарабатывать. Не так ли, братцы?

— Так-то так, да управленье-то дурацкое. Управляющий, говорят, сбежал в другое место и отчеты сжег.

— Ну, это другое дело... А вы все-таки ждете у моря погоды?

— Что делать? Надо. Мы не привыкли к другому делу, тут у нас семейства на квартирах.

— Что про это говорить! А вас много?

— Да до тысячи с лишком наберется.

На заводе Главного Общества железных дорог впечатление было лучше.

— У нас тем хорошо, што свой суд. Кто если станет жаловаться полиции, того вон. Плату дают исправно, в какое время скажут, без задержки. Если не придешь, сам виноват, потому у нас полторы тысячи рабочих. У нас принимают всяких, так что есть солдаты, которые умеют только музыкантить, а кузнечного ремесла не понимают,— и те получают по пятидесяти копеек в сутки. Ну, это, конечно, зависит от нас. А вот насчет занятия у нас обрезавают.

— По-заграничному?

— А уж кто его знает. У нас рассчитано, сколько к какому делу нужно мастеровых и сколько поэтому должно выйти в сутки. У них таким порядком рассчитано, сколько обществу стоит каждый рабочий день, и идет все как по маслу — ни прибавки, ни убавки. Только вот тем мастеровым-то убыточно, кои работают со штуки. Например, мне в сутки положено рубль двадцать копеек, больше я получить не могу, это высшая плата, потому что у нас десятники получают по рублю сорок копеек в сутки, и поэтому если я починю пять колес в сутки, то кладется в счет только два колеса, а за остальные мне ничего не платят.

— Зачем же усердствовать-то?

— А если делать нечего? Да для меня плевое дело исправить колесо или новое сделать; известно, одно колесо в десяти руках перебивает, а только к одному попадает на штуку. А если сидишь без дела, ругают. Уйти нельзя, денег не дадут за цельный день.

Петров зашел к одному мастеровому, недалеко от Варшавской железной дороги. Приятель его был дома и починивал замок, а мать приятеля гладила манишку.

— У нас здесь по-заграничному: если на работу не пришел, представь свидетельство от доктора, коих у нас трое, — ну, и примут; если обругал мастера, потащат судить в правление и потом рассчитают; если работа слу-

чится ночью, плату увеличивают. Ну, и начальство любит, чтобы его уважали.

— Ну, а как же ты дома-то работаешь? — спросил Петров приятеля.

— Да так: захворал. Живот так и тянет. Выпил перцовки — не легчает. Сходил к нашему доктору, тот какого-то лекарства прописал, и все нет легче. Вот я и принялся дома за замок, уж недели две как взял, кончить надо. Ну, а ты как? Ведь у вас там лучше нашего...

Петров рассказал приятелю о своем намерении.

— Оно, пожалуй, отчего не попробовать, если есть деньги. А все-таки у вас лучше нашего тем, что платят хорошо. У нас хоть и легче работа, иной раз и делать нечего, а уйти нельзя, потому что за тобой день считается, зато уж больше тридцати пяти рублей не получишь в месяц.

От приятеля Петров зашел к одному лавочнику, Телятникову. Телятников годов шесть тому назад жил подручным у лавочника и, женившись на его сестре, открыл на набережной Обводного канала свою лавочку. Он рассчитывал на рабочий народ, которого тут живет много, но стал продавать дороже других лавочников и не верил на книжки, отчего у него торговля шла тихо. Кроме этого, некоторых вещей он не держал вовсе в лавке. Лавка его хотя и была первая в шестом доме от угла Измайловского проспекта и другие мелочные лавочки находились от его лавки к Царскосельскому проспекту через три дома, но народ шел за провизией в эти лавки. И Телятников перебивался кое-как, продавая вещи жильцам того дома, в котором он снимал лавку, служащим на Варшавской железной дороге, извозчикам, возящим грязь и другие нечистоты и живущим через дом от его лавки в каком-то пустом амбаре, и летом — судорабочим. Поэтому Телятников стал продавать дешевле и отпускал в долг, но и тут покупателей было мало, потому что все привыкли покупать в одном месте, и к нему шли брать только такие, которым не верили в других лавочках.

— Ну, как дела, Герасим Трифоныч? Больше году, как уж вы здесь живете, — спросил Телятникова Петров.

— Просто хоть лавку запирай. На два рубля в сутки торгую.

— Што так плохо? Вы говорили, что здесь вам отлично будет торговать, потому что лавочников мало, Сен-

ная далеко, а народу живет много такого, которому некогда разбирать, где товар лучше.

— Да здесь такой, я те скажу, народец — беда. Вот, например, варшавские: взял раз, не понравилось, — и ни за что ты его в лавку не заманишь. Мало этого, своим товарищам скажет, какой у меня хлеб, — и тому подобное. А мастеровые такой народ воровской, што и говорить нечего: он все норовит, как бы ему в долг. Наберет много, видит, что денег нет, и пойдет забирать в другие лавочки; так за ним и пропадут деньги, — беда! Теперь вот за помещение я плачу в год четыреста пятьдесят рублей серебром, — а што? Лавка маленькая; когда идет дождь, вода в нее льет, а весною наказание с этой водой.

— Отчего ж другие торгуют и не жалуются?

— Оттого, что они давно тут торгуют и про меня всякую всячину насказывают своим покупателям. Надо будет в другое место перебраться, только еще не знаю, куда.

Навстречу Петрову попался Потемкин. Он был одет франтовски, на жилете красовалась цепочка.

— Который час на твоих колесах, Захар Константиныч? — спросил Петров Потемкина.

— Все! — и Потемкин дернул цепочку, которая оказалась без часов. — Сбираюсь к полковнице, надо еще малую толику взять денег. Вот я и выдумал цепочку. А даст, я знаю.

— Поладили, значит?

— Еще бы. Только теперь уж я к ней, когда нужно, буду ходить. Она, вишь ты, пригласила меня затем, што муж ей написал, што едет в Петербург по делам и хочет ее требовать к себе. Ну, она мне и говорит: ты, говорит, Захар Константиныч, поживи у меня это время. Как муж приедет, я скажу ему, что с ним не желаю жить, а желаю развода, чтобы с тобой обвенчаться.

— Ишь ты, братец, какие у вас дела! Ну, што ж ты не хочешь на ней жениться?

— Избави бог! Она барыня, а я мужик. Да я и не намерен жениться: что мне чужую-то жизнь заедать...

— Неужли у нее получше нашего брата нету людей?

— Кто ее знает. Ей, должно быть, потому хочется за меня, што у нее есть девочка; третий годок ей идет. И говорит она: как только выйдет за меня, то продаст именье в Польше — еще есть десятин триста — и откроет

здесь магазин и читальню для рабочих — просвещать, слышь ты, нас хочет. И жалко мне ее, да не нравится она мне, и от теперешней жизни отстать не хочется.

— По-моему, нехорошо от нее вытягивать деньги.

— И я это знаю. Все, что ни говорю товарищам о себе, — хвастовство одно; а стань хвалиться, что поступаешь честным манером, смеяться станут. Вот и про часы я тебе сказал тоже неправду. Она мне подарила часы, а я их спрятал в сундучке и даже в кабаке не закладываю.

— Ведь ты ее любишь?

— Иногда жалко мне ее, так вот тебя и тянет. А пойдешь — назад тянет. Придешь к ней, скучно, да и она уж не такая веселая, как прежде, — все укоряет. Вот только у пьяного и смелость явится — так редко пускает пьяного! А уж жениться я не могу на ней и подавно. Женись, она и возьмет тебя в руки; станет грызть. Я было думал, в таком случае, если бы напала дурь, в самом деле жениться на ней, открыть какую-нибудь кузницу или мастерскую, потому я это дело хорошо смыслю, да ведь я слаб. Вот и теперь — неделю не пьешь, а как запьешь, дак все к черту. Што про это говорить!.. Прощай.

И Потемкин пошел.

Четыре дня Игнатий Прокофьевич высматривал себе место и квартиру, и везде ничего не оказывалось. Никто не хвалился своим житьем, все сетовали на дороговизну, грубое обращение мастеров и хозяев, слабое здоровье, — и Петров был в затруднении насчет места. Но ему уже не хотелось изменить своего желания, и он искал.

XVII

Как Петров домогается того, чего хотел

Петров ходил до сих пор по краям; теперь он пошел внутрь Петербурга. Но тут проходил понапрасну два дня. Наконец зашел в одну из мастерских на Итальянской улице, с хозяином которой он восемь лет тому назад работал вместе на одном заводе. Этот господин тогда женился на немке и открыл мастерскую. В течение шести лет они видались в пасху и в масленицу на гуляньях, а потом Петров так и не слышал о хозяине с Итальянской.

Над воротами большого четырехэтажного дома была прибита вывеска, которая свидетельствовала изображе-

нием самовара, кастрюль и кранов, что тут мастерская, в которой лудят и чинят медную посуду. Был полдень, когда Петров подошел к этому дому. У ворот стояло двое молодых мастеровых в своем наряде: рубаше, брюках, которые покрывал засаленный передник, с ремешком на лбу и в калошах на босую ногу. Петров давно уже не видал мастеровых у домов в таком виде: рабочие по краям города в таком виде находятся только при деле, из фабрик или заводов на улицу не выбегают, а когда идут домой, то накидывают халат, или зипун, или полушубок и на ногах носят сапоги, а ремни редкие носят и у дела.

— Вы не из мастерской ли Платонова? — спросил мастеровых Петров.

— Какого Платонова? — спросил в свою очередь один из мастеровых и лукаво взглянул на товарища.

— Исаия Павлыча.

— Тут нет таких. Ищи в другом месте, — проговорил с усмешкой другой мастеровой.

Петров вошел во двор. Задняя сторона дома имела только два этажа. Над дверями внизу была прибита вывеска мастерской.

«Таков уж характер в мастеровых, чтобы не отвечать сразу», — подумал Петров и вошел в мастерскую.

Это была большая темная комната с трех окнах с тусклыми стеклами в рамах. По правую сторону мастерской помещалась печь и меха для раздувань; между печью и дверями за перегородкой лежал каменный уголь и какие-то железные куски, налево были сделаны сиденья для рабочих и верстаки; инструменты были разбросаны, угля и зола в печи холодные. Во всей мастерской работал только один мальчик, сидя у окна.

— Что у вас за праздник? — спросил Петров мальчика.

Но тот не отвечал, только косо посмотрел на посетителя.

— Тебе кого? — спросил он Петрова.

— Хозяина.

— У нас нет хозяина, а хозяйка уехала в Кронштадт.

Оказалось, что сам Платонов лежит уже в земле полтора года и мастерскую заправляет его жена. При жизни Платонова в мастерской работало двенадцать мальчиков и двое мастеровых под присмотром самого хозяина. За-

казов было много, и рабочим хорошо было жить, потому что хозяин был смирный, никого не обижал и помощникам потачки не давал. После его смерти вдова предоставила все дело двум помощникам, которые друг с другом ссорились из-за того, что каждому хотелось быть первым; мальчики их не слушались, их стали увольнять и на место их принимали всякий сброд. Поэтому хозяйка решила отказаться помощникам и поехала в Кронштадт к брату, чтобы взять у него хорошего мастера из немцев. Теперь у хозяйки жил только один мальчик.

— А кто ее брат?

Мальчик сказал.

— Да я с ним вместе в обучение был; потом он на Средней Мещанской кузницу держал. Я его знаю, толсто-пузого немца.

Петров отправился в Кронштадт, разыскал Шварца.

— Здравствуйте, Иван Иванович!

Тот стал смотреть на Петрова.

— Кто ты! Как смель ходить по чужим мастерским?

— Забыли Игнатя Прокофьева?

Немец просиял, стал тереть руки, потрепал Петрова несколько раз по спине и звал в комнату, но он отказался.

— Я ведь сюда ненадолго, по делу; да и сообщение-то не совсем удобное. А вот пойдем выпьем пива.

За пивом Петров сообщил Шварцу, зачем он приехал в Кронштадт.

— Она еще здесь. Она просит мастеров... А я советую бросить: где ей возиться? Она не Шварц и не Платонов.

— Зачем же ей бросать, если она не один год живет на одном месте?

— Да, место много значит. Я в Средней Мещанской семь лет выжил. Первые два года было о-о как трудно, а потом ничего. И теперь бы жил там, да стали перестраивать дом.

— И ей достаточно было бы одного мастера, который бы смотрел за всем.

— И достаточно, только надо немца. Немца лучше слушаются, чем русского.

— Однако ведь муж-то у нее был же русский...

— О! Он хорошо говорил по-немецки... Однако, я скажу Терезе, пусть она на первое время тебя возьмет;

а там увидит. Я знаю, ты человек хороший... Шнапса много пьешь?

— Случается, но больше пиво употребляем.

— Ну, это хорошо. Шнапс надо помаленьку.

Шварц представил Петрова вдове. Платонова сказала, что она его где-то видала, и они тут же уговорились насчет мастерской. Петров выговорил себе жалованья тридцать пять рублей в месяц, с тем что будет иметь квартиру и стол отдельно от мастерской. Он обязался найти мальчиков и улучшить мастерскую.

Комнату Петров нанял в другом доме, напротив того, в котором помещалась мастерская Платоновой. Она находилась в четвертом этаже, в квартире, набитой вдовами-чиновницами, кандидатом на коллежского регистратора, каким-то чиновником и резчиком-художником. Все эти господа и госпожи перебивались кое-как, кое-что делая, жили по два и по три в комнате, которые отдавались внаем от квартирной хозяйки не дешевле пяти рублей в месяц. Петров заплатил пять рублей, но это была хотя и узенькая комнатка, зато светлая. Хозяйка, какая-то штабс-капитанша, держала эту квартиру уже много лет, и поэтому в комнате Петрова тотчас по отдаче им задаточных денег появилось два стула, кровать и стол.

— Вот что, хозяйюшка,— могу я в квартире своим мастерством заниматься?

— Какое же у вас мастерство?

— Я столяр и кузнец.

— О боже избави!.. Ты, батюшко, у меня все стены испакостишь, да и дворник этого не позволит. Здесь господа живут.

За стеной резчик что-то стучал.

— Но вот тоже работает там кто-то.

— То художник. Он топором не рубит, досок не таскает.

— И я топором не рублю! А вот если замок исправить — это мое дело; также комод склеить, покрасить.

— В самом деле! Уж ты, батюшко, исправь мне дверь на крыльце. Вот уж сколько времени прошу управляющего сделать замок и дверь исправить: успеется, говорит. И так к ночи-то бечевкой заматываем... И кровать починить умеешь?

— Все, что угодно... У вас, поди, много ломки-то?

— И не говори... Уж ты только мне-то справь, а работы в доме найдется много.

— Хорошо. В воскресенье я осмотрю и примусь.

Итак, квартиру себе Петров нашел. Но труднее всего было устроить мастерскую, с которой он провозился две недели, пока не поставил как следует. В приведении ее в порядок встретилось два препятствия: первое — наискосок открывалась другая мастерская, и второе — трудно было найти мальчиков, а мастеровых нанимать невыгодно, так как они просили не меньше рубля за день. Неделя прошла в напрасных поисках, между тем новая мастерская уже начала исполнять заказы; хозяйка все это приписывала неумению Петрова взяться за дело.

— Будем-ко с одним мальчиком работать, а работу я найду.

— Мне невыгодно: мы выработаем, может быть, в сутки только рубль, тогда как мне все содержание мастерской обходится два с половиной в сутки,— отвечала она.

Но на другую неделю в мастерскую пришли двое мальчиков по тринадцатому и пятнадцатому году. Они прежде работали у Платонова и согласились за шесть рублей остаться у жены его, с тем чтобы она их кормила и давала квартиру.

Петров познакомился с дворниками того дома, в котором жил, сказал им, что мастерская идет на славу, и просил отдавать вещи в починку Платоновой. Дворники обещали, что если он, новый мастер, будет давать на водку, то они найдут много работы. И действительно, с другого же дня стали приносить в починку разные вещи и заказывали делать новые, так что все мальчики и Петров были заняты.

Мало-помалу мастерская поправлялась: стали проситься в нее мальчики, стало больше работы. Кроме ломаной посуды и других вещей из железа, олова и меди, Платонова заключила с одним купцом условие на поставку цепей, стальных замков, шалнеров и т. п., тогда прихватила еще шестерых мальчиков, и Петров повеселел.

В течение двух месяцев он перепознакомился чуть не со всеми жильцами того дома, в котором жил, и к концу второго месяца у него было так много работы, что он не знал, что с ней делать. Замки, ключи и тому подобные

мелкие вещи он отдавал на праздники мальчикам мастерской, но у него были такие вещи, возиться с которыми приводилось двое, трое суток, тогда как у него один только в неделю свободный день — воскресенье. Этого добиться ему хотелось давно; ему не хотелось работать в мастерской, потому что там он работал все-таки в удушливом воздухе, должен был за все отвечать перед хозяйкой, а мальчики не всегда-то слушались его. «А если я буду работать дома, то я спокоен», — сказал он себе и пошел к Горшкову, которому предложил свое место. Тот согласился с удовольствием.

— Ах, ты меня надул! — сказала вдова Платонова, когда Петров потребовал от нее расчет.

— Иван Иванович мне говорил, что вы возьмете меня на время, и я сделал все, что смог. И мой приятель тоже не уронит вашу мастерскую. Я за него отвечаю.

— А я много-много на тебя надеялась, — проговорила Платонова, вздыхая.

«Ну, матушка, покорно благодарю! У тебя никак четверо детей», — подумал на это Петров и ушел во 2-й сухопутный госпиталь.

XVIII

**Пелагея Прохоровна поселяется в квартиру
Петрова и делается прачкой**

Петров сперва посещал Пелагею Прохоровну по воскресеньям; но не каждое воскресенье, а мимоходом, когда посещал Петербургскую и Выборгскую стороны. Он Пелагею Прохоровну знал очень мало и поэтому относился к ней как ближний к ближнему и как честный человек; в его характере было, что если он взялся за какое-нибудь дело, то должен его докончить. Он никому не хвастался, что у него есть знакомая женщина, к которой он ходит в клинику, но втайне желал, чтобы эта женщина выздоровела, и думал об ней много. Он разбирал все свои отношения к Пелагее Прохоровне; отношения эти были честные. Теперь дела его стали поправляться; он жил в своей квартире, и вот ему больше, чем прежде, захотелось жить семейно, и выбор пал на Пелагею Прохоровну, к которой его тянуло так, что в последнее время он стал уже ходить к ней и по четвергам. Ему там было

и грустно, и хорошо: грустно потому, что на него больные производили тяжелое впечатление, а хорошо потому, что он разговаривал с Пелагеей Прохоровной, которая с каждым днем поправлялась. Но и тут отношения Петрова к Пелагее Прохоровне были прежние — они были знакомы, и больше ничего.

Но Петров жил все-таки в мире здоровом; он мог делать что хотел, мог идти куда угодно, а Пелагея Прохоровна жила среди больных женщин, и ей запрещено было выходить даже в коридор. Поэтому немудрено, что жизнь в госпитале ей надоела, и она с нетерпением ждала четверга и воскресенья — дни, в которые к больным приходили люди здоровые. Этим посетителям все были рады. Но больше всего Пелагее Прохоровне нравились посещения Петрова.

Пелагея Прохоровна лежала в середине; ее кровать была шестая от двери. Когда пришел Игнатий Прокофьич, она, сидя на кровати, разговаривала с соседней женщиной. Прочие женщины или лежали, или сидели; две ходили с кружками, а четыре играли в карты. Сиделка, Марья Ильинишна, толстая женщина, откормившаяся в госпитале, сидя у окна, что-то шила и напевала песенки. Посетителей в этой палате еще не было. Больные при виде Петрова оживились; женщина, разговаривавшая с Пелагеей Прохоровной, ушла к играющим.

— Ну, Пелагея Прохоровна, — сказал Петров, — я порешил с мастерской. Хочу сам работать. Помните разговор-то наш за воротами филимоновского дома. Я тогда думал, что нельзя работать одному, а теперь вот вышло, что можно.

— А я потому говорила так, што у нас есть мастера, кои сами работают и живут хорошо. — И она рассказала про Короваева.

— Ну, а Короваев еще много пробьется в Петербурге, прежде чем возьмется за свое ремесло. Он хорош в своем заводе был, потому что там вырос, там его все знают; а поди он в город, так там своих мастеров много.

— А я хочу выписаться.

— Ну, я бы не советовал до тех пор, пока совсем не поправитесь. Ведь вы еще не в силах работать?

— Может, и справлюсь.

— Нет, уж лучше недельку, другую побудь здесь:

здесь и тепло, и кормят, и за квартиру не берут... А вот што, Пелагея Прохоровна, чем ты заниматься теперь будешь?

— Вот тут есть Софья Максимовна; она прачка, так советует стиркой заняться и хозяйку свою мне хвалит.

— Ну, жить-то у хозяек я бы не советовал, потому что хозяйки везде одинаковы: все они налегают на работниц и кормят плохо. А я вот что придумал: наш дом большой, в нем, кажется, квартир сорок, а прачки нет. Стоит только сказать дворникам.

— Ах, как бы это хорошо было!

— Только нужно поправиться. Ну, а квартиру мы сыщем.

Скоро после этого Петров ушел. Ему захотелось устроить Пелагею Прохоровну поскорее, и он стал искать ей комнату в доме, но удобной для прачечной не оказалось, а была квартира в пятом этаже, и в ней три комнаты. Но без согласия Пелагеи Прохоровны он не решился нанять ее.

— Нет, уж я непременно выпишусь. Кроме скуки, еще то неприятно, што соседки упрекают меня тобой, Игнатий Прокофьич: говорят, што я любовница,— сказала Пелагея Прохоровна Петрову в следующее воскресенье.

— На это не стоит обращать внимания. Я вот и сам подумываю, как бы тебе выйти, только не знаю, согласишься ли ты... Видишь ли, для того чтобы заняться стиркой, нужно иметь непременно свою квартиру. У нас в доме есть такая квартира — в ней тоже жила прачка. Сам я живу теперь в отдельной комнате, и мне бы эта квартира была хороша.

Петров замолчал. Пелагея Прохоровна тоже задумалась. Ей казалось неудобно жить в одной квартире с холостым мужчиной, тем более что про нее станут говорить бог знает что, и через эти пересуды она, пожалуй, не много будет иметь работы.

— Уж я думал об этом деле. Если теперь нанять комнату где-нибудь во флигеле, то в комнате стирать белье не дозволят; а если и будет можно, то ведь каковы соседи: белье чужое, его нужно беречь, и на соседей полагаться нечего. А у нас в доме и вешать белье есть где.

— Неловко нам вместе-то жить,— сказала Пелагея Прохоровна.

— Что за неловко! Пусть люди говорят, что хотят, а мы будем каждый при своем месте. Говорят те, кои сами себя дурно ведут. Живут же баре с любовницами, да ничего им не делается, а еще любовниц уважают.

Пелагея Прохоровна согласилась, и через день после этого Петров привез ее на новую квартиру.

Себе он выбрал светлую большую комнату, Пелагее Прохоровне предоставил кухню с небольшой комнатой, которая находилась от комнаты Петрова на противоположной стороне. Пелагея Прохоровна нашла в квартире все нужное для стирки белья и сверх того кровать, два стула и стол.

— Сколько же ты с меня за комнату возьмешь? — спросила Пелагея Прохоровна, оглядевши свою квартиру.

— А это будет зависеть от того, как пойдет дело.

— Ну, я так не хочу. У меня есть два рубля денег.

— Только-то... Да их, пожалуй, не хватит и на мыло да на крахмал.

Петров ушел и запер свою комнату на замок.

«Нет, он аккуратный. Он не похож на других мастеровых. Вот такого мужа хорошо бы иметь... А, впрочем, кто его знает?» — думала Пелагея Прохоровна по уходе Петрова.

Пелагее Прохоровне было скучно одной, но часа через полтора к ней пришла жена старшего дворника, Лизавета Федоровна, уже пожилая женщина.

Вошедши, дворничиха оглядела квартиру, перекрестилась, поклонилась Пелагее Прохоровне и спросила ее:

— А што, ушел Игнатий-то Прокофьич?

— Ушел.

— Эко дело... Я хотела попросить его шкатулку починить... А вы, я слышала, прачка?

— Здесь еще не пробовала.

— Ну, у нас дом большой. Главное, нужно хорошо стирать; здесь и важные господа есть. А ты приходи к нам. Мы хоть и в подвале живем, а все ж по-питерски, набаловавши: кофеем угощу.

— Покорно благодарю! А я вот вас хочу попросить насчет белья-то. Меня ведь здесь никто не знает. Да вы зашли бы в комнату-то.

Дворничихе, как видно, хотелось узнать, где и как помещается новая прачка, и она пошла за Пелагеей Прохоровной в ее комнату.

— Отлично ты устроилась... Отлично... Ну, а Прокофьич-то особо?

— Отдельно. У него комната заперта.

— Экий скопидом... Уж такого скупого я мало видала. Ну, и решительный, и всезнающий... А вы давно знакомы-то?

Это допрашивание рассердило Пелагею Прохоровну, но она сдержалась.

— Да мы еще мало знакомы,— ответила она.

— Да ты не бойся... Я звонить не пойду, как другие бабы... Я, знаешь, тебе советую от наших кухарок держать себя подальше... С горничными еще можно знакомиться, потому они при барынях больше. А что до работы, так это пустяк. Ты, ежели что, прямо ко мне; мне тут многие знакомы, потому мы уж тут двенадцатый год живем.

И дворничиха начала рассказывать про прежнюю прачку, как та таскалась с молодыми дворниками, переговаривалась в окно через двор с жильцами-чиновниками.

— Нехорошо. Себя она страмила. Ну, заведи она себе кавалера и живи с ним,— тут худого нет. Вон у нас генерал с любовницей живет, так все ее уважают.

— Ну, уж вы это, Лизавета Федоровна, напрасно...

— Ну, матушка, не век вы так с Прокофьичем-то станете жить, а пока у вас до свадьбы дело дойдет, до тех пор надо держать себя умеючи и не обращать внимания на сплетни. А без сплетен не обойдется, потому народ здесь вольный, сам живет дрянно и об других думает дрянно.

Дворничиха ушла.

Петров не приходил долго, и Пелагее Прохоровне было очень скучно; ей хотелось что-нибудь делать, хотелось выстирать свое белье, но в квартире воды не было.

Она спустилась к дворникам, те сказали, что воды принесут завтра; поднялась она в свою квартиру и устала.

«Плохой я стала человек. А может, это и с болезни»,— подумала Пелагея Прохоровна и стала перебирать

свое имущество; но через полчаса к ней пришла женщина.

— Здесь прачка живет? — спросила она в кухне.

Пелагея Прохоровна вышла.

— Нашей барыне нужно белье стирать; иди возьми!

Пелагея Прохоровна пошла за кухаркой.

Барыня заставила ее ждать себя в кухне более часу. Кухня была барская, с водопроводом; там был повар, приходили лакей и горничная. Наконец вышла барыня.

— Хорошо стираешь белье? — спросила она Пелагею Прохоровну.

— Прежде стирала — нравилось.

— Мне нужно, чтобы белье было вымыто скоро, выглажено, одним словом, чтобы было хорошо. Вот тебе реестр. Марья! — крикнула барыня и ушла.

Стали проверять белье.

— Да уж ты, прачка, и мое кстати выстирай: ведь много денег-то будешь получать.

— Как — даром?

— Неужели еще с нас деньги будешь брать?

— Ну, так я не согласна.

— А не согласна, так в другой раз мы другую прачку найдем.

Пелагея Прохоровна подумала и взяла белье от прислуги.

— Приходи когда-нибудь — кофеем напоим. А нам самим возиться с бельем некогда: целый день бегаешь из угла в угол.

Узел оказался большой, и Пелагея Прохоровна через великую силу донесла его до своей квартиры. Но она была очень рада, что так скоро нашла работу.

Игнатий Прокофьевич был дома.

— Что, уж и работа есть? — спросил он весело.

— Слава богу. Вот, говорят, корзинка нужна для белья.

— Корзинка есть — там, на чердаке. А я што думаю: не лучше ли нам готовить кушанье дома? Я вот сегодня работал у одной полковницы — драпировку с ней делал, так она меня покормила в кухне и подлецом обозвала.

— За что?

— Такая уж барыня. Прежде она помещицей была.

Я, говорит, Игнатий, прежде по мордам била, а теперь нельзя, теперь новые порядки, а все, говорит, не могу не обругать человека. И обругала, и извинилась. Так вот теперь я хочу дома обедать.

— Ты обо мне-то не заботься.

— Я о себе забочусь. Вот только я боюсь, чтобы ты не простудилась,— холодно стоит, а у тебя теплого ничего нет.

— О, я привычна к холоду.

— А ты как спать-то будешь ложиться, запри дверь на замок. Здесь надо быть осторожным. А то вот я пришел, тебя нет, а в кухне какая-то баба в салопе сидит; я, говорит, к Татьяне Егоровне пришла.

Петров после этого заперся в своей комнате, а Пелагея Прохоровна стала тоже в своей комнате разбирать белье.

XIX

**В которой Пелагея Прохоровна принимает
сделанное ей Петровым предложение**

Квартира оказалась холодной, почему Петров и Пелагея Прохоровна встали рано и в комнате Пелагеи Прохоровны уселись пить чай.

— В состоянии ли ты, Пелагея Прохоровна, приняться за работу? — спросил Петров.

— Кабы не в состоянии, не взялась. Скучно так-то жить.

— Ну, как знаешь.

Скоро Петров ушел на работу, а Пелагея Прохоровна принялась за белье. Она стирала в корыте, уставала и садилась на стул. В таком положении ее застала барыня в лисьем салопе и башлыке. Эта барыня тоже просила взять белье.

Итак, работы прибавилось.

Когда Петров пришел домой обедать, то Пелагею Прохоровну спала; кучи белья лежали на скамейке, в корыте было тоже белье.

«Ну, эдак немного наработаешь!» — подумал Петров и полез в печь за шами. Стук заслонки разбудил Пелагею Прохоровну.

— Што это? Я маленько прилегла — и заснула. Это я

непременно в больнице избаловалась,— проговорила она.

— Пожалуйста, ты хоть дверь-то запирай на замок. Боже избави, как что-нибудь уташат.

Пелагее Прохоровне сделалось стыдно, что она среди дня легла спать; но она еще не могла осилить всей работы: она задыхалась, руки дрожали, ноги подкашивало, и с ней был небольшой жар.

Петров заметил это, но ничего не сказал.

Когда он пришел домой вечером, то застал Пелагею Прохоровну работающею, но в квартире было по-прежнему холодно.

— Надо будет переменить эту квартиру,— сказал он.

— По-моему, здесь хорошо; мне после обеда дали еще белья. Спасибо дворничихе.

— Я теперь буду дома работать, полковница отпустила.

Стали ужинать.

— Вот теперь мы по-семейному зажили,— сказал вдруг Петров.

Пелагея Прохоровна ничего не сказала, только ее щеки слегка покраснели.

— Одного только недостает...

Пелагея Прохоровна взглянула на Петрова.

— Вот што: отчего бы нам, Пелагея Прохоровна, не обвенчаться? — сказал Петров серьезно.

— Так скоро? мы еще мало знаем друг дружку,— ответила Пелагея Прохоровна.

— Положим, что так; только я думаю, мы хуже не будем теперешнего.

— Кто знает, Игнатий Прокофьич?

— А пошла бы?

— Ну, какой ты разговор выдумал... Надо ложиться спать, завтра на реку надо идти.

— Нет, однако, пошла бы?

— Ах, какой ты!.. Ну, разумеется, пошла бы.

— Вот за это спасибо,— и он крепко пожал ей руку и потом долго не спал, обдумывая план семейной жизни. Сперва он удивлялся: как это он так скоро дошел до желания жениться, тогда как прежде сам смеялся над теми из рабочих, которые женились? Но потом пришел к тому заключению, что на его месте всякий дошел бы до этого. Он долго разбирал, почему именно ему понравилась Пе-

лагая Прохоровна, а не другая какая-нибудь женщина. Ведь он в своей жизни видал многих женщин и ни об одной из них не думал так много, ни в одной не принимал такого участия, как в Пелагее Прохоровне. Ему еще с самого появления в филимоновском доме этой женщины хотелось поговорить с ней; ее горе трогало его, и он, вовсе еще не имея намерения жениться, старался помочь ей чем-нибудь. Он принял участие в похоронах ее брата, и его невольно тянуло в госпиталь, где хорошо казалось сидеть рядом с Пелагеей Прохоровной на ее койке и где он радовался ее выздоровлению. Часто он шел в госпиталь с тяжестью в голове, сердце его что-то шемило; ему думалось: а что, если она да опять захворала? пожалуй, залечат, как и того... Но когда он шел домой, то в голове тяжести не было, сердце билось радостно. Не будь Пелагеи Прохоровны, он, пожалуй, и теперь терся бы на заводе или в какой-нибудь мастерской и, пожалуй бы, не стал так стараться устроить настоящее свое житье. «Нет, тут что-нибудь да есть; мне она любила, мне эта любовь больше храбрости и силы придала. Уж судьба, верно, такая, чтобы мне быть женатому — и на ней. Конечно! С такой бабой жить можно. Как только повенчаемся, сейчас возьмем работницу, а я прихвачу двух мальчиков и открою свою столярную; теперь у меня знакомых много!»

Утром за чаем Петров сообщил об этом Пелагее Прохоровне.

— Если работы много будет, я согласна взять помощницу. Только, Игнатий Прокофьевич, не избалуемся ли мы?

— Ну, я с мальчиками везде хорош; а все-таки им большой потачки давать не стану, потому что будут красть. Нужно за всем следить самим.

— Я думаю, тогда хорошо будет нам обоим. Вот разве кто помрет из нас?

— Ну, до этого еще далеко. Надо вот квартиру посмотреть где-нибудь другую, а в этой неудобно ни тебе, ни мне.

Весь этот и следующий за тем день Петров работал дома. У Пелагеи Прохоровны было очень много работы, так что она не знала, как ей и справиться. На реку за нее ходила дворничиха Лизавета Федоровна. Нечего и говорить про то, что Петров нравился Пелагее Прохоровне,

и она уже не боялась, как прежде, выйти за него замуж. «По крайней мере муж у меня будет питерский, а с Короваевым мы бы жили там, да еще какова бы была там жизнь? Здесь тем хорошо, что народу много; тебя только и знают, что жильцы того дома, в котором живешь, да на кого работаешь». Но и тут в голову ее приходила мысль: какова-то будет жизнь в замужестве? Выйдешь замуж, привяжешь, так сказать, себя к месту, дети, пожалуй, пойдут. «А какова была прошлая-то жизнь? Если бы не Петров, пришлось бы лежать в могиле». И она с любовью взглядывала в комнату Петрова, который там работал.

«Вот теперь мне хорошо. Нашла-таки я себе место хорошее; а как замуж выйду, еще лучше будет: сама буду хозяйка, и никто меня ничем не упрекнет. Вот бы тогда посмотреть на Короваева: все хвастался, што он больно много знает, а, поди, он Игнатью Прокофьичу и в подметки не годится»,— думала Пелагея Прохорова.

Дня через два после этого она сдала белье двум барыням. По сверке оказалось все в целости; барыни немножко поворчали за то, что кое-где пуговиц недостает, кое-что не совсем чисто, но деньги заплатили и велели приходить опять.

Эта получка денег очень обрадовала Пелагею Прохоровну, и она веселая пришла домой.

— Вот теперь какая я богачка! Три рубля с полтиной получила, да с других еще сколько получу!

— Ну, радоваться-то нечему—мыло да синьку не считаешь, верно...

— Все-таки не даром стираю. А ты спрячь деньги, Игнатий Прокофьич.

— Это, может, у вас там в провинции так делается, а у нас—кто деньги зарабатывает, тот и хранит их у себя.

— Нет, уж ты спрячь.

— Нет, уж не спрячу.

Они расхохотались. Деньги Пелагея Прохорова положила в свой узел под подушку.

Время для Пелагеи Прохоровны и Игнатия Прокофьяча шло незаметно; отношения их были просто дружеские; они только сходились за обедом, чаем и ужином и — ни разу даже не поцеловались. Раз как-то Игнатий Прокофьяч сказал: не повенчаться ли им теперь, благо до масленицы осталось всего две недели? Но Пелагея Прохоровна отвечала, что торопиться нечего, потому что они повенчаются навечно и успеют еще нажить семейно; к тому же и здоровье ее не совсем поправилось. «Надо хоть немножко походить на прежнюю, а то как под венец пойдешь, скажут: сам-то Петров вон какой здоровый, а она вон какая худая. Еще скажут — чахоточная, а я даже и кашляю зачем-то».

— Все это пустяки, — заметил Петров.

— Ну, если и пустяки, так я не хочу, чтобы вся свадьба шла на твой счет. У меня теперь и денег мало, а твоих я ни за что в свете не возьму; а деньги мне надо, чтобы кое-что сшить: не буду же я венчаться в чужих платьях.

— Как знаешь. Потерпим.

Горшков жил в том доме, где мастерская, в которой он теперь работал. Он приходил к Петрову раза три и звал его покалякать в кабаке, тот не шел.

— Плохой, брат, ты человек стал, Игнашко! Право.

— Что делать, жениться хочу.

— На каком это месте записать?

— Такая линия вышла. Пойдешь в шафера?

— Ах ты... Вот люблю человека... А што же Пелагея-то твоя к нам не зайдет, моя-то старуха была бы рада.

— Есть мне когда расхаживать! — сказала Пелагея Прохоровна.

Вечером ее посетила Софья Федосеевна, и они проговорили около пол часа. Софья Федосеевна даже не намекала на то, действительно ли Пелагея Прохоровна выходит замуж. Она сказала, что зашла просто потому, что Данило Сазоныч пришел пьяный, разбушевался и унес с собой кран из самовара, для того чтобы его семейные не смели без него пить чай. Прощаясь, Софья Федосеевна стала звать Пелагею Прохоровну к себе в воскресенье

вместе с Петровым напиться кофею. Как та, так и другой обещались быть.

В субботу Пелагея Прохоровна собрала еще пять рублей.

— Ну, что мы будем завтра делать? — спросил ее Петров за ужином.

— Я белье буду стирать.

— Полно. Надо же и отдых себе дать... Ну, сперва ты будешь щи варить, потом пойдем к Горшковым в гости, потом их к себе пригласим, а потом?.. вот што, Пелагеюшка, я думаю: не сходить ли в театр? Ты была в театрах?

— Нет.

— Вот и отлично. Я тоже давно не бывал.

— Я не пойду до свадьбы.

— Ну, это каприз.

Сколько Петров ни уговаривал Пелагею Прохоровну идти в театр, она ни за что не хотела идти.

Горшков помещался со своим семейством в верхнем, четвертом, этаже. Лестница к нему была темная, узкая, со множеством поворотов и косых ступенек, почему с нее не раз по ночам падали вниз пьяные мастеровые и раскраивали себе лбы и носы. Горшковы жили на заднем плане квартиры, так что до них приходилось идти через кухню и еще через комнату. В кухне жил сам хозяин квартиры, портной, и, кроме него, два подмастерья, тоже портные, но работающие у цехового портного в том же доме. В этой кухне, когда вошли в нее Петров с Пелагеей Прохоровной, возились у печи три женщины — одна с ухватом, другая раскалывала полено, а Софья Федосеевна с кофейником. Портной держал ведро, а двое подмастерьев бегали по кухне с бутылками.

— Лей сюда! — говорил один подмастерье.

— Да эта с керосином была, — сказал портной.

— А штоб ее!! — И подмастерье, бросив бутылку, подбежал к печке и схватил пустой горшок.

Женщины заголосили.

— Што это у вас за хлопоты? — сказал Петров, улыбаясь.

— А, господину Петрову! Да вот, сударь ты мой, воды не было у нас, — плакали, а как я достал воды да-

ровой из качальни, не знаем, куда ее деть... Ведро-то я у дворников украл — надо возвратить. Горе и много-то иметь.

Петров и Пелагея Прохоровна рассмеялись.

— Вы не получаете, верно, воды от дворников?

— Капиталов нету: правом бедности пользуемся, по бедности нам и дают из качальни воды.

Горшковы очень обрадовались посещению гостей. Горшков хотел сбегать за водкой, но Петров удержал его, и они стали разговаривать о своих делах, а Пелагея Прохоровна разговаривала с хозяйками. Сначала сетовали на то, что умер брат Пелагеи Прохоровны, но Горшков сказал, что лучше — по крайней мере, не мучится и никому не мешает; потом стали рассуждать о предстоящей свадьбе.

Петров предложил хозяевам идти в театр, те согласились с удовольствием.

Теперь уж Пелагея Прохоровна не могла не согласиться: ее упрашивали все. Осталось одно затруднение: в какое место идти. Горшков и Петров пошли справиться, где в Александринке места дешевле. Оказалось, что и дешевле галереи есть места, только там придется стоять у стенки и оттуда ничего не слышно.

— Прокофьич, возьмем ложу... Черт его дери, в кабаках больше пропьешь!

— Ладно. Только моей-то бабе не надо говорить, сколько стоит. Не пойдет или свои деньги выложит.

— Уросливая же твоя баба! А впрочем, молода еще.

Я не буду описывать того, как наши знакомые пошли в театр. Довольно сказать, что представление «Грозы» им так понравилось, что каждому захотелось бывать в театре чаще. Для Пелагеи же Прохоровны было все ново; ей казалось, что она находится бог знает в каком прекрасном месте. Публика ее занимала только в антрактах, во время же представлений она следила за действующими лицами на сцене и обращалась конфузливо к Петрову за разъяснением непонятного ей.

— Неужели все это правда? — спросила она Петрова дорогой, идя домой из театра.

— Это верно.

— Не весело же и купцам живется.

— Всяко бывает.

И на Петрова «Гроза» произвела тяжелое впечатление, и он шел домой молча и дома как пришел, так и заперся в своей комнате, и долго не спалось ему.

До масленицы осталась только одна неделя, поэтому Пелагею Прохоровну завалили бельем еще во вторник. Она еще в понедельник чувствовала головокружение и какую-то потяготу, но об этом Петрову ничего не сказала, думая, что это пустяки, он, пожалуй, подумает, что она женщина изнеженная. Вечером в понедельник головная боль усилилась, и она почти всю ночь не спала и рано принялась за работу, думая скорее окончить стирку взятого белья.

— Ты уж больно рано встаешь, эдак, пожалуй, охота от стирки отпадет,— сказал, улыбаясь, проснувшийся Петров.

— Зато на масленице много времени будет.

Весь остальной день Пелагея Прохоровна чувствовала себя хорошо, только голова немного болела. Вечером она уговорила Петрова идти с нею на Фонтанку полоскать белье.

— Ты бы попросила Софью Федосеевну сходить за себя; погода-то больно ветряная сегодня,— сказал Петров.

— Нет, уж будет барствовать; пора и самой за дело взяться. Уж я больше недели, как из больницы вышла.

Прорубь была сделана на открытом месте; в ней много женщин полоскало белье, и, казалось, ни одна из них не обращала внимания на резкий ветер. Впрочем, и Пелагея Прохоровна не обращала внимания на него, а берегла ноги, чтобы в ботинки не попала вода, но убежать от этого было невозможно — вода все-таки попала.

Дорогой Пелагея Прохоровна вспотела; когда же они повернули в свою улицу, то навстречу подул опять резкий холодный ветер.

Пришедши домой, Пелагея Прохоровна выпила ковш холодной воды.

— Что ты делаешь, дура! Хочется тебе, верно, простудиться! — сказал сердито Петров.

— Ничего,— ответила Пелагея Прохоровна, но ночью с ней сделалась горячка, и она вышла босая на лестницу.

Петров услышал, что кто-то ушел из квартиры и долго не ворочается; он зажег огня, взял большой молоток, чтобы угостить вора, и с ужасом увидел Пелагею Прохоровну, босую и сидящую у противоположных дверей.

На вопрос его она что-то бессвязно проговорила, и он с трудом перетащил ее домой.

Пелагея Прохоровна захворала серьезно. Петров хлопотал много о том, чтобы поправить ее здоровье, ходил к докторам, но хороших не застал дома, а шарлатаны, оглядев фигуру Петрова, прописывали только лекарства. Отправился он во 2-й сухопутный госпиталь, но так как у него не было знакомых, то и там не мог добиться никакого толку. Отправлять же Пелагею Прохоровну в больницу ему не хотелось.

Барыни, давшие белье и получившие его обратно в грязном виде, сердились, называя Пелагею Прохоровну обманщицею; работа у Петрова шла туго; он больше находился у больной и расходовал накопленные им прежде деньги. А тут пришлось еще платить за квартиру вперед за месяц.

Наступил четверг масленицы, день, в который рабочие в Петербурге получают расчет и начинают гулять. С пятницы все загуляли. Нарядный народ шел толпами на Адмиралтейскую площадь, а Пелагея Прохоровна лежала в горячке.

Горшков пьянствовал и часто приходил за Петровым; но тот не шел с ним. Приходили к нему и жена Горшкова с сестрой и тоже советовали отправить больную в госпиталь или больницу, тем более что у нее есть адресный билет.

Так Петров промаялся с Пелагеей Прохоровной до воскресенья.

В воскресенье она уже не могла говорить, а только показывала на горло. Петров перепугался страшно и побежал за доктором, но не застал дома.

Когда он пришел домой, Пелагея Прохоровна уже не дышала.

— Все, значит, кончено! Ищи, голубушка, где лучше... Ох ты, жизнь проклятая!!! — И он заплакал.

Пришла Софья Федосеевна и тоже прослезилась.

— А все, Федосеевна, я виноват! нужно мне было удержать ее от стирки... Я думаю: не простудилась ли

она тогда, когда шла из театра: она на другой день была какая-то скучная.

— Может быть, там ведь было очень жарко, а шли, так был ветер.

— Вот теперь и мне жизнь не в жизнь: показалось ясное солнышко и скрылось. Уж теперь мне не для кого хлопотать и стараться! — проговорил с горечью Петров.

Пелагею Прохоровну похоронили на Митрофаньевском кладбище в четвертом разряде, потому что в шестом Горшков и Петров не могли отыскать могилу брата ее; да и Петрову хотелось похоронить ее поближе.

После похорон Петров переехал на набережную Обводного канала и поступил на завод компании Главного Общества Российских железных дорог. Ему тяжело было жить на Итальянской, где померла любимая им женщина.

Заключение

В половине мая Петрова выбрали в десятники на заводе с жалованьем по сорока пяти рублей в месяц. Но, несмотря на то, он был задумчив и необщителен и редко посещал питейные заведения. По праздникам он ходил на Митрофаньевское кладбище и вешал над могилой Пелагеи Прохоровны венки с цветами. О своей горе он никому не любил рассказывать и, кроме кладбища, все свободное время употреблял на какую-нибудь работу дома. Жил он в семейной квартире и занимал чистенькую комнатку, за которую платил пять рублей в месяц. В конце мая его квартирный хозяин стал переезжать на другую квартиру, а так как комната ему очень нравилась, то он и оставил ее за собой, а над воротами приклеил бумажку, что у него отдается комната с кухней. Через неделю после этого его квартиру стали смотреть мастеровые на том же заводе, Григорий Горюнов и Влас Короваев. Горюнов и Короваев работали на заводе уже с месяц и слыли за хороших рабочих: не пьянствовали, не пропускали дней и получали по рублю двадцати копеек за день. Они работали под команду Петрова, но Петров раньше не водил с ними знакомства. А так как на заводе Короваевых было двое, то Петрову и в голову не

приходила мысль, что который-нибудь из этих двух Короваевых был женихом Пелагеи Прохоровны.

Петров отдал им комнату и кухню.

— Я-то, может быть, недолго у вас проживу. Вот Гриша жениться на днях собирается. Пора уж, и так, кажется, больше году не венчавшись жили,— проговорил Коваев.

— Только, пожалуй, молодой-то не понравится комната — всего одно окно,— сказал Петров.

— Чего же еще надо? Мы люди привычные. Исходили чуть не всю Россию с Лизкой.

— А вы откуда пришли-то?

Коваев назвал завод и прибавил: «Мы пошли искать, где лучше».

Петров растерялся и спросил:

— А вы там не знали Пелагею Прохоровну Мокроносову?

Коваев и Горюнов почти вскрикнули:

— Я ее брат!

— Она мне невеста!

— Опоздали, господа. Она здесь была моя невеста, да вот с масленицы теперь вон где! — и он указал по направлению к кладбищу.

— Неужели умерла? — сказали Горюнов и Коваев.

— А кабы осталась там да вышла за тебя, Коваев, замуж, и теперь была бы жива.

Коваев повесил голову, а Петров повел их в питейное заведение.

— Пойдемте к дяде. Он недавно открыл кабак,— сказал Горюнов.

Терентий Иванович тому дня два открыл питейное заведение на Обводном канале и теперь ставил на полки с Лизаветой Елизаровной посуду. Он немного поздоровел и потолстел.

— Ну, что, дядя Терентий, где лучше? — спросил Терентия Ивановича Петров, входя в заведение.

Терентий Иванович поглядел на Петрова одним глазом, скривил лицо и сказал:

— А ну-ко, питерский, по-твоему, где?

— Нет, ты скажи — ты много городов исходил.

— Да што, брат: богатому человеку везде хорошо, а бедному везде плохо. На том свете, должно быть, лучше.

— То-то ты и устраиваешь туда перепутье! Вон у нас

недаром ребята говорят: в кабаке хорошо... Только, я думаю, вашему брату, то есть вашему карману, лучше?

— Не думай, брат. Я вот снял кабак-то у Синельникова. Подрядился от него за тридцать рублей в месяц на всем на своем, да залог отдал сто рублей. А вот теперь от него поступило водки всего одно ведро, и посуды нет. Не знаю, что и делать.

— Смотри, чтобы не надул: у него, говорят, долгов много.

— Что ты!.. Да я почти все деньги ему отдал и за кабак хозяину свои деньги заплатил за месяц. От Синельникова расписку получил.

— Ну, дело, значит, пропащее. Впрочем, нынче гласные суды открылись.

И Петров рассказал о смерти Панфила и со всею подробностью про Пелагею Прохоровну.

— А вот мы с Гришкой дошли-таки благополучно. Что-то дальше господь пошлет, будет ли здесь лучше? — сказала Лизавета Елизаровна.

На другой день Григорий Прохорыч перешел с Короваевым и Лизаветой Елизаровной к Петрову, и с этого дня между Петровым и Короваевым началась дружба: оба они знали свое дело хорошо, были сдержанные и сходились во взглядах. Часто они задавали друг другу вопрос: где лучше? — перебирали жизнь в разных местах и приходили к тому заключению, что человек создан для того, чтобы самому себе добывать пропитание, а так как человеку нужно для этого немного, то он был бы вполне доволен и спокоен, если бы его не обижали те, которым хочется жить в свое удовольствие.

Здесь я прошу у читателей позволения остановиться с своим повествованием, которое в непродолжительном времени я буду продолжать под другим названием.

Оглавление

Часть первая

В ПРОВИНЦИИ

I. Путники	20
II. История путников	24
III. Короваев отделяется от Горюновых	33
IV. Горюновы поступают в рабочие на промысла и опять встречаются с полесовщиком	43
V. Семейство полесовщика	51
VI. Рабочий день на промыслах	59
VII. Терентий Горюнов и Ульянов уходят на золотые прииски	72
VIII. Разорение	86
IX. Признание Лизаветы Елизаровны	89
X. Промысловый суд	98
XI. Материн сын	103
XII. Голодные дни	116
XIII. Письмо и вести с приисков	124
XIV. Осторожная жизнь	133
XV. Удойкинские золотые прииски	149
XVI. Горюнов действует заодно с практическими людьми	162
XVII. Катерина Васильевна	172
XVIII. Женский труд	181
XIX. Переселение Пелагеи Прохоровны	188
XX. Счастье Горюнову улыбается	197
XXI. На железной дороге	206

Часть вторая

В ПЕТЕРБУРГЕ

I. Пелагея Прохоровна находит Петербург не таким, каким ей малевали его раньше	219
II. О том, как и где в Петербурге бедные женщины нанимаются в работу	237
III. Кухмистерша Овчинникова	262
IV. Квартира кухмистерши Овчинниковой	274
V. Которая вкратце объясняет отношения маюра к дочерям кухмистерши Овчинниковой	281
VI. В которой Пелагея Прохоровна располагает к себе одну голову из подвала	292
VII. Жена Ивана Зиновьевича Большакова находит, что Пелагея Прохоровна не годится ей в кухарки	299

VIII. Хотя мастер Петров и предлагает Пелагее Прохоровне средство жить лучше, но это средство пока остается только одною мечтою	306
IX. Пелагея Прохоровна очень скоро попадает туда, где денег за житье не берут, и встречает там Евгению Тимофеевну	313
X. Наконец Пелагея Прохоровна стала свободным человеком и едва не умирает в этой свободе . . .	327
XI. Пелагея Прохоровна находит брата Панфила Прохоровича	333
XII. Пелагея Прохоровна опять сталкивается с мастеровым Петровым, который и находит квартиру для нее	339
XIII. Пелагея Прохоровна знакомится со столичными рабочими женщинами	351
XIV. В которой Пелагея Прохоровна, вместо работы, попадает с братом на попечение людей . . .	362
XV. В которой столичные рабочие разъясняют вопрос, где лучше	374
XVI. По поводу разрешенного в предыдущей главе вопроса Петров хочет пробовать, подобно немцам, добиться до какой-нибудь пользы	380
XVII. Как Петров домогается того, чего хотел . .	391
XVIII. Пелагея Прохоровна поселяется в квартиру Петрова и делается прачкой	396
XIX. В которой Пелагея Прохоровна принимает сделанное ей Петровым предложение	402
XX. Человек предполагает, а бог располагает . . .	406
Заключение	411

Текст для публикации подготовлен И. А. Дергачевым по изданию С. В. Звонарева 1869 г. с исправлениями по публикации в «Отечественных записках» 1868 г.

Решетников Федор Михайлович ● Где лучше?
Средне-Уральское книжное издательство.
Свердловск, Малышева, 24.

Редактор Т. Раздьяконова. Художник М. Бурзалов. Художественный редактор Г. Кетов. Технический редактор Л. Голобокова. Корректоры Г. Журавлева, М. Казанцева.
Сдано в набор 28/IV 1971 г. Подписано в печать 21/VII 1971 г.
Бумага типографская № 2. Формат 84×108/32. Уч.-изд. л. 22,9.
Усл. печ. л. 21,84. Тираж 75 000. Заказ 251. Цена 91 коп.

Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск.
пр. Ленина, 49.

